Новый Журнал

Нью-Йорк

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят шестой год издания

Кн. 286 **НЬЮ-ЙОРК** **2017**

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Мария Рубинс, Валентина Синкевич, Владимир фон Цуриков

Ответственный секретарь – Рудольф Фурман
Редакция – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Марина Гарбер, Илья Куксин

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; C.Geacintov; V.Galitzine; G.Glinka; M.Jordan; P.Khlebnikov; V.Kreyd; N.Lobanov-Rostovsky; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff; O.Radish; I.Sikorsky; V.Sinkevich; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW
№ 286, Март 2017
© 2017 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он–лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.
POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

Андрей Белозеров – Галерея ПМР. Повесть 5

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Марк Зайчик – История Евсея Бялого. Повесть 71
Марина Гарбер – Мы никуда отсюда не умрем. Стихи 166
Сергей Захаров – Три рассказа 173
Вера Зубарева – Стихи 197
Евгений Ракович – Стихи 200
Михаил Рабинович – Стихи 204
Владимир Эфроимсон – Стихи 207
Феликс Чечик – Стихи из новой книги 210
Анатолий Николин – Роза, королева цветов 213
Андрей Драгунов – Стихи 244
Сергей Шабалин – Стихи 249

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Юрий Мандельштам – Статьи о франко-русских прозаиках (*Публ. – Е. Дубровина*) 252
Ирен Немировски – Погром. Главы из романа (*Публ., перевод с фр. – Ю. И. Линник*) 282
Сергей Максимов – Денис Бушуев. Глава из романа (*Публ. – А. Любимов*) 299

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

Юкио Накано – Американский период Марка Алданова 309
Саша Соколов, Евгений Соколов – «Язык – это генетическое». Беседа 316
Юлия Горячева – Цвет надежды Ирины Ратушинской 325
Геннадий Кацов – «По ободку разомкнутого циферблата...» 337

БИБЛИОГРАФИЯ

***Блок Марины Гарбер**:* Поэты в Нью-Йорке. О городе, о языке, диаспоре; Николай Боков. Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова; Евгений Терновский. Сеанс. Повести; Ара Мусаян. Капли на стекле; Евгений Водолазкин. Авиатор.

Рудольф Фурман, Лиана Алавердова – Валентина Синкевич. При свете лампы. Стихи разных лет; ***Борис Хазанов –*** Вадим Фадин. Пейзаж в окне напротив; ***Виталий Амурский*** – Рощин Н. Я. Парижский дневник; ***Владимир Яранцев –*** В. Батшев. Литературный календарь. Книги 1, 2 351

ОБ АВТОРАХ 395

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

Андрей Белозеров

Галерея ПМР

Суперпозиция – у окна

Окно сорокапятилетнего юбиляра Алеши Гудронко, непьющего, но впадающего в рецидив умозрительный (картины прошлого и будущего в точке – бьются с лету над гнездом разоренным; и уж лучше отсидеться в скорлупке, не смущая действительность), обращено к мусорным бакам у тротуара, по которому спешат в залоснившемся до блеска сером менты и люди в черном – наши попы бендерские всех возрастов и санов, с портфелями.

У мусорки же – молодежь гражданская, в пику им. Эти парни и девушки в джинсе и в свитерах из «гуманитарки» – не хиппи и не бомжи, безработные. Двадцать лет минуло от провозглашения республики, чуда экономического не случилось. Дети защитников Приднестровья по смерти родителей (от ран боевых или от картин умозрительных) рыщут в объедках. Деть детям войны себя некуда. Распрощаться с вольером невозможно до доски гробовой. Плевать им на то, какой типаж составляют для глаз сторонних. Аполитичны.

Алеша не безработный, преподает в школе – не до жировки, но к миру и к человеку требовательность еще хранит. А многие интеллигенты сдались – им путь в торгаши на рынок; а если и в этой перековке не выдюжат – тогда на мусорку, к ребятам в коллектив!.. Все эти новослужащие столов паспортных, архивов, пограничники-таможенники-охранники псевдо... Ситуация с контингентом пожилым: Москва умягчает деньгой нефтяной массу, верующую в страну-гарант. Электорат. Пропагандисты талдычат: «Придут румыны – и кефира не купите!!»... Тусующимся же у баков смрадных фраза сия ничего не шепчет. И на референдумы молодежь оттопыривает средний палец. Возродится ли Империя Романейская, вкупе с Российской, – все равно!

...Алеша спозаранку осмыслить мир и себя в нем пытается. Лицо его измождено. Святой – или грешник – в степени отчаяния. Мысль Алеши – как частица ускоренная о стены загона: в одно мгновение всюду!

Бродяга рыжий кот по ту сторону стекла вскочил, в упор глядит

глазами страшными. Исправно наведывается, ведь и коту, знать, надо *куда-то*. «Бублик» нарекает его детвора (есть хотят!); Бублик так Бублик – только в рот не клади! Детвора соседская тоже докучает: усядутся, как птицы, на лозу, дом с фасада увивающую, и смотрят, не мигая, на Алешу... Во дворе лето! Нет ни коллег, ни учеников, хотя школа и видна из окна.

Угловую проекцию школы перекрывает вяз старинный: ствол в три охвата. За вязом уклоняется от взоров Хребтищев в трусах красных и босой, йог с пятого этажа. Его форма одежды – без одежды! – притча во языцех. Симпозиумы-судилища над ним устраивались: можно ли являться *так*? Постановили: на Ленина, Советской, Комсомольской – нельзя! Каждое утро Хребтищев встречает на реке рассвет; вздымает руки, поет на лады: «Здравствуй, Солнце!..» Увидит девушку в трико – тоже: «Здравствуй, девушка, здравствуй в трико!..» Девушка бросается наутек... Путь старого путаника к Днестру и обратно – через Комсомольскую, Советскую, Ленина; вот и прячется от взора поповско-ментовского за вязом. Момент – и по тропке к баку мусорному, где ребята в свитерах и в джинсе (им холодно!) шарят. Салютует манерно: *«Есть Ничего нет!.. Ничего нет – есть!..»* Алеше ведом тайный смысл фразы. И ребята чуют глубину, обнаружив квелый арбуз в баке. Хребтищев видит Бублика на окне, вскидывает руки и поет: «Здравствуй, Бублик!.. *Нет Ничего – есть!..*» Бублик – к нему...

Сережа Кацюков, сосед по дому и однокашник, минует бак. Фотохудожник – торопко в ателье. Документирование в республике непризнанной никто не отменял, нате пожалуйте: на паспорт и билет военный, бейджи попам-пожарникам-таможенникам-охранникам... Интеллигент на подхвате! «Фокус сбитый. Не донесет он скоротечные предмета нюансы; *ограничивая* предмет, его отсутствие узаконивает!..» – мысли Алеши о друге.

По тротуару бегут в здравии-сытости менты и попы. Отнюдь не стада потомков пресловутых Ромула и Рема, волчицей вскормленных, коих и пророчат жителю местному. Одни галопом в ментовку, другие – в храмы. У тех и у этих – маска вместо лиц: стремительное несут, испепеляющее *иное*. Правят бал.

Алеша точку опоры зрит: опровергнуть постылое!.. Попы, безусловно, играли весомую роль во время войны: благословляли; в очередь к ним на целование преклонялись те, кто лупил в брата во Христе из «Калашникова», – ну, и врачевался от ран, койка к койке (больница для сепаратистов и для блюстителей конституции – общая, посмертно в рефрижераторе – тоже плечом к плечу)... Менты и тогда, по обычаю, следили за порядком. Да он, порядок тот, и сам выстилался, что после катка асфальтного, – после всех этих хлыста держа-

телей огненного: казаков и ополченцев – с одной стороны, полицаев и военных волонтеров – с другой...

Комендантский час

А сразу после войны в Бендерах – Час комендантский. Девять вечера – и обыватель у телевизора, или Пушкина *чтёт* (фамилия зело крупнокалиберная в плоскости порядка наведения!), – в коробульке панельной. Мечта тоталитаризмов: жизнеоправления под солнцем и луной погонами контролируются... А в Тирасполе на огне мирном стольность чванливая – бронежилеты и каски «МС» не буравят глазом те кухни филистерские... Бендерчанин стремился пожить-наверстать *отсроченное*: свадьбы-юбилеи, корпоратив в меру провинциальную, – вот и выкладывался рублем за шествие внеурочное, если не хотел в каталажку, где принуждали к труду, – на сутки, а то и на десять. Разновидность ГУЛага под боком у старушки Европы.

Священники, благословляющие националистов и сепаратистов накануне, во время и после войны, такое насадили в «коллективное бессознательное», что и за пятьдесят лет не выполоть. А именно: война *слила* амбиции, что копятся в теле грешном. Случилось лбами бодание – тем лучше. Неизбежность. *Все прейдет, и это забудется!* – поют в хоре согласном отцы. И над полем выжженным – греховодников алчба: пасть ниц пред столпами в рясах!.. Час приветствуется ими. Но в увеселениях сумеречных участия не ищут, Боже упас: за ролетами затворившись, фолианты на пюпитрах разворачивают, за чаем кивают с попадьей: нет ничего-де нового под солнцем, вяще и *поиска* особливого – под луной! Осанна Часу комендантскому! А персонаж прозаический, возвращаясь из Одессы-Кишинева (поиск работы и прочее, не усидеть в войной разоренном городе, семью кормить надо), нарывается на патруль. Нарушителей – в газетенку, и телевидение песочит принявших по шее дубиной...

В экспозиции музея представлены фото горожан давности столетней. Поражает взгляд в ликах исконных (в объектив – что в прицел) и какая-то чернота, будто терли лоб и щеки сажей. И вот имеем в Бендерах *всегда сейчас*: черен и затравлен бендерчанин вечный попечением – установлением комендантским (явное отличие от тираспольчанина!). Раскатали катков видами: политическим, экономическим, военно-ментовским и церковным. Все стрелы глумления хлыст предержащих – на город многострадальный.

Два города у одной реки, или Мастодонты ПМР

Возникнув на правом крутом берегу Днестра, на перекрестке и сухопутных дорог, город сей остается верен миссии «крепости на

переправе»; в зависимости от разворота «игрового истории колеса» оборачивается то парадным подъездом, то черным выходом со двора. Это уж *в игре* тех сил, которые брали ответственность захватить, а значит, внести свою матрицу в мозаику эпох. И вот крепость в который раз полонена, рукой щедровитой разодета по последнему *от кутюр* слову искусства военного: ладно скроенный ландшафт, сухие рвы, стены каменные, бастионы, башни. Именована – «Бендеры», что с тюркского значит клич царственный: «Я хочу!» У стен бендерских находят пристанище с поля брани гетман малорусский и его спутник-швед (сей лев поверженный пригвожден к щиту, поднят в веках на герб города). Барабан истории неутомим – опять бой, опять сдача. Крепость «Я хочу!» – в хрониках русской боевой славы; утверждается и через поэму «Полтава». В крепости подхватывает вирус «Я хочу!» будущий самозванец земли русской – Емеля Пугачев: дышит воздухом «страны могил воинственных»... «Я хочу!» звучит и в послании в Петербург коменданта-полицеймейстера, озабоченного дикостью среды формообразующей и, следовательно, порядка мыслей хижин под стенами крепости. Ответ свыше не замедлил. И вот в трехстах саженях от ретраншементов закладывается с десяток улиц перпендикулярных – остов городской; эта «по шнуру» планировка заточена под надзор с Цитадели.

Бендеры строятся каменными домами, церквами, кирхами, синагогами, мечетями, торгами, лавками, мануфактурами, судами. Комендант ликует: как один на подбор огоньки в окнах, людишки после дня трудового размножаются или эпопею героическую Полтавскую постигают (горемыки редкие перетирают еще и «Былое и думы») – племя под присмотром! Вот город заводит парки и школы, библиотеку и, конечно же, Памятник – куда нам, ни тогда, ни нынче, без *объективатора:* ко дню его юбилея очередного *Наше Всё* жестом приглашает тебя на скамью рядом с собой – место посвящения в пииты: пора, мол, уже, коллега, все, что дается в ощущениях, жизнь в великом *ея* многообразии игровом *возвести* в проявленность ритмическую исходящих из души *смыслов имперских*!.. Программа – на жизнь, на труд и на подвиг!..

В эпоху завоеваний великих на Левом берегу растет антагонист – Тирасполь (с отрывом от Бендер в четыреста лет), берущий концепцию из крепостцы-острога для особо увлеченных мыслью Овидиевой (масоны благородные сидели здесь в ожидании участи, ошибки просчитывая и выверяя векторы к прогрессу)... Стратегия негласная Тирасполя в *наблюдении*, в становлении «достойной плеяды» адептов Правды стремительной, испепеляющей все иные. Так, наблюдение за узниками острога сменилось наблюдением за потока-

ми грузов и людей из-за реки. Итог – соглядатайство за зрящими при лучине в «Былое и думы»: картотека и слежка за поборником «Я хочу!»... Двухвековое культивирование навыков (что в царскую эпоху, что в советскую), апеллирование к результатам надзора, искусство рапортов и доносов достигли в Тирасполе высот. (В Тирасполе есть и тюрьма ГУЛага.) Молодой да сметливый фат делал карьеру: выскочка-менеджер из департамента, к начальству благоволящий, а с соседом ни вольностей, ни панибратства, бесполый, лукаво и с опаской поощрения ожидающий... – и вот он, конечно, добился, чего хотел, в эпоху Империи постсоветской: захватил рычаги региона с отложенным статусом самопровозглашенным...

Бендеры уступили пальму первенства бестии продувной, с лет высоты рассудив: «Солнце и Луна сияют нам равно, так же Земля и Днестр, и все, что на них и что под ними служат нам не менее...» Лишь вопрошали все чаще: «Какого черта лысого нас контролируют на предмет настроений к ‘внешнему объективному’, помимо воли исторической наступающему, ‘как сумасшедший с бритвою в руке’?..» Ответ один в ГУЛаге: «Не нарушайте конфигуративную решетку порядка!»

Ситуация тотального контроля формировала «портрет героя». Вы без труда выделите бендерчанина – по его пришибленной (на взгляд непосвященный) улыбке, а также по готовности распахнутой хоть сто раз на дню здороваться – но не пугайтесь добронравия его. Он просто *отчаянно* манифестирует это. А уж стоит сфинксу сему дать слово, то непременно доверит вам закутки: тайну не развенчает, но усугубит, видя инстинктивно в вас агента чьей-нибудь «опасности безопасности». Малец-удалец-везунчик, из жерновов комендантских ускользнувший...

Володька заставил

Из окна виден и Володька Батогов с ведром мусорным – что флагман по волнам грядет, – председатель домового комитета, красавец шестидесятилетний, деятельный и статный. У ног его заливается лаем звонким на племя разгильдяйское собачонка Чубрик. Володька – ноль эмоций. Он, правда, не мент и не поп, но из бывших, кто *бывшими не бывает*... Двадцать лет назад начальник цеха военного завода и приспешник самопровозглашения сплотил горожан в формат: кого на митинги, а кого и в ополчение, за год до войны набиравшее сил, – в акционисты: прутами стальными в улицах потрясать, скорлупам мозговым инакомыслящих угрожать, прежде чем дать ход оружию огнестрельному. Сейчас Володька на пенсии; душа же трудится с огоньком. В политику высокую не пробился сепаратистом верховным

стать – стал президентом дома пятиэтажного по *Комсомольской* (на отрезке между головным зданием милиции и храмом христианским). Ни женой, ни детьми не обзавелся (как и Алеша), из всех существ любит Чубрика. Председателем же стойкий парфюм совковый сменил на турецкий. В праздники пользуется и польским фальсификатом.

В июне 92-го бравый начальник цеха, освобожденный спецагент Батогов, в пример педагогу свежеиспеченному Гудронко, увлекся в тельняшке и с железякой «Калашникова» увещевать главу исполкома, коллегу по ВПК, стоять насмерть. (В верхах-то диффузных определенно никто не собирался воевать исполком всерьез.) Спаситель мира от сапога конституционного – в авангарде глашатаев расчлененки государства молдавского. Был героем из-под Питера, делегированным на юго-запад Империи. Заставил взять оружие. Ему было сорок, Алеше – двадцать пять, видел в нем *старшего*, проникался уважением. Володька же торжествовал средь люда оробелого – по подвалам с автоматом (который ни разу и не разрядил в цель), и тельняшка его зебрилась амбре пота с «Шипром»; а во взгляде – роскошь общения сверхчеловеческого: *с Россией forever*! Усов Батогов не носил, а казаки носили, – им-то он Алешу и сбагрил, когда те сбор частей добавочный вострубили. Мотивировал с размахом: «Забирайте *этого*, соседа моего, порох нюхать, а не то в сети к попам угодит!..» Казаки в попах души не чаяли, нескольких в обозе привезли, но с Володькой в полемику не вступили по поводу уничижения сана – так как был он птица важная (должность – всюду нос свой совать, *курировать*). Похлопали ожесточенно Алешу, волосатика долговязого, по плечу – и упекли на войну, что шла уж в кварталах. Батогов укатил на бронетранспортере в исполком. Гудронко пробирался под пулями к Комитету рабочему, чтобы составить оборону и этого псевдомятежного здания.

Поп состоявшийся и поп несостоявшийся

Да, Гудронко желал сердцем и душой приобщиться. Но не в отряд разведчиков, – *иное* на лбу писано было. Приключилось это еще в отрочестве – с экскурсией в Киево-Печерскую Лавру под водительством наставника школьного, Евгения Ивановича Шишкина-Руссу. Затерялся Алеша в катакомбах и два часа вселенских скитался среди разверстых могил монашеских. Покорило то, что мумии (некоторые источали миро) *бытовали* – сообщались по поводу Алешкиного любопытства: такой скрип отчетливый, ну, вроде перьев писчих – и выверено из Морзе. (Как выяснилось позднее, перекличку автоматных и пулеметных очередей напоминали...) Тусклый свет проникал из ствольного коридора, возлегающие во гробах кутаны в шитое по краям закорючками знаков соляных. Время пульсировало в мозгу, повествуя

о вечном, нерушимом, о новом *качестве* соответствий. Алеше мнилось остаться здесь. Ведь только очереди огнестрельные (реальность пишет!) ждут существо человеческое *там*, в миру, *всегда сейчас!..*

С апологетикой христианства он познакомится позже. Тогда же, в одиннадцать лет, прозреет: вот она, пружина разумения, – прильнуть, внимать (череп и кости, мощи осиянные, письмена...) через мысль художественную, что анализу недоступна, интегральна и всемогущественна... Однако в попы не кинулся, как многие с пришествием свобод мыслимых-немыслимых, включая наставника классного, Евгения Ивановича Шишкина-Руссу, ныне попа Василия. С посещения подземелий святых образумился Алексей действительность вбирать слепо на веру. Морзянка вселенская (она же «перестрелка») сплотилась в образные ряды картин. Подвижник от Культуры, возмечтавший «ритмам Вселенной жизнь подчинить», окончив художественное отделение пединститута, стал преподавать черчение. А после войны замкнулся в панельной коробульке: в срывание масок с заветного погрузился.

– Ох, уж эти твои *запои умозрительные*, лучше бы, как у всех, – с вином! – увещевал десятилетия спустя поп Василий, он же бывший биолог-химик, проживающий в соседнем подъезде дома на Комсомольской; поп силился развеять угрожающие обструкции ученика из своего последнего выпуска.

– *...без вина,* – тупил взор Алеша. – Скольких выкосило уж! – он и впрямь напоминал богатыря щуплого с картины Васнецова.

– Находи позитив! Оно-то все в миру – от дьявола. Но если брать с охвата геополитического, то все, что тогда, и то, что ныне, – цепи звенья. С войной-то все *проявилось*: будто повысили кислотность среды – цветы зла, хе-хе, и расцвели. Чувства-помыслы, как на ладони, – не утаить... И заметь, я тебе тайну скажу поповскую, хоть и не выбился ты в собратья святые (попрек за уклонение с маршрута Алексея в Лавре, о котором долго судила-рядила школа): не для разделения народа Божьего та война шла, в которую и я благословлял по вящему, а шла та война, чтобы *собрать* народ, скрепить, дать импульс! Вот политика евразийская – Жертвоприношение, после чего, годы спустя, народы под руководством великим *сплавляются*. Все обновляется после войны, все заживает живее живого; дышит! – поп закуривал сигарету, словно карандашом выводил знаки перед собой, фимиам кадил. – Ну, не забывай «Отче наш» и еще пару молитв на ночь... Аминь!

Творчество ментов, а также попов (Нина С. и Света М.)

Батогов, опорожнив ведро, пошел от бака. Флагман, ничего не скажешь, намерений-свершений самочинных агрегат! Путаясь в

шагах хозяина королевских, Чубрик – за ним. Молодежь щерится яростно вслед: Володька прочел им лекцию «О вреде аполитичности». Сплюнув семечки арбузные, двинули гурьбой к другому мусоросборнику. Гудронко отпрянул за портьеру, чтобы не вскинуть очередь оплеух умозрительных по чинной ряхе председательской.

У Председателя важный день: в доме меняют канализацию, параллельно работы фасадные – всю хрущебу сивую красят в цвет желтый, как это практикуется в Питере. Гудронко на собрании тоже сдал деньги, а нужно б возмутиться. У всех на памяти дом с цоколем, засмоленным в зебру, – под квартирами, которые наскребли денег (прочие «подтягивались» два года). Усердием Володькиным – и сооружения фортификационные: отвести воды талые и дождевые (хотя 350 дней в году – вёдро!), обернувшиеся ямами с автопокрышками, – новые укрепления огневые? Но – возвращаясь к желтому дому: в Питере фасады многослойные, финское ноу-хау, а здесь опять тяп-ляп раствором по панели бетонной...

Интерес в другом. К работам привлечены менты. Уголовников отстреляли (повышенный режим безопасности, надо!), а жить *со смыслом* служивым хочется – при размножении их непотребном, в разы, нежели при «совке». Ремонты в зданиях жилых и общественных делают менты, таксистами работают менты (не снимая фуражек), точки торговые и кладбища, стадионы – под их контролем... Градостроительные и архитектурные решения уже без разбора патронируют; для них это проще простого: взять коллектор канализационный – и «на попа» его, получится колонна, пучок колонн – и вот тебе Арка к очередной круглой дате ПМР!..

Крепость старинную, состоящую на учете в ЮНЕСКО, и ту – с прибылью в заповедник. Убожество. Новодел без зазрения наседает на архаику живую! Цитадель – что харчевня на торгу: не хватает гратара и бочки с пивом. *Их* гордость – экспозиция в одной из башен: «Орудия пыток средневековые». Менты и водят экскурсии. Историйку притянули за уши: утопленница янычарская с волосами до пят ночами является к воротам Водяным. Хотя памятна войну пережившим другая утопшая – с младенцем (об этом позже). Края историю переврали; в университете все схвачено «профессорами» в погонах, свет знания – через призму обоснования ПМР.

...Соборы и монастыри – неотъемлемая городского ландшафта. Дома культуры, столовые и спортзалы по мановению обращаются в молельные – лишь вздыбить крест. На фронтоне такой церквушки зиял циркуль и наугольник, пока взоры комиссии некой не привлекли – соскрести непотребство!.. Кого в церковь не затащить, им распахнуты двери в стрипклуб «Дружба» – под приглядом ментов. Для тех, кто решил не

тратить время и владеть сызмальства хлыстом – школа ментовская на базе интерната железнодорожного. Путейскую науку с наскока не оседлать, да и отлучаться за пределы анклава рисково, лучше рельсы сдать на лом... Три с половиной года строил царь дорогу железную «Бендеры-Рени»: напрягали лбы инженеры, рвали жилы работники, сады и виноградники крестьянские вырубались. Разобрали же – за неделю!! Выгоднее государству непризнанному посты таможенные громоздить на каждой стежке-дорожке – кормушка для чинов...

А вот Левша местный изобрел двигатель, способный взметнуть экономику ПМР. Затягали по комиссиям – рационализаторство не заказано. Мера и голова всему – война, изоляция и контроль. Городов окрестности – в столбах пограничных, шлагбаумах, ежах противотанковых. На заборах фабрик лозунг: «Каждый день – веха становления ПМР!»; отвернешь от фасада главного, надпись: «Стреляю без предупреждения!» Процветает и пропаганда монументальная: что грибы после дождя – полководцы... Включи телевизор и постигай прайд нынешний. Президент-сепаратист читает «Послание» к мордастым в погонах: судьи, прокуроры, чины пограничные и таможенные в этой трансляции; и попы лоснятся, не без них. Главный вопрос – как удержать население: разъезжаются все!

В отношении культуры – два этапа: когда здание бывшего Комитета партии (у памятника Пушкину) отдали под Школу искусств и когда эту же Школу ликвидировали в пользу Прокуратуры. А чего ждать от государства, в котором торговая сеть-монополист названа «Шериф», автозаправки – «Шериф», арена спортивно-развлекательная – «Шериф» и футбольный клуб – «Шериф»?!

Среди видов спорта лидируют силовые: борьба, бокс, ушу, – силовики и спонсируют. Еще жалуют стрельбу. Мысль поисковая не спит: биатлон скрестили с велоспортом! Следует ожидать гибридов: биатлон плюс гребля, биатлон плюс подводное плавание!.. Пропагандируемый широко досуг активный – лазертаг, игра направленности милитаристской. Цех обувной фабрики отдан под этот аттракцион; реклама приглашает справлять корпоративы. Рекомендована и трасса пейнбола на территории разрушенных в боях судоремонтных мастерских. И это все – для переживших войну бендерчан, которым тягостны даже фейерверки.

Тянутся к творчеству менты. Но мусорам – мусорово. Действует постоянный их конкурс на дизайн баков помойных – чтобы доходягам тяжелее было до дна дотянуться, чтоб не до жировки!.. Тот же «Спецзеленстрой» заменяет характерные для города породы насаждений: тополя-дубы-акации – на туи ядовитые...

И пиратская суть псевдогосударства – из всех щелей. На запрос

в сеть торговую насчет покупки картрижда к принтеру – ответ: «Картриджи не продаем, расчиповываем и заправляем!»

И попы не отстают, ноу-хау осваивают. В колокольне монастыря, где завсегда пункты наблюдательные штабов армий располагались, двадцать монахов денно и нощно за компьютерами имидж государства улучшают в сетях социальных под никами хитрыми... Пропаганда столь активная бьет по мозгам. Армия Безголовых на улицах городов Приднестровских выпестовалась – дружин активисток религиозных по типу ДНД*: идут косяком в платочках, увещевают не сорить, одеваться правильно, не ругаться. Не приведи Боже повстречать им прочих душ уловителей – при галстуках и с буклетами глянцевыми иеговистскими. Бой завяжется не на жизнь...

Сильные духом образуют «Орден беглецов». Здесь завсегда советом обнадежат («В Испании тепло, но велфер не дают; в Норвегии холодно, но шанс есть!»), обеспечат «легендой» и картой дорожной. Один беженец даже вернулся инкогнито за справкой, в подтверждение того, что дочь его училась на втором курсе университета, чтобы продолжила учиться в Германии... Мир просвещенный верит бумагам. Главное – ментов дотошных и попов (и иже с ними осведомителей) обскакать на полхода...

Подозрительность и доносительство в добродетели. Рыщут менты, тайной исповеди не брезгуют, – лишь бы нарыть конфликт, да попикантней. Правдами-неправдами дело заводят, и – в газетенки, на радио и TV. Цель лиха: вектор претензий к власти на обывателя перенаправить, утопить недовольство всех и каждого в мелочах. Через распрю двух вдовиц удалось стравить амбиции главных городов ПМР – Бендер и Тирасполя! Разбирательство сие разрослось в телешоу – игровой проект многосерийный, поставивший на уши всю Республику от мала до велика! Шизо-суд!

«Потерпевшая» – тираспольчанка-пенсионерка Света Максимова, умница-спортсменка, «Днестра надзирательница» (должность у «агентов» пола женского: по утрам температуру и уровень воды у двух городов замерять). С фингалом и рукой перебитой обратилась в травмпункт. «Обвиняемая» – подруга ее закадычная из Бендер, коллега по сообществу оздоровительному и соперница извечная за сердце йога Хребтищева... В то утро злосчастное Нина Сергеевна физкультурничала в районе поста водомерного – у базы гребной...

Свидетелями на процессе выступают соседки, просто граждане с позицией, а также начальники производств из биографий славных

---

* ДНД – добровольная народная дружина. В СССР такие отряды, составленные из комсомольцев, следили на соблюдением советской законности на улицах.

дам. И попы, разумеется, на поприще сем не отстают – слово берут в микрофон... «Нина Сергеевна и Света Максимова» – так эта телепередача и звучит. В ракурсе обстоятельств геополитических можно признать за событие метафорическое, градус кипения страстей общественных на Днестре вскрывающее!

Батогов позвонил в дверь к Гудронко. Знает, что Алеша за шторой пыльной в остром умозрительном угребает в воды темные, – потому и не настаивал, пошел по ступеням в квартиру-штаб, куда стекаются челобитные... Наотмашь сплавил пришлый Володька пришлым же казачкам урожденного на этой земле, мотивируя необходимость Родину от врага румынского защищать, республику строить. Сам-то Володька никого не убил, отделался дискурсом о форпосте – в мегафон. А вот Алеше с казачками порезвиться пришлось. Думал, сражается за свободу, корректирует с молодыми да злыми вектор быта, расширяет представления рубежи. На деле же Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) вляпалась за годы в ретроградство чудовищное, в яму, выкарабкаться из которой без жертв очередных нельзя... Убил пятерых, теперь «ни жив – ни мертв» у окна. Как вещает Хребтищев, йог с пятого этажа, масоны во всем виноваты – господа в запонах крахмальных и перчатках белых, со штангенциркулями и наугольниками.

Гражданка Война (на кого работает?)

У опустевшей мусоросборной площадки тормозит внедорожник. За рулем – *она*. Соскакивает с «седла», хватает из багажника пакет, метает в бак. *Она* живет в особнячке на Комсомольской в элитном секторе – у Днестра. Сбывает отходы бытовые в контейнер у пятиэтажки известной. *Гражданка Война*. Так называют ее. (Интуитивист скорбный у окна именует ее Королевой Снежной – ту же стынь полярную навела в жарами жареную жару 92-го.) Главный редактор военной газеты в звании подполковника; о возрасте же дамочки – ни-ни... Чеканный шаг, выправка, леди-струна, нерожалая и незамужняя, с черной, как смоль, косой, свернутой в калач. В продвижении служебном не грациозна, что даже шарм придает, – всегда на ребре ладони, секущей под дых. Но в глазах васильково-синих – отстраненность: змея после броска. «Ну-ну: спой-спляши, а я внемлю, – словно говорит интервьюеру. – Будет так, *как решат:* ни ты, ни я, а они – *там*!..» Косметикой не пользуется. «Фригидна? – теряется в догадках иной вопрошатель. – Женщины – объект поиска ее?..» – «Масонка!» – отвечает завсегда Хребтищев (чья доктрина требует рассмотрения). – «...Но разве женщин принимают в Ложу?» – «А мы ей в штаны с утра не заглядывали!» – щерит йог беззубый рот, содро-

гаясь, что особа *эта* из брюк не вылезает. Созерцателю же у окна мнится: «В мундира строгости удушает коалиции меж полами: преодолевает жизнь, торжествует в смерти!..» – ему-то открыта правда прорицателя Хребтищева: отец по крови ее.

Еще гадают неофиты по кухням, работает ли она на Службу Разведки Внешней или на ГРУ? Штаты их в анклаве раздуты по сравнению с «совком». Курьез: чиновники во всеуслышание той или иной крышей кичатся... В отношении же Гражданки Война: у нее *это* на лбу писано, принадлежность, – явилась предлогом и *подлогом* войны, выбором верхов диффузных, жупелом начала!!

Должна была забрать из типографии «Листок боевой» (тогда – листок, ныне – газета форматная, разящая милитаристски). Пачек несколько, с которыми справился б шофер (не засматривающийся на хозяйку: встретишься взглядом с Горгоной сей – остолбенеешь на века). Ее сопровождает взвод головорезов. Будто знала, что власть выразит претензии. Ведь попускали, все шло как по маслу у изданий сепаратистских. И предъявили-таки «предъяву» в час «Икс» – также в составе бурном. Не перестрелять друг друга обе, оснащенные к бою команды, были не в состоянии.

Глазурованный калач на темечке и до блеска покойницкого черевички... Ретировалась, пока полицейские и гвардейцы препирались. Услышав стрельбу, спешила в верхи доложить: маховик истории и судьбы запущен!.. Перестрелка длилась часа полтора (что по меркам местным – за грань). Подтянулись и отряды казачьи к типографии; а молдавские группы – из здания полиции. Отмашка войскам, дислоцированным южнее Бендер: выручать своих! (До поры уживались на территории казаки с полицаями, теперь паритету конец.) И вот город бороздили бэтээры и танки конституционные, самоходные установки и пушки зенитные, – к мосту через Днестр, не встречая сопротивления, акромя укусов гранатометов казачьих. (Зная о войск концентрации, лидеры-сепаратисты не озаботились ни продовольственной безопасностью, ни медицинской.)

А прелестница была уж в Тирасполе, куда не долетела за время действий боевых ни одна пуля (и ветер белый мин-снарядов не растрепал ее укладки смоляной), – рапортовала о *постановке* на Театре местности. Ей – и звание очередное, и свита президента. Изливала ядовито в уши профанов, заголовки верстая: «Война между Приднестровьем пророссийским и Молдовой прорумынской!..»

Грезят конспирологи схемами своеобычными – посвящения ее. Интересы спецслужб пресловутые – чем руководствуются, продуцируя идеи «провозглашения» на Совка территории? (Другие точки горячие на шарике земном их не жалуют, иные там «братишки из

Лэнгли» и «агенты-007» с правом на убийство.) Итак, Служба Внешней Разведки (политическая разведка) «не погружается в глину», чтобы рук не замарать: воздействует на лидеров анклавов, суля им горы золотые. В отличие от ГРУ, что агентов кличет и среди пастырей религиозных, и среди младшего состава офицерского, и среди чиновников всех рангов. На деле же – слепой не замечает: руки у обеих спецслужб по локоть в крови. В большом государстве правит большое зло!

ГРУ заявило, что оно – во имя целой и неделимой Евразии русскоязычной. СВР – за *национальные* государства на Совка территории: так, мол, лучше всем – и русским, и нерусским, – интеллигентнее!.. Но обеим в равной степени на руку *война*. Одной службе – затяжная и свирепая (чтобы потрафить ВПК), другой – в виде спецоперации (Бендеры правобережные должны по замыслу *внешних* отойти к Молдове, как до пакта Риббентропа-Молотова). Обе под сурдинку конкурируют – война все спишет. Вопиющее: автоколонна с двумя сотнями бойцов, спешащая на помощь в исполком осажденный, расстреляна *своими!* А Гражданка Война вещала с «Листка»: «Роковое стечение. И не такое случается!..» Получала медаль и приглашение в бункер, пропахший кирзой и спиртянским, на бал...

И вот лапотники геополитические (с циркулями и в лаптях) выясняют отношения, а обыватель стелется сердцами-мозгами-кишками на асфальт, заклиная Небеса явить отмщение: на Кишинев и Тирасполь и, конечно же, на Москву, бедлам спровоцировавшую. Какой из служб поклоняется Гражданка, издающая ныне о полосах шестнадцати газету агитационную, – разве ж важно? Дефилирует с калачом глазурованным вместо фуражки, сияет взором на женщин и мужчин, санкционируя противоречия скопом: психологические и гендерные, – «так, *как решат,* – не ты, не я и не мы с тобой, а *они*!..» Участвует и в телешоу на канале местном.

«Нина Сергеевна и Света Максимова»

Долго думали-гадали начальники из ведомства профильного, как монополизацию личности коллективной бендерчан на теме войны развенчать – высока у них планка значимости собственной в становлении Республики и требовательность к Тирасполю... Случай помог: ничтожный, казалось бы, репортаж по TV из суда в блоке новостном. Одна женщина пожилая, в очках темных, делая пасы плавно-размытые в сторону судьи, вещала: «Посмотрите на меня, как я могла нанести ей увечья? Не в стиле моем. Каждое утро я на мир медитирую у реки...» Ей не давала закончить потерпевшая – известная активистка и «Днестра надзирательница»: «Она, она, товарищ судья, – повалила меня у пристани и била... Ногами в голову и в грудь...» Электроника

(переоснащение кардинальное в Приднестровье коснулось лишь отрасли телевидения, тоже, по иронии, «Шериф») рейтинг сюжета небывалый зафиксировала. Коленкор, когда в Москве «за стеклом» плоскодонки младые ураганят. А на Днестре матроны почтенные в трынте кулачной... за сердце йога старого!..

Правительство не поскупилось, режиссера-сценариста выписало из Первопрестольной. Разбирательство приняло размах за новыми обстоятельствами. Заинтересовали клоунесс или застращали, но вспыхнуло шоу звездой. Конфликт вдовиц двух углубился.

– Максимова оступилась, сходя с мостков! – в ежедневном рекламном ролике стучится к зрителю «подсудимая», бия себя в грудь. Рухнув на сваю, она повернулась на живот, стала корячиться-подбирать зад свой толстый – Нина Сергеевна копирует движения «потерпевшей», – было б грех не пнуть ее разок... но я, интеллигентка, удержалась!..

– У меня все тело в синяках. Меня врач освидетельствовал... – «потерпевшая» Максимова в ответ.

– Ты лишаи на ляжках за синяки выдавала! Ваша честь, клянусь: она даже в жару на пляже из трико не разоблачается... И в сауне обернется в простыню по брови и сидит – мумия, шахидка! Это я – жертва!

Обыватель на сии реплики истошные, бросая дела, к экрану льнет – в эпоху кризиса темы антимолдавской. А тут: подачу лови! Два города лбами! «Внимание-внимание, уважаемые приднестровцы и гости Республики! Вновь на ринге: знаменитая тираспольчанка против знаменитой бендерчанки!..»

Героини явили суть актерскую, хватая на лету требования режиссера, обогащая съемку очередную изысками ниже пояса.

– Ну, «Днестра надзирательница», ты нашла мне кавалера? – отбивает раунд дня «обвиняемая» каблучком у стойки своей.

– Черная вдова, кто позарится на такую? – и без репетиций.

– У меня был муж единственный. Я все глаза проплакала, когда потеряла его в 1992-ом. На нервной почве у меня опущение века – каждое утро я пальцами разжимаю глаз... Мне нужен ботекс...

– Ваш муж участвовал в конфликте вооруженном с Молдовой? – интересуется судья.

– Нет, он болел. Но шли бои и «скорая помощь» не приезжала...

– Мех красил: шапки шил и за норку выдавал, прохиндей! – Света Максимова взвивается. – И ни минуты она не была ему верна... Хвостом крутила... Еще во время войны с йогом...

– Это ты с любым готова... по себе и судишь!.. – краснеет, как рак, Нина Сергеевна. – Дайте воды! И вообще, я в туалет хочу...

Режиссер Кирилл в кепи стопорит мотор. Пока Нина Сергеевна, с катушек съезжая, оправляется за кадром, он орет на группы под-

держки в «зале суда»: «Я торчу! На вас вся ваша республика смотрит плюс Молдова суверенная и область Одесская, а вы спать собрались? Свидетель Ершова, твою соседку снова бьют! Как следует реагировать?.. Отец Василий, и тебе нечего преподать аудитории?.. Господин Батогов, а разве Максимова – не сослуживица бывшая ваша по цеху сборному-оборонному!..»

– Так есть. Света служила технологом под моим началом. Активная, исполнительная, грамоты имела... – вещал Батогов с выправкой чеканно. – Ветеран труда. Садово-огородническое товарищество на русле Днестра возглавляла! К пятилетию Республики квартирой награждена в Тирасполе.

Нина Сергеевна успешно возвратилась, подправила грим.

– Я, представитель власти духовной, возмущен подсудимой! – заголосил поп Василий с места, и камера «наехала» на него. – Какие такие «медитации на мир»! Что позволяешь, бестия?! Иисус преподал о девах разумных и неразумных... а ты – вдова... тьфу...

– Товарищи, вырвем жало ненависти из этой злодейки, бандеровки-*бендеровки!..* – поддержала тираспольчанка Ершова.

И тому подобное. И пускай уже позабыли зрители и актеры, из-за чего сыр-бор; Нина Сергеевна и Света Максимова жаждут съемок, жаждут соответствовать формату ожидания зрительского, даже и в худшей ипостаси своей... А в конце сюжета-десятиминутки – спонсоры: бутики одежды, салоны красоты, аптеки... И так всякий день. Обыватель обращен в смех горький. Реальность псевдо!

Каждый руку приложил

В школе у Алеши возникли проблемы. Его ничтоже сумняшеся – и ученики, и учителя – заклеймили в эдакие *либералисты* (чуть ли не в либерасты!) А директор, дама-статс, будто указку проглотившая и с дулей вместо лица, обещала, что снимет не только тринадцатую, но и три шкуры. Как и ее, директора, взыщут на совещании из разведки (военной или внешней), призванной стеречь Республику на Днестре со статусом законсервированным...

Явившись на урок, Алексей обнаружил, что ученички притихли. Его класс – девятый. И ведь по-прежнему добрая треть отсутствует (иммунитет слабый, недоедание, вещей носильных нет), зато сердитые самые не сводят глаз с него, интригуют. Не справлял именин, угощать пирогом по отмашке старосты его не собирались, так что причина затишья едкого в другом. Принялся ситуацию на ус мотать: «Тираны мои извечные, ожидающие от меня не только промаха, но и вдрызг падения с пьедестала!..»

Выставил шар и куб на треногу у доски, светотени обозначив,

отошел – композицией проникнуться. И тут ему *это* подсказал чей-то взгляд направленный. И Алеша сорокалетний (тогда ему было сорок) внимал, – потрясен выдачей материала на-гора! И допроса не учинил: чьих рук дело?! Над доской в месте бытования лозунгов, как-то: «ПМР – наша гордость и честь!» или: «ПМР – путь к прогрессу!», – сияло угольком по известке стены иное откровение, агрессивное (в транскрипции троебуквицы, анекдотической и вещей!): «ПМР: ПОПОВСКО-МЕНТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА!»

Сделал вид, что не заметил; хотя не заметить было нельзя! И, рассуждая об «объемах», ставил каждому – «пятерку» в журнал.

Это вывело его в диссиденты. Другие классы раскричались, не затаились изыскано всем миром, – до обнаружения директором исполненной сиянием надписи. Ведь и учителя иные все больше пекутся: ох, не погнали бы к баку мусорному на рацион, – и поддержали волну: «Гудронко, испоганив ведомость своим ‘отлично’, выразил отношение к ЧП!» – твердили на педсовете, что инспектировал в штатском из разведки городской.

Оставили работать – ополченца недопогибшего. Условие: «Вытравить рейсфедером буквицы и уголь контрреволюционный проглотить!» – как настаивала директриса, расхорохорившись перед советником тайным... Миновала чаша, все рванули смотреть самое популярное в Приднестровье телешоу с Ниной Сергеевной и Светой Максимовой – и ученики, и педагоги, и директриса, и даже человек из разведки (военной или внешней). Конечно-с, ведь псевдо противостояние мастодонтов ПМР – Бендер и Тирасполя – в форме сублимированной «боев без правил», отвечает запросу спайки Республики больше, нежели *отрицание* сути ее, сокрытой в троебуквице... Но кто же надписи содеятель? Бытует мнение, что весь класс участвовал в художестве – по количеству учеников было во фразе-манифесте и букв. Каждый руку приложил, с чувством и осознанием исполнил долг свой.

Гамлет. Фотовыставка

А вот еще образец человека нового и культуры практика, Слова и Дела преломления. (В отличие от Алеши, который *в себе* и восстает – на *внешнее объективное,* разгул слепой воли, где не жди целесообразности, где царство слез и обид. Случай с надписью – потакание восторженное. Алеша не находит действительность опрокинуть; смиряется со злом.) Кацюков – фотограф и однокашник Гудронко, проживающий в эпицентре на Комсомольской, – умозрительности доводящий до *проявленного*. Он стремится к злу незнакомому, потому бодрее и устойчивей многих творцов от культуры и от пряника-кнута. (Несмотря на разочарований камнепад...)

Несколько лет он был одержим фотовыставкой шедевральной: «ПМР. Приднестровье Молодое Раком». И Алеша уступил у окна суперпозицию: фиксировал друг со штатива явь у бака мусорного. В общем, перефразируя классика, *зло незнакомое* настолько Сергея притянуло, что и не заметил, как стал игрушкой в дланях вымысла... Итак, собрание гениальное сотен фотоснимков.

«Завтрак аристократа». Существо в пиджаке склоняется над баком мусорным. Лицо поношено. (Все они, отребье, на вид старики!) Рука в манжете с запонкой янтарной тянет в рот кожурку склизкую. В другой – бутылка пива; потоки обрамляют губы, каплют на лацканы пиджака, когда-то дорогого очень...

«Апорт, еще апорт!» Пигалица-человек: то ли женщина, то ли мужчина в сэконд-хэнде безвременном, с капюшоном на глазах – извечный чибис скорбный над помойкой культур «зла знакомого» – делится съестным из бака с животным преданным: собачонка, из шерсти вон, на задних лапках...

«Опять двойка!» Мужичок с ноготок, вровень контейнеру, в полушубке, шапка в рукаве, под мышкой портфель; понурил голову перед майором милиции. «Еще раз тут увижу, и ты – труп!»

«На привале». Три «везунчика» бахвалятся трофеями. Мужчины в кожаных куртках; женщина – в модных сапогах и в шубке. Лица у всех зафингалены. Рядом с каждым – тележки груженые; у дамы чемодан на колесиках... Находки дня: абажур, корпус от телевизора, стеклотара, одеяло лоскутное...

«Гнездо Глухаря». В кроне дерева раскидистого устроен помост, на котором свит шалаш, веревочная лесенка тянется в небеса... Домковчег *пэмээровца нового*.

«Вилла Савойи». Еще пристанище *пэмээровца нового*: коробка картонная под мостом через Днестр; на откосе бетонном разложена одежда; рядом человек голый свернулся в калач...

Художник запечатлел и вестников «добра нового».

«Царевна Лебедь». Юная совсем монашка. Вся в черном. Глаза открыты широко. По-детски губы припухшие, пушок на щеках...

«Смена!» Ватага подростков очарованных в хаки: солдатские берцы, кепочки пятнистые, котомки, – мчат на сборы...

«Над вечным простором!» Широкая Днестра панорама о два берега. На одном – пляжники улыбчивые, пестрые нежатся на песке; на другом – ежи противотанковые, проволокой колючей увитые, столб пограничный «ПМР»; под столбом группка солдат при снаряжении: зрят жадно в бинокли – на Европу...

Сшибка-контраст в серии «тех» и «этих», «старых» и «новых», разверзали осмысления горизонт. И спонсор нашелся (шедевр торит

и заступ в реальность) – с желанием ожесточенным на сенсацию, с пиар-поддержкой, с выходами на залы Молдовы. Дело ясное, экспозиция должна состояться, судя по названию, в стороне, обиженной сепаратизмом. (Но героя-мастера волновать не должно *где* – хоть на бороде.) Не пугала и в Приднестровье реакция – а тут без жертв не обошлось б, вплоть до исключения из союза профильного, без участия в котором перекрыт творцу вентиль в укладе поповско-ментовском. Так Сергей был поглощен «злом незнакомым», забыв, что со «знакомым» будешь лишь трусом слыть и увядать, как все – с решимостью вящей в бесплодии тупика умственного... Жаждал доказать, что болеть умозрительным за портьерой пыльной не имеет смысла. Ты существуешь, воздействуя на мир! И пусть протест обернется тебе во вред; главное, не корить себя, что заигрывал со «злом знакомым»: нужно стремиться к «незнакомому»!

С этими мыслями гамлетовскими Сергей трудился над серией в тайне от ментов и попов, даже от коллег, которые годились (не все) в осведомители ментов и попов. Когда процесс был в разгаре: и оригиналы вправлены в паспорту белые, доставлены в Кишинев, и зал забронирован, и журналисты держали пресс-релиз, дабы пустить в издания, – нужна была еще резолюция известная, формальность.

Но!! – службисты молдавские *явили* себя. Не принимая «знакомое зло» и не углубляясь в «незнакомое», – шли на поводу уклада поповско-ментовского. Кацюков плакал и смеялся, смеялся и плакал, рассказывая Алексею эпизод общения с «добром новым»... Казалось бы, вот вам, вершители в инстанции, взирающие на анклав мятежный с ухмылкой, предлог «известный злой» палки в колеса задвинуть негодяям, чтобы справедливость восторжествовала историческая, – материал горячий: крупный, средний и общий план, изобличающий *иноправление* на территории суверенной. Оружие высокоточное – по угребающим в векторе Империи! И фотограф, уроженец коренной, идет на подвиг – во имя торжества *эмпирий* – отнюдь не псевдо!!

Большое «НО» «зла знакомого» – в «незнакомом»! Ведомство тайное *прореагировало* после вручения с конвертом (полагается во «зле знакомом») копий экспонатов на носителе электронном. «Художество сие мы не будем попускать, – *они* Конторой всей к соискателю. – Выставка интересна, но режим сепаратистский по Днестру не должен быть представляем типажом подобным. Иначе чем он нам угрожает, если не в состоянии накормить голодных своих? А ведь мы твердим: во всех бедах виноваты сепаратисты-захребетники – отобрали промышленность и землю... Скорее уж *наша* молодежь тусуется у баков смрадных, а *ваша* – жирует!»

Кацюков получил удар по центрам высшим и низшим натуры

своей героической. Но не умер. Темперамент лишь пошатнулся: не ищет коммуникации художественной со злом «незнакомым», не требует ни Истины, ни Красоты, ни изменения буден колорита!

Страшная вонь

Меняют в доме канализацию. Месяц назад сдавали Володьке деньги. С канализацией, кстати, проблемы повсеместно. Исключая главный город стагнирующих по Днестру, где и происходит движуха коммунальная. Министерства новообразованные *требуют,* чиновники восседают, секретарши подносят кофе... Офисов иерархия оставила без ремонта инфраструктуру единиц подведомственных. Тирасполь цветет и пахнет, а Бендеры (откуда прозревает Алеша в эфир с мира картинами) хиреет и... воняет! К коллектору не подступались с чисткой лет сорок.

Раньше думали, что малодушная соседка восьмидесятилетняя со второго сбрасывает мешочки с калом на тротуар, где стремят шаг стражи законности и порядка (а навстречу попы, как жуки в летящих сутанах скорлупчатых и с яиц кладками в чемоданах). У нее, ишь, унитаз прохудился. Да и с придурью она. Ментов не впустила, что оценить поломку явились. Присмотрелись, а «сюрпризов» след простыл, в целлофане с бантиком, которые бросала до претензии комитета домового. Откуда ж вонь? Даже если кал разбавлять водой через раковину, или в бак утилизировать мусорный, где Племя Молодое Раскатное в поиске наперебой, можно б и забыть; – но вонь?! Старица подслеповатая больше тротуар не метила, к вонище, затмившей окрестности, причинности не имела. Одуванчик божий. Гудронко не раз слышал ее сетования из окна слабосильные на ментов и попов («Пресвятая Богородица, спаси и сохрани от хватов и татей...»), – и только... А виноваты, как выяснилось, – все мы, без исключения.

Мы, квартирособственники, после установки счетчиков льем в день по ложке чайной: пол-ложки – и вот мы уже ванну приняли; четверть ложки – побрились; еще капелюша – почистили зубы... Трубы исходят слизью, никакого напора не хватит всю нашу топь телесную спустить долой. (А что говорить о семьях, в парашу одну оправляющихся, ввечеру смывая?) И завонялись – со всеми этими навороченными к учету приборами, – чтобы в поле едином обстания и сознания пробавлялись, разумели б друг друга *без слов!* ГУЛаг.

И улицы городов завонялись. Очистные сооружения пересохли. Войдешь с мочалкой в реку, тут как тут патруль, и в чем мать родила доставит в отдел: не будь хитрым самым... В Молдове конституционной не меньше смердит, и там Кишинев выел все соки финансовые городов и сел. ГУЛаг.

В жару великую лета 92-го, будучи сплошь в ущербе, людишки разили меньше. (Это оттого, наверное, что у мыслей наших есть запах, и война вполне способна тлетворность сию развеять.) Ужель: оружию ура?! Сосед с пятого этажа, Хребтищев, бородач бесштанный семидесятилетний, то ли секстант-йог, то ли судьбой обиженный итээровец в услужении ВПК, режет в разговоре: *масоны!!* Алеша про масонов не горазд, а про попов-ментов – в самый раз: они, родные, виноваты, что мысли приняли удушливый (не продохнуть!) фон.

– Все так, – почесывает подмышки Хребтищев у ящика почтового за выемкой жировки. – Масоны!

– Масоны?! – злится Гудронко. – В Тирасполе вони нет, а у нас – что святых выноси! Хм...

– Масоны расчертили сектора, – свивает в трубочку квитки Хребтищев; чертит ими в воздухе восьмерки. – Для всех!

– Все решает ВПК, – пробует Гудронко выбраться из сетей. – Укладу этому отдали честь в ГБ: насадили ментов с попами...

– Верно, – щерит рот беззубый Хребтищев. – Наблюдают.

– Причем же здесь масоны?

– Масоны наблюдают за наблюдателями, – пускается старче по накатанной. – У них в голове *они* сидят и ими же понукают...

– Так вы – *аллегорически?*

– Все по Павлову-Сеченову! Высшая деятельность нервная... Часть клеток и их окончаний... образы зримые и вербальные – занимают в головах объем, количественно и качественно...

– Допустим, – в школяра обращается Гудронко: – Ну и?

– Образы тасуют физику мира! – не спускает лукавец древний. – Часть клеток уж *не абстрактно* выстраивают в мозгу *вертикаль*. И становишься сам, ухватив идеалы бродячие...

– Глупости! – негодует Гудронко. – Они на газе руки греют. Если б масонами были эти ребята с сердцем пламенным и башкой холодной...

– Вам меня не переиграть! – подбоченивается йог, ворочая мускулами живота усиленно (зрелище не для эстетов). И айда на этаж свой. – В следующий раз попробуйте... А сейчас: к телевизору. Там курочки мои ненаглядные: Нина *Эс* и Света *Эм*! – кричит сверху.

Голое содержание (Откуда есть пошла Гражданка Война)

Как йог Хребтищев несет в себе тайну суровей и значительней, нежели может вместить поп Василий, простак-человек. Во время войны выполняли миссию: поп окормлял, а йог – медитировал *на мир*. У Хребтищева убежденность, что во всем виноваты масоны; а у попа – Запад. Позиции сходные, включая факт, что в Церкви доморощенной сто лет назад масонов было хоть отбавляй, но инициативу-инициацию

перехватили люди в погонах, без них тут никуда, без муштры и окриков командных... На евразийство попа Хребтищев смеется в бороду-усы. «Масонство, – заявляет, – лишь душком приправленное ментовским!» В ответ поп вскидывает свою бороду: «Окстись, бес малохольный, тебе ли, босоногому и в трусах, поучать мужей благородных, – сам в масонстве завяз, что улитка в репейнике днестровском! Какие такие ‘медитации’, ‘знание изначальное’? Дух-Атман – без Бога?..» В общем, бодаться им было за что. Когда встречаются во дворе, йог и льет ушат на оппонента: «Движение к Богу – гностицизм!.. Дух, батюшка, кхе-кхе, непостижим, потому что *не постигает!..* Дух, святоша липовый, неразрушим, потому что *не разрушает!..*»

А по правде, они бабу не поделили. Двадцать лет назад. Вернее, баба эта, как колобок (а тогда она пухленькая была), и от волка, и от зайца впрыгнула в смятенное не менее. В лице одного теряла отца, в лице другого – жениха... Хребтищева с детства бежала – еще бы: вся эта на публику экстравагантность – в исподнем по городу, в дождь и в снег, эти солнцу восхваления; а харизма: «эрос невозможного», с «зарядом-потенциалом» на женщин всех возрастов?.. (Чего стоят регулярные теле-бои без правил ярых Хребтищева воздыхательниц по сообществу оздоровительному!)

А поп Василий первый свой выпуск готовил с пристрастием. Девочку возлюбил с надрывом-стенанием и... с кокетством в ответ, с «крыши срыванием». Старше был на пятнадцать годков; и по этой причине она куражилась втуне, хотя сама по прошествии лет предпочитала юнцов – Кацюкова, к примеру, из последнего выпуска Шишкина-Руссу; и на Алешу-волосатика заглядывалась... Гражданку Войну йог и священник не поделили.

Яблоко от яблони. Хребтищев, остракизму отца подвергший с извечными его «так полагается», «без комментариев»; и дочь, отрекшаяся отца... В этом ее и его анафема, проклявшего исчадие свое. Тогда она и начала входить в форму – худеть...

Девочка родилась в семье служащих. Но кумиром ее был (и остается) дед – полковник НКВД и директор команды футбольной. Дед с семейством в края сии прибыл на гребне хозяйства народного восстановления после войны – громоздить Совка ойкумену. Брутальная фигура его и возбудила гравитацию. Погоны-звезды-планки; вымпелы-кубки, аншлаги трибун (тело народное в порыве едином – вой болельщиков и взоры к мячу), – все это опора и рычаг, время-пространство подвигающее! По ту сторону – поиски в «непроявленном» расслабленного по жизни отца-интеллигента-подростка вечного...

Девочка в пять лет – само дерзание, стремление к автократии, ее-то, по сути, и недополучает. Ведь если из стеклянного конуса автомата

на лотке под вывеской «Апэ-Воды» каплет в стакан томатный сок, то сок обязан называться «автоматный»! И никаких гвоздей!.. Как символ посвятительный принимает дары от деда-«волхва», вернувшегося с миссией футбольной из Румынии: игрушки – три толстяка: сеньор Помидор, Лимон и Мандарин. Тайное откроется: Помидор – Автоматный Сок – сила власти кроящей («Раз зрелища массовые так неизбежны и любимы, почему бы мячу не быть огненным? и взору болельщиков – вскипающим?! И руки пусть лучше утопают в крови!..»); Лимон – Достаток и Успех; Мандарин – Порядок и Закон. *Она отдалась государству.* Эти сборища одиозные одобряющих начальств синепогонных за круглым столом обеденным иного и не приняли бы от нее!

В 15 лет читала Ницше и анархистов – для опровержения их же, врагов, к оторопи соучеников и руководителя классного (попа будущего), души в ней не чаявшего. В вузе же инженерно-строительном (по дедову настоянию поступила) прозрела: война – друг строителя, строитель – друг государства; стало быть, и война – друг. Камуфлируя выбор, цитировала и символиста: «Неподвижно на огненных розах / Живой алтарь мироздания курится!..» И каждый из студентов перед ней тушевал, и все вместе робели перед беседующей с Войны Богом и, более, начальством верховным (наказом деда: вступить в партию!). Ее взор негодующий словно означал: «Как смеете вы, плебеи, думать иначе?..» Окончив вуз, распределение игнорировала (наказ дедов: из пенатов родных не уезжать!), – осталась в Бендерах. По профессии не работала, стажировалась в органах (опять-таки – связи синепогонные); возглавила «Листок боевой» округа. Утверждалась в среде мужей воинственных, но прорасти в сердце одного не сумела, да и не стремилась.

К тридцати пяти годам мировосприятие Гражданки Война, вся выучка ее, вошли в автоматизм: чело не освещалось ни интонацией, ни словом лишним. Она не мыслила государства, говорящего вне грохота и дыма, и таким образом заставляющего верить в то, что *оно говорит*. И пусть секутся-скачут головы на полях брани – среди них не найдется деду равных. Речь о стойкости государства. Предательство воинов своих, объявление героев изменниками, – оправдано. А гнилая интеллигенция, нигилисты-анархисты, путей открыватели новых, – враги. «Стреляй их!» Главное, чтобы мужало государство. Сталь закаляется в огне, а государство – в зрелище войны! Футбол огненный – в помощь!..

Торжество милитаризма (променад в официозном порядке)

Театр начинается с вешалки. И любая, силящаяся заявить о себе среда, облекается в одежды этики и эстетики. Вот с каким вывертом стилистическим ополченцу апробированному, поборнику «я хочу», в

практике культурной пришлось столкнуться – паспорт переоформляя в день по достижению 45 лет (да, у Алеши юбилей сегодня, и он положил себе это приключение, иначе штраф!).

Улучив, когда Батогов с бригадой спустится в подвал (уже подвезли и сгрудили во дворе трубы), а Хребтищев-йог завязнет пред разворотом утренним теле-шоу, Алеша – из дверей, далее – до бака мусорного и к вязу в три обхвата. У школы на Советской можно б и умерить шаг; но тело не чувствует ног: от кончика носа до лопастей направляющих, он – торпеда, спущенная Володькой Батоговым двадцать лет назад... В мир – оборение себя извечное в реальности плоскостной: в фасадах, скроенных по шнурку, к удовольствию Коменданта – на бастионе. Для догляда окрестностей – и каланча старинная!.. И летишь, локти прижимая к груди, – в траектории строгой: не зацепить бы попа толстого; и ладони-шоры к вискам: не уколоться б о мента взгляд... Вперед-вперед. Мимо Охраны пожарной и Суда, Комитета рабочих, исполкома, увенчанного крестом (наложение перспективы визуальной – Храм бок о бок со зданием администрации!)... Напротив Храма – маршруток остановка.

Путь Алексея – на Варницу, «территорию сопредельную», как называют Молдову в ПМР. Маршрутка уж битком: на гражданского, по уставу, – два попа, три мента, пограничники-охранники... Поехали. Мимо Рынка колхозного и Мельниц ряда крылатого, под рынок вещевой переоборудованных, где интеллигентов души на переплавке томятся (купи, продай, опять купи... подсчитывай и распределяй по размерам и фасонам – и это после вуза или диссертации: ад!!). Мимо Крепости старинной ехали, где в цитадели зарыта шкатулка с иглой – от Сердца комендантского...

– Почем проезд? – Гудронко разглядел в водиле мента.

– Совсем оторвался от жизни? – шеф в фуражке милицейской бурился через зеркальце в салон. – Попы и дети до семи лет – бесплатно! Менты же приравнены к пенсионерам!

– Сдался тебе рубль наш? – отозвался дед в пиджаке и с курицей за пазухой. Ему подхихикнули две студенточки-молдаваночки и старуха беззубая.

– Курочка по зернышку клюет, старый!.. Да и попробуй я с тебя иль иного наблюдателя подпольного, а равно с сослуживца при исполнении, плату за проезд не взять, сразу и обвинение – в схеме коррупционной!.. – подмигивает коллегам в зеркальце, которые сомнений в «шефе» не числят, знают: товарищ на подработке, а вечером в наряд пойдет улицы шерстить.

– А это почему ж в схеме-то коррупционной? Как? – спросил поп напыщенно; уж не без них дискутируют нынче.

– Вот было дело у меня в разработке, вчера огласили приговор! – подправляет водила заправски микрофон. – Один частник-лошара подвез из сострадания школьницу – бесплатно. А потом эта девочка-ромашка обвинила его в домогательстве. В общем, припаяли мужику... Вывод: не фиг клиентуру у госкомпании перехватывать. Только под патронажем водителей при погонах вам гарантировано соблюдение прав и свобод... Кха-ха-ха-ха!..

– ...Возьмите за проезд!

– Оставь при себе рублики свои!.. Тебе фортуна улыбнулась – назначаю льготником! Вспомнил тебя, паря, – ведь ты убил пятерых в окопе вражеском в лето 92-го!.. Так держать!!

Алеша вымахнул из маршрутки. Ох, укачало его, укачало от мента говорливого... На границе Бендер вышел. Где-то рядом и блокпост. Уживаются здесь и таможня приднестровская, и молдавский полицейский контингент, и российский миротворческий. Предъявил паспорт – сегодня в действии еще!

Варница – местечко, воспетое Пушкиным в «Полтаве». И вот, вслед за пиитом всех времен и народов Алеша прозревает: *Бендер пустынные раскаты... останки разоренной сени – три углубленные в земле и мхом поросшие ступени гласят о шведском короле...* Тут огород, где мотыжит землю сельчанин седой, – точка притяжения делегаций из страны социализма победившего не псевдо. Впритирку к наделу *со ступенями историческими* дыбится и здание, взявшее на себя функции учета населения Приднестровья. Сюда спешат вне градуса убеждений политических документы переоформить: на имущество, на брак, рождение и смерть. Бумаги обитателей анклава должны быть писаны в приднестровских, а потом в молдавских органах. Прессинг двойной – из печатей, подписей и заверенных нотариально переводов.

Выждал очередь на обмен удостоверения личности. Девушка-клерк вносит в компьютер сведения, общается по-русски, никаких разногласий тебе межъязыковых. Но вот оказия – требует, помимо метрики, справок из ЖЭКа, еще и билет военный. Гудронко не поверил ушам: военкомат под юрисдикцией ПМР – вражеская (судя по войне 1992-го) структура, – плеваться б на эту им красную в коленкоре книжицу, отшатнуться от исчадия; ан, нет, требуют! – и прилежно маникюром о столешницу скуку скребут. На стопор заявителя отвечают с улыбкой экономной: «Обратитесь к начальнику отделения!..»

Хорошо, что военный билет Алеша захватил – на всякий пожарный, – процесс пошел. Но к начальнику заглянул. И тот в вопросе не находил подковырки; с оскалом белозубым, дрессировщик, вхожий ко львам:

– Мужчина обязан быть приписан к участку, вне зависимости от того, на чьей стороне возьмет оружие в час урочный

– Но это ж угрожает *вашей* целостности? – усиливал Алеша очевидное совка последствие: недомыслие чиновничье. – Вы нас, приднестровцев, заставляете регистрироваться в ведомстве, что обяжет в вас и направить дула автоматов?!

– С волками жить – по-волчьи выть! – взбросил начальничек бровь (явно не тик). – И еще вопрос: кто и с кем *тут* будет воевать!! – Алексей будто и не понял («свой» среди «чужих»?), чиновник продолжил: – У нас нет средств и на военный комиссариат, как значится полиция – бок о бок с милицией...

В этот момент по телевизору (он работал в углу в кабинете) Нина Сергеевна и Света Максимова вновь схлестнулись. «Ваша честь, прошу приурочить к делу справки! – веером распускала «обвиняемая» бумаги, подавая судье. – У меня страшный диагноз! Мне нужен ботекс!..» Судья долго пялилась: «Здесь по-румынски все. Принесите перевод!» – «Это латынь! В медицине нет иного языка!» – «Она за своим ботексом весь мир исколесила! Агентка иностранная! – наступала, желая конфуз судьи умягчить, «потерпевшая». – У нее в Лос-Анджелесе за стенкой Николь Кидман в апартаментах. Ананасы в руку, терраса с видом на океан!» – «Что ж, если я у детей раз в Америке побывала, вешать на меня всех собак убитых?.. А у Максимовой, ваша честь, – гражданство и Белоруссии, и Украины, это помимо гражданства ПМР. Жопой толстой она расселась: одна ягодица – на Нёмане, а другая – на Днепре! Пенсия и в Минске, и в Днепропетровске; а на Днестре зарплата гидролога...» – «Дура, дура, дура!.. Ох, на полиграф бы тебя!..»

В момент прений насчет гражданства – хоть марсианское, ни в коем случае не молдавское (установка незыблемая продюсера), – начальник стола паспортного уши навострил. И – расхохотался:

– Надо же, что творят фрики ваши, – вытирал он слезы. – А ведь *обе* – молдавские граждане; и военный билет предоставили. Одна приписана к понтонным войскам, вторая – к войскам связи...

Чиновник государства псевдо национального щерился, диффузный, на Алешу. Тот улыбнулся – оскалом пришибленным (и уж о нем *тут* знали, как пить дать, – о его неоспоримом военном); пошел прочь. Обратился к очереди: «Военный билет не забыли?» – «Никак нет!» – знакомцы шапочные не выказали удивления на контент: мало того, что в Приднестровье ни шагу ступить без билета, так еще *эти* требуют?.. Милитаризм торжествует! Как сумасшедший с бритвою в руке!..

Возвращался Алеша пеше из предместья, где двести лет назад

Пушкин бродил *среди могил воинственных* и стучался ему в мозг замысел «Полтавы». По магистралям, вскипая сердцем, где двадцать лет назад бои гремели. По обе стороны баррикад состав этнический был смешан. У Кишинева много офицеров из русских, выполняющих *мужской долг*; на приднестровской – молдаване среди состава рядового. Пушкину и его братьям прогрессивным и в страшном сне не снилось!.. Совок!!

...Вот здесь на рельсах женщины задами своими блокировали сообщение между Кишиневом и Москвой... У шлагбаума на переезде с момента действий боевых вояки местные поток беженцев прочесывали. Мужчин до шестидесяти не выпускали из зоны, угрожая расстрелом на глазах домочадцев. Выволакивали из автобусов и личных авто несогласных самопровозглашаться... От хватов недремлющих увертывались под юбкой бабы сердобольной, среди тюков и кастрюль. Взгляд въедливый оставался удовлетворенным бездыханностью мертвящей очертаний в салоне: куда-то подтискивалась и голова... в подмышку... стоящий насмерть монолит домостроевский *в жесте изощрившийся* (покруче кукиша будет!), что и сулило исход. Вскоре возвращались мужички. Невмоготу скитаться по ошметкам некогда страны единой. Возвращались в ужас войны, отождествляясь с ним!.. Эстетика и этика «милитаризма просвещенного» околдовала – под боком у Европы! Не выберешься без жертв новых!

Начало

На третьи сутки, когда утихли к полудню выстрелы, Батогов за шкирку потащил Алешу из подвала, где укрывались от фугаса обитатели хрущебы – и срали, и ссали, и желчью блевали. Дому на Комсомольской «повезло»: казаки зачищали округу от снайперов, взялись за квадрат важности в системе центра: здание милиции – Храм православный! – и доложили Володьке диспозицию... Никто ж ничего не понимал, проглядывая в щели смотровые на бегущие и срезаемые тела в камуфляже и без... Животных тоже месило. У тогдашнего домкома, майора отставного, значился в любимцах питбуль, терроризировал по двору котов и голубей, – осколками мины в фарш, рядом с теми, за кем и гонялся.

Володька на бронетранспортере укатил в исполком донести по ранжиру *информацию.* А Гудронко с казачками перебежками – к Комитету рабочему, куда добровольцы сгонялись для протекания войны в формате. Контролировалось все штабами диффузными, – мухе не пролететь безнадзорно над головами враждующих. *Некто* умудренный сидел очкасто над схваткой, режиссировал кибер-атаки. Пешки же прекраснодушные гремели усами и «железяками Калашникова» (саб-

лями тоже гремели), орденами и медалями других точек горячих; и глаза их гремели в отсветах сумасшедших Солнца и Луны...

И местным мнилось в унисон – греметь. Но что-то происходило с бедолагами: автомат заклинивало и, наоборот, – начинал стрелять сам по себе. Погибали, не вкусив «контакта», будто заговорены *не применять оружие*. И с противоборцами молдавскими казусы. Полицейский на глазах сослуживцев стал отекать, вздулись руки и ноги, умирал непонятно, мучительно. Не знал, что очередью прошил сродника по материнской линии на стороне другой. Кровь брата отравляла. Не защитили по обычаю древнему, и повязки белые на касках и рукавах (у убитого испрашивалось, чтобы *не мстил:* черное – траур, а вот белое – индульгенция за кровь). Не задумываясь, против кого и чего (здесь жили *некомпактно*, в отличие от прочих точек горячих!), в город вошла армия необученная. Им отвечали такие же – стрелявшие по всему, что шевелится...

Всецело по инициативе частной (муниципальные службы не функционировали) предавались земле погибшие. Доброхот с трактором свозил трупы в могилу общую на кладбище, пересекая под свист пуль блокпосты. Молва сложила легенды: Ангел Смерти с трубою громогласной очерчивал кварталы городские, подбирая «избранных» в День гнева на борт... Доставлял трупы и к дымящим солярой рефрижераторам, перевозящим в недавнем фрукты-овощи. Кого-то размораживали, ждали, когда сойдет слякоть, потом опять – *в креаген*, если не приходили к идентификации. Родственники искали пропавших, и понятно: *что* с «пропавшими» под напором сменяющих сред активных... «Ладьей Харона» окрестили газеты тыловые тот мини-трактор, на котором перевозились убиенные с виной или без (в хаки армейском – виновен: вовлек себя в игры милитаристские). А рулевому вручена награда президента ПМР...

Итак, ополченцы угребали по стопам казачков. Они их всему учили. Как сложить голову ни за понюх табака. Уважаемые импероопровожатые.

Эти его пять!

В ста метрах от полосы нейтральной залегли. И убитые тоже – на полосе. Жара. Убитые разлагались. (Не та в них стать, что врезалась в память, когда затерялся школяром в катакомбах Киево-Печерских. И стрекот в ушах автоматный – антитеза перьев писчих скрипу...) Вдруг все в окопах рокот трактора услышали; по кузова дребезжанию ясно: порожняком Харон. *Сюда!* К Комитету рабочих. Навострились, отхлебывая спирт и махру куря за мешками с песком, – развлечение, как-никак... Харон подъедет к полосе, а там и рукой

подать до окопавшихся по асфальту молдаван. Застройка городская едва скрывала *«играющих в Зарницу»,* являя их – пехотинцев и империи псевдо, и независимости национальной псевдо, – *до того*, как на движуху решатся... Алеша еще не убил ни одного с белой повязкой, хотя участвовал в перестрелках для долженствования, для ража. Понимал, что придется *изведать*. Останется ли сам в живых?

– Где он соляру берет? – донеслось из окопа слева, в котором укрывался Степан, такой же доброволец; его убьют через два дня. – На базе российской?

– Это вряд ли, бля... – голос принадлежал казачку Егору из Рязани, его прооперируют через час, будет жить. – Армия хранит нейтралитет. Корректировщики обходят периметр ее...

– А чего ему, больше других надо? – вопросил пьяненько кто-то из отдаленного участка обороны.

– Человек-аккуратист. Если не он – мы б задохнулись, бля!..

Гудронко в окопчике своем умозрел молча. Наташа Ростова происхождения литературного *балом* грезила; и Алексей о сермяжном – с затаением хмурым – *о первом*. Гадал, из каких *будет* (*был*, но пока еще *есть!*) – с севера, с юга, из центра?.. Студентом на практике живописной Гудронко изъездил Молдавию вдоль и поперек; какую ж часть этого коллективного человека от земли, с присущими ей ландшафтом (степь, дубравы реликтовые, Кодры, Карпат предгорья), занятием (овощеводство, овцеводство, виноградарство), костюмом и традицией (танцы-песни-сказы), раздерет он «железякой Калашникова»? С пулями ворвутся в молдавана кряжистого, иссекая кожу загорелую, эти его, Алексея, вихри психоделические – на мгновение в вечность распахнутое. Сольются. Законник-молдаванин *увлечет* сепаратиста в сферы: свободно взмоют, вальсируя... Потом материя отомрет, и складка на лбу суровая солдата расправится... Такой бал – с экстазом, со скрежетом зубовным... На загляденье то Будущее, *на крови*, – вот *о чем* Гудронко, разумея снайпера вездесущего. И кружил мыслью, кружил...

Харон додребезжал до нейтралки. У выкошенного огнем киоска газетного принялся сгребать погибших; в ход шла и лебедка. Трудился *аккуратист* в перчатках и респираторе: будто хворост грузил. Спецовка и мини-кузов – оранжевые – читались на солнце ядовито-задымленном, как на площадке съемочной; здесь и Баха фуги в пантомиме неподражаемой. От работника багра исходило нечто мессианское-марсианское. Сверхгеополитическое.

– Его колбасит от работенки! – донеслось визгливое действу потакание выпускника школьного из двора соседнего; его убьют *прямо сейчас*. – Всем за брата: и вашим, и нашим...

И свершилось. То, что с биением в висках Алеша несет. Расчер-

тилось: «до» и «после». (Комбатант с манерами интеллигентскими, лицо в портьеру сгребающий.) Пулей снайперской убит товарищ младший боевой, что высказался о занятости Харона: «И вашим, и нашим!..» Мешок подправлял, дабы обзор улучшить, – раскрылся. Часть черепа угодила в щель земляную Гудронко. Он взял в руки предмет – *прозрел*. Интуитивист не мог иного, кроме как поднять состояние своей – *его* – беспомощности: полусферу-темя с мозга остатком пульсирующим – над головой, осознающей и страдающей, *живой;* и выскочить из окопа; и побежать в сторону ладьи Харона; и далее, к ретраншементам, к *тем*, кого заставили и его натуру рефлексирующую *воспринимать*.

Позже выяснилось: паренек убит с верхотуры дальней – Силой третьей. У молдаван, как и у пэмээровцев, не значилось и в помине винтовок сих. Но тогда Алексей бежал и кричал, ничего не смысля в логике войны тайной, презрев все логики и правды гибридные. Нес факел устремлений, чашу *его*-своей жизни, – «взять» барьер в созвездии *гончих псов имперских псевдо* желая! Автомат бился за плечом; о нем и не помышлял. И вот перед ним врага укрепления (тех, кого обозначили – враг), такие же наспех по асфальту вздернутому окопчики, обнесенные мешками, – на удалении равном от печати киоска, что в осады дни пограничьем будет.

Несчастные! Даже не шарили курки суматошно. Щурились на безумца в клешах джинсовых и в майке с надписью «ROCK-92», волосатика с полусферой, хлещущей через край; *даже* выстрела снайперского не слышали. «Зарница» никудышная... Их было четверо – в двух рытвинах. Тянули вино из канистр, закусывали мамалыгой, – в отличие от приверженцев спирта казачьего, краюхи черствой; ждали – как и по ту сторону: *у моря погоды...*

Опешили. На нем ведь и автомат в анфас не заметен – только чаша с мозгами (гранаты по карманам). Вроде бы и не собирался их убивать, только претензии выразить: *на смерть товарища*. И они *это* понимали: вид свисающих с чаши извилин, забранных в подобие ореха расщелкнутого, говорил за себя. Кто-то закашлял, подавившись куском, а кто-то и сам стал кричать-клокотать, чтобы к своим убирался, не положено ему *здесь*. Но Алексей уж затылком зрел казачков, что мчали, гремя усами-чубами, хлеще очередей огневых отбивая в такт. Рефлекс общности заставил и Гудронко выполнить войны долженствование. Метнул все: чашу кровавую с волосами прически, баклагу спирта, связку гранат и три чеки, желая освободиться от нош и, взревев, взмыть – факелом – бросил все во врага. И тут же был лебедкой Харона, словно снастью уловлен и утянут, уже после разрыва в окопчиках, заставившего узреть содрогание утробное, а

может и до, – оттащил его Харон. Сейчас по-другому связи темпоральные восстают – по прошествии лет, – пунктирно и в линиях. Как на черчения уроке.

Харон оттаскивал Алешу, погоняя по асфальту израненному. В кузове обретались мертвые с чревами разверзшимися, а сбоку живой влачился – с сознанием разрозненным (и мертвые, и живой суть залегли в безумии чадящем, весточки ожидая из мира *реалий не псевдо*). Гудронко держался за лебедки привод, вставая и падая *по ходу*. Что в памяти сохранил: в стекле кабины проточину медленную в нимбе трещин мельчайших... Справа бежали, гигикая, казачки, Харона прикрывая отступление... Третья сила молчала сыто... Все опять по абрису устаканивалось. Молдаване и не думали сдавать позицию...

Он убил пятерых, как потом твердили начальники усатые, да и Харон кивал утвердительно, не выпуская баранку. Хотя видит до сих пор четырех, изумленных. Кто же пятый – из каких земель он молдавских, сельчанин или городской, какую тайну унес?

Ангел Бессловесный

Отошел за черту на горизонте день сумасшедший Алешин. День рождения и Смерти его очередной для мира этого! На девять утра поп Василий предуготовил ученикам бывшим – Гудронко и Кацюкову – съемки в телепередаче... но это завтра... а ныне?

«Знаю дела твои, и что живешь – где престол сатаны! Части целого составляют спецслужбы России, Молдовы и Украины! Диффузные!.. – *Оное* поведал Ангел Бессловесный, *чему надлежит быть вскоре*. – Раздел Молдовы – прикрытие: византинизм зашифрованный, вовлечение Румынии и Украины...» Ангел явился ночью к Гудронко: очи Его – пламень, голос – звук трубы. Преподал векторы сил *проявленных*, о коих никто и высказаться не в состоянии, иллюзией обольщаться будут... А еще Бессловесный утешал – за *пятерых*. Показал и лицо пятого, про кого инструктора по восхождению в ад, казачки, талдычили.

Звали пятого Аурел. *Золотой*. Убитый, был се жив и в *одеждах белых*, *ибо достоин*... Алексей метался на простынях в сердце-разум энергии испепеляющей лучистой от воина представившегося. Собирал в *Граде Небесном* виноград, что напитывает крепостей защитников (приносят грозди аисты эфемерные в цитадель архетипическую). И не винит Алексея – таков *Дар* его к юбилею! – поверх он *дуалистического* с его «да-нет», с его перьев писчих скрипом и треском «калашей» нескучным...

Ангел показал будущее – Молдавское и земель сопредельных:

штопаны в *целое* лоскутки эти беспризорные. Сплошь в рытвинах от бомб, на апробирование-обкатку пущенных, в трупах людей и животных, с беженцами. «Спасать человечество подвяжутся менты и попы, – вещал Ангел, – спасут тело, да каков в том прок?! К чему длить себя во времени-пространстве, пусть даже и в Лобачевского измерениях, впечатывая в плоскость волю-разум. И, может, освобождение в том, чтобы *поскорее уж* предел Плоскости?!! – сутан черных мельканию, да ментов серятине...»

– ...Безусловно! – транслировал далее Ангел голосом Чарльза, принца Уэльского, но Алеша *понимал.* – Зря Слово Закона и зря Закон Слова возобладали органикой! Судьбу не возымели создания. Но решетку семантическую Мы довершим! И началом этого Замеса – на воду чистую тех, кто виновен в Разладе Вселенском!

– Ведь материя обратилась к себе, чтобы *понять*, – гневно гудел Ангел, – *понять*, как устроен этот мир; но еще и *почему* так устроен мозг? Сверхплотная взорвалась сонмом элементарным, распыленным во Вселенной; и в крупице она – то, что обладает рефлексией ныне. А кто-то все это махом одним; – расклевали поедом мозг!.. В фарс трагедию вдовиц двух обратили. Ведь по 60 лет им, а ничего-то в головах: сношаются с йогом, кролики! И у тех, кто внемлет говношоу сему, мозгов разжижение... И это прейдет! И будет повышение великое зарплат силовикам, судьям и попам! Тело будет агонизировать!.. Спортсменам вот еще выпишут паспорта... Светящийся же пусть светит, ибо время близко!..

Учитель и ученица (Проявленность)

Биолог и химик, Евгений Иванович Шишкин-Руссу (задолго до сана принятия), возлюбил в человеке не самость, но дух. Кажется странным: натуралист ищет за гранью? – Отнюдь. И Менделеев со своей таблицей, и Дарвин с теорией опирались на Закон. А он – *за гранью*. Как данный свыше, как Дар... Тем и оправдывал себя поп будущий, вбирая в сознание разлапистое, плоть цыпленка неоперившегося. Шестнадцать ей было, когда он позарился, постигая силу, что влекла его к существу бесполому. Она ничем не отличалась от юноши, только-только с прыщами покончить умудрившегося (в этом возрасте все тело в цвету). Помимо касаний назидательных над конспектами – искал повод. Естествоиспытателя с харизмой влекло неодолимо к ней; а ее к нему; – в этом и был *Закон!*

Итак, в девчонке сокрыто нечто. С ней педагогу молодому (был первый его выпуск) и позволительно пуститься в тяжкие. Ах, эта женственность глаз стрингера нездешняя, возвращающая в «доисторическое» и отбрасывающая, как на серфинге, в «постисторию», –

взгляд вещающий: «Все и вся во Вселенной увлекается, проклюнувшись на Свет божий: расцветает-взбухает, пронзает Небеса, за мгновение до Взрыва Большого!.. *Проявленность*!..»

И она повелась на истоки *за гранью* в нем. Такое с ней вытворял в подсобке среди пробирок и колб; и приход этот был в сингулярности единой. В наставнике (тогда еще не обрюзгшем, с мякотью языка зычной) прозревала уводящее за привычное от йога-отца (дедушка к тому времени уж почил), который ни на Закон, ни на Существо Высшее в образе своем не претендовал.

А Гений (так называла его), думая про Закон, языком выскреб проникновенным все ее дырочки природные, чуя, как именно это надо делать с ребенком, чтобы не поранить. (Один лишь случай в его жизни педофилии.) Давал и ей играть с морковью, пахнущей мускусом. И она, сутью разраставшейся в его объеме, постигала... На момент вручения аттестата с отличием, претендовала и на балл высший в зрелости половой. Месяц до поступления в институт жила в квартире у попа будущего.

И Хребтищев об этом знал, и школа знала; и педагог готов был жениться – еще бы, такой кусочек лакомый. Он любил ее всю – и тело, и душу, и следы острые на спине своей, которые оставляла в последнее их свидание на Днестре... Она проявила характер.

– Меня ждет большее. И я чувствую отголоски его!

– Не уходи!.. – мычал он, пытаясь ухватить за подол летучий.

Она и любила его – как запретный плод (*за* запретный плод, в коем усматривала себя). Когда же он возопил, смеялась над ним, весь глобализм Закона слившего в самость. Но мщением не пылала по образцу героини Достоевского – к совратителю. В будущее смотрела. Прошлась по спине его (будто делая массаж, но в обувке), рухнувшего в рыдания на помост дебаркадера. В районе гребной базы отмечали ее поступление в институт, но до купаний ночных романтических не дошло, – она использовала встречу, чтобы уведомить о разрыве. По трупу прошлась живому в жизнь обещающую. И не явилась за вещами; и при встречах не подавала вида, что знакома с ним.

А он остался в Грезе. В поисках идеала – того самого глобализма Закона. В церковники подался. Со старосты начинал. Стал попом. За несколько лет до войны.

Китайцы обретут Веру Православную

– ...Да, я благословлял всех! – вещал уверенно поп Василий с кафедры реалити-шоу. – Церквуха моя на Комсомольской под сферу влияния то одних, то других переходила. Сам я кровей смешанных и не делал различий в плане дарования благодати представителям лаге-

рей враждующих. Все православные и воюют за дело правое: за Закон и Землю. А за что *иное* воевать?..

Теперь каждое разбирательство судебное между Ниной Сергеевной и Светой Максимовой начиналось с проповедей отцов святых, епархией делегированных... Василий-поп был имперско-византийского (евразийского!) мыслей-чувств ориентира; деньги на Храм брал в Кишиневе и в Тирасполе – у двух маток сосал, ведая, что у каждой *своя правда*, за нее и жертвуют. «Поскорее бы уж схлестнулись до выхолащивания ныне и присно *их правды* – чтобы Божественная восторжествовала! – думал он, смотря азартно в глаза и ухватывая за волосья жеребца залетного на исповедь – казачка российского аль волонтера военного молдавского (в губы его не целуя чуть ли). Вперед же, оглашенные, да скрестятся ваши стрелы ненависти аки в реторте химической!.. Да осуществится Будущее Великое!..»

И сейчас помышлял также, пожирая взглядом ее, Войну, не побрезговавшую отметиться в этом шоу скандальном.

– ...Я свидетельствую, что Светлана Максимова в числе других женщин-добровольцев... (Тишина гробовая в зале.) – нет, к сожалению или к счастью, у понятия «доброволец» признака полового! – продолжила и Гражданка Война речь к судье. – Да, Максимова участвовала в железнодорожном пикетировании между Москвой и Кишиневом в знак протеста против ареста нашего Президента. Вела себя стойко и во время захвата оружия на военной Базе. Шла грудью на танк!.. Подсудимая же в акциях неповиновения режиму антинародному замечена не была.

Война сошла чинно с помоста, не взглянув на попа, позволяя кружить-вьюжить канитель полярную другим уж.

– Жопы они толстые отсидели на рельсах. Какую ни возьми – разведенка! Должности оттяпали: кто бухгалтер, кто профорг! А я на почте допоздна, дома дети и муж! – Нина Сергеевна в крик форматный: *одна против всех*. – Помыть-постирать-сготовить... Если бы женщины долг выполняли матери-супруги, а депутаты защищали нас в Парламенте – тебе нечего было б здесь!.. – потрясала вслед хлопающей дверью Гражданке Война.

– Ваша честь, – за кафедру громоздилась Ершова, соседка Максимовой (реквизитор совал ей под ноги подиум, увеличивая рост). – Мы приглашали Нинку, но у нее всегда: то геморрой, то герпес!.. Это чем же мы, по ее мнению поганому, на постах боевых занимались? Я кепи связала Президенту, кто-то – свитер, носки...

– Переговоры телефонные подслушивать они меня вербовали да письма-посылки вскрывать... – Нина Сергеевна ожесточенно.

– Э-э-эх-ма!.. А ведь именно мы со Светой Максимовой ввели

эту гадину в круг наш, в сауну и в зал спортивный. И ценности семейные традиционные блюдем. У меня три внучки и правнук...

– Ершова, довольно! – не выдерживает показно судья. – Ответьте: какое наказание считаете приемлемым для подсудимой?

– Да гореть ей до скончания!.. Бандеровка-*бендеровка*!

Поп посмеивался в бороду-усы. В отличие от других истых он не пугает Концом Света, зная, что конец физико-биологический, а стало быть, и светоносный, *не выгоден* никому. Сегодня в зале два подопечных его – Гудронко и Кацюков, как подсолнухи на грядке перед камерой рядом с ним. Не беда, что воду будут лить на мельницу подсудимой (оба учились с ее детьми), – для проявленности пущей, для стихий схлестывания!

– Я знаю Нину Сергеевну много лет: с ее сыном и с дочерью знаком. – Первым из друзей вызвался Алеша. – Идеал хозяйки и матери... Всегда чем-то угостит, расспросит, ободрит... Но то, чему мы, приднестровцы, свидетели на протяжении лет, – уму непостижимо!.. Это я к вам обращаюсь, господин-режиссер! – взвился он за массовки ряды. – Вы позорите... бендерчан и тех, кто *по ту* сторону баррикад... здесь гибли... кровь рекой лилась...

Режиссер сделал жест оператору: «Писать!» Не стопорить.

– Все это мерзко-мерзко. Так порой хочется утром в Днестре окунуться. Но представляешь Максимову с этим ее: «Доброе утро! уровень воды в Днестре – 5,20 м; температура по Цельсию 25!.. Приятного отдыха!..» – и ощущаешь себя идиотом, измышляя слово ответное теледиве сей... Дальше по берегу – вся группа съемочная... А с верхней террасы набережной – Ершова с призывом участвовать в теле-нелепости!.. Словом, пробираешься на реку, как под приглядом снайперским... Наконец, у дебаркадера устремишься в воду, тут тебе радиоузел Станции спасательной по мозгам: «Купание на правом берегу запрещено!..»

Алеша вне себя. Хорошо, не пытаются ополченца перебивать:

– Нина Сергеевна, голубушка, вас используют!.. А Вы ведь стихи писали, натура тонкая... Уехали бы к детям в Америку!

– Ах, Алеша, твоими устами бы... – Нина Сергеевна картинно всплеснула. – Куда ж теперь уголовнице: *не выездная!* Ты единственный за сезон свидетель добрый мой. Спасибо тебе... – чувствовалось: вне формата она уж никак.

Инициативу по отмашке перехватывает спасатель-водник:

– Гудронко, выступивший только, нарушает дисциплину: русло Днестра пересекает; у него, видишь ли, моцион!.. А нам, в случае чего, со снаряжением дно прочесывать?!. Даром, что ополченец, не то б влепили на полную катушку штраф... Но я о другом хотел *доне-*

сти. Эта женщина, подсудимая, очень распутная. Я в бинокль все вижу: с йогом Хребтищевым зажимается в кустах и на дебаркадере... причем, они абсолютно голые...

– Голые!.. Ха-ха-ха!.. Да мы одежду сушиться развесили. Воду в кранах экономим. Еще пожалуйся милиции экологической, что костер раскладываем и картошку печем, удочку закидываем!..

– Нина Сергеевна, зачем так свидетельствуете? Новый эпизод заведут! – не выдержал Гудронко с места. – Еще на сезон серий?

– Ах, Алешенька, я ведь этой *потерпевшей* с десяток писем накатала примирительных – по наущению участкового. А теперь они и есть первеющие против меня улики – на сезон целый... Но все равно, спасибо тебе!.. – актриса уж, Нина Сергеевна, *упредила*, обыграла-сгладила шероховатости, прянувшие с бунтом стихийным.

– Секретарь, на следующее заседание обеспечьте привод свидетеля Хребтищева! – говорит судья.

– Ваша честь, я протестую! – Нина Сергеевна в крик. – Он карму испортит и ауру – и тогда Республике нашей кирдык!

– Кирилл, – судья к режиссеру знак, чтобы остановили съемку. – Тут еще какой-то мужик в свидетели рвется.

– Товарищи, я защитник Приднестровья. У меня катаракта. Денег нет на операцию... Я все инстанции в Тирасполе прошел...

– Нет, нет, его мы отдельно – проверим на фотогеничность, – пришипился режиссер Кирилл из Москвы.

...Сережа Кацюков молчал. Купание в реке он не любил, ни по эту сторону, ни по ту... Сидел и ждал. Поп Василий обещался с темой «Героическое в быту и в культуре»; так уж у них повелось со скамьи школьной: отчеты наставнику раз в месяц. Нынешняя встреча совпала с заседанием судебным...

Испросил у судьи слово поп – проповедь:

– Хочу, братия и сестры, донести с экрана. А именно: все так называемое *героическое* должно идти от властей, – им виднее: к чему и почему. Единицы и не должны со своим возбухать, так как к Единому Целому стремимся... («Нам же, служителям, – думал втуне поп Василий, – сподручнее хаос управляемый: близимся мы – по сантиметру в день – к Империи по форме *евразийской*, но по сути благословенной – *Вселенской!..*») Моя мечта, – гремел колокол-поп, – чтобы даже китайцы лет эдак через двадцать в православие обратились...

– Но Китай исповедует конфуцианство и буддизм, и более ранние даосские формы веды, – возмутился Сергей, подняв руку к камере. – Христианству не пробиться – молодо еще!

– Именно: *молодо!* – отвечал поп. – И флаг в руки нам! Воля политическая: обращать принимающих гражданство российское...

– Это ерунда! – вещал и Сергей. – Заставить всех скопом – государствами и народами – втискиваться в штамп... Данная схема мертва. В ней нет рефлексии. Глобализм. Или вам чем безнадежнее и тупее зрит себя всяк сущий здесь тростник, тем более территория эта предрасположена для опыта-переноса на всю оконечность имперскую? И даже Вселенскую!

Поп Василий отвечал тенденциозное – в защиту власти и веры, но понятно было, что вырваться за пределы конструкции «химической» он не в силах. Судья прекратила прения ударом молотка. Режиссер был доволен сегодняшним совещанием – и остановил съемку коронным своим: «Снято!»

А пока Тирасполь все выедает

Телереклама шоколада молочного – метафора Нежности. Виды города респектабельного; люди, их лица устремленные; за углом здания некая буренка жмет копытцем на педаль серебряную: через шланг прозрачный закачивает пузыри молочные в недра! Покрытие тротуара пучится, словно резиновое; пешеходы в парадокс сей припадают друг к другу. Все вокруг полонится чувствами, обусловленными *наклоном доброты*.

Но в Бендерах, подвергнутых нагнетанию шаров огненных в лето 92-го, люди артикулируют матерно, когда ступают на асфальт. И автомобилисты заходятся на рытвины и ямы. Через двадцать лет после войны Бендеры – еще город фронтовой. Фасады домов изрешечены пулями, бордюры обломаны, кустарники разрослись в дебри, фабрики-заводы обмерли в пантомиме: глазницы слепые цехов, станины обветшалые кранов козловых... У комбината молочного на приколе молоковоз: дерево из люка откинутого вымахало... Если бы не месседжи пропагандистские в годину Совка, как у них *там*, на Западе, – пояс ржавчины, все запаршивело распадом и тлей, – было бы не столь обидно. Картина бедствия побивает мозг в *реальном* пространстве-времени (по сути, нереальном!)

Отец Алеши был металлургом, лил детали машин для сельхозтехники, а умер в пятую годовщину Республики в нужде и в муках: ждал операции, врачи ждали взятки. Умерла и мать – в десятую годовщину ПМР. Один, как перст. Только Бублик-кот; ветер и дождь аккомпанируют в пространстве одичалом. Прячет лицо в портьеру Алексей. Такой вот *наклон*...

Все выедает Тирасполь. Банки, офисы, Дворцы ледовые, бассейны и стадионы; дороги и тротуары, – шик-блеск; фасады архитектуры стольной, все обихожено рукой спеца (не мента); и кроны деревьев по лекалам. А племя молодое раскатное от баков мусорных выдворено с

глаз. Впечатление: Тирасполь совершил подвиг ратный и почивает на лаврах...

Сережа Кацюков фиксирует негатив бендерский – на пленки негатив – история рассудит, *куда*: либо во всемирную сеть на веки вечные, либо в газету Кишиневскую (в Тираспольской живо обвинят в тенденциях подрывных), либо в стол – до лучших времен. Геройствует! Хватит ли у него сил покуситься на попов и ментов? И название ж придумал: «ПМР: Пленэры Мои Раздолбайские». Он прозревает век в расщелинах стен и в ухабах на асфальте. Каждая трещина – новое «сейчас», *Всегда Сейчас*!.. Символ сознания расколотого, символ народа.

И дело даже не в том, что Бендеры, в отличие от других городов и весей Приднестровья, вынесли невзгоды войны (включая Час комендантский!), а в том, что историко-культурная и географическая данность (остальное царство-государство самопровозглашенное на берегу Левом пребывает) накладывает отпечаток на суждения-намерения. Бендерские депутаты не столь рьяно ратовали за сепаратизм – ведь это удар в спину русскоговорящих в Кишиневе и Бельцах, контингенту большему в разы, нежели в полосе по Днестру. В ответ тираспольчане относятся к пережившим осаду огневую и беженство как к *неблагонадежным.* На работу не склонны брать: бог весть чего ожидать от *потрясенного* войной. При том, что расстояние между Бендерами и Тирасполем – десять километров, должны бы объединить. Бендерчан так и называют, смеясь: «блокадники», или еще обиднее – «бешенцы»! Думают начальнички турнуть город обратно – в Молдову? Может, и верно с воззрений рациональных, не с этических. Куда Тирасполю и Бендерам друг без друга – без борьбы постоянной в преодолении себя? Хотя бендерчане и положили с прибором в долгие «вечера комендантские» на все версии возможные бытия *«под* Тирасполем» или *«под* Кишиневом».

Случай. На момент, когда армия молдавская взяла подступы к мосту через Днестр, путь беженцам на Восток был отрезан. В это время тираспольчане, не знавшие войны, караванами (груженые и мебелью!) двинули на Украину, сходу захватывая лагеря отдыха черноморского. Когда же через неделю под давлением Креста Красного дали «зеленый свет» жителям Бендер, то их скорбный из пенатов разоренных исход в Украину обернулся «очарованием» очередным. Все места под Солнцем и Луной были уже заняты.

А вот мать молодая с грудничком, поборница *Я хочу!*, думала – не звери, потеснятся. Но ее везде гнали! Обвинили в самозванстве. У нее нет паспорта – поди, *докажи* тем, у кого документов гора. Если б не этот хлам филистерский, хватило койко-места. Намыкавшись от

одной базы укомплектованной к другой, вне сочувствия, она вошла в море с дитем – по складкам песка *нежного*... туда, где парус на горизонте... Об этом горюют, войну воспоминая, бендерчане: образ утопленницы с ребенком... Такой «*наклон сердечный»* в республике поповско-ментовской... ГУЛаг.

И обездоленных этих режим увенчивает своим «нельзя». Мало того, что из ПМР выезд затруднен без бумаг «признанных»: шаг стремишь тупо вперед-назад по вольеру, – так еще решетка из установлений: «В связи с работой комиссии согласительной МС Дом культуры закрыт»; «В связи с ситуацией политической курсирование дизель-поездов Бендеры-Кишинев и Бендеры-Одесса прекращено»... (А теперь еще и телешоу судное мозги выедает, сеет отвращение к себе и ближнему. Куда бежать, где укрыться?) Для сравнения: что делал бы житель подмосковный, если б пресеклись поездки его в Москву – на учебу, работу, досуг культурный? Перестал бы мыться и бриться, и взгляд обрел бы пришибленный. А ведь для бендерчан Кишинев и Одесса – отдушина, та *возможность*, что для жителя Подмосковья – Москва. Люди знакомились, общались, свадьбы под стук колес справляли; братство дизель-поездное процветало!..

Стандарт связи мобильной корпорация «Шериф» избрала иной, чем в Молдове, – снизить уровень коммуникации социальной! Раскатали народ! В гудрон, в плоскость впечатали, угребая по путям староновым. Изничтожили в настоящем – будущему в пример!

Мужчина-женщина и женщина-мужчина

Сергей Кацюков не жаловал разговоры *про женщин*. Не донимал этим и Алешу, зная о его нелюдимости после убийства тех пятерых, государством санкционированного, и... девственности. Женщин избегал бесповоротно; но было исключение. Гражданка Война. Алеша всегда краснел и загорались его глаза положительно, когда Сергей как сосед и товарищ школьный, а отнюдь не соучастник походов *по бабам,* обмолвивался о ней. О, в том была разница принципиальная между ними: Сергей имел жену и любовниц, Алеша – картины наплывающие, публицистические вполне. А ведь Алешке-то уж можно и рассказать – как там *все* с женщинами? Сергей и изливал – *про ту*, о коей в другом кругу – ни-ни... про свою *первую* женщину...

Он пришел штатным фотографом в «Листок боевой» недорослем двадцати лет, которого турнули из института. Ее уже тогда прозвали коллеги – Гражданка Война. Сереже нужна была крыша, чтобы не загреметь в армию, – под началом военным органа печатного и пробавлялся... Тридцатитрехлетняя же с косой смоляной хозяйка, парфюмами благоухая, имела, безусловно, покровителя – в разведке

военной или в ГБ, среди генералов вращалась, но клюнула в рабы грез ночных и гнетущих «прогрессиста», у коего на факультете искусств в Кишиневе проблемы взвихрились – *что-то детское, левое,* ею преодоленное: то ли анархизм, то ли троцкизм.

Он вообще «не западал» на нее: груба и не обнаруживает горизонтов. Но вот участие ее в акциях карательных еще до кампании военной («Во благо имперское!») сразили юношу пылкого, забросившего ВУЗ. В их отношениях она была старослужащей, с правом на безумства деспотические, а он – исполнителем прихотей с синдромом стокгольмским. Стирал ей и нижнее белье... (Все это исповедовал Алеше как монаху, являя вещественное: те же наручники мельхиоровые с гравировкой «Слово и Дело», коими пристегивала «салагу».) Она требовала подчинения невероятного – за отмазку от армии, владела не только душой и телом, но и *чем-то* еще. Выискивала *это*.

– Сережа, я старше тебя на тринадцать лет, – разметавшись в постели, как с мышем. – Если прикажу: замуж? – Она не говорила «жениться».

– Конечно!

– Я буду муж, а ты – жена! – она могла *так* сказать интеллигенту женоподобному. – Пока я в звании майора. Но буду и полковником, рано или поздно...

– Как скажешь, мой генерал!

– А кем будешь ты? Женой-рогоносицей?

– Самим собой, если позволишь?!

– Мужчина-жена будет угребать по философиям, чернить фактуру государственную, а генерал *ее* прикрывать, – так?

– Так точно, – Сергей знал, куда крен: в рывок растленный.

– Что остается «мужу» по канону домостроевскому? – любила щеголять к месту и не к месту из *установлений*. – ...Жду ответа!

– Наказать «жену». Никаких витиеватостей левоцентристских впредь – в едином строе право-патриархальном...

Сами экзекуции были не жестоки, что-то из фарса психо-садомазо и не без переодеваний в экзотику: черные трусы кожаные, корсет (для «женщины», в которую обращался Сережа), а в руке – кнут (для «мужчины», в которого обращалась она).

Тискала-трепала его за щеки – со средней силой.

– Вот тебе – «новый уклад»!.. Бес-с-гос-с-сударс-с-ственный!! – шипела, как змея; била по левой и по правой ланите. – Вот тебе – «формат между полами-участниками договора социального»!.. Никто не вправе выпадать из-под машины принуждения!!

И это вещала сепаратистка с посвящением (в ГРУ или в СВР), разрушитель государства молдавского; ей только в радость, что

любовник зеленый исповедует «переключение устоев личности на общество без насилия», лопочет из гуманистов... Сергей стоял с руками по швам, голый, посреди комнаты. А вот орган его детородный, невзирая ни на какие мозга обиды, набухал предательски. Было уже в этом соглашательство. Она затаптывала росток не просто анархиста-индивидуалиста, кем, впрочем, и не являлся Кацюков, она топтала бóльшее. Вдвоем убивали Гения в нем.

Как-то избил ее *по-настоящему* (натура увлекающаяся, не отнять), расцвел у Гражданки фингал, без очков никуда солнцезащитных. Это случилось за месяц до войны (может статься фингал и отложил сроки); перед патронами в Тирасполе (ГРУ или СВР, не суть!) отбрехалась. Сергей же предпочел быть собой, а не мужчиной-женщиной при женщине-мужчине. Сбежал к товарищу в Кишинев, пробухал месяц, – тем и спасся от мобилизации самочинной Володьки Батогова.

Тени забитых предков

Сколько ликов, интонаций голоса и жестов, характера привычек, вариаций юркнуть в одежонку нехитрую из доски гробовой, – человека долженствующего, но сошедшего уж со сцены жизни с криком к Богу (косила людей не война, а что пришло с ней, фиаско терпящих образец), Алеша *ведет* в себе; они все живут в нем... Посещает Алеша погост родителей и знакомых... Испившие чашу, *вы* – здесь! «История» и «судьба» воочию.

Кладбище разрослось за десятилетия республики поверх границ национальных и идеологических. Еще памятны усыпальницы графские в старом некрополе: кованые решетки, вазы, навесы готические. Ныне в целях оптимизации землепользования ограды воспрещены: лишь кресты и тумбы (можно из гранита), ни деревца, ни кусточка... Новое кладбище перемахнуло пределы, как чумовое, метнулось в поля, сползло к ручью; с другого фланга уперлось проспектами-улицами – в городские проспекты-улицы... Сложилась здесь и топонимика.

Воины-афганцы – на Аллее Почета; бок о бок и менты, бойцы ТСО, пожарники, погибшие в лето-92... А этот ополченец в сражении не погиб: конструкция внушительная из железа, Колонна Москвина, давшая и название променаде из обращенных: *Улица Москвина*. Все сбережения, добытые трудом рабским в столице российской, обратил он в колосс. От перегрузки физической и моральной на издыхании, призвав архитектора, – и возникла вертикаль в одиннадцать метров! – с лентами, масками, барельефами, доносящими историю Бендер; в медальоне портрет Москвина и логотип литейщика. Аисты вьют гнездо на верхотуре...

Еще пример обстоятельно-беспрецедентный. *Квартал Пикалова-*

Сырбу. Бородачи подозрительные из мраморных плоскостей – рядом их памятники. В пику отъезжающим на заработки, не обращались в перекати-поле; раззадорились до того, что протолкнули закон в Совете, – изымали полпроцента из переводов гастарбайтеров в пользу города и патриотов, не покидающих его. И по сей день на столбах агитки лохматятся, где Пикалов и Сырбу призывают не горбатить на *новых:* русских-украинцев-молдаван... После смерти одного апологета (инфаркт) и другого хватил удар; организация их выродилась в чистую конфронтацию с Кишиневом – как и все, точится в регионе самопровозглашенном: под борьбу.

Претерпевшие до конца, как сияют навстречу ваши лица! Будто восстали из гробов: Кузнецовы, Токаревы, Бондари и Ковали... Художник Андрей Афанасьев – и ты взираешь *поверх*, но память о тебе – ни этикетки для промышленности консервной и швейной, и даже ни герб Бендер: шестеренки и колоски, волны Днестра (со времен же сепаратизма – полное твое забвение, исходя из веяния псевдо: возвращение к черно-желтому гербу Империи!), а диптих «Аура Бендер – *до* и *после*». На полотнах генплан города в ключе абстракционистском и о двух ипостасях. *До:* белое над разным по густоте серым, чистые цвета геральдические и позолота. *После:* серое на черном, и кляксы кровяные...

О, старина Владимир Лопатьев, поэт-моряк, чей Пегас гэбистами не заарканен, взявшими Музу Приднестровскую в полон! Набатом гремит с плиты гробовой: «Друзей умирают планеты, / Но светит космический Крест. / Кадеты, кадеты, кадеты, / Живет офицерская честь!..» Ныне и присно за «Кадетов» – ГУЛаг смельчаку.

Знается Алеша и с этим столбиком деревянным – в Квартале трудяг. Любовь Андреевна Рыжикова, стахановка-многостаночница «Шелкового комбината». Ее трехкомнатную квартиру в доме на Комсомольской прибрали под сурдинку ушлые, в обход наследников, одноклассников Алешиных, которые не в соцсетях щелкают по клавишам – вытравлены с лика земли: один близняш – войной, другой – водярой паленой... Оба подхоронены к матери; так и дыбятся у нее на груди, как на нарах трехэтажных...

Опять соседка по дому – супруга Хребтищева, измученная харизмой любвеобильной (и столь же склочной!) мужа. Волосы гладко зачесаны, белый воротничок, камея, – барышня тургеневская, породившая на свет Гражданку Войну...

А под сим валуном (в Квартале трудяг же, у забора) останки, как сказывает молва, комбата Карданова, приказ презревшего штабов диффузных покинуть город за два дня до войны. Сражался в осаде круговой: «свои» и «враги» имели к нему претензии. Проворнее ока-

зались «свои»: труп обожженный с рук обрубками (по обычаю рубили «медведю» опальному лапы) кинули в канаву. Но также рьяно молва утверждает, что жив герой, – и вот-вот явится в образе лучезарном гвоздить притеснителя народного...

Чета Смирновых – президента однофамильцы – от дистрофии павшие, а некогда благополучные и не шкурники: в «Жигуль» дочь усадят с друзей ватагой – и на Днестр. Смирновы-старшие *здесь*, а где младшая с выводком сынов? – у баков мусорных обретается; в квартире ее по Советской пристав судебный поселился...

А вот пристанище последнее Димы Михайлюка, музыканта от Бога; обучал Гудронко игре на гитаре в юношестве. Сгорел на производстве частном (тяжело зарабатывал на жизнь, не желая по кабакам халтурить), хозяин артели ни словом не обмолвился, что дело связано с летучим веществом ядовитым...

Опять друг: Серега Горчак, художником величался. Отец его (он тоже тут) заведовал школой молдавской; в начале 90-х движим был ликбезом грамоты румынской – чтобы русские в ногу с братьями-молдаванами к рубежам новым! Уроки бесплатные наладил. Интеллектуалы потянулись: к Михаю Еминеску в подлиннике, к латыни прикоснуться! Ведь внешний вал Империи Рима дыбится в километре к югу от Бендер! Впрочем, знание языков считалось у варваров делом постыдным. Запретили синепогонники курсы; а директора уволили... Цельность характеров. Экспозиция музея краеведческого выполнялась на графике латинской; Горчак-младший оформлял; потом в течение лет обратно переводили на кириллицу, но Серега отказался сшибать графику в пояснениях к экспонатам... Осуждена была инициатива просветительная Горчаков: преданы анафеме в ПМР.

И пошел плясать Дом сердец разбитых. Ровесники Алеши, все призывнее лики. «Кто и когда нашу волю загнал?..» – их SOS не услышан... Развлечение (в отрыве от сериала-судилища вдов двух) – поход на кладбище. Курсируют такси маршрутные; здесь и ларьки: мороженное и Кока-кола... Зачастую в проходах устраиваются петард-шоу. Вспоминая войну, колдуют чистилище сие огненное вновь. Потребляют спиртное. И наркоту. Тоже напасть. Как недавно улицы усевали гильзы автоматные, сейчас – шприцы. И бутылки пластиковые с наверченной фольгой обожженной (кайф всасывают через донышко). Все это с презервативами, что кожура банановая, – среди могил, и на кресты насажено-воткнуто: живые донимают почивших о демоническом *здесь и сейчас* средстве взвинчивания себя!.. Мужчины и женщины любят нынче наркоту, и даже дети. Салют оглашенный и грохот, как в монтаже киношном. (Кроме телевизора и не с чем сравнить им). Усмехаясь горько, присматривают место – в

районе «Рукавов длинных». Сразу за мини-маркетом ширится фронт: тысячи героев, отвлеченных от жизни, кто колол в себя кайф и прятал вены за рукавами... пока люди погон и сутан вершили империю псевдо!..

О, новшество в планировке кладбищенской: переулок Медовый. Ветераны завода оборонного, принявшие смерть в виде банки меда к юбилею ПМР. Старики приложились к дару сладостному, но не справились утробы: сахар в крови, язвы по телу... Аккурат за Медовым – Персиковый тупик. Эмбарго страны-гаранта на фрукты молдавские в сбыт принудительный их населению (в счет зарплаты) выплавляется – в голод белковый.

Далее и до горизонта – Долина Фараонов, привечающая тех, кто в скорлупках бетонных затих незримо, в мумию превратился – и выявлен усилием служб коммунальных за неуплату. Так и лежат по гробам, листок писчий к груди прижимая. В свитках тех жалобы к Фараону: «В моей смерти прошу винить...» Коммунальщики те письмена из рук мумий не выдирают (меньше знаешь – больше живешь! не накликать бы гнев небес!). Хоронят их, родственников не имеющих (с ними и четвероногих мумифицированных, разделивших хозяев участь), под столбиками с шифром. Попы и менты сюда ни ногой – укор прямой на поле их непогрешимости.

Многие из сошедших могли бы наполнить щебетом забот улицы, на лады интонациями восчувствования, – дух города составлять... Конечно, масса – как рыбешки: куда вожак, туда и косяк, но вот единицы (сотня в масштабе города, тысячи – в масштабе страны) могли бы породить ресурс. Алеша и несет по сему скорбь, память обо всех и каждом в потенциале: покаяние...

Приднестровье сегодня – притча во языцех, беды символ. Украины Восток, «республики народные», – кандидаты на отток беспрецедентный и вымирание. Как всегда, нерадивы ученики: народ – это тело без разума, нет сил головку на плечах держать. Знать, время опять покажет, *во что* вляпываются с провозглашением очередным. Совок гребет, мысли здравой не оставляя в Плоскости. Если ты против раската всеобщего – враг!.. Вместо того, чтобы обосновать принцип соседства в многосложности цветущей, эти самые нации-народности опять в барак, пусть и перекроенный на ячеи и с Интернетом. «Умрем вместе!» – лозунг над головой Коменданта. Цифры говорят за себя: население Бендер сократилось за двадцать лет со 140 до 60 тысяч!.. Нас приучают к мысли: в этой жизни нам может принадлежать только смерть!! Акакии Акакиевичи будут нападать – на Кадиллаки, осиянные кадилами, чтобы свести равно с ума и виноватых, и безвинных!..

Пятьдесят кубов – кгб-дел и кгб-годов!

Министр госбезопасности ПМР Антюфеев-Шевцов сидел над «делами» в кухне-кабинете бывшей квартирки своей на девятом этаже (в крыле угловом дома – и жилище Президента ПМР, как и министр, резиденцию загородную с семейством предпочитающего). После конфликта военного с Кишиневом эта трехкомнатка в центре Тирасполя вмещает эвакуированный Архив КГБ. Переправка Архива сродни операции военно-полевой, с балетом Марлезонским большим...

В полночь из ворот ведомства известного (портик о колоннах сей значится в ряду фасадном близ парка, над коим высится эпохально с крестом и мечом Штефан Великий, земли объединивший молдавские) выехал транспорт груженый: фургонов несколько, урчащих приглушенно и при фарах в лучах инфракрасных. Уже через час кортеж-невидимка по трассе главной – вперед, сметая в лепеху лысую встречных и поперечных, – ведь и война шла свирепая тут, и мясо молодое солдат после обстрела Лебедя-генерала усевало подворья на километры в округе, – итак, кортеж, минуя по касательной Бендеры, полонил двор девятиэтажки в Тирасполе... А за полчаса химзащиты батальон обработал двор столицы сепаратистской газом (из тех, что пользуют на террористах и заложниках их). Граждане случайные навзничь у подъездов лежали с глазами, распахнутыми в вечность, – на Большой Марлезон Звездный... И вот противогазы в цепь выстроились, чтобы лифтом не грохотать; и потекли короба на девятый ряды громоздить. Шаг у солдат кошачий, в чешки балетные ноги их мозолистые взуты, так что ни звука, ни пука...

Антюфеев-Шевцов в шлеме сил воздушно-космических из кухни наблюдал. Архив в порядке алфавитном на месте передислокации вырастал; и о мероприятии ни одна душа профанская ни духом, ни глазом... Кружение солдат с коробами, пируэты виртуозные, па... Без сучка и задоринки вышло, исключая факт «сноса крыши» одному из бойцов, под ношей противогаз сдвинувшему. Короб, датированный 1956-м, повалился, папки дел разметались. Пробовал собрать боец, но уж рвал все в клочья, не ведая *зачем*; сник в позе лебедя умирающего. Его выносили под начавший играть (в скафандре чекиста актуализировался) Мендельсона вальс...

С тех пор неотлучно при богатстве своем Антюфеев-Шевцов – как Гобсек чахнет!.. Кабинетом и явочной служит кухня с цветком неизменным на плите, где чайник кипит постоянно... Любит хозяин из подстаканника с профилем Феликса чай пить. А ведь чекистом стал, в звание взведясь, – мужчиной уж зрелым.

За Архив этот министр обещал лидера группировки «Скорпионы и Барсуки», томившегося в застенках. Выдавать, однако, террориста

Кишиневу не стал, – без пояснений, и сторона противная не настаивала. Слишком много тот знал, мог дел натворить покруче выпуска кишек в таз, – что и демонстрировал с загнобленными им глашатаями Приднестровья звена нижнего и среднего до войны, – тазом медным всех кураторов и накрыть! Что ж, если и не обменяли, то явно из Тирасполя сигналили, что устранят его. Работа черная за кишиневских – всем спокойнее.

Короба. Пятьдесят несгораемых, под потолок, с откинутой передней и задней панелью, стеллажи с переборками, уставленные папками «дел» агентуры молдавской. Изобретение виртуозное для разворачивания и реагирования в любых условиях...

«Дела» – аккурат с июня 1940-го, когда вошли в Бессарабию советские войска по пакту Риббентропа-Молотова: кто *за* Советы, кто *против?* (Такие же списки требовал и он, мент совковый, в 1990-м: кто *за* провозглашение анклава, кто *против*?..) Показательно, что и до августа 1992-го *писала* Контора Кишиневская – в условиях-то Независимости. Тонизатор для выпавших, себя *чистенькими* возомнивших. Но бывших агентов не бывает!.. Недоумки кишиневские – люстрации испугались: думали, не будет Архива, не грозит и разоблачение. Хрена! И в розницу, и пачками продавал купцам в Кишинев (в газеты иль в корпорации частные) и продавать будет, и никто ему здесь не указ. Статья дохода. Куй железо, пока горячо!..

Сегодня Антюфеева-Шевцова волнует папка февраля 1956-го – пик Террора Большого молдавского! (Из того сундучка оброненного.) А в ней – Постановление суда полевого и тут же – Протокол об исполнении приговора над последним наци молдавским близ села Бужор, инициативу держащим в узах: «Молдова историческая со столицей в Яссах, состоятельная и в традициях, и в духе народном, в противовес узурпирующей власть и страну в целом Валахии со столицей в Бухаресте!..» Контрольный выстрел... трупы заговорщиков утилизированы в штольню заброшенную... В пятерке «суда» – уполномоченный НКВД, дед Гражданки Война. Так что шефство над командой футбольной – хобби, прикрытие для командировок в те же Яссы, где и вздыбилась голова гидры заговорщицкой, душимых руководителями Румынии и не удушенных. Ребята же наши в тренниках, в отрыве от мяча, закрутили там гайки покруче валахов кичливых, наследников волчицы римской: всю работу черную взяли на себя! (И Николае Чаушеску вскоре поле благодатное досталось – для взращивания унионистов без единого сорняка молдавского! Принял же смерть, напоровшись на камень подводный венгерских нациков. Но это детали...)

Министр ждет «на чай» внучку верную вершителя-исполнителя. Подарит ей Эпизод с деда участием. И Террориста подарит...

Гражданка Война давно стягивает круги к камере той: устранить погрешность свою в исполнении – порвать в клочья фашиста. Свинья, как говорится, грязь завсегда найдет, а Война – фашиста своего! Вонзить челюсти в плоть наци – не опереточного, нет, не пестуемого для телеэкрана, а настоящего – это еще заслужить...

Стремит в прихожую просторную. У вешалки рычаг жмет: шкаф-гардероб с кителей дюжиной в планках орденских, рубашками и ботинками опрокидывается, в ложе комфортности повышенной обращается. Кровать баррикадирует стальную дверь, никто не ворвется!.. Рычаг возвращает ложе обратно. Хм, до встречи еще два часа. Заходит в туалет. Морщит лоб. Вот ведь – строчит и строчит агент беспокойный Батогов о состоянии канализации Бендерской: город-де сметет волна нечистот! А в Тирасполе – лучше? В центре самом смердит! Жрать, говорят, нечего, откуда ж срут столько люди?.. И потом, этот Батогов. По доносу Шишкина-Руссу опять мотался в Питер. За каким таким интересом? Сети заговора плетет, раскол в расколе сеет?.. Империя сплошь в голове у всех. Перестраховщики.

Смывать за собой не стал, успеется в тренде народном. Еще б из чайника водички тепленькой в стакан налить – зубы почистить: обаять следует Гражданку Война по всем пунктам!

Чем же занят министр в ожидании? – Множит Дело *личное*!! Для Архива местного и поместного пишет свою историю. Что здесь правда, что вымысел? Деза – информации разновидность!.. Клей, ножницы, фломастеры перед ним... Разбирает, вырезает, лепит... Галерея из фото любимых: майор Вильнюсского ОМОНА во время подавления демонстрации у Телецентра – в шлеме с забралом и при щите: лучшая композиция, какая может степень важности будущей акцент сгустить. Нет лица, тлетворность малохольную заподозрить способного в нем, – лишь дубина в руке восьмерки выписывает: по черепу оппозиционеру в очечках и с оскалом кроличьим. Траекторию хода оружия терминатора камера засняла в рапиде...

А вот Антюфеев-Шевцов на фоне памятника Суворову в Тирасполе – тоже лица нет. В тени за огромной скульптурой коня с яйцами; после Вильнюса приписан мент к ведомству ГБ.

А вот министр и Президент ПМР по огородам шарят. Агитацию отслужили в клубе сельском – и полями: где кукурузы початок, где кабачок, где помидорину укатят к столу. «Ишь, какие лихие мы – два жука-бородача. Сурьезные, на пути не попадайся!.. Легенда; но что-то в ней графоманское: насчет прокорма самостоятельного. И пофиг – чем необычней, тем и правдоподобней!»

А вот, ни много ни мало: в кимоно в зале борьбы – поединок с Лебедем-генералом, *вид на спину* министра несогбенную. Война

Гражданка лыбится: нравятся оба ей. Антюфеев-Шевцов зрел с ней: сегодня начали, завтра прекратили амбиций вымещение; Лебедь же – затяжное и муторное предпочитал. Победил мужчина с лицом открытым и будто топором рубленным. «Мы матом не ругаемся, мы им разговариваем!!» На два месяца жарких *она* стала женщиной генерала армейского. Но гэбэ возьмет реванш.

А вот в резиденции Проханыча загородной, в кругу ума патриотического: Проханыч, Лимонкин, *кто-то* еще... Услуга за услугу: они ему – прием форматный в газетах, а он им – фотосессию у расстрелянного горисполкома Бендерского, *когда война уж завершена,* – напилась кровушки Гражданочка!.. Ох, стерва!.. Кстати, надо жалюзи опустить – знак: можно входить!.. Позже в издательстве «Ад маргинелла» книга Проханыча вышла про участие ФСБ в подрыве домов в Москве. Чтоб публику к ногтю либеральную – знали, *под кем*!! У камина сидели, вискарь тянули, Лимонкин к Проханычу с придирками... и в момент этот – словно гром с небес: «Война идет геополитическая и космическая!.. – Проханыч в халате стремит с бокалом к середине зала, оленей морды увешаны по стенам, глаза вытараскивает, как олень тот, и кричит: – Зло злом запечатывается!.. – раза три – Запечатывается!! Наша Война – свята!!» И Проханыч *любит* Войну Гражданочку, в ногах валялся, колготки черные на коленках слюнявил ей, соловей Генштаба; ну, а как же *ее* не любить?!

Звонок телефонный обрывает галерею министра воспоминаний.

– Але?!. Что я слышу: в кандидаты целишься? Так я вспомню. За тобой пешеход на «зебре», навитый на пьяные колеса твои... Думай. Дело в Архиве, адью!..

...Вот и с Гражданкой построже надо бы, – возвращается опять в русло привычное. Она придет, и я припечатаю конкретно ее. (Комитет по правам человека сегодня собирается в Парламенте, там будет жена председательствовать, раньше полуночи не разрулят...) – «Так, с кем же ты воевала в лето 1992-го?.. Откуда ж столько врагов-националистов в самой интернациональной из республик с самым показательным КГБ?.. И за какую-такую Победу спасибо *твоему* деду?.. В ноги КГБ вались!.. Дались тебе эти армейские?..»

Припечатать ее, стерву, чтоб сговорчивей была, и насчет зверька хищного между ног – укоротить... с сосунками, ишь, крутит, тьфу... Надо ее в чувство, чтобы не задавалась; в кулаке ее надо, чтобы не расслаблялась, и не пережимать без надобности!.. Кто ее кураторы? Вот в чем вопрос! Вот в чем *допрос*!! Террор – лишь наживка; на него ее можно завсегда уловить и там же в камере заточить. От кого распоряжение первеющее приспеет, тот и хозяин ей!.. Стратегия!.. А вообще, руку на сердце положа, как хотелось бы генерал-майору

МГБ ПМР жену, заведующую по правам человека, к чертовой бабушке послать – и всецело Гражданкой Война обладать. И в поля, в поля уединяться-углубляться, – с листа чистого плясать!.. Войну Шевцову-Антюфееву подавай!.. Только Войну!! Ой, темнеет за окном!.. Зубы почистить!..

Чу, лифт подымается... Она!.. – в глазок, отпирая щеколды.

– На ловца и зверь бежит!.. – щерится Антюфеев-Шевцов, пуговку на мундире застегивая.

– Я не зверь, я – рыбка!..

– Проходи на кухню, моя золотая!.. Дай я тут со стола стряхну, а то размечтался старлеем никудышным над друзей письмами!..

Каление огнем и металлом

Чуть свет Володька обнаружился под окном. Строчит в блокнот у ствола виноградного, плющом фасад разодевшего. Алеша внемлет волосине, начесанной на лоб председателя, ползущим с носа очкам... Чубрик тут как тут: мочится на корень, трясет хвостом лохматым... За спиной домкома шагом бежит поп Василий. На проезжей части ожидает его иномарка, черным боком сияющая: бывший химик, на требу отправляясь телевизионную, подбирает рясу, умещая тело, что тебе язык в заливном, в розовые нутра авто. Язычно-зычно будет он альвеолами грести, закатывать глаза, души голодные с экрана огревать.

Как по команде, приступает к Батогову в наряде коронном Хребтищев, который и ждет *свое* заповедать. На всех пытается влиять, а слывет шутом гороховым. И сейчас спешит с анекдотом: «Идет по улице гражданин, благообразный такой, с орденом на груди. Навстречу мент. Гражданин: ‘Скажи, служивый, а правда, что награда государственная снижает уровень ответственности уголовной?’ – ‘Правда’ – ‘Ну и получай!’» – Хребтищев дубасит мента воображаемого. – «Хо-хо!..» – кряхтит провокатор старый. Прерванный в расчетах сухих, Батогов в подъезд устремляется, звонит к Алеше. Тут и Чубрик.

Гудронко открыл. Володька уведомил сдержанно по привычке службистской (после анекдота задорного!), чтобы Алеша унитаз не пользовал, пока систему доналаживают менты. Затем попы комплексно осветят коммуникации. Юбиляр недавний содрогается: захотелось мобилизатора-формализатора с лика земли испепелить. *Умозрительно*!.. И вроде случайно юркнул в прихожую Хребтищев, пальцами ног выбивая дрожь о паркет, – к вниманию призывал. «Намедни только в суде у Нины и Светы отметился, да и сам загремел, ох!..» Не выслушать было нельзя. Володька удалился.

19 июня. День поминовения павших в лето кровавое 1992-го. Хребтищев, справив ритуал встречи с Солнцем (задолго до меро-

приятия), устремился к Мемориалу у моста через Днестр – лицезреть «шабаш на костях наших». Улицы запружены джипами ментовскими. Прибывают и горожане; много военнослужащих и сутан. (*«Есть Ничего нет!.. Ничего нет – есть!..»* – все повторял мантру священную герой.) Захотел, было, пройти по прямой – с тыла монумента к «лицу», туда, где в телекамеры Президент и делегации масонские из других городов республики непризнанной предстанут, но в спину голос: «Проход закрыт!» Оборачивается на запрет: «Мне, инициатору медитаций на мир, – нельзя?..» Рядом вырастает старший по званию: «Вы не понимаете: *нельзя* в таком виде!?» – смотрит на йога. – «Я обложен, как зверь на охоте, – ради этого создавали Республику?!» – «Псих. Уберите его!» – «Капитан, с кем имею честь?» – приподнимает с головы «пирожок» из газеты Хребтищев. – «Буду я тебе докладываться, гнида!» – «...Вы-ы... оскорбляете меня!!» Подскакивает и некто в галстуке – *масон*: «Не поднимайте шум. Проход закрыт из условий безопасности...» – «Да ведь через час начало. Я пройду на другую сторону; там деревья, тень...» – «Обойдите *там*!» – описывает жестом дугу, метров в восемьсот, улыбаясь экономно.

Заковылял в векторе указанном *(«Есть Ничего нет!.. Ничего нет – есть!..»)*. Еще группа ментов: «А кто у вас тут старшой?» – вошел в раж. И, о чудо! Так и жгут опаленные солнцем молдавским звезды полярные на погонах: «Товарищ подполковник, разрешите!..» Чин сканирует профана, Хребтищев не теряется: «Как правило, милиционер представляется, а я не могу... фамилии офицера...» – «Замначальника УВД – Безымянный...» – «Вы единственный, кто не боится назвать себя! Хочу пожать вашу руку – *по-масонски*!» Подполковник одернул свою: «Прошу со мной!» – «Куда?» – А в ответ лейтенантика манят: «Доставишь этого, *мудопедия бесштанного*, в управление, – оформишь, *как полагается*...» Ну, думает Хребтищев, усаживаясь в авто с мигалкой, и влип ты, зла мирового обличитель!

В ментовку на Комсомольской препроводились, в приемник-подвал. Двое на скамье: один пьян и спит, второй бодрствует из сил... Хребтищев походил и прокричал коридорному, чтобы дал стул. Но тот: «Нумеров меблированных не желаешь?..» Уселся йог на пол. Ноги скрещены, спина прямая. Из головы Лотос; белки глаз сияют в потьме: *есть Ничего нет!.. Ничего нет – вдруг есть!..* Через час явился лейтенант. Зачистил скамью пинками, чтобы стряпать «бумагу» на коленях. Не взяв показаний, накатал, – *как полагается*. Переврал и с местом задержания, и с поводом: будучи нетрезвым... оскорблял милицию!.. Отказался наш подписывать; черканул: «Все неправда!» И полетели *еще* через час в суд. Без тюнинга комфортабельного и камер телевизионных...

В воронке компания – по пояс голые, на теледива вчерашнего в трусах и не обернулись. Вся грудь одного – в следах пылающих от ботинок, другой – с ногой рассеченной (шириной в палец рана та спекшаяся); на всех лицах зафингаленных – хмель. Клиентам – под сорок, и в стадии *животное покорное*... Дверь захлопнулась, йог ощутил себя рыбой на сковороде: темно, как в день пророчества библейского, и температура – внутри стоящего на солнцепеке воронка... *Ничего нет – есть!!*

Первыми судились из «бывалых». Дали «сутки», точнее, десять работ принудительных – хорошо, что не лет... И йог босиком по мрамору через анфиладу – в кабинет «масонища» упитанного, высоколобого, в мантии и в колпаке с кисточкой. Бегло знакомится с материалами: «За что же вас задержали?» – «Хотел пройти у Мемориала. Мне преградили путь; и вот я здесь...» – «Милиция выполняла приказ...» – «Я не мог нарушить безопасность Президента, потому что не было еще никакого Президента...» Судья писал, не вникая, лишь спросил: «Осуждены были?» – «Никак нет!» – встроился Хребтищев в дискурс авторитарный. Не удержался: «В протоколе ложь. Я не выпивший, – гимнаст, йог... намедни в телешоу у Нины Сергеевны и Светы Максимовой в свидетелях фигурировал. Фурор полный. А служивые меня не узнали по причине ‘пирожка’...» – разворачивает и водружает на голову пилотку газетную. – «Я не в курсе. Телевизор не смотрю, – стушевался судья. – Да и не эксперт я градус в крови определять.» – «А постовые – эксперты?» Хребтищев исполнил с места «выверт живота», присел «пистолетиком», и в раже: «Я номер демонстрирую: чайник с водой удерживаю на уде. Ну, как мужчина с мужчиной, сразимся?..»

Штраф. Психология «героя»: пройдя процедуры «законности», покидал Дом правосудия с мыслью, что отделался легко... Побрел к Мемориалу... На улицах уж редело, «шабаш» окончен. Перечитал на Стене Памяти фамилии погибших за Республику. И думалось ему, что не все живые достойны жертвы... Вошел в часовенку стилизованную, дернул за колокола язык – звон скорбный... И еще подумалось: сейчас, сейчас слетятся драконы в погонах иль в мантиях, пришьют задержание повторное: *Так надо! Не полагается!! И без комментариев!!!*

Метаморфоза авторитарная

Кацюков стал готовить новую выставку. Зарубцевались раны тщеславия на Кишиневском направлении – решил в Бендерах и Тирасполе инициативу проявить. Озаботился и разрешениями от ментов поместных и попов. (Резолюция поступала и в разведку Армии, дислоцирующейся по Днестру.) А название било наверняка: «ПМР», – и без транскрипций вящих. Идея: представить в лицах

костяк. Людям в погонах и в рясах уготована в инсталляции роль первостепенная – не то, что интеллигенции, вынужденной с мест бюджетных сокращением к прилавку прикипеть.

Поп Василий на правах руководителя классного благословил дерзновение – начиная со своей фотографии: шла первой. Следом портрет Безымянного, замначальника УВД, которому пришпандорь усы-бороду фотошопом – и от попа Василия отличаться не будет: тот же взгляд исподлобья, к врагам беспощадность евразийская, та же складка на лбу, что плоть крайняя... Все было представлено в порядке шашечном – черное и серое: попы и менты; менты и попы... Попадались, конечно, и профессий мирных представители, но и они с червоточиной, агенты... Кацюковым была избрана стойка в беретике придворном, в очечках и при бабочке... А галерея образов, надо признать, подыскалась *никакая*. Вот ведь сливки общества – выставка ж дрянь! Но, может, в этом и суть, замысел художника?..

Итак, всматриваясь в персоналии. Председатель горисполкома – друг и коллега Володьки Батогова по ВПК, как есть, Клетчатый: кепка и пиджачок кургузый, ни за что не признаешь в нем командира промышленности городской. («Конспирация и еще раз конспирация!») Вот и Президент ПМР, мероприятие «без галстуков», – в цитадели крепости с металлоискателем: золото гетмана Мазепы покоя не дает... И сама Крепость явлена: ладно скроенный ландшафт, стены, бастионы... все это в виде торта гигантского; торт тот съели исполкомовские по случаю юбилея города основания...

Показаны в засаде менты, караулящие торгашей с баулами; рядом в кустах на изготовке овчарки-менты, такие же устремленные... Тренер с трубой подзорной на террасе у базы гребной – стережет, чтобы никакая каноэ или байдарка в запале соревновательном в море не ушла: море – свобода, ворота в мир... Ишь, даже монахини туда ж: в минуты отдыха по светелкам шьют на пяльцах бисером и крестом: лагуны изумрудные, беседки, кущи райские... к рукам их коты-попы ластятся жирные... И опять поп на фото, всем попам поп розовощекий. Помнит Алеша его юношей тонким, грамотой китайской увлеченным. Двадцать лет назад, ни с того, ни с сего, он наложил на себя епитимью – выстроить забор вкруг монастыря. Попы благословили на подвиг, но денег не дали; камни и песок для забора возил послушник-«даос» на тележке с Днестра, а на цемент – с кружкой у паперти. Интеллигенция ж считала его *продвинутым* в «Книге Перемен»...

Гражданка Война (из фонда резервного Сережиного) – редкий вид, нетипичный: по улице Советской идет в сарафане белом, что в саване!.. Легендарный Лебедь-генерал, войну, якобы, остановивший: лицо, топо-

ром рубленое, и фразу произносит коронную: «Мы матом не ругаемся, мы им разговариваем!..» Директор школы художественной, Зюзин, – в вестибюле музея: взмокший скачет с палитрой пред триптихом эпическим «Трагедия Бендерская», под приглядом комиссии ошибку правит: флаг ПМР над городом у мазилы старого вместо красного с зеленой полосой получился зеленым с красной... И опять – зал заседаний, общий план. И план средний: бочком к бочку два орла, черпающие из единой сингулярности имперской, – муж и жена Шевцовы-Антюфеевы: он – министр МГБ, она – по правам человека уполномоченная. Крупный план: министр информации Акулов, министр иностранных дел Ястребчак... И Президент – как чернокнижник из сериала голливудского, с бровями нависшими, стричь ни в какую не соглашается...

Поп Василий говорил Сереже после просмотра, оглаживая бороду курчавую с седины проблесками серебристыми:

– Далеко, человече, пойдешь! Главное, не оступиться в служении Добру Новому, распространяемому на всю Вселенную православную, не оскверниться помыслом былым...

– Вы о каком-таком Добре Новом вещаете, Евгений Иванович? Огласите! – Кацюков подмигивал Гудронко молчаливому.

– Добро Новое, Сережа, характерно тем, что для него, как для вина молодого, меха требуются, – поп Василий раскуривал «Мальборо». – Кислотно-щелочного напора не выдержит тара старая, если в терминах, хе-хе... Жизнь диктует, как всегда, борьбу «плюсов» и «минусов». Но то, что раньше считалось Злом, то ныне – придурь возрастная: «не убий», «не укради», «не пожелай имущества ближнего»... синдром параноидальный... Ради идеи Евразийской можно не поскупиться: и убить-украсть, и даже переспать с козою чужой! Все эти грехи я отпущу...

– Ужель сами убили бы?

– Убить в себе Гения – задача каждого из нас. Гений – это дьявол... Я ж благословлял и националистов, и сепаратистов...

– А как же Родина Небесная?

– Родина Небесная у деяния нашего смысл глубокий обнаруживает. Во имя *Единого Целого* Смысл.

– Какого же хрена мы разделили Молдову? – вопрошал Сергей дотошный. – Мы же покусились на *Целое?*

– Был сие тактический раздел, дабы схлестнуться *в ином* и тем обеспечить единение по образцу Нового, – отвечал поп. – Мы здесь – воля Бога на Земле. Власть Земная и власть Небесная спаяны деланием героическим. Нельзя отделять дух от материи! Это я вам как химии и биологии мастер говорю.

Но Кацюков его не слышал:

– В моей галерее не достает главного! Плоскость мертвящая типажей – нет прорыва дидактического и диалектического!..

Плоскость плоскостью, но пока комитет профильный думал, куда художество Кацюкова приложить, миссия ОБСЕ выездная закупила всю галерею (их фото покорило с видами крепости, что в Списке наследия ЮНЕСКО значится). Денег Сергею хватило на покупку чудо-техники с оптикой австрийской: фотокамера с веса балансировкой; объектив с насадками и прицел (пыле-, грязе-, водонепроницаемость до 4 м глубины); штатив устойчивый с головкой управляемой... – все, что потребно для долженствования: передачи буден колорита и колорита мыслей!!

Безголовые (Пот президента телевизионный)

Выставлять всемирно напоказ свою обиду! – словно такая на одну шестую суши мировой директива. Особо оскорбленные явили анклавы мятежные... Кто-то в них территорию исконную терял, а кто-то обретал; у кого язык объявляли второсортным, у кого в банке накопления и недвижимость – как дым с яблонь; а у кого все только и начиналось – и язык, и деньги, и идеалы. В чехарде этакой многие с годами просвещения в школе-техникуме-институте себя под Главу епархии и задвинули, моргая: ату ее, голову свою!! (Республика поповско-ментовская в авангарде – на тело огромное проекцию-перенос блюдет.) Вот и потекли косяками из церквушек в улицы городов ПМР активистки хмурые в платочках. Посевание чувства стыда и страха – лишь сторона медали...

«Безголовые идут!» – завидя их, артикулирует всяк перед стихией. Гуртом расчихвощенным в хвост и в гриву судьбой плоскостной, а может, и в сборе управляемом, линейном, в зависимости от настроения, от времени дня, от погоды, – в общем, рой угрожающий «трутням супротив». В разряде трутней – те, кто независимость носит-превозносит, к примеру: майку с флагом английским. Домой вернется без майки и с прической а ля ирокез. А если модница сверх меры парфюм употребит – то обвинительницы общественные отыграются вовсю: к женщинам злы вдвойне!

Как-то в понедельник такая группка слаженно-неразлучная прочесывала прибрежный лес близ крепости – изобличить природы губителей, пикников устроителей! Шарились попутно кусочки шашлыка, картофелины в углях, тара для сдачи в утиль. Безголовые эти не столь ведь отстают по лесенке социальной от ребят у баков мусорных... Одна дотошная от стаи-то приотстала, парфюмом, ишь, очаровалась на поляне, положив во что бы то ни стало отыскать флакон: «Запад гниет, но аромат каков!..»

Зашебаршив травы, нос привел ее к осине. По стволу над головой обнаружила повитый скотчем портрет... Президент!! Вырезка журнальная, тыльная: сидит за столом, руки в пример сложены, и флаг за спиной Республики самопровозглашенной. Отсюда и аромат густой. Потянулась на цыпочках, подсунула пальцы в скотча ряды. Склизко. «Боже ж мой! Икона мироточивая!! Президент свят!!!» – в ор ударилась. Со всех ног сбежались товарки в косынках, заголосили. Стали пальцы под скотч запускать, слизью портретной умащаться. И кланяться-биться о ствол частью тела, что у людей головой называется...

Пожаловал к осине в эскорте армии Безголовых, задыхаясь и пыхтя, поп Василий. Вслед и менты с мигалкой прихромали – по кочкам прибрежным. Оцепили поляну и переписывать «топтуний безмозглых» давай – все улики уничтожили, о неразглашении подписка! Поп принюхивался к портрету, качал головой: миро точит или химикат применен насмешниками? Менты же гильзы искали огнестрельные: на мишень смахивала прицепка глянцевая. Затемно место посетили: министр ГБ Шевцов-Антюфеев, министр информации Акулов и министр дел иностранных Ястребчак...

Эти сведения Алеша *считывал* с ментов озабоченных и попов, устремившихся по тротуару. Фигур рисунок сопряжения кричал. Вот летели косяком о сорока ног – и замерли, и вершина клина того – ноздри чутко на Запад и на Восток... Баталии разворачивались. Поп Василий территорию веры-разумения оборонял. Особо лай у него случился даже не с йогом Хребтищевым (уж бежал тот прений: разные категории весовые и не по чину поп разъярялся, кулачищи свищут), а с тем коллегой в рясе, что прежде по Книге Перемен читал.

– Персона на портрете свята! – в небеса закидывал бородищу Василий прямо пред окном Алешиным.

– Окстись, батенька, ведь биолог-химик дипломированный Вы! – отношение трезвое к фактам сохранял оппонент, стопоря иных попов к спору.

– Ах ты, китайчик крещенный... Знамения Благодать Божью отрицать? Вот я составлю на тебя грамотку в Москву!

– А я на Вас сумею в Тирасполь настучать!

Бдения всенощные Володьки Батогова и попа Василия. На пару уж выходили к тротуару в дозор покурить. «...Елей не елей, – поп творил дискурс, – но точит!..» – «В запахе этом что-то от Дживанши! Едкое, фи! – Володька на рельсы рационалистические правил. – Мне больше нравится *то* поколение ароматов: ‘Эллипс’, ‘Арамис’...» – «Чудо мироточения – во славу Божию! – не унимался поп. – Не масло из осины каплет для яиц жарки...» – «Раз промысел Небес на правой стороне Днестра явил себя, не время ль затребовать бюджеты от вла-

сти? – потакал Володька ритору в себе, – на ремонт канализации, ведь задохнемся...» – «Это точно... ох!» – отвечал поп, выбрасывая окурок. – «Орды паломников потянутся, даешь благоустройство! – чуть свет стучался Батогов и к Клетчатому, коллеге по ВПК. – Иначе: *отделяться* от Тирасполя!!» Тот внимал; толерантным хотел казаться и местным, и тираспольским воителям. Однако шел уж торг в эшелонах. Проект лоббировал лично Клетчатый: саркофаг стеклянный над осиной с портретом, а близ – гостиницы пятизвездные... В ответ же непреложное: «Если портрет мироточит в Бендерах, то и при пересадке осины с комом на Патриаршее подворье в Тирасполь – тоже будет мироточить!.. А не будет, – заставим, опыт есть в науке и религии!..» В общем, настропаляли лишний раз бендерских.

Алеша созерцал, как эпизод с «портретом мироточивым» потряс город, оторвав даже от шоу с Ниной Сергеевной и Светой Максимовой... Реклама усилилась в эфире товаров категории «Химия для дома и огорода»... Жест новый велеречивый появился у Хребтищева: ударял ладонью себя по лбу, подносил ко рту ладонь и дул на нее, намекая на легковесность всего в этом мире; и губы его шептали: «*Есть ничего нет! Ничего нет – есть*!..»

В беготне режиссера Кирилла с оператором по Комсомольской – от Храма к ментовки Управлению, – Алеша считывал: Кирилл добился разрешения на съемку, зондировал интерес в Первопрестольной... И Кацюков пытался произвести фиксацию объекта, исходящего испариной, но тщетно.

Правительство республики непризнанной билось в дилемме – оглашать ли? Транш затребовать с Кремля, чтобы венчать в Святые вельможу местного? Бендерские тоже метили *урвать*.

...Алеша страдал у окна. История человечества, думалось ему, хранит примеры прозорливости женской. (Времена амазонок, без мужчин справлявшихся, стать особая.) Греки восславили жен подвиг (пусть и в одежде авантюрной), что договорились *«не давать!»* завоевавшимся, – и война была остановлена, мужья вернулись к детей воспитанию... И Церковь привила образ очага охранительницы, сподручницы в долженствовании мужском... В государстве же мятежном все с ног на голову; и с женщинами – сбой! То ли в Молдавии преобладание их, то ли... как-то суматошно легки на подъем. Каждая и ничего, а все вместе – беда! Баба русская и коня на скоку стопорила, и в избу горящую шла – спасать. А ныне эти бабы – сепаратистки! – части военные по окоему Империи таранят грудью, танки и пушки уводят, – льют масло в огонь... И националистки молдавские не лучше. Побитие камнями у Парламента в Кишиневе депутатов Левобережья! – Вот что происходит с домохозяйками, всучи им «сер-

мяжное-политпросветное» с прищуром гэбэшным. Мозгов-то... Безголовые, они и есть Безголовые, дальше носа не видят.

Что такое ПМР? – Заговор директоров! И директора эти – коняги без яиц. Взнуздали коллективы производственные. Тактики. Двадцать пять лет минуло – у корыта разбитого. Безголовые, хоть и директора! Кто дотумкал бабищ на рельсы усадить, блокировать сообщение? Бендеры – узел железнодорожный, экономика завязана на продвижение грузов *здесь,* ан, шлея под хвост: грузопоток через Север Молдовы, затраты несусветные. Бендерчане же, ветку обслуживающие и локомотивы, – не у дел. Безголовые женщины, – и при них мужики безголовые. Секлись коллективы зорко: активистки выискивались. Вроде бы, как и при уме, а на поверку – безголовые: и комитеты, и активистки!.. Единицы взяли «пряник» – места в администрации, квартиры, дома, – до дефолта республики. Советский Союз пал от несостоятельности экономической, и Приднестровье не протянет без вливаний. Пузырь дутый из амбиций Безголовых, взнузданных кнутом имперским псевдо... Поклоняться подавай им. Раньше на иконку в углу красном, а теперь на зомбо-ящик... Яркий пример: «Пот президента телевизионный». Так в бессознательное Алеша сдунул *коллективное*, словно одуванчика перья. Хотя попы уговорились, что мироточив портрет. Атеисты же к парфюму склонились. Кто и что победит: коллективное со знаком «плюс» (миро) или «минус» (парфюм)? Или Пот президента телевизионный – «зеро»?.. Алеша и есть «Зеро» – трезвость непогрешимая в оценках.

Безголовые с радостью засылают в армию сыновей своих... Безголовые – представление стаи вразрез смыслу здравому... Безголовые – это глупость напоказ: дома помпезные, машины с наворотами и прочее роскоши непотребство на фоне нищем... Безголовые – и в форме ментовской; вот она, милиционерша, с погонами и в юбке короткой, с волосами распущенными топочет на каблуках по ухабинам – за окном Алешиным...

Безголовые и подверглись сепаратизму внутреннему. Сами себя и загнали: окрысились, озверели и лают, аки псы. Брести стаей в платочках, замечания делать – вершина айсберга... «Добрыня» – русская община – кирпич из пирамиды той. Гражданство, видишь ли, российское раздают, – *не бесплатно*. А Безголовые из загса и госархива справки подмахивают. Россия вот-вот будет *законно* граждан своих выручать – камня на камне не оставит! Безголовые! Гунны здесь прошлись. И Орда коснулась мест этих. Теперь вот – сепаратизм. Сепаратизм в сепаратизме: Бендеры против Тирасполя! До полного распада атомных ядер...

Куда идем? Ведь грех – не думать, чем действие обернется твое. Им, Безголовым, конечно, кричать «ура»! Ура Донецкой республике

и Луганской! Чтобы в тот же зиндан угодили прочие... Все измельчало в людях. Во власти, на производстве, в школе – помол идеальный. Ничего уж не заколосится в тростниках мыслящих. Редкий проблеск: те, кто от телевизора отодрал себя... Лучшая игра детенышей человеческих – «в собак». Понаблюдал Алеша. Раньше играли во «фрицев» и «наших», а теперь «в собак»: источать и артикулировать не надо, опускайся на четвереньки и кувыркайся в визге заливистом... Делать замечание не стал. Ведь было: в окно руку просунули и на сковороду на подоконнике говна бросили... Детьми вообще не занимаются. Родители на заработках. Бабки справляются едва и сами жертвы куража несовершеннолетних... Люки канализационные и ящики почтовые сдаются в металлолом!.. Ох, Безголовые!.. Да и что, по правде, лучше – игры с говном иль опыты с благоуханием?

И чего Алеша разъярился? Гражданка Война промчалась, шлейф аромата с бензина парами за окном... Ей подыгрывали на рельсах Безголовые и в Парламенте в Кишиневе... Не надо было бы и Алеше убивать тех, в окопе... О, горе!..

Но оборвалась за окном беготня. Менты и попы с чемоданами яиц Правду понесли привычно... И Безголовые – в русло: срамят-принижают граждан: не так одет, не так взор поставлен, не так в баке клюешь!.. Из Кремля команда: «Прекратить! Пот ли то телевизионный; миро или парфюм!..» И Патриарх на всея стороны Руси Послание сгустил: «О мироточении подлинном и мнимом». И режиссер Кирилл не мелькает. Уж заснял «что надо», и кассета хранится под спудом в МГБ... Экспертиза из Германии указала в слизи парфюм линии Дживанши-мужской польского происхождения, каким пользуется по праздникам и Володька Батогов.

Интервью с Хребтищевым в прямом эфире

– Так почему – масоны?

– Да потому.

– Почему?

– Масоны доказали свою безальтернативность.

– Где – на земле? Или у нас?

– На земле – еще нет. А у нас, в Приднестровье, – да!

– Это почему ж?

– Вы будете смеяться. Это мировоззрение, чем и дорожу.

– Мы не будем смеяться. Разобраться хотим.

– Тогда слушайте и не перебивайте. Две противоположности явствуют в миру. Один полюс – это *люди*; другой же – *масоны*. Люди стремятся, в векторе «от Создателя», оприходовать пространство-время, продвигаясь от цели к цели в объективном...

– А масоны?

– Масоны стремятся «к Создателю», которого и концептуируют – своего Архитектора Вселенной; к возвращению под сень, пропагандируя «бытия иллюзорность».

– И люди, и масоны тянут одеяло на себя, исходя из тренда? Мы правильно Вас поняли?

– Да. Но в одном и том же представителе может уживаться и человек, и масон. Утром он поступает как человек, а вечером... по плоду узревайте. Масоны все подмяли под себя.

– Средства массовой информации, литература, киноиндустрия?

– Борьба внутри тростника. Перечисленное вами есть продукт борьбы. Идентифицируем начала: все то, что с Богом, стремится к свертыванию – это авторитарно; что же движется *за* пределы «творения», полагаясь на силы своя, – это жизнеутверждающее. Большевики добились результатов в переустройстве страны, вплоть до выхода в Космос; это все *без* Бога, *от* Бога, *против* Бога!

– Но большевизм в религию превратился и Бога заменил...

– Эх, страшную тайну скажу. Я много думал. К примеру, сепаратизм в чистом виде и есть кризис образа Отца! Признаюсь, пел гимн, славословил сепаратизм, но в чистом виде! Ведь все в Отечестве нашем извращено-развращено. Гражданка Война визжит и писает, хочется ей под длань деда-Сталина!.. Во Вселенной, где Бога Отца нет, *есть Ничего нет! Ничего нет – есть!* Повторяйте, как молитву! И вам откроется!

– Вы же выбиваете последнюю надежду?!

– А я не понимаю, как можно надежды алкать, когда вообще ничего нет! И по каким-то параметрам выстраиваются потребности – из ничего, а точнее, из *Ничто*. Все мы из Ничто.

– Вы опять нас обделяете?! И обедняете – духовно!

– Знанием наделяю! И ненавижу себя: за то, что доктрину *подгоняю*, быть понятым желаю... Свободный превращается в диктатора, дай ему вещать, рассматривать в прогрессии свое «Я». Свобода – это корпускуляция тростника мыслящего; в моем же, оракула, случае – *единение*, а значит, авторитарность, масонство. Я – главный масон, себя и провозглашаю в государстве самопровозглашенном. И обличаю! С меня пойдет рушиться наш домик карточный: все мы и разойдемся по квартирам-государствам своим – к телевизору!

– Выходит, телевидение и есть Божественное начало, вы не находите? Стремление к единению?

– Нет, это авторитаризм, подавляющий волю свободную.

– Божественное начало! Вы же сказали: «понятное большинству...»

– Хорошо: авторитарное Божественное начало.

– В таком случае, человек и масон – это звенья одной цепи?

– Нет. Человек – это естество. Масоны же – плод инерции, нагромождение цивилизационное.

– Опять Вы про тупиковость?

– Да, из-за авторитарности нашей, желания подчинять и подчиняться. Масоны в каждом из нас; культура ушла в иллюзию!!

– Что вы можете по существу сообщить суду про отношения ваши с Ниной Сергеевной и Светой Максимовой?

– Ничего! Буду сохранять свой главный принцип масонский: *«Есть ничего нет! Ничего нет – есть!!»*

Ура! – обморок!

Шел очередной учебный год. Сменялся, как конгруэнтный лист кленовый за окном. Каждый новый знаменовался и лозунгом над доской: «ПМР – последний рубеж (форпост, ретраншемент, бруствер) Мира Русского!» К вящему завуча наставлению Алеша старался проходить по касательной тему шрифта и композиций шрифтовых. Поколения учеников подразумевали *то самое* в аббревиатуре троебуквицы. И шум в голове, потливость и озноб.

Алексей, по обыкновению, приноравливал параллелепипед и конус на треногу у доски. Проверяя форм взаимодействие, взгляд невольно – влево и вправо по плоскости – упирался в фотопортрет над доской. Туда, где в бытность «совковую» Ильич щерился, а ныне бровями лохматыми лукавил президент ПМР. Алеша в соприсутствии соглядатая сего (впрямь: чернокнижник из сериала ужасов) собирал волю в кулак, решая *вести линию*.

– Важно понять и принять, друзья, – тыкал указкой в гипсовые болванки (а к горлу – ком неминуемый), – тень вовсе не враг фигуре, светом обласканной... Как и разум – не враг вере и порядку... – далеко заводило его абстрагирование (и со стены уж повернул глаз чернокнижник). – Мысль – главное в человеке!.. Ее ни отнять, ни приватизировать, ни задушить... – но тянулся палач со стены руками окровавленными... – Кто мыслит, тот существовать со всеми заодно... в этом во всем... *не может*!..

Стиснув виски, Алексей бросился из кабинета. В учительскую, к директору, к врачу, – с просьбой о больничном... об увольнении... В приемной случилась вся рать ученая. Педагоги, работники технические, сторожиха – у радиоточки теснились с лицами смятенными. Ужель с Ниной Сергеевной и Светой Максимовой?.. Ужель случилось чего?.. Нет, российская служба вещала: «...Арестованы счета президента ПМР, подозреваемого в хищении средств. В таможне орудовал старший сын. В Думе – невестка. В двух квартирах в Москве и в домах под Москвой изъяты доказательства; объявлен розыск. По

данным, преступники бежали на Кипр...» Алексей взвыл – то ли от счастья, то ли от дурноты и, как был, так во весь рост и рухнул, с каким-то звоном хрустальным. Голова запрокинута, волосы разметаны по лысому, что плешь президента, ковру... Не успел за портьеру глухую. *Умозрительное* пришло, сковало... Хоть святых выноси!.. Бросились искать ему нашатырь, камфару.

Умозрительное (Взбесившаяся Объективность в прицел!)

Не случилось и двадцати пяти лет мероприятию незадачливому – «союзу»-«разладу» государств независимых и непризнанных – как столицей столиц был назначен в земли сии многострадальные визит Всесветительский главы РПЦ – с целью скрепу важную Мира Русского подтымкать!.. Начали готовиться... Путь из аэропорта в Тирасполь, столицу сепаратистскую, – через Бендеры. А улицы города-сателлита продолжают четверть века после войны ухабами зиять! Кто исправит положение в срок? – Люди в погонах. Способ: пустить танки по маршруту следования Отца Святого: гусеницы вспашут асфальт, солдаты, погоняя стада, соберут глыбы на переплавку и обратно укатают!.. Итак – на Восток, средь полей кукурузных к Арке Бендерской (трубы канализационные «на попа» ставлены!), мимо Крепости – к Храму – явить площадку для окормления страждущих Концепцией кованной духом *непротивления*; затем – дорожка бордюрно-сверкающая за Днестр – в Тирасполь... В общем, силились горожане под погон водительством, рук не покладая. Облагородили в срок и площадь перед исполкомом. Володька Батогов с ментами и участок дороги замонолитили, где Алеша у окна зависает.

Гудронко стал готовиться тоже. Утверждал в себе (и *на* себе!) текст. Лозунг «Религия – опиум для народа!» отдавал какой-то вторичностью... «Менты и попы – едины во веки!» – лучше, но не то... Было зеркало широкое, был рейсфедер и черная тушь китайская... Было горько и больно... и слезы глаза застилали...

...В ночь перед торжеством ураган обрушил деревья на провода, погасло электричество; но Алеша уже готов... «Осознавать – это и есть выбор!» – метался он на простынях спутанных. – Задача – пробудиться к Долженствованию!»

К утру люди в погонах не оставили от катаклизма природного ни следа. Эка невидаль! Модератор мира православного на подъезде уж, и знак в том стихии усматривался: губы Владыко трубочкой сложил, дунул в сторону Днестра геополитически, альвеолы разминая, – деревья и попадали.

Старики и дети, мужчины и женщины, активисты сообщества Безголовых, пожарники усатые, бригады помощи «скорой», чины

администрации и прочие в штатском, Батогов, Хребтищев-йог, школьники и учителя, директриса с дулей вместо лица и Гражданка Война – вышли встречать Пастыря. (Автобусы с истыми кортеж сопровождали и от самой таможни.) В первую годовщину войны Алексей участвовал в Цепи Мира: горожане за руки строились между Бендерами и Тирасполем (10 км); здесь же была толпа. Пробирался к воротам Храма занять место... Вперед – *вперед*!

Все Приднестровье здесь, включая и вышки телевизионные, – вбирают типажи, события алчут... Режиссер Кирилл с оператором в шлемах пробковых *ведут своих*... Кацюков в костюме модном облегающем на треногу камеру утверждает; позиция «супер». Кацюков с камерой – танцор с балериной! Одна рука – на талии-штативе; другая – на «шее» Лебеди Черной, ручке-рычаге. (Любит он технику нежно и страстно!) Глаз мастера – в объектив: поворот вокруг оси – пируэт! Камера толпы волнение вбирает... И на колокольне растревожилось зычно. Приосанился Храм в именинном, право его: первый камень заложен в 1813-ом... табличка на фасаде... Вот поп Василий в группе круглопузых в сутанах парадных попов-котов – у крыльца... Объектив круто вверх: купол колокольни над входом главным венчает букет экзотический: крест и два стяга: красно-зеленый ПМР и черно-желтый уезда Бендерского – эффект эпох наложения: сепаратизм окраинный – новый драйвер Имперский! (Храм с исполкомом – бок о бок.) Объектив – в исходную; поворот на 117°; резкость – три метра, пять метров, десять... Кортеж вот-вот появится из-за угла... Бьют колокола... Долгий сверкающий лимузин в кадре уже.

...Патриарх на диванах авто в позе расслабленной творит гимнастику артикуляционную: «Ми-мэ-ма-мо-му...» На острие искусства ораторского себя явить: речь – инструмент первейший наместника Божия на земле! Звучностью, темпом и ритмом, паузацией, ударениями логическими, интонацией и тембром – узурпаторов погрести. «Три кита» ритора: «invention-disposition-elocution», – если надо и ногой топнуть, и посохом осадить, глаза тараща в округлость вселенскую: «Ми-мэ-ма-мо-му...» В общем, зрел площадку благодарную коммуникационную, какую и воздвигли ему горожане, войну пережившие, – и никакого микрофона. Умеет Владыко из клети грудной чрез гортани трубу усиленно под мозга купол выпрастывать – глас трубный, глас разящий! – пережать, заткнуть за пояс земное-трефное... «Подозрение есть, братия и сестры, что *кому-то* хочется прославиться, вот он *чудо* и симулирует. Даже идолы на капищах и иконы фармазонские слезят!.. Само по себе крово-слезо-мироточение не является аргументом – ми-мэ-ма-мо-му...»

Долгий лимузин сверкающий останавливается... Отверзается...

Колокола стихают. Клобук белый высовывается калибром из зева... Стрекочут фотозатворы... Руки, распаренные от поцелуев, вонзают в асфальт посох-жезл, мускусом пахнущий... Зум увеличения шестикратного выдает на запястье патриаршем часы в бриллиантах! И лик восходит Всесветительский над толпой... Сережа и штатив в порыве едином пригибаются в «коленках»: вид – снизу вверх!..

Но – звяк резкий над толпой. Притихло все. Камера чутко – на звук. Гудронко вынул из кармана наручники (Кацюков лет пять тому их презентовал, исповедуясь об особе известной), прищелкивает затвором себя, а другой захват – подпрыгивает и повыше на решетку ворот!.. Камера бдит. Алеша повис, рвет рукой свободной рубашку на груди... И надпись рейсфедером травленная по коже бледной безволосой: «ДАЕШЬ ЛЮСТРАЦИЮ!!!» Ближний наплыв: метр, полметра... формат горизонтальный!

– Даешь люстрацию! – кричит Алеша. – Люстра-а-цию!!

Камера фиксирует зубы, клацающие у лица Алеши: капельки на резцах слюны... в ртов уголках болотца пенные... Грудь скребут, тело рвут – кто за ноги вниз, кто в бок кулачищем тычет...

– Ах, изменник!! А я передовицу к пятидесятилетию его: «Герой-герой, убил пятерых, отмстил за товарища!..» – Гражданка Война потрясала Звездам и Лунам. – У тебя был шанс – *изведать*, а ты – бес-хре-бетный... Вот тебе, вот!.. – защемляет ему орган детородный папкой с версткой... *кусачей...*

Прицел же оптический метит ей в зрачок. Мозг ея умозрит *в особом*: Война вытягивает шпильку из калача смоляного волос, коса в цепь железную разворачивается с серпом-наконечником, раскручивает циркулярно со свистом вокруг головы и скальпирует с маху череп Алешин; чаша мозга льется на асфальт... Стоп кадр!.. Аж камера запотела!.. Сережа трет глаза от слез страстных (и сухих) и очки трет салфеткой. Еле стоит... Он счастлив!

И толпу начинает клонить – от возмущения-радости... И гул подземный... То асфальт пучится... Сережа со штативом согласно – «ноги» врозь: головка камеры – на 90° вниз! Гремит и едет люк канализации с логотипом: *Мастерская литейная Берингоффъ, 1875 годъ*. Экзерсис с поворотом на 360°!.. Вырывается и хлещет в небо столб зловонный!.. Оптика входит в поток: высота струи – 4,20м; t – 46°C; хлопьев консистенция – как на Сезанна полотнах...

Гейзер хлещет; ширится очаг *зоны затопления...* Чистка объектива – спецсредства в несессере поясном. Чавкают подошвы; грязь, вонь... Прихожане оттесняются со вздохом тяжести; подбирают брючины и подолы, носы затыкают... Глаз на окуляре опять: и – панорама круговая: свирепая изобразительность, пассаж инфернальный:

«Помпеи день!!» – «А-о-у-у...» – Патриарх пытается скукожиться в объем прежний и ликом, и телом – не до величия Ритора ему; и рот неча разевать, ларингиты-фарингиты кликать, бисер слов метать *перед*... Поп Василий бежит с крыльца, орудует локтями, с всплеском валится перед Гегемоном. Объектив вбирает висок вздувшийся в Василии; щека, борода и усы попа – в дерьме; губы – выдувают мощь:

– В Тирасполь, в Тирасполь, Владыко! Там демоны не дерзнут!..

Крупный план. Нога Патриарха восходит на спину попа, как по трапу; вытирает смрад о волоса Василия пышные; из-под рясы брючки со стрелками, башмачки с тиснением от «Карла Понти». Безголовые облепляют Василия, – умилить силятся челом и губами отпечатки слякотные на нем, унести частицу священную. И в порыве стае пираний уподобляются – челюстями трудят, аж клочки рясы поповой летят. Батогов бросается на помощь. Мутузит одну активистку, отшвыривает другую. Потасовка до хруста хрустального позвонков и... аромат вдруг над смрадом разливается – облако призрачное Дживанши!

– А-о-о-о!.. Вот она, склянка, от аромата на поляне!.. Это он – инсинуатор, кто Президента возмечтал с должности смести! – цепко удерживает Батогова за штанину пиранья в платочке, вклеенном в волоса. – Раскольник! Вяжи его!..

– Дура и дура! Склянка выпала из рясы попа!.. – Батогов вырвался, бежит прочь.

Облако Дживанши окутывает шлем Кирилла-режиссера. Он припускает камеру на место, где только что, аки свиния, валялся поп. А Василия и след простыл. Только дверь в лимузине шлет режиссеру звездному: чмоки-чмоки!..

– Масоны; кругом масоны! – взвывает сумбурный Хребтищев с ограды по другую сторону от Алеши. – Изъели субъективность нашу, древоточцы... *Инквизиторы Великие!..* Масоны управляют нами – изнутри!.. И вами, стерлядки Безголовые, и вами, о горе мне, – Нина Сергеевна и Света Максимова... И мной!.. Земля возмутилась!.. Канализация синергична нам!

Старики и дети, женщины и мужчины, активистки религиозные и атеисты... Их позы и лица. Не дремлет Сергей...

– Доло-о-ой!! – кричит Хребтищев. – До-олой всех и вся!!

И его разрывать пытаются люди в погонах.

– Ах, пень старый, когда уж черти тебя утянут и язык поганый твой тебе ж на локоть натянут?! Позорить меня и Республику?! – дочь норовит ребром папки кусачей в пах отцу родному...

Трусы спортивные Хребтищева по швам – высвечиваются ягодицы в прорешинах. Его пытаются «отсобачить» от решетки...

– ...Вспять, друзья мои, через историю личную, сквозь опыт

человечества и Адама – к бытию растений и минералов! Начнем *испытывать* заново!.. Знание изначальное-е-е...

Взбирался Хребтищев выше. И... повален был багром в дерьмо.

– ...чем начинается жизнь, тем и заканчивается... – глотает воздух йог, выныривая. – Не говна бояться надо, друзи, а зиндана смрадного, куда мы все угодили...

– Достал этот *гимнопедий* голожопый! Так, лейтенант, винти его! – Безымянный проклюнулся; и голос его такой же – из могилы. – С нас уж свинтят по звезде с погона ж не простят!

– И нас винти тогда!.. Нам уж нечего терять!.. – оттеснил подполковника с повалившейся фуражкой расхристанный в кадре мужичина (и Суриков бы позавидовал типажу для «Казни стрелецкой»). – Впрямь, че это мы, говна испугались? Подтерся рубахой и пошел! – тянул с плеч рубаху. – Долой их... одежды...

Старики и дети, женщины и мужчины, Безголовые и актив атеистический стали зонты сворачивать, разоблачаться...

– Ну, раздевайся Максимова, или *отвинтиться* надеешься? – Нина Сергеевна сбрасывала батничек модный.

– Мне нечего скрывать! – через голову стягивала водолазку, бикини обнаруживая.

– Ты юбчонку сымай! – Нина Сергеевна сбросила и бриджи – из-под «неделек» ее курчавился призывно треугольник волосяной.

– И сниму! – Максимова тянет через голову юбку. Зум шестикратный фиксирует ляжки: на них пятна закамуфлированные! Максимова бьет юбкой соперницу – темные очки той в говно.

– Ой, мой глаз!.. Люди, вы видели?.. Вот – рецидивистка! А я – жертва!.. Кирилл, пиши на камеру – лишаи!.. Все свидетели: ляжки Максимовой... «Днестра надзирательница» лгала!..

Кирилл же отвернулся предательски, призывая оператора план сменить, – на кортеж, отъезжающий в Тирасполь.

– Сережа, ты *скажи*! – Нина Сергеевна держалась за глаз.

– Лишаи – есть!.. – кричит Сергей, не отрываясь от прицела.

– Есть!! – Нина Сергеевна принимает стойку, имитирует удар ногой из «ушу»; Максимова отшатывается и оседает замедленно... Поворачивается на живот, корячится...

– О, Адам, я иду к тебе!.. Ты мой, ты *мой!*.. – с повизгом нутряным Нина Сергеевна ввинчивается в ментов теснину к Хребтищеву... рыжие крашенные волосы ее мелькают...

– Не дай сопернице шанса! Там мужчина твоей мечты!.. Брек!! – подзуживал Кирилл тираспольчанку, закидывая планы камеры на нее, прикрывшую лишаи, которые годами за побои выдавала.

– Ох, рука, рука! И в том же месте!.. – рыдает Максимова.

– Врача!.. Как бы там ни было, но это мой лучший эфир, дамы и господа! – на камеру Кирилл в шлеме изгвазданном. – Жаль Патриарх в фокус не вошел *крупно*.

– Кирюх, а Кирюх, свяжись с Президента администрацией, – осклабился оператор. – Его попросят вернуться в исходную.

А Патриарх уж ехал в объятиях евразийца счастливого, от канализации нарыва защитившего. В Тирасполь благоухающий. Ими принималось: не опустив руки в дерьмо и не вылепишь ничего из народа сего, с человеком Адамом аналогию имеющего отдаленную весьма... м-да!

К Максимовой спешил тот самый врач, склонивший ее к показаниям; заодно и мент, что протокол писал...

А верные подняли йога без трусов, понесли на крыльцо Храма...

– *...есть Ничего нет!.. Ничего нет – есть!..* – приоткрыл глаз паяц старый; жив... в своем репертуаре...

И колокола из оцепенения припустили в мощь: то ли тризна праздничная, то ли отходная кортежу о семи автобусах... И Сережа тут как тут, не теряется: где надо и режиссера Кирилла плечом теснит, и в зубы корреспонденту врежет локтем; «Очищение тотальное», «Себя обретение» фиксирует в объектив – для аккорда заключительного галереи ПМР... Официоз и нонконформизм, сплавившись, миссию осуществили художника!.. Элегантный костюм – сплошь в ляпах фекалоидных... аксельбанты кудрявые – на плечах!.. Стиль «милитари»!.. Мужчина-мужчина!..

Фокусируется на Алеше распятом: руки друга затекли, и ногой ищет опору на решетке судорожно. «О, если так необходимо, чтобы принуждение выражалось в образе воина, – думается Сереже, – а святость – в образе монаха, то образ революционный двуединый – это Гудронко...» (Где-то в несессере на поясе у Сережи ключ таится от наручников, помнит ли о сем?) Светятся глаза Алеши: «жало смерти» вырвано из Бытия! Проник он в тайну времени всепобеждающего! Чудо силы духовной обеспечило *финал!* – прорыв глобальный коммуникаций инженерно-технических и социальных, что не обновлялись уж лет сто сорок... Алеша стал революционером. Как и предвещал Достоевский!

Заключение

Алешу турнули из школы. Таки «съели» под водительством директрисы с дулей вместо лица, либералиста отъявленного, вектор отмерив ему – к бакам мусорным на рацион. («Ишь, тираноборец! Даром, что ополченец апробированный, а не то б в застенках гнить ему!..») Отмстили – *за умозрительное*, которое способно тлетворность окружающего в пух и прах (весь этот уклад и быт), преподнеся

на суд *нечто,* и в понятия-то не облекающееся: непостижимо даже – сон это или явь, а может, и данность обновления вечного и несокрушимого – *Реализм эпохальный*, сметающий все и вся, и прежде инициатора своего в помрачение вгоняющий, побивая его картинами умозрительными, и всех ближних, и всех дальних в радиусе опосредованном, всех друзей и врагов вмещая в *единое*, обезоруживая их, с ума сводя...

А Бублика съели буквально. Алеша из суперпозиции увидел, как на помойку шкурку желтую с ушками и хвостом понес бомж (их популяция вызывающе помолодела и окрысилась), и дворник удостоверил, что хрустнул хребет у Бублика. Взвыл Алеша – и не нашел иного ничего, кроме как вертел с тушкой разметать, пепел углей растоптать – теперь и к бакам смрадным путь ему заказан...

Хребтищев поет мантры священные... и про масонов...

Гражданка Война вспомнила, что настоящим ее после вуза распределением был Луганск (связи деда оставили ее в Бендерах). Ее подельник верный и орел, бывший министр госбезопасности ПМР Шевцов-Антюфеев (он же Стрельцов), объявленный в розыск международный вместе с родственниками президента бывшего, обосновался в ДНР, кличет коллегу со свернутой в калач косой...

Такие вот экзерсисы коммуникационные и цепочки пищевые в анклаве самопровозглашенном, где разгул слепой воли животной, где не жди целесообразности, где царство слез и обид... ПМР, ДНР, ЛНР – повтори раз несколько, товарищ! – какие-то очереди пулеметные, а также перьев скрип писчих, что летопись правят реальности в пещерах катакомбных или из могил древних в Лаврах...

Бендеры

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Марк Зайчик

История Евсея Бялого

Высокий костлявый старик с широкими плечами и длинными руками вышел из стеклянных дверей хостеля для одиноких репатриантов, что расположился неподалеку от неспокойного моря. Он медленно оглянулся всем корпусом и деловито пошел по тротуару, подволакивая правую ногу за собой. У него наблюдались некоторые проблемы с координацией, он выглядел немного странно, но все равно ощущение физической мощи, пусть и бывшей мощи, от этого человека оставалось.

– В магазин, Евсей Павлович? – живо спросила его крупная женщина с прямой королевской спиной, сидевшая у входа на лавке без спинки.

– Здравствуйте, – медленно сказал старик, повернув к ней темное лицо в очень глубоких морщинах, в которых можно было спрятать местные медные монеты, стоившие мало, но без которых все равно ничего купить нельзя.

Евсей Павлович шел в сторону от моря, направляясь к лавке Нисима за углом. Он купил себе местную простоквашу, называвшуюся здесь «гиль», батон серого, так называемого «серого», хлеба и 200 грамм сыра. Молоко у него было дома в малообъемном холодильнике. Он жил сдержанно, удивляясь, за что и почему ему выпала такая удача на старости лет. Пенсия, отдельная комната, добавка от национального страхования, море с неровной жестяной поверхностью по вечерам и даже переносной компьютер, который он купил на деньги, выданные ему по приезде еще в аэропорту усталой манерной дамой из Министерства репатриации.

У него постоянно болели колени и спина, пальцы рук его не разгибались и не сгибались в полной мере. В зеркало он заглядывал быстро и недоверчиво. Это происходило, если он мог развернуть без особых усилий корпус, что иногда случалось. Полвека назад он отработал в северном забое на каторжном угольке под Воркутой, меняя кайло на лопату и наоборот. Три года этого труда по шесть дней в неделю, десять часов в сутки, сделали Евсея Павловича таким, каким он предстал после освобождения в Москве в 56-м году. Тогда он восстановился, хотя уже с признаками ужасной болезни, поразившей

его. И сегодня он выглядел так, а не иначе, с небольшими изменениями к лучшему, в поселке городского типа для богатых, в прибежище для одиноких репатриантов у самого моря.

Взяли его со второго курса института, обвинили в терроризме. Получил двадцать пять лет. Самое интересное, что их группа действительно обсуждала убийство вождя выстрелом в проезжающий по улице Горького автомобиль. Сталин ездил на ЗИС-115, иначе называемом «Изделие-100». Этот советский бронированный автомобиль был выпущен по специальному заказу правительства СССР и представлял собой ЗИС-110 с бронезащитой, бронестеклами и специальными шинами. С 1948 по 1949 годы их было выпущено 32 штуки.

Ребята из их группы считали, что можно поразить Сталина одиночным выстрелом. Один из них прошел войну и знал, что к чему. И винтовка у них была. Болтовня одна детская. В общем, все было готово к восстановлению ленинских норм жизни, но органы безопасности помешали. Дальше разговоров все это, конечно бы, не пошло, хотя кто знает, кто знает... У них был, как у взрослых, и обязательный для любой в те годы компании стукач, который докладывал об их разговорах и планах. Всех быстро забрали.

На следствии Евсея особо не били. Один из следователей выглядел удивленным, наивным большевиком, рубахой парнем – мол, «не могу поверить, что это правда, вы – советские студенты, Сталин вам дал все. И вы, вы, твари, хотели его убить?! Его?!» Коллега следователя, похожий на хитроватого солдата-дезертира германского фронта Первой мировой, идентично пахший табаком и шинельным сукном, периодически лупил Евсея кулаками в брезентовых рукавицах со словами: «Я тебя, суку, научу родину любить и дорогого товарища Сталина».

Евсей вел себя на следствии так, как вел, – не из-за порядочности, а из понимания того, что, начав говорить с ними, ему будет еще хуже. Но, конечно, к тюрьме Евсей не был готов. В заключении («пригоден для тяжелого физического труда» было написано на папке с «делом») Евсей находился с января 46-го по август 56-го. Он очень много узнал о жизни, продемонстрировавшей ему такие свои грани, от которых многие крепкие люди становились другими, менялись категорически. Не теми, чем прежде, это уж точно. И на Евсея, человека с сильным характером, конечно, лагерь повлиял тотально.

Вернувшийся в сентябре 56-го года в Москву с деревянным чемоданом, Евсей сразу понял: жизнь его пошла по иному пути. Москва стала совсем другой, как и он за эти годы.

Евсей вышел из метро через остановку от Площади трех вокза-

лов. По полукругу за «Колизеем», рядом с Покровкой, шел новенький желто-красный трамвай, от нежно металлического звука движения которого можно было заплакать. Евсей не думал плакать и расслабляться, он не был человеком слез.

Отъезд его из места заключения мог бы стать темой для жуткого приключенческого романа с большими вставками из дикой уголовной хроники. Евсею совершенно случайно, через двое суток, удалось сесть в поезд на перроне вокзала, переполненном досрочно освобожденными. Он случайно не получил заточенным черенком супной ложки в бок, случайно не был забит ногами за углом депо, случайно не был порезан уголовниками; кто-то из старых знакомых по забою случайно признал его и шепнул за «человека» корешам. Евсею продали билет без очереди, и он втиснулся в общий вагон. Наверное, его хранил Господь, кто же еще. Мама его была мертва уже несколько лет, но он этого не знал.

Дом Евсея был в Потаповском переулке. Недалеко от метро он постоял у булочной напротив кафе «Ландыш» и долго дышал, стоя по правую руку от входа, невероятным запахом свежего хлеба, кружившего ему голову сильнее вина. Потом Евсей все-таки не выдержал, зашел внутрь и купил «городскую» булку за 70 копеек. До его посадки эта булка называлась «французской», но как раз тогда ее переименовали в «городскую», борясь с иностранным засильем и чужими названиями. Деньги у него были, их ему неожиданно выдали при освобождении, – немного, но свои. Их не отняли на вокзале, он их довез. На улице он одним нетерпеливым движением оторвал большую горбушку от горячего нежного хлеба и сжевал ее, подержав и понежив во рту прекрасную сладчайшую мякоть, как лучшее пирожное из знаменитого магазина «Торты» в Столешниковом переулке.

Евсей прошел под большими деревьями к своей парадной и поднялся на третий этаж. Телеграммы он родным не посылал.

Открыла ему дверь соседка Вера Прибыткова, работавшая в железнодорожном депо на Рижском вокзале сутки через трое. Она не удивилась, только сказала высоким московским говорком: «Евсей, что ли? Ну-у, вернулся. Не узнать тебя. Проходи», – Евсей прошел по коридору и толкнул свою дверь.

Комната была большая, светлая. Посередине комнаты стоял обеденный стол, накрытый плюшевой скатертью бежевого цвета. В углу, неподалеку от широкого дивана, стояла этажерка с безделушками и рядом металлических слоников – до самого маленького, размером с два ногтя большого пальца. Стояла там и балерина на пуантах, и металлический бюстик неизвестного человека. У балерины были полные ноги, не очень подходившие для ее подвижной профессии. В

бюстике можно было после настойчивого вглядывания угадать вождя революции. Платяной шкаф с массивными дверцами, из которых торчали ключи, оставался загадкой. К шкафу была прислонена сложенная раскладушка с оторванной пружиной. На широком подоконнике стояла тарелка с остывшей, забытой кашей. На книжной полке, подвешенной слева от окна отцом сразу после войны, были расставлены книги русских классиков, том Уильяма Шекспира в нарядной обложке и черно-белый портрет Маяковского. За столом неподвижно сидел спиной к двери отец.

Он смотрел в окно. Лето закончилось. Было солнечно и прохладно. Было воскресенье, 12 часов дня. Радио на стене вещало женским голосом новости. «И в заключение выпуска новости спорта, – сказала женщина бодро, внятно и громко. – Сборная СССР по футболу продолжает подготовку к Олимпийским играм в Мельбурне. Выступая в городе Ганновере против сборной ФРГ, советские футболисты сумели одержать победу над чемпионами мира по футболу. Голы забили Стрельцов и Иванов. У немецких футболистов гол забил Шредер.»

– Папа, здравствуй, – сказал Евсей и шагнул к отцу. Он обнял его за худые и широкие плечи.

В лагере Евсей питался хлебом, жидкой кашей с рыбными костями и кипятком с кусками коры, называвшемся чаем. За девять лет он не получил ни одной посылки и только несколько писем от матери и два непонятных письма от двоюродной сестры Риты. Она писала Евсею, что у них все нормально, что мама его устраивается на работу, папа немного болеет, все помнят Евсея и думают о нем. Чем болеет папа, она не написала. Почему мама устраивается на работу, Евсей понять мог. Как они там живут все, было непонятно совершенно.

Евсей Бялый, быстро и полностью реабилитированный временно растерянной властью, был прописан по прежнему адресу. Реабилитировал Евсея Верховный суд СССР. Для паспорта он сфотографировался в ателье возле метро, которое теперь было имени В. Ленина. До посадки Бялого метро в Москве было имени Л. Кагановича. «Многое изменяет время, летим вперед к добру, все к добру, насколько так лучше», – добродушно подумал Евсей, настроенный сентиментально и оптимистично, как и полагалось человеку после тюрьмы. Фотографировал его мастер по имени Дима, с узкими усами над полной красной губой и ухоженными баками, говоривший с опереточным акцентом. «Я понимаю, что вы не хотите говорить, но сейчас уже можно, сейчас уже свобода», – вполголоса сказал он Евсею.

Он стал жить возле больного отца, ему назначили пенсию по

инвалидности. В своем вузе он не восстанавливался. Пенсия Евсея составляла 475 рублей. Вместе с отцом они получали 800 рублей. Отец после инсульта комиссией Мосгорздрава был также признан инвалидом. Больше никого у них не было, вся их семья разошлась по этому и тому миру, оставив после себя имена и вещи. Отец, кажется, не помнил ничего. Но Евсея он вспомнил сразу, это сын понял, почувствовав слезы на его щеках и судорожные движения высохших больших рук. Говорил отец междометиями. Евсей его понимал хорошо. Он ловко ухаживал за ним, научившись санитарному делу в лагере, где прошел полугодовой курс медбратьев, которому он, в конце концов, оказался обязан этой сладкой нынешней жизнью. Он был доволен ею, «ведь могли и убить, а не убили, пенсию дали». Он не выражал своих чувств легко, лицо его было суровым, сильным, гневным даже...

Евсей отчетливо знал, что он хочет делать в жизни. Все у него было в голове, никаких записей делать в лагере было невозможно, да и, конечно, этим скрюченным огромным рукам было не до записей. Евсей все запоминал, как выбивал в камне.

Евсей купил в книжном магазине три толстые тетради в клеенчатом переплете, с листами в клетку, и несколько карандашей, которые затачивал единственным в доме столовым ножом. У отца был плоский точильный камень с выемкой посередине от многолетнего использования. Евсей наливал в блюдце воды, ставил блюдце на газету возле камня и минут десять каждые два дня затачивал нож с деревянной ручкой, который был так блистательно остр, что резал газетный лист «Правды» не доходя до него, на лету, от одной мысли и намерения. Затем Евсей складывал газетный лист со стола, убирал камень в ящик, нож откладывал на тумбочку, а карандаши еще дальше, на подоконник. Он кормил отца с ложечки манной кашей, сдувая температуру и осторожно промокая ему губы и подбородок специально приготовленным полотенцем; переодевал его умелыми, не брезгливыми движениями опытного санитара, каковым пришел из лагеря. Он писал у окна на подоконнике. Почерк его был не очень разборчивый, но он понимал его хорошо. Тетради не прятал. Писал о жизни на следствии и в лагере, писал так, как все было с ним.

Евсей устроился работать подсобным рабочим в Тургеневскую библиотеку – тут же, в двух шагах, десять минут пешком от дома. На работе к нему относились хорошо. Молодые сотрудницы с женским интересом посматривали на этого немного странного, самостоятельного мужчину с прямой спиной. Евсей был видным, а скрюченные кисти рук от чужих взглядов прятал. Широкая грудная клетка, отличные плечи, мощные ключицы, темная кожа непреклонного, морщи-

нистого лица и жесткий, таинственный взгляд правдолюбца... – библиотечных женщин можно было понять.

Уголовников Евсей ненавидел до дрожи, а молодую шпану просто в упор не видел. Парни из соседних домов с Кривоколенного подъехали к нему как-то вечером с двух сторон. У них были смутно знакомые лица, они повзрослели без Евсея и сами помнили его со скрипом. Они были одеты в полупальто, в белые батистовые шарфы и кепки-лондонки. Они спросили у Евсея прикурить и побазарить. Евсей отказал так холодно, с такой нескрываемой неприязнью, что ребята, непривычные к такому отношению, отвалили от него без комментариев. Понятно, что все это было до поры до времени, но пока сохранялся некий нейтралитет. Они не умели ждать, они были небитые, моложе Евсея, много хитрее его. Хотя он и был смышлен после лагеря, несомненно. Понимал что к чему и почему.

Евсей не надевал ничего нового, было не до этого. Не покупал одежду, не ходил в магазины, они его не интересовали. Денег не было, да и он не хотел этим заниматься. Но все на нем было чисто, подогнано, аккуратно. Он не выделялся, не стремился к тому. Ему помогали в вопросе стирки и глажки соседка Вера Прибыткова и ее сестра. Выглядел он представительно в своей бедной одежде; вокруг были еще похожие люди, хотя и с совершенно другой судьбой. Бедность не пугала и не смущала.

Евсей познакомился с женщиной, которая ходила в его библиотеку, читала Пушкина и Лермонтова, однажды после раздумий взяла «Гамлета». Потом Тоня, ее звали Тоней, сказала, что ей очень нравится «Гамлет», все время его перечитывает. Он подошел к ней, кажется, напугал и низким голосом спросил: «Вы ведь одиноки, я за вами хочу ухаживать, хорошо?» Она ему нравилась, голос его гудел от напряжения. Женщина с испуга кивнула. Она была одета скромно, как и многие дамы, но все было при ней, как говорят в народе. Лет ей было, как Евсею, ну, может быть, чуть больше. А Евсей выглядел на все 42–43 года, на десять-двенадцать больше паспортных. Он еще не отошел от лагерного страдания, напряжения, но восстанавливался быстро, благо реальный возраст и свобода позволяли.

К тому времени подоспело много чего: Олимпиада, Венгрия, Будапешт, Имре Надь, Суэцкий канал и все дела вокруг этого. Шума и волнений в Москве было необычно много той осенью. На фоне всего этого у Евсея случилась и состоялась любовь. «Великие в желаниях не властны», как было написано в любимой книге Тони. Евсей не ждал от власти ничего хорошего, хотя казалось, что вот новые-то, наследники усатого, смягчатся, дадут жить, дышать... Он очень ценил

их, в габардиновых пыльниках, тучных, коротконогих, испуганных мужчин, довольно необычных, на первый взгляд. Они его и других освободили, Евсей это помнил.

Евсей был бешеный болельщик футбола, переживал за «Торпедо», молодежь которого обещала много хорошего. Во время трансляций он кричал, топал ногами и стучал по столу, выражая чувства и пугая отца. Иногда по дороге на новый стадион, построенный на Лужниковских болотах, он восторженно повторял на бегу имена любимых нападающих: Иванов, Стрельцов. И опять: Иванов, Стрельцов. Рядом с ним торопилась от метро «Спортивная» к стадиону возбужденная, пьяная толпа, все – в распахнутых пальто, спорящие, жестикулирующие, пританцовывающие... Иванов, Стрельцов... Холодный осенний дождь набирал силу, и люди отчаянно бежали к стадиону по асфальтовой аллее, никто не останавливался. Милиционеры смотрели на всех без подозрений, почти любовно. Такой вот русский неповторимый ритм жизни, безумный, необъяснимый, понятный. Бутылки берегли во внутренних карманах пиджаков, как зеницу ока. А что еще, скажите, можно беречь во время задыхающейся атаки на стадион имени Ленина, где играют юный Стрельцов и совсем молодой Валя Иванов, а? Ну, скажем, сердце? – Можно беречь сердце, если есть зачем.

Билет на Южную трибуну за воротами стоил семь рублей, мужики прикупали пирожков с ливером, которые складывали в кульки из коричневой оберточной бумаги, «Жигулевского» пивка, которое щедро обогощалось водочкой, – и парни в черно-белой форме далеко внизу на темно-зеленом поле казались носителями всего самого прекрасного, что было в жизни. Да так и было на самом деле, если подумать.

Метро обходилось Евсею в 50 копеек туда и 50 копеек обратно, два пирожка – 1 рубль 20 копеек, переход на Центральную трибуну не стоил ничего. Дешевое счастье свободы, разве нет?! Живи – не хочу.

Отец Евсея был жалок и слаб. Руки его тряслись. Он смотрел на сына слезящимися светлыми глазами. Евсей брал полотенце и вытирал ему припухшее лицо. До приезда Евсея за отцом ухаживала та самая безотказная кудрявая Рита, которая и жила, к счастью, недалеко. Но несмотря на всю доброту, возвращение Евсея она приняла с облегчением. Она хотела родить ребеночка мужу и себе.

Евсею отец не был обузой, он соскучился по нему и любил его всей душой. Уложив отца спать, Евсей усаживался за стол, пододвигал стул, ставил фаянсовый чайник с заваркой и большой чайник с кипятком возле и напряженно, не гладко, начинал выписывать своим ужасным, неровным почерком в тетрадь заточенным карандашом московской фабрики имени Сакко и Ванцетти насыщенные, простые

и суровые фразы, лишенные лирических интонаций. Картины происходящего в его рассказе расстилались на расстояние взгляда Евсея, зоркого, цепкого, сурового и ограниченного взгляда заключенного.

Свобода в Москве и во всем Советском Союзе, по твердому мнению Евсея, была в это время необыкновенная. Наблюдалась некоторая растерянность народа от всего дозволенного. В Московском отделении Союза композиторов СССР настойчиво готовились к предстоящему Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Председатель отделения композитор Серафим Туликов вместе с коллегами с удовольствием и вниманием слушал новую песню, посвященную молодежной дружбе в мире, об этом рассказывал киножурнал «Новости дня». Исполняла песню молодая полногрудая певица в строгом платье с декольте, с выразительным ртом и многообещающим голосом. Аккомпанировал ей лысый мужчина, которого доброжелательно назвали Зиновием, фамилию диктор смазал. В гостиной Дома композитора было человек восемь. Двое присутствующих в двубортных тяжелых костюмах слушали новую песню полуотвернувшись – вероятно, от наслаждения. Председатель Серафим Туликов подпирал подбородок ладонью и внимательно смотрел на певицу круглыми глазами, пристально рассматривая молодой талант со всеми его принадлежностями. Ее принадлежностями.

Евсей зашел в кино по дороге с работы, сделав небольшой круг. В «Колизее» показывали милый кинофильм «Верные друзья» режиссера Михаила Калатозова и сценариста Александра Галича. Все вокруг Евсея говорили об артисте Меркурьеве. Романс из фильма «Что так сердце, что так сердце растревожено...», написанный композитором Хренниковым, Евсей напевал чаще, чем песню о «Золотой Москве». Он любил музыку. Часто мурлыкал себе под нос очень популярную песню Сидорова «Когда простым и нежным взором...» Мама его покойная – смирная, страстная женщина – очень хотела, чтобы он учился музыке, но Евсей противился этому всем сердцем. «Ну какая музыка, мама?!» – «А у тебя ведь кисть на полторы октавы, Севочка, – грустно вздыхала мать, – и абсолютный слух, Мира Израилевна говорит». Мира Израилевна была учительницей музыки. А ее бюст – как минимум одиннадцатого размера, по оценке одиннадцатилетнего Севы.

В те годы он любил пулевую стрельбу и ходил в секцию «Динамо», где его учили держать винтовку правильно, верно смотреть в цель, наводить на цель – и другим премудростям этого занятия. «Спусковой крючок надо нажимать медленно, Сева, смотри прямо,

только на цель», – властно говорил ему тренер, демобилизованный из Красной армии человек в застиранной гимнастерке и дорогих хромовых сапогах.

Вот Евсей и досмотрелся до лагерного срока в свою цель, которую выбирал недолго, а точнее, и не выбирал вовсе. Он ее знал наизусть. Роскошная усатая цель эта окружала его с утра до вечера, она была на плакатах, в газетах, на спичечных коробках, на шоколадных наборах, на марках и конвертах, на портрете в комнате соседки Веры Прибытковой, на всей их жизни. Цель эта являлась густой тенью, с ума можно было сойти от всеобщего обожания цели. До дрожи народ боялся усатого, считал его творцом всего хорошего на земле; ценил усача до предпоследнего стакана, как говорили на Мароссейке. Заметим, что Евсей только примеривался к усатой цели, он ничего конкретного не придумывал; в живые цели он не стрелял никогда – ни до, ни после. Он несколько раз болтанул друзьям на сборищах, что вот хорошо бы... И тогда будет счастливая, правильная жизнь для всех людей. И все. За слова отвечать надо, он это понял уже в лагере, а надо бы раньше. Да кто ж знает в 19 лет.

В том же киножурнале до калатозовской ленты коротко показали и сообщили, что в Каире триумфально прошла премьера фильма режиссера Марка Донского «Мать», по повести Максима Горького. Исполнительница главной роли народная артистка СССР Вера Петровна Марецкая, выступившая на показе, замечательная красавица с великолепной чернобуркой на ловких плечах, сказала, что Египет и СССР должны активно расширять культурные и экономические связи между собой. Слова выдающейся артистки были с воодушевлением приняты египетскими зрителями, сказал диктор, имя которого осталось за кадром. Жители Каира встали навстречу Марецкой, громко и радостно аплодируя красавице.

– Хм, расширять, говоришь, связи, – сказал сам себе Евсей, недоверчиво качнув головой. Он не был ироничным человеком, но всегда отмечал помарки. Ему пора было жениться, он это знал. Евсей восстановился после лагеря довольно быстро. Эйфория помогла, некоторое равновесие душевной жизни и задача, поставленная им перед собой. Она, эта задача, вдруг стала казаться разрешимой, преодолимой.

Евсей подавлял в себе восторг перед свободной жизнью. Ему это удавалось с усилием.

«Мингрельцы – дети дьявола», – сказал Евсею густым шепотом его сосед по бараку, сухумский художник, которого забрали ранним утром прямо на платформе Бараташвили, когда он вернулся ночным

поездом домой из Тбилиси. Евсей подумал, что он это говорит из-за происхождения Лаврентия Берии. Но нет... «Не только из-за этого надменного лысого злодея в пенсне, он из Мерхеули, я их там всех знаю, – сказал так художник. – Они были работорговцами при турках, я знаю, что говорю, я сам мингрел», – объяснил этот сутулый человек со впалыми щеками, знавший больше, чем говорил. «Я сел ни за что, за их сатанинский аппетит я сел, за их ненасытный псиный нрав», – объяснял он Евсею. Его звали Лаша, и он был бывший любитель и поклонник Писарро, белокожих томных северных дам, которые всегда позировали ему с удовольствием и даже счастьем, а также красного вина. «С утра бокал, другой ‘Саперави’ – и все, и ты хозяин жизни, Евсей», – шептал Лаша Евсею с некоторой грузинской тоской, которую можно было назвать и смертной. Говорил он вполголоса, с хрипотцой, которая украшала этого человека с незавидной судьбой. Про Евсея он все знал, почти все, и как-то сказал ему, что гордится им. «Хоть кто-то из всех сел за кровь, пусть и не пролитую, хоть кто-то из нас мужчина, гнилые они, не люди», – он гулко кашлял, дни его были сочтены. Он был полон противоречий.

Если Лашу забрали на платформе сухумского вокзала без грубостей, окриков и пинков, то Евсея – наоборот. Он был реальный враг, его руки заковали в наручники и усадили к обеденному столу, пока шел обыск. Возле Евсея стоял сотрудник, державший руку на расстегнутой кобуре. Когда все было закончено и Евсея уводили, то за входными дверьми его ужасно ударил по шее кулаком один из эмгебистов, которому показалось, что арестованный слишком медлит. А другой сотрудник втолкнул его в машину сапогом, для лучшего понимания ситуации. Евсей еще не понимал всего, по его мнению. Это было не так. Евсей, даром, что двадцатилетний советский несмышленыш, понимал все прекрасно.

Почти одновременно с Евсеем освободилось еще два человека, проходившие по делу о терроризме. Евсей знал, что они реабилитированы, живут в Москве, восстановились в институте, живут активной жизнью советских студентов. Они не общались. Однажды позвонил один из них, волевой, упрямый парень, с которым долго и безрезультатно возились на следствии. «Как жизнь?» – спросил он Евсея. «Нормально, Лева, а ты как?» – «Как в сказке, – ответил парень энергично, – Буха не видел, случайно?» – «Зачем он мне сдался, он меня не интересует», – сказал Евсей. – «А меня очень интересует, хочу его навестить.» – «Без меня.» – «Ну, будь здоров, твое дело.», – сказал Лева жестким голосом. Бух был тем самым, кто их сдал органам без-

опасности. Телефон был в коридоре, висел на бурой стене между дверью Веры Прибытковой и ванной.

В лагере все ходили с вафельными полотенцами на шеях вместо шарфов. И Лаша, и Евсей, и другие заключенные. Администрация не возражала и шарфы не запрещала. Сейчас, вечерами, когда Евсей работал, записывая свою и чужую лагерную жизнь, он привычно наматывал полотенце на шею, изредка поглядывая на постанывающего во сне отца. Рита занималась стиркой всего, что давал ей Евсей, делала это безотказно и регулярно. Выстиранное она возвращала через день, чистое, глаженое, починенное. Вначале она давала Евсею и деньги, но потом он отказался: «Спасибо, у нас все есть, а деньги я и сам могу тебе дать». Рита сказала на это убежденно и грустно: «Ты всегда был гордецом, потому все так и сложилось с тобой, это вообще очень большой грех, чтоб ты знал, Севка».

Евсей с ней не спорил, считая делом безнадежным. Он очень много ходил пешком, на работу и с работы. Обычно он шел в Историческую библиотеку, в которой, в принципе, было все, что было надо ему. Прямой человек с широкой спиной, длинными руками, проблемами вестибулярного аппарата, которые начались у него года два назад. Он сходил частным образом к опытному врачу, знавшему себе цену, и тот, странно глянув на него после подробного осмотра, спросил: «Вас по голове не били? Или вы падали, может быть, Евсей Павлович?» – «Били и падал», – ответил Евсей. – «Тошнота есть, головокружение?» – «Есть, бывает», – сказал Евсей.

Врач принимал на Мароссейке в своем кабинете, обставленном тяжелой темной мебелью из прежних времен. «Ну вот, – подытожил врач, ничего не объясняя, – это все скажется потом.» Врач, деловой умный специалист, подробностями диагноза не утруждал себя; Евсей тоже не распространялся, он сам многое знал о себе. Врач исходил из того, что все всё понимают и знают, так и было. От пятидесяти рублей, которые ему попытался передать Евсей, врач отказался. «Я у вас денег не возьму. Заходите, я всегда к вашим услугам», – сказал он решительно и не обидно. На том и расстались.

На обратном пути домой Евсей зашел в «Аврору». С удовольствием посмотрел киножурнал «Новости дня». «Оживленно стало на рынках Будапешта. На улицах гуляют дети с молодыми мамашами, жизнь после недавних событий в Венгрии налаживается», – сообщил диктор. Это был тот же голос, что из предыдущего выпуска журнала, сообщавшего о песнях для Всемирного фестиваля молодежи, которые внимательно слушали Серафим Туликов с коллегами. Скуластые, улыбающиеся красавицы-мамаши, лениво сидевшие на лавках солнечного бульвара в Будапеште, покачивая коляски на невиданных

рессорах, вызвали у Евсея интерес, обрадовавший мужчину. «Все, женюсь», – твердо подумал он. Когда журнал кончился, Евсей поднялся и, успокоенный новостями из братской Венгрии, пошел домой. «Ну, налаживается, ну, и слава Богу», – думал он. По его несокрушимому мнению, новая власть после усатого злодея была огромным подарком стране и всему миру. Ничто не могло его поколебать в этом.

Отец Евсея очень любил по утрам съесть пару яиц с хлебом и маслом. Евсей регулярно покупал 5 яиц в магазине за 4 рубля 50 копеек, одно яйцо 90 копеек, приносил домой в бумажном пакете и до работы кормил отца за столом, повязав тому на грудь холщовую салфетку. Отец жмурился от удовольствия, он был еще не старый. «Сколько ему лет?» – думал Евсей. Отец был 1902 года рождения, то есть – 54 года. Тело его подвело, да и жизнь также не слишком удалась. Хоть Севка вернулся, Слава Богу, Богу слава. Евсей осторожно вытирал ему губы и оставлял за столом. Возвращаясь с работы, он умывал и переодевал отца, укладывал в кровать. Глаза у отца были жалкие, счастливые. Иногда днем к отцу забегала Вера Прибыткова, посмотреть, как там Павел Моисеевич, скормить хлеба с чаем, умыть лицо мокрым полотенцем. Они были почти ровесниками, ему – пятьдесят два, ей – сорок семь. Иногда она оставляла на столе «Правду» для Евсея. Газету она выписывала, потому что была бригадиром в депо, обязана выписывать. Сама она газету не читала, а Евсею это было интересно. «Правда» стоила 20 копеек, всюду были навешаны стенды с нею и «Известиями». Народ почитывал, вглядываясь в буквы с интересом. На Сретенке был единственный стенд с «Советским спортом», и там всегда стояла группа мужиков на постоянной, так сказать, основе. Неслись волшебные имена и фразы: Гриша Федотов, Бобер, Никита и – «не говори, в Киеве они влетят на ноль». Никита был не тот, о котором можно было бы подумать, то есть начальник из Кремля, Никита был Симонян, тридцатилетний неповторимый армянин из Сухума, который мог оказаться и в «Торпедо», но попал, в конце концов, в «Спартак». Технарь и редчайший забивала Никита Павлович или, по настоящему, посухумски, Мкртыч Погосович Симонян. Он был и остался благородным, мягким кавказским человеком, который прожил сто лет без малого, которого все любили, обожали, даже люди «Динамо», даже люди ЦСКА, уже не говоря о верных людях «Торпедо» со всей их эстетской и предвзятой любовью к игре.

Вера Прибыткова газет не читала, никуда вечерами не ходила, но зато купила телевизор КВН с линзой, в которой плескалась дистиллированная вода. Соседи ходили к ней смотреть на это диво. Однажды зашел и Евсей. У Вали стоял на столе самовар, и она наливала гостям

свежего чайку. Сахар вприкуску, сушки, все как надо. Кошка Бронька валялась на диване, мерцая дымчатыми глазами хищницы. Вера жила одна и имела достаток, который заслужила жизнью. Евсею очень понравились передвигающиеся и говорящие фигурки на экране. Давали какой-то спектакль, кажется, «Оптимистическую трагедию», с середины было трудно понять. Артисты гулко произносили фразы, звучавшие, как раскаты грома над весенней Москвой. Они были одеты в кожанки, держали деревянные ружья наперевес. Евсей поглядел, поудивлялся, подумал, что «и футбол, наверное, можно так будет смотреть», а потом с трудом поднялся и ушел, «пора и честь знать, спасибо тебе, Вера». «Возьми, Сева сушек», – сказала Вера. Евсей ответил: «Спасибо, Вера, тебе» – и повернулся выйти. Правильно о нем сказала Рита, гордец.

Почерк у Евсея был плохой, корявый, скачущий, неразборчивый; никакого особого почерка у него не было. До посадки он писал каллиграфически, ровно заполняя страницы буквами и словами. Теперь держать карандаш пальцами правой руки было ему больно. Физическое напряжение и боль отвлекали его от мысли, но дисциплинировали. Фразы его были простыми, незамысловатыми, без красивостей. Никакого восхваления жестокого каторжного коллективного труда, никакого восхищения лихими и дерзкими ворами, никакой тюремной судьбоносной магии. Он писал жизнь свою и своих знакомых такою, какой она была в лагере, – скудной, холодной, голодной, грязной, безнадежной. У него не было сомнений в том, что его писания необходимы и нужны, эти сомнения не посещали его никогда. Он был упрям, он решил, что его работа, проходящая под храп и стоны отца, необходима, и у него есть основания так думать. Ничего высокопарного он не написал на страницах в тетрадях с коленкоровой обложкой. Евсей ни к кому не обращался по поводу своих писаний, он не думал и об их будущей жизни. Некоторые слова Евсей в своих записках на другой день разобрать не мог, перечитывая. Он догадывался об их смысле и звучании, очень редко исправляя, как будто кто-то, таинственный и властный, нашептывал ему эти рассказы тихим внятным шепотом.

С Тоней у него продвигалось все медленно, но последовательно. Она была замужем прежде, детей не было, жила с родителями. Работала технологом-чертежницей. Во время разговора с Евсеем она часто краснела, хотя он не говорил много, Тоня говорила больше, за себя и него. Нежный овал ее лица, узкая спина со впадиной талии и объемным седалищем нравились Евсею, как и ненавязчивость ее,

зеленые глаза и нечеткий славянский профиль. В общем, он был влюблен, не противился этому. Повести ему было Тоню некуда. Они гуляли, хотя времени на прогулки у Евсея не было совершенно. Она держала его под руку и рассказывала неожиданные истории. Например, про похороны усатого хозяина в Москве за три года до этого. Евсей ничего про похороны усатого не знал. А Тоня ходила в тот день в центр города, к великолепному большевистскому пантеону, сооруженному из житомирского гранита. Она спаслась от давки чудом. «Моя соседка и ее муж пропали, как будто их не было, не нашли. Родители их ходили-ходили – безрезультатно. Потом знакомая в милиции шепнула, что не надо никого искать, нету – и все, забудьте.»

Тоня сжала локоть Евсея, они переходили улицу. «И что?!» – «Искать они, конечно, не перестали, сейчас не так боятся, как прежде; они ничего не забыли, горюют дома одни», – ответила Тоня. Евсей не удивился ее рассказу, но руки его заболели так сильно, что он остановился и долго стоял у водосточной трубы, прикладывая к ней горящие полусжатые пальцы. Она, не пугаясь, сделала шаг, подошла к нему совсем близко и поцеловала в губы, и еще раз. И вся боль у Евсея прошла, как по мановению волшебной палочки из детской книжки про синюю фею добра, которую ему читала до войны мама.

Евсей еще не придумал, что будет делать с тем, что уже написал и еще напишет. Труд его делал моложе, делал суровее, собраннее. Хотя куда уж больше ему быть суровее и собраннее? Наивным человеком он не был. Он верил в то, что делал. Никаких специальных планов относительно своего труда он не строил. Уже говорилось здесь, что он был «гордецом», по словам Риты. Никому он ничего не показывал, все до времени оставалось в исписанной ужасным почерком толстой тетради. Он был недоверчив и осторожен, тверд и непреклонен, таким родился, таким его сделала жизнь, изменяться он не мог, не собирался. Зато он придумал, как поделить комнату высокой ширмой, чтобы жить на своей половине при отце с Тоней после женитьбы.

Перед самым новым 57-м годом на углу Потаповского переулка, возле стенда с «Известиями», Евсей краем глаза на ходу, остановившись под густым снегопадом, застилавшим свет уличного фонаря, увидел мокрое объявление, грубо напечатанное в типографии. Буквы было трудно разобрать, но все-таки он прочел: «Молодежный клуб ‘Факел’, для тех, кто интересуется культурой, живописью, музыкой и литературой, гостеприимно открыл свои двери. Приглашаются все желающие. Большой Харитоньевский переулок, 7, ДК Промкооперации. Второй этаж». Евсей запомнил почему-то этот плакатик, наверное, потому, что привык запоминать все и сразу, со страниц своих допросов, которые

читал в присутствии следователя, закуривавшего «Северную Пальмиру» в ладонях ковшиком, до писем матери, иногда чудом доходивших до него на шахте. От матери он получил четыре письма за девять с половиной лет. Фраза из второго ее письма за февраль 49-го года сидела в Евсее до сего дня: «Сыночка, у нас все хорошо. Как ты там? Не холодно ли тебе? Спрашиваю, потому что в Москве у нас страшные морозы, за 30-ть. Мы с папой чувствуем себя хорошо, ничего у нас не болит, работаем, любим тебя». Письмо это дошло до Евсея через два с половиной месяца после написания, и вопрос о холодах к этому времени стал неактуален.

Он привел Тоню домой и познакомил с отцом. Тот даже сумел улыбнуться женщине, кажется, он все понял, кто она и почему здесь, она ему понравилась. Отец очень хотел произвести на нее хорошее впечатление. Он Тоне тоже понравился, она сделала ему чай и, осторожно подув на ложечку, скормила ему половину стакана, ложку за ложкой. «Сахару немного положи», – сказал издали Евсей. Она кивнула ему, не отводя взгляда от лица отца. Гримаса на его лице выражала удовольствие и улыбку одновременно. Постучав, заглянула Вера Прибыткова. Она сказала, сделав независимое лицо: «Здравствуйте, там сегодня ‘Лебединое озеро’ показывают, заходите, если желаете». Евсей кивнул Вере, что, мол, хорошо, как получится. Тоня посмотрела без особой приязни, ей заранее не нравились все женщины в окружении Евсея.

Друг Евсея Лева, а точнее, хороший знакомый его, подельник, был человеком страстей и решительных действий. На самом деле, вся идея с группой молодых борцов за традиционный «рафинированный» коммунизм принадлежала ему. К моменту ареста он был двадцатилетним студентом МГУ. Знал три языка, имел крепкий первый разряд по боксу, разбирался в марксистской теории, изучал работы Ленина и Троцкого, хорошо знал труды Кропоткина, конспектировал Ницше и строил модель совершенного социалистического общества в одной стране. «В СССР допущены серьезные ошибки в строительстве социализма, необходимо их исправить», – говорил он убежденно и яростно на собраниях группы, кривя длинные губы. Голос его был сильный, с хрипотцой опытного оратора. Дикция его была совершенна, он был надменен. И вообще, он был дивно хорош собой с этой кожей средиземноморского оттенка, идеальным профилем и смелым взглядом беспощадного бойца.

Евсея он несколько напрягал, просто мешая ему своей многогранностью, говорливостью, пылкостью. Авторитет у Левы, по крайней

мере, в группе, был серьезный и безоговорочный. Автор доноса, сам человек сложный и подкованный, называл Льва единственно возможным лидером террористической группы, это была правда. На следствии Лева вел себя безупречно. Он не играл ни в какие игры признания и полупризнания со следователями, хотя именно к нему молодые энергичные крепкие сотрудники МГБ применяли весьма жесткие методы дознания. Эти методы включали в себя отсутствие сна, систематические побои руками, ремнями и дубинками, а также психологическое воздействие, которое было самым действенным и эффективным. Но не в случае со Львом Вениаминовичем Бруком. Парень оказался пугающе стойким. Майор Седаков плевал ему в лицо и называл падалью. «Ну, скажи, почему ты такой, почему? – спрашивал Седаков. – А я скажу тебе почему, потому что ты, Брук, гавнюк и все вы, вся ваша нация, гавнюки.» Слово «гавнюки» майор произносил с удовольствием и по складам.

Вообще, Левины мучители несколько удивлялись поведению этого упрямца Брука, но настойчиво повторяли в разговорах между собой, что признания мерзкого Левки – это всего лишь вопрос времени. «Еще сапоги нам целовать будешь», – говорил Леве Бруку майор Седаков, намеревавшийся стать полковником и получить орден после этого дела, которое он называл «делом засранцев». Полковником Седаков стал. Дело он успешно закончил. Орден получил. Сапоги ему Лева Брук не поцеловал.

Леву Брука выпустили в то же время, что и Евсея. Он был почти здоров, во рту у него тускло сверкали зубы из стали. Он был полностью реабилитирован, восстановился в вузе, жизнь его была напряженная и интересная, не то, что у Евсея. Заключение он пережил очень тяжело. Лева не подходил для жизни в неволе. Были, которые подходили лучше него, а он вот совсем не подходил. Он сидел в другом лагере, отдельно от Евсея. Это имело важное значение в их судьбе. Ему предлагали получить инвалидность, но Лева отказался: «Мне не надо». Он был опрометчив и наивен.

На воле Лева Брук сделал себе боковой протез на верхнюю и нижнюю челюсть (у него был, по счастью, родственник по отцовской линии, большой спец в протезировании) и избавился от стального блеска во рту. Он бросился жить изо всех сил. Жил Лева в отцовской квартире на Горького. Отец его, Вениамин Брук, входил в писательскую группу «Перевал», был популярен в конце 20-х, потом как-то сошел, но не сел, а сам тихо затих и умер хоть и молодым, но незапятнанным. Сын его повестей не читал. Его ценили и высоко ставили Максим Горький, Самуил Маршак и некоторые другие известные

писатели. Вместе с Вениамином Бруком в группе «Перевал» были Платонов Андрей, Багрицкий Эдуард, Светлов Михаил и другие советские таланты.

В ликвидированной органами безопасности группе Брука были две девятнадцатилетние девушки; одна из них умерла на следствии, другая сошла с ума. Ну, и фигурировал еще небезызвестный Бух. Всего по этому достаточно громкому делу проходило около восьмидесяти человек. Никто из них не хотел быть врагом власти, никто, иначе говоря, не хотел умирать.

Кроме Веры Прибытковой и Евсея с отцом в квартире на Потаповском были еще жильцы. Была старуха Клавдия, пенсионерка и тихарила. Она ходила, как тать, все по стенке, в тапочках из обрезанных валенок, варила в зеленой кастрюльке супчик из картошки и лука вместе с обрубками костей. Потом она уносила все к себе мелким быстрым шагом, была молчалива и опаслива. Утром она выходила на улицу, в белом платке, с кошелкой из кирзы в коричневой руке. У нее стояла маленькая бутылка водки на этажерке в углу, спрятанная за книгой «Молодая гвардия» и книгой «Война и мир». Она отпивала, по слухам, водку из бутылки небольшими глотками, как лекарство. Противно, но полезно. Иногда в кухне она вдруг начинала ругаться матом, да так выразительно и сильно, что бывший работник органов Геннадий Иванович качал головой в знак нескрываемого одобрения. Геннадий Иванович и его супруга Нюра жили в дальней комнате у туалета. Они теперь регулярно ходили к Вере на телевизор и говорили, что скоро купят сами этот чудный прибор, вот только пусть подешевеет. «У нас в стране все дешевеет – хлеб, масло, молоко, любительская колбаса, – все-все, теперь надо дождаться подешевления телевизора, а мы дождемся, конечно, Нюра», – громко говорил Геннадий Иванович жене. Та кивала головой в шестимесячной завивке, что дождемся, конечно, Геночка.

Когда Евсея посадили, они перестали здороваться с его родителями и, демонстративно фыркая, выходили из кухни, когда те появлялись там. Вера их не одобряла, говорила, что это не по-христиански. «Много ты, Вера, понимаешь, не по-христиански! Великая христианка. Власть знает, что делает, у тебя не спросила», – говорил Геннадий Иванович. Вера Прибыткова отвечала ему, что «очень вы хитрый, лучше бы вы, Геннадий Иванович, не рассуждали ни о чем, а то от вас можно заболеть скарлатиной». «Да ты сама, скарлатная, ничего не понимаешь, ну ничегошеньки». Клавдия, шипя, как злая дворовая кошка, забирала кастрюлю и убегала в комнату, шпаря руки. «Высылать всех

надо на 101 километр, совсем страх потеряли», – гремел Геннадий Иванович. Он походил на чайник. Опасен, но не очень, если выпустить из него пар. «Да тебе первому... Паразит ты, грешный, ну не высылать тебя, но хоть поджопник тебе дать с лету», – Вера никого не боялась. У нее был брат в органах, в звании полковника, служил в Заполярье; она считала, что брат ее всегда отобьет. Возможно, она была права, а возможно, просто не боялась этого гнилого Генки и его не менее гнилой, отвратительной Нюрки, которую он побивал по выходным и после работы. «Да пропадите вы все пропадом», – говорил непобежденный и злой Геннадий Иванович и уходил со сковородой в комнату. Он, конечно, стучал на всех вместе и в розницу, как сумасшедший, но Верка была ему не по зубам. «Я тебя Генка, прикушу – и нет тебя», – она была наглая, одинокая и непонятная. Почему такая – неизвестно, но такая.

Вообще, арест и срок Евсея прошел для семьи Бялых без особых трагедий, если не считать смерти матери и инсульта отца. А так без урона.

После того, как Евсея забрали, Геннадий Иванович аккуратно замазал тушью надпись на входной двери «Бялый – три звонка». Остальные надписи Геннадий Иванович не трогал, рассчитывал на получение комнаты врагов народа, но не случилось. Власть – она правильная, она все видит, сказала Вера Прибыткова, кому и чего добавлять, а кому не добавлять. Геннадий Иванович зашелся от гнева, позеленел, но ответить ничего не сумел, нечего ему было сказать. Отец, конечно, ничего не исправлял и не переписывал. С тех пор редкие гости Бялых все время попадали не к ним, а к Вере Прибытковой. Непонятно почему, но никто никогда не попал к Геннадию Ивановичу и его супруге. Только к Вере Прибытковой, хорошей женщине.

В один из будних январских вечеров со сгущавшейся за окном метельной московской театральной тьмой, когда Евсей сидел под лампой и быстро и неровно писал в тетради, борясь с карандашом и не борясь с текстом, свои понятные слова, к ним постучали. Он поднялся, разогнул застывший корпус и, пройдя по диагонали комнату, поправив по дороге сползшее ватное одеяло на отце, широким жестом раскрыл дверь. Перед ним стоял Бух, собственной персоной, подавленный, смущенный, какой-то серый, похожий на стертую тень от себя. «Зайти можно, Сева?» – он совершенно не был уверен в положительном ответе хозяина. Бух был похож сам на себя, он ничуть не изменился за прошедшие годы. Все такой же славный

человек, уютный и суетливый, сообразительный и симпатичный. Евсей не знал, на чем его поймали гебисты, не хотел этого знать. «Давай заходи, не стой на пороге», – Евсей повернулся и отодвинулся. Бух прошел и через два широких шага сел, не спрашивая, у стола. Что-то ему мешало двигаться. «Я под машину попал три года назад на Чистых прудах, выпивший был, последствия вот сказываются, тазобедренный сустав не восстановился», – сказал он, глядя перед собой. Евсей сел напротив него. «У тебя, я вижу, тоже ортопедические проблемы», – Бух показал на темные и полусжатые руки Евсея. Посидели в полной тишине еще. Бух озирался, как будто что-то узнавая, потом сказал: «У вас радио выключено, да?» Евсей пожал плечами, показав глазами на отца. «А, ну да, понимаю», – закивал Бух, как дрессированная побитая птица.

Евсею было совершенно наплевать на национальности, он не был религиозен. С малых лет так было заведено в их доме отцом. Он не думал на эту тему, она была ему неинтересна.

«Так ты на меня не в обиде? Что я мог сделать против них, ну ты же понимаешь, что я мог?!» – сказал Бух внезапным трагическим шепотом. «Я тебе не судья, и я на тебя не в обиде; ты зачем пришел, Бух?» – спросил Евсей. Под правым ухом Буха наливался сиренью огромный синяк. Бух ожил, задвигался, некая уверенность появилась на его лице. Речь приобрела окраску и наполнение.

Сетка с маргарином, молоком и простоквашей, висевшая за окном, не сильно, но раздражающе регулярно стучалась о стекло под порывами ветра. Бух повернулся всем телом на стук, поняв, в чем дело, вернулся к прежней позе опытного классного наставника.

«Видишь, Сева, ко мне приходил этот ненормальный Левка, избил меня, оскорбил при жене, рубаху вот порвал. Хоть ты скажи ему, Сева, ну что это такое, я же ни в чем не виноват, что я мог? Скажи?!», – голос у Буха был отчаянный и обиженный. «Он очень самодовольный тип, этот Левка. А я, между прочим, инструктор райкома по работе с молодежью, а он кулаками меня в лицо, а? Бандит этакий. Всегда таким был, таким остался, ничто не помогает, только могила его исправит.» Сева молчал, вид у него был значительный, даже величественный. «Ничему хорошему в лагере научиться нельзя, только очень плохому», – сказал он веско. Бух покосился на него: «Не говори, не говори, многие исправляются». Весь разговор Бух нервно постукивал о стол красной коробочкой сигарет «Дукат». «Давай прощаться Бух, у меня много дел», – сказал Евсей. «Ухожу, – сразу согласился гость, – дела – это главное. Почерк у тебя изменился с тех пор, записываем что-то для вечности? – Бух показал подбородком на листы бумаги на другом конце стола. – В конце скажу только, что я

сам им все тогда рассказал, выполнил свой гражданский долг. Они в этом не участвовали, не принуждали Вадика люди с Лубянки. Все сделал сам, по своей инициативе. Ни о чем не жалею. А Левка этот мерзкий, уголовная морда, еще поплатится за все.» Он поднялся, кивнул хозяину и аккуратно, двинув стулом, вышел узкой спиной вперед через дверь, шагая очень неуверенно и тяжело. Видно, не впервой Буху так приходилось идти. Последнее слово осталось за ним. Этот гордый задавака Евсей, уголовник, наглец и пижон, был повержен, что и требовалось доказать. Но исчезал Бух из взгляда Евсея как-то постепенно, сначала пропало райкомовское туловище, затем подбородок ласкового грызуна, потом острые уши, светлые волосы, а затем и все его аккуратное гнойное припухшее лицо советского гражданина. На самом деле они были с Евсеем погодками, даже родились в одном месяце. В июне.

Нельзя сказать, что Евсей сильно удивился признанию Буха. Он не питал иллюзий. Но все-таки этот разговор с Бухом повлиял на него. Во взгляде Евсея на происходящее вокруг него не было жалости. В лагере он понял один важный жизненный принцип, говоривший о том, что цель никогда не оправдывает средства к ее достижению, никогда.

Отец Евсея умер ночью, без страданий и болей. Это стало большой неожиданностью для Евсея, он считал, что отец еще поживет, еще порадуется жизни. Утром Евсей поглядел на восковое лицо отца и сразу понял, что тот ушел от него. Над смертью ни у кого нет власти, как известно.

Он прикрыл тело отца одеялом, вызвал по телефону Риту, попросил Веру Прибыткову приглядеть, а сам, натянув перешитое мамой довоенное отцовское пальто, пошел в синагогу, которая находилась от их дома в двух шагах, на Архипова. Пальто Евсею было как раз, а до тюрьмы висело на нем, как балахон. Он заматерел за эти годы, Евсей. Было много снега и почти светло. Мерцающее светило одного цвета с бело-серыми московскими облаками висело, медленно скатываясь за заснеженные крыши невысоких домов Мароссейки.

Евсей, не глядя по сторонам, на каком-то автоматическом взводе, – все машины останавливались заранее или объезжали этого молодого громоздкого мужика, – то ли пьяного, то ли чумового, – перешел улицу в клубах голубого дыма от грузовиков и автобусов. Оскальзываясь на небольшом спуске, он прошел мимо голого черного дерева ко входу в синагогу, где топтался старик с небольшим темным лицом в шапке-ушанке и бурках, которые носили люди среднего достатка. Он курил в кулак, совсем как многие знакомые и незнакомые Евсея по недавней жизни. Старик внимательно поглядел на Евсея и сказал ему, не

здороваясь и как бы отмахиваясь от него рукой: «Туда иди, туда, там все скажут».

За тяжелыми дверьми был большой зал, мрачноватый, гулкий, торжественный. Евсей прошагал мимо скудной группы раскачивающихся бормочущих людей прямо к мужчине, который показался ему главным здесь. Так и было, это был главный, раввин.

– Простите меня, пожалуйста, у меня умер отец ночью, он – еврей, хочу его похоронить по иудейскому закону, – сказал Евсей раввину.

Тот тяжело посмотрел на него, вздохнул, взял паузу, отвел сверкающие в полутьме зала глаза и сказал: «Здесь есть человек, который вам поможет во всем. Его звать Велвл. Поди сюда, Велвл!» Раввин говорил с интонацией эстрадного конферансье. Это резало слух.

Велвл оказался рослым бородатым человеком в потертом сюртуке, с неподвижным лицом, кожаным портфелем на застежках и странной русской речью. Он не был москвичом, этот Велвл. Он был похож на стареющего льва из семьи с огромным количеством выжидающих голодных львят. Они смирно сидели на задних лапах, ожидая свой кусок селедки, – это был их обед и ужин. Кошачья пища – селедка, во всяком случае, в России. И не только кошачья, уточним.

Велвл ни о чем не спрашивал Евсея, как будто знал его давно и подробно. Да так и было, он все и всех видел насквозь, этот Велвл, – до количества денег у собеседника в кармане.

«Сейчас поедем за вашим папа, я позову шофер. Коля, иди сюда, Коля», – сказал он в одной интонации. Пришел Коля, в черной фуражке, сапогах, со взглядом, устремленным в пол. Он стеснялся своей работы, так могло показаться. «Едем на Потаповский, заберем мертвого и поедем в Востряково. У вас метрики отца имеются, господин аид? Нужны справки из ЖЭКа, из паспортного стола, из больницы, ну, это мы сделаем, любят такие справки выдавать нашим», – живо сказал Велвл без тени улыбки. Лицо у него было грубое, симпатичное, суровое, наверное, от ежедневного общения с мертвыми. От чего еще?

Велвл устремился к выходу, стуча каблуками дорогих сапог. Он был плоскостоп. За ним поспевал Коля, а уж за Колей широким шагом шел Евсей. Он не все понимал из происходящего, но по лагерной привычке не думал о частностях, пытаясь понять все сразу. А это «все сразу» заключалось в том, что у него умер ночью любимый отец и его надо похоронить, и эти быстрые, цепкие люди ему помогут.

В скрипящий автобус, родом из двадцатых годов, сели вместе с Велвлом Рита с прочной сумкой из черной керзы, Вера Прибыткова, Евсей и Тоня. Было тесновато, несмотря на то, что людей было немного. Между сидений стоял фанерный ящик, накрытый брезентом, с телом отца. Еще был Коля, быстро крутивший большой руль

машины туда и сюда. Евсею вообще все это дело было не впервой, только отца он хоронил в первый раз.

Ехали быстро. Молчали, только Вера что-то спросила у Риты, и женщины коротко пошушукались. Убогие московские пригороды черно-белого резкого цвета в сером дыму заводских труб и пыхтящих грузовиков выглядели на морозе сурово, весело, безнадежно.

В Востряково, ко входу на кладбище, споро по снежку притопали навстречу автобусу двое мужичков в распахнутых драных ватниках, они притащили длинные санки с бортиками. Могильщики погрузили ящик с телом отца, обмотанным молитвенным покрывалом, которое нашел Евсей в шкафу.

Мужички привязали ящик к бортам и быстро потащили санки по белой дороге в снегу. Все шли за ними. Могила уже была отрыта; свежий бесформенный земляной холм, состоявший из мерзлых комков темной земли, не украшал картины. «Минус 18 сегодня», – сказал Велвл, контролировавший все вокруг себя. Отточенные до блеска глубоко воткнутые в холмик лопаты, которыми работали могильщики, были чисты от земли, слишком было холодно. Да и земля здесь не глинистая.

От чахлого строения при кладбищенском входе к ним торопились трое пожилых мужчин. Они были колченоги, шустры и нескладны. Их появление было загадочно. «Вон евреи бегут, потому что у нас не хватает мужчин для миньяна, нечего делать, давайте, как есть», – сказал Велвл: «Повторяйте за мной, Евсей Павлович».

В общем, похоронили Павла Моисеевича Бялого по тысячелетнему закону, как научил Велвл всех. Евсей послушно повторил за ним нужные слова. Рита достала из сумки две зеленоватые бутылки водки и передала могильщикам, которые забрали их с привычным достоинством, но быстро. Они ушли прочь, придерживая полы ватников, наполненных бутылками. Лопаты весело отблескивали на их плечах. Рита передала деньги Велвлу, оплатив услуги. Евсей пытался запомнить, сколько у Риты ушло и на что. Велвл спрятал деньги в портфель, звучно щелкнув застежками на морозе.

Прощаясь, Велвл сказал Евсею, что молитвы были на арамейском языке и потому тот ничего не понял из сказанного. Убеждать его в том, что и на любом другом языке Евсей ничего бы не понял, он не стал. Евсей не сказал ничего Велвлу и о том, что на каком языке произносят поминальную молитву покойному, ему все равно. Не сказал – и правильно сделал, Велвл бы его не понял.

Дома Евсей, отложив в сторону ушанку с почерневшим от пота и времени исподом, присел к столу. Он был бедный человек, понимавший свою бедность. Кругом него все были бедными людьми. Никто не думал о своей бедности – и Евсей, конечно, тоже.

Он казался застывшим и отстраненным, смотрел в сторону окна; это было непривычное для него состояние пустоты. Рита и Вера Прибыткова расставляли посуду, стаканы, размашисто резали хлеб. Тоня вымыла пол. Без стука зашел Гена со словами: «Давай, Сева, пусть ему земля будет пухом, Сева. Павел Моисеевич был хороший человек». Он сильным движением пожал руку Евсею и вышел обратно, откуда пришел. «Душа у всех, Севочка, есть», – говорила Евсею мама еще до войны. Тоня перестлала кровать, сложив белье большим узлом в углу за этажеркой с книгами. Она тихо рассказала Севе четыре чужие строки:

Снег подлетает к ночному окну,
Вьюга дымится.
Как мы с тобой угадали страну,
Где нам родиться!*

Евсей не был ни в чем уверен в отношении себя. Он много лет знал, что все затеяно им не зря. Даже в лагере, особенно в лагере. Его писание шло от факта. Он избегал прилагательных. Евсей отдал Тоне, после того как два раза переписал их, отпечатать два рассказа, считая их умеренно сильными. Он руководствовался словом «сила», а также словами «без эмоций», определяя качество своих текстов, которых набралось уже много в его тетрадях. Тоня, самостоятельная, сильная женщина, аккуратно отпечатала рассказы на желтоватой, чистой бумаге и принесла их Евсею. Она молча положила их на стол перед ним. «Ну вот, Сева, – Тоня сказала ему после паузы, – Я ожидала, конечно, Сева. Это больше ожиданий. Даже не знаю, что еще сказать, дай я тебя поцелую.» Она приблизилась, обняла его и поцеловала, обдав нежным запахом духов. Евсей поцеловал ей продолговатую кисть левой руки, которая должна была быть рукой фрейлины при Дворе. Тоня работала технологом в КБ недалеко от «Сокола». У Тони было и мнение о будущем прочитанного и отпечатанного, но она не хотела говорить на эту тему.

Евсей все отлично запомнил из того вечера, у него была безупречная память. Он очень волновался, виду не подавал, оставаясь все тем же величественным, несколько несуразным, крупным, очень плохо одетым и на вид очень сильным человеком.

Вечером буднего дня в жуткую метель он дошел и бесшумно и быстро по старому ковру поднялся по лестнице на второй этаж старого московского особняка. Во внутреннем кармане пиджака лежали два его рассказа. Особняк этот находился недалеко от его дома, это

* А. Кушнер «Снег подлетает к ночному окну...», 1974 год.

был бывший ДК Промкооперации – 12 минут быстрой ходьбы под снегом. Сильная голая лампочка пылала над длинным столом с листами и пачками исписанной от руки бумаги. Два больших окна с широкими подоконниками, по которым бегали, шипя, падая, свистя, ссорясь, неопрятные бородатые бесенята. На полу стоял синий чайник без крышки.

Некоторые листы, лежавшие на столе, были отпечатаны на машинке. Вокруг стола сидели человек 15-18 молодых и не очень молодых людей. Мужчин было больше, чем женщин. Верховодил всем длиннолицый, длинноносый человек с копной волос, мало походящей на прическу. На первый взгляд, он был типичным рассеянным ученым-физиком из расхожей советской киноленты. Тем не менее, этот человек был ловок, зорок, наблюдателен, даже пронзителен. Он из той породы людей, которые все видят, слышат и запоминают. Он внимательно оглядел остановившегося на пороге Евсея, затем подошел к нему, энергично пожал руку гостю и представился: «Михаил Барский». Ему было года тридцать два, максимум тридцать три. Сложение его было изящное, тонкой кости, с юношеской кожей, с огромной энергией, горевшей во взгляде блестящих семитских глаз. Барский был за негласного старосту этого собрания.

Евсей присел у стола. Рассказы не доставал, осматривался. Рассказы были застегнуты в кармане на пуговицу. Он не волновался, но испытывал некоторую неловкость. Руки свои, как почти посторонние предметы, Евсей положил перед собой, не стесняясь их темного, скрюченного вида. Напротив него сидели два совсем юных парня; один был с пронзительными синими глазами, опрометчивый и резкий, другой – красивый, кудрявый, вальяжный. Парни эти были мельком знакомы Евсею по Потаповскому. Вроде бы из дома за углом, но Евсей не был уверен; он к молодым издавна, еще с лагерных времен, относился настороженно, недоверчиво и враждебно. Пареньки кивали Евсею как старому знакомому, вид у них был удивленный. Они были здесь завсегдатаями, они писали стихи, они закончили школу и поступили в свои институты. Они тоже были бедны и тоже не обращали на это внимания.

– Мы, пожалуй, начнем, друзья, – сказал Барский. – Больше никого не ждем. Леня хотел сегодня почитать. Так, пожалуйста. У нас сегодня новый гость, он будет читать позже, два рассказа у него...

Барский повернулся к Евсею и кивнул ему. Все смотрели на Евсея. По диагонали от него сидел прекрасно освещенный Лева Брук и кивал Евсею без особого дружелюбия. Без Левы, без его активного участия, просто ничего не могло происходить в этом городе.

Поджарый круглолицый мужчина, по виду – ровесник Евсея,

аспирант, архивный житель, встал и, опираясь ладонями о стол, начал в абсолютной тишине размеренно читать.

Расписаны в тона религиозных сект,
Уступами росли деревья до забора,
Дул ветер с севера, и осени проект
Был выверен рукой латинского сапера.

На затонувший сад тянуло не смотреть,
И людям на холмах дышалось тяжелее,
И свеянной листвы готическая медь
По прихоти ветров чеканила аллеи.*

Кто-то внятно отбивал ритм в такт словам поэта. Сидевший возле Леонида парень его лет пригладил светлые волосы сильным движением и сказал: «Спасибо, старик, спасибо. Я этого не заслужил». Многие кивали в знак согласия с ним. Мальчики, сидевшие напротив Евсея, глубоко, разом вздохнули; они смотрели на Леонида с обожанием. Лева Брук был собран и даже мрачен, стихи его не расслабляли, даже хорошие стихи, – он был человеком иной конституции. Отец Брука входил в литературную группу «Перевал», писал повести, которые сын не читал, но кое-что, наверное, этот факт объяснял в жизни строптивого и бескомпромиссного Левы.

Барский покрутил головой и после паузы сказал Евсею: «Пожалуйста, уважаемый, только представьтесь, буквально несколько слов».

Евсей достал свои листы, нежно и крепко разгладил их, потом гулко сказал: «Я живу здесь неподалеку, работаю в библиотеке, это мой первый публичный опыт чтения, пишу я много лет, мне 32-й год...»

Голос у него был сильный, подчиненный хозяину тотально. В рассказах его не было красивых, лишних слов, с прилагательными Евсей обращался сурово. Его девиз, если можно так сказать, определялся словами: «только факт, и ничего больше». Он следовал этому непреклонно.

Но все-таки до посадки Евсей ездил в гости на Кропоткинскую улицу в двухкомнатную квартиру с побеленными стенами. Там его удостаивал вниманием и беседой Николай Иванович, суровый уроженец Каховки. У него было очень чисто; книжные полки заполняли

---

* Леонид Чертков. «Первопуток». Л. Чертков (1933–2000) – поэт, переводчик. В нач. 1950-х возглавлял поэтический кружок «Мансарда». В 1957 году был осужден на пять лет по статье 58.10 (Антисоветская пропаганда). В 1974 эмигрировал в Германию.

прихожую. У хозяина была честно заслуженная им медаль «За оборону Москвы». Из этой обороны он вышел зимой босым, но живым и непонятно как – но известно, для чего. Они говорили почти на равных, Евсей слушал речь хозяина как откровение. А тот внимал суровому пареньку с почти нескрываемым удивлением: мол, откуда что берется у молодежи на 28-м году Октябрьской революции в Советской России.

Евсей сжимал, насколько мог сильно, в кармане ветхого пиджака громоздкие ключи от дома, держась за них, как за якорь.

Мегрел Лаша сказал ему при расставании: «Если Бог за тебя, то кто же против тебя, а? Это не я сказал, но все равно помни, стоит того».

Читал Евсей минут двадцать. Слушали его, не мешая, с трудом переводя дыхания. Он выглядел, как в самом начале, как будто только что пришел, – величественный, сильный, непроницаемый человек. Бесы на подоконнике в разодранных одеждах сбились в кучу и, негромко свистя и визжа, тихо ссорились, издавая традиционные звуки затихающего скандала. Когда Евсей закончил чтение, за столом выдохнули воздух, который будто бы задерживали в себе все это время.

Барский посидел несколько минут, обнимая свои крепкие плечи руками, в задумчивости. Леонид поднялся и, гибким шагом обойдя стол, подошел к Евсею. «Я поражен, не ожидал, совершенно не ожидал услышать такое, позвольте пожать вам руку», – сказал он, странно глядя на Евсея, как младший на старшего. Его рукопожатие было энергичным и мощным, поэты обычно искренни и честны в проявлении чувств. «Горная вершина», – как будто себе сказал Барский. Отрывистые фразы и громкие междометия летали по комнате, все были как бы смущены, даже потрясены. Синеглазый поэт яростно тер виски, его друг смотрел перед собой, улыбаясь, и повторял: «Крушение основ...» Лева Брук торжествовал, привычно стуча стальным кулаком в ладонь. На самом деле он, конечно, не ждал, что Севка так талантлив, он знал наверняка, что все таланты у него, Сенька не при чем. А оказалось, что при чем. Еще как при чем. Лева был этому факту удивлен и, как ни странно, рад.

– Давайте покурим, товарищи, надо все осмыслить, – сказал Барский и стал натягивать свое кожаное длинное пальто, явно с отцовского плеча.

– И главное, никакого высшего замысла, никакого назидания, никаких выводов, – сказал, проходя и косясь на Евсея, синеглазый пацан своему товарищу. Тот кивал: «Ничему не учит, никого не судит, но кого ненавидит, то очевидно». Они скрылись за дверью, откуда

валили суровые клубы родного советского табака, выращенного в Астраханской и Ростовской областях.

– Не наставник он, не учитель. Взял все запомнил и изложил как есть, все просто, – сказал друг Леонида, стоя под тусклой лестничной лампочкой. Снег за окном валил непрерывно и так густо, как это бывает только в Москве в феврале.

Барский подсел к Евсею, сказав с опозданием: «Вы позволите?» Евсей повернулся к нему всем корпусом, руки у него болели, ходили ходуном, кололись иглами, процесс реабилитации еще не закончился у реабилитированного Бялого.

– Давайте Евсей, сходим днями в редакцию «Сельской жизни», второй ваш рассказ про вырубку проселочной дороги в тайге можно вполне предложить им как производственный очерк, а?! Радость труда, счастье жизни и так далее... давайте, Евсей Павлович.

Он кутался в свое впечатляющее, с поднятым воротником пальто из мягкой кожи, не застегивая его.

– Это не очерк, я настаиваю на этом, это рассказ, у меня только рассказы, я не документалист, – возразил Евсей.

– Ради Бога, уважаемый, как скажете! Я хочу вам поспособствовать, не вмешиваюсь ни во что. Мне очень понравились ваши рассказы, мне кажется, они это возьмут, если у вас есть интерес к этому. Я тоже вернулся с мамой из ссылки, папа был расстрелян... мне знакомо все, это не праздный интерес, это новое слово в нашей литературе, я это знаю наверняка, – Барский говорил возбужденно. Талантливая проза, написанная другими людьми, действовала на него одурманивающее. Рассказы Евсея были именно такими, по мнению Барского.

Консервная банка на лестничной площадке переполнилась окурками и пеплом, народ начал возвращаться. Евсей не понимал Барского, который казался ему необъяснимым человеком. Ладная девушка в черном свитере из компании молодых поэтов сильными, не брезгливыми движениями гибких рук вытряхивала в двойной газетный кулек, свернутый из «Вечерней Москвы», окурки и пепел из консервной банки с красной наклейкой на боку – «Бычки в томате». «Если в этой газете есть изображение человека из ЦК, то наверняка верный червонец можно словить», – автоматически подумал Евсей, прервав мысль о Барском. Но эта новая его мысль не имела ничего общего с действительностью – русская демократия и свобода слова шагнули далеко вперед за годы отсутствия Евсея в Москве.

– У вас каждая фраза – рассказ в себе, – сказал Барский Евсею. – Их можно читать по отдельности, понимаете? И никакого экстаза, умничанья, все так, как есть; вы обязаны печататься, понимаете?!

Евсей сидел как вкопанный, у него были проблемы с координацией из-за травмы позвоночника, полученной на прииске. Но внимал, внимал словам Барского, не в силах остановить того. Барский попросил у Евсея номер телефона: «Я договорюсь с ними, и мы сходим в редакцию, соглашайтесь, Евсей Павлович».

Домой Евсей шел вместе с молодыми поэтами с Кривоколенного. У школы трое ребят играли за оградой самодельными клюшками из многослойной фанеры в русский хоккей. В скудном свете фонарей на белоснежном снеговом фоне.

Зрелище было завораживающее и мистическое, потому что ворот для голов не было, и цели этой игры поздним вечером были непонятны. Туда-сюда носились мальчишки лет одиннадцати-двенадцати, поднимая снежную бурю вокруг ног и клюшек. Один из них был в смешных валенках, которые спадали с его ног, так как были велики ему на несколько номеров. Но он, подпрыгнув, вставлял в валенки тощие ноги и бросался дальше в бой без страха и упрека.

Ребята проводили Евсея до парадной, не задавая вопросов. Только один раз кудрявый спросил: «А кто ваш учитель, Евсей Павлович? Кому вы поклоняетесь?» «Они все со мной, все мои, я читал берлинские издания Набокова, знаете такого?» – спросил Евсей, потеряв осторожность, он был расслаблен после такого вечера и всех произнесенных слов и потрясенных взглядов. «Я читал стихи его, это не моя тарелка супа, Евсей Павлович», – сказал синеглазый. Евсей величаво не повернул к нему головы, потому что не мог этого сделать физически.

Они миновали дом, который в ликующем детстве очень любил Евсей за ажурные окна и высокие двери четырех парадных, которые закрывались без стука и какого-либо шума. И жили там люди необычные, как казалось мальчику Евсею. Отец не отвечал ему на эти вопросы про соседний дом, мать нервно говорила:«Ну откуда я знаю?» – и он придумал, что в доме этом живут летчики дальней авиации. Эта мысль и профессия были популярны в те годы, особенно у детей. А потом Сева узнал, что жили в этом доме работники Московской филармонии. Но из-за этого Сева дом не разлюбил.

Кудрявый пацан испросил разрешения зайти в гости. «Ненадолго, хотим познакомиться лучше», – сказал он высоким голосом. «Пожалуйста, квартира номер 7», – ответил Евсей.

От дальней парадной соседнего четвертого дома из густой снежной тени вышли три пацана в кепках, распахнутых полупальто с под-

нятыми воротниками. С ними Евсей уже пересекался без особого для них и для себя успеха. «Вы куда направляетесь?», – ласково спросил один из них, его лицо не внушало ничего хорошего. Новый синеглазый приятель Евсея знал парней хорошо, умел себя вести, поздоровался со всеми за руку, обронил к месту слово-другое, – и парни, оглядев Евсея с головы до ног, ушли чем-то очень недовольные. Как коты, у которых забрали вкусную и привычную еду.

Провожавшие Евсея ребята в гости к нему не пошли, застеснялись, сказали, что поздно и зайдут потом. «А в клуб обязательно приходите еще, Евсей Павлович, мы очень будем вас ждать», – сказал синеглазый спаситель.

Тоня ждала его в комнате. Сидела за столом и читала при малом свете своего «Гамлета». Когда он вошел, она отложила книгу в сторону и посмотрела на Евсея. Тот прошел и сел возле нее: «Все прошло хорошо, сказали, что это новое сильное слово в русской литературе». «Ты же это и без них знал, дорогой», – утвердительно сказала Тоня.

– Один молодой человек, по имени Миша Барский, считает, что рассказ «В тайге» вполне можно печатать, у него знакомые в «Сельской жизни», скоро пойдем туда с ним, – сообщил Евсей. – Это где-то на Беговой.

– Вот видишь, я же говорила. Я картошки нажарила, сейчас принесу, поужинай, успокойся, наберись сил.

И, правда, сильный запах жареной картошки с накрытой крышкой сковороды радовал Евсея и вселял в него надежду.

– Хорошо. Он считает, что рассказ прославляет созидательный труд, наполнен молодой силой и радостью, – отвлеченно сказал Евсей.

– А сам он понимает что-нибудь, этот Барский?

– Вообще, я удивился. Все молодые, одаренные, откуда они взялись, кто разрешил? Видишь, а ты все ругаешь коротконогих мужичков без шеи и в шляпах до бровей, а они замечательные люди, выпустили невинных, дали свободу, – подвинув сковороду, Евсей начал есть, аппетит у него был, настроение тоже соответствовало. – Недосолено, но все равно прекрасно.

Тоня достала из тумбочки бутылку советского полусухого шампанского, которое она припасла со вчерашнего дня. Один бокал для шампанского у Евсея нашелся, а сам он не пил, только доброжелательно наблюдал.

– Ты только не расслабляйся, Сева, с этими в шляпах надо быть настороже, я тебя не учу. Ты не их человек и не их писатель, – сказа-

ла Тоня. Она была женщиной с сильным характером, со сложной жизнью, подозревала в подлости если не всех, но многих точно.

– Лева там неожиданно был, красивый, непроницаемый, яростный человек. Ему неважно – литература, технология, атомный реактор и черт знает, что еще... Лишь бы присутствовать, лишь бы участвовать, лишь бы быть при деле, – ничего себе темперамент, а?! Но он абсолютно честен, абсолютно. Он друг Барского, тот не боится ничего... новое поколение, а ведь мой ровесник.

– Это ты, Севочка, и есть новое поколение, горжусь тобой, но будь осторожен, очень осторожен, – и отпила большой глоток, зажмурив глаза от удовольствия или счастья, неизвестно. Это разные категории – для тех, кто не знает.

Отпив еще раз, Тоня сказала: «Вера заходила, приглашала к себе, у нее праздник. Я не пошла без тебя. Она зашла после, пьяненькая, принесла слоеных пирожных, вон на столе под салфеткой, я не притрагивалась, ешь, Севочка». Евсей в очередной раз убедился в том, что женщины лучше мужчин.

В редакцию «Сельской жизни» поехали с Барским днем. Евсей отпросился с работы, а Барский вообще был «на свободном графике», по его словам. Что это значило, было не совсем Евсею ясно, и он покосился на нового товарища с некоторой тревогой. Все изменилось в жизни Евсея Бялого, все. Скажем, в лагере после слов «свободный график» Евсей бы ушел, круто повернувшись и не попрощавшись. Больше бы с таким человеком не разговаривал без нужды. Но в Москве все было иначе, здесь климат теплее, люди мягче. И хотя все очень нервозно и напряженно, но все-таки, по мнению Евсея, отличия от лагеря огромные.

Он ничего не ждал от этой поездки, он просто был любопытен до неприличия. Евсей никогда не занимался сравнениями, но кое-что, лежащее на поверхности, напрашивалось само собой, отмахнуться от этого было невозможно. Габардиновые плащи и широкие брюки новых вождей выглядели предпочтительнее френчей и кителей смененных ими «лучших друзей железнодорожников». Новое время переодело новых начальников и сделало их более понятными Евсею.

В широком коридоре с ковровой дорожкой посередине Барский нашел на коричневой стандартной двери надпись «Отдел писем» и, постучав, зашел. Евсей шагнул за ним, застив собой проем. «Проходите, проходите», – сказал им доброжелательный мужской баритон. В комнате было два стола, четыре стула, полки с книгами и бумагами и два сотрудника – он и она. Он, с неправильным, очень мужским лицом, держал в зубах пустую трубку, был весел, энерги-

чен, полнокровен, на скуле у него был свежий багровый шрам, в карих узких глазах – интерес. «Вы – Евсей Павлович, да? Очень рад», – рукопожатие у него было мощное, под стать голосу и темпераменту. Несколько толстых складок у носа не портили его гладкого лица.

Напротив него за своим столом сидела скромного вида женщина, похожая на причесанную на пробор докторшу по общим болезням из районной поликлиники. Она отвела свои глаза от пришедших, а потом и вовсе вышла боком вон. «Стесняется Татьяна, – улыбнулся мужчина, – у нас еще Татьяна есть, у Атаманенко секретарша, не спутайте.»

– Вы присядьте, пожалуйста, мы сейчас чайку, – и он включил в сеть электрический чайник с витым белым шнуром. – Меня звать Борис Алексеевич, Миша принес мне третьего дня ваши рассказы, я тут же прочел и попросил зайти. В редакции с ними ознакомились и старшие товарищи. Что сказать, уважаемый Евсей Павлович? Много вопросов к вам, но это позже. Я за вас, чтобы вы знали, за вашу прозу. Очерк «В тайге» будем, по всей вероятности, печатать, все «за», – новое русское слово, мы просто гордимся этим вашим текстом. Второй очерк («Рассказ», – шумно поправил Евсей), хорошо, пусть будет рассказ, он не хуже, а в чем-то и лучше, сильнее. Но сегодня, по мнению всех, без исключения, сотрудников редакции, и меня тоже, при всем уважении, при всей любви, напечатать его невозможно. Это потом, потом. Сейчас только «В тайге». Вам уже и аванс выписан, два разворота займет с рисунком, поздравляю вас, Евсей Павлович. У вас паспорт с собой?

Все это было ошеломляюще. Евсей не шевелился, сидел напротив Бориса Алексеевича, хорошего широкого человека, – громоздкий, неловкий, необъяснимый, плохо одетый дядя. Они все были примерно ровесниками, Барский, Борис Алексеевич и Евсей, – но где он, битый, осторожный, свободный человек, – и где эти молодые образованные, столичные, страждущие мальцы, которым пальца в рот не клади?! Но и все.

Касса редакции оказалась в другом конце коридора. Пока Евсей вместе с Барским шел в кассу, их сопровождали звуки приоткрывающихся дверей, выглядывающие люди, любопытные, оценивающие взгляды встречных дам. Откуда-то все знали, что пришел похожий на бродягу автор производственного очерка «В тайге», который произвел фурор в редакции журнала «Сельская жизнь».

Поздоровавшись в полукруглом окошке с блеклой завитой дамой с накрытыми теплой шалью узкими плечами, Евсей протянул ей новехонький паспорт. Та сверилась с ведомостью, быстро заглянула в амбарную книгу и отсчитала Бялому новенькими купюрами сумму, которая превысила его годовую зарплату в библиотеке. Четырнадцать напечатанных с сантиметровыми полями на машинке страниц плохой

бумаги, иначе говоря, два журнальных разворота петитом принесли Евсею непомерный доход – помимо славы и уважения. Все, получается, было не зря. Он не удивился, привык не удивляться ничему, он сложил деньги, не считая, в карман брюк. «Это аванс, после выхода номера в свет получите гонорар, Евсей Павлович, приходите обязательно», – сказала ему дама. «Благодарю вас, благодарю», – голос Евсея был, как и прежде, насыщен энергией.

Барский предложил Евсею пригласить Бориса Алексеевича на рюмку-другую. «Ну, я не знаю, пельменная или что-либо подобное, отметим первую публикацию. Это ведь впервые, Евсей Павлович?» Евсей пожал мощными плечами и ответил что, конечно, приглашаем, Михаил. «Мороз и солнце, день чудесный... хорошо», – радостно воскликнул Барский, и Евсей опять отметил некоторую закономерную ожидаемость его слов.

Дружно и оживленно добрались до кафе «Ландыш» на углу Кировской и Чистых прудов, зашли, замечательно сели в углу за свободный столик и сделали заказ. «Тут за углом чудный общественный туалет, очень удобно», – деловито сказал Барский.

Евсей не пил, только ел три вида пылающей продукции, которую Барский и Боря запивали водкой из граненых стаканов; было уютно и громко из-за соседских столов с людьми без шапок, с развернутыми шерстяными шарфами и пиджаками темных тонов. Две бутылки водки Боря купил по дороге, отвергнув деньги Евсея («Я вас умоляю, Евсей, у меня карманы полны денег.»). Он принес все с собой в портфеле из грубой буйволиной кожи, переполненном непрочитанными письмами многочисленных читателей «Сельской жизни». В Союзе вернулась мода писать в редакции всех без исключения изданий критические, одобряющие, гневные и жалобные письма. Появились обличительные и едкие статьи ушлых выпускников журфака, которые шли под выразительной рубрикой «Нам пишут» с обстоятельными отчетами о командировках к жалобщикам. Разоблачители ходили по редакциям с победоносным видом патрициев.

Барский заедал водку переперченным крепчайшим бульоном из-под пельменей, раскраснелся и еще более оживился. «Вас вообще очень хочет видеть наш главный редактор, Евсей Павлович, он просто сегодня отсутствует, вызван в обком на совещание, но вы запомните, это очень хороший знак. Наш главный любит рыбалку, охоту, поля озимых, перевыполненные планы посевных и все такое... Без этого нельзя, это наш фундамент. Пьющий, знающий меру. Правильный человек, новый, литературу чувствует животом, он вам понравится.

Теперь дело за вами», – рассказал Борис и выпил свои три четверти стакана, двинув его в сторону Евсея в знак признания и почтения. Галстук его сбился в сторону, но он был солиден, несмотря на неприличный блеск в черных глазах. Евсей смотрел на него без одобрения. Барский участвовал во всем этом по мере сил, не пытаясь ни за кем угнаться. Борис был недосягаем.

В стаканах был изначально налит и продан на кассе мутный холодный кисель, который был органично сменен водкой; замена эта была полноценной и удачной. Водка не кончалась. На аппетит никто из них не жаловался, да и на остальное тоже жалоб не было. Все виделось довольно радостно и оптимистично.

Евсей с удовольствием жевал пельмешки, поливая их уксусом из бутылочки, стоявшей посередине стола вместе с солью и перцем. Он не крутил головой вельможи по сторонам – и потому, что не мог физически, и потому, что не хотел, не его это дело – головой крутить и озираться. Он не собирал жизненный материал, этот материал у него был уже собран и уложен.

Когда Евсей выходил на встречу с Тоней из метро, поднимаясь по эскалатору, и, не глядя по сторонам, шагал навстречу женщине, то сразу было видно, кто идет, зачем и куда. Иначе говоря, царь встречает возлюбленную, дайте жить, советские светские люди, пропустите. Ничего специального в своем образе Евсей не строил, он таким был от рождения. Откуда? Неизвестно, нет ответа.

– У вас много еще есть прозы? – поинтересовался Борис. Барский, человек более чуткий, менее бесцеремонный, поперхнулся от этого вопроса. Евсей, человек, который в таких ситуациях не нервничал и не терялся, ответил, что «есть проза, но должна полежать еще, подождать». Они встретились взглядами, Борис не уступил да и не должен был уступать, потому что Евсей был далек от какого-либо соревнования.

– Не могу ответить на ваш вопрос, все в разной степени завершения, надеюсь, что есть. Ваш вопрос имеет отношение к журнальной ситуации? – Евсей говорил по-прежнему спокойно. Он не был разочарован. Он не зависел ни от кого и ни от чего, это его качество должно было ему помешать и помешало потом. – Я хочу вам сказать, Борис Алексеевич, что я человек прошлого, считаю его не менее важным, чем настоящее и будущее, стою на этом.

Шум в заведении стоял глухой и постоянный, обычный гул зала, в котором едят и пьют и говорят заодно мужчины, страждущие разговора, опьянения, ускользающего веселья. Фон этот создавал уют, как

и стук ложек и чашек, звуки легкой музыки, несшейся из подсобки, и шаркающая швабра сгорбленной уборщицы в платке и галошах, надетых на носки домашней вязки.

– Да-да, я это понял, и кое-какие ваши читатели, пока немногочисленные, это тоже поняли. Конечно, приняли сразу, ваше право, ваш художественный метод... Не всем это понравится, но я уверен, что вы можете всему противостоять, Евсей Павлович. Вообще, ожидаются большие события в ближайшее время. Я имею честь общаться с поэтом, у него тоже грядут горячие деньки, очень хотелось бы вас с ним познакомить, надо выждать немного, горячая пора у него. А потом мы съездим к нему в Лаврушинский или в Переделкино, разговор об этом был. Он читал ваши рассказы, отозвался очень положительно, что меня обрадовало чрезвычайно.

Евсей знал, о каком поэте говорит Борис, ему было до боли досадно, что невозможно его навестить сейчас. Он думал, ему казалось, что «фантастическое стечение обстоятельств» не должно закончиться на этом разговоре.

Он, человек скрытный, хотя и абсолютно несдержанный, конечно не сказал Борису, не сказал Барскому, даже Тоне не сказал, что намерен написать сто рассказов о севере, тайге и жизни в неволе, это его жизненная задача, на этом он сосредоточил свое существование.

Они все догадывались о существовании больших планов у этого крупного, костлявого, несуразного человека. Евсей не подкреплял ничем их догадки и мысли, но для людей, близких ему и прозорливых, все было очевидно. Сверхзадача, цель существования Бялого читались на его лице невооруженным взглядом.

Борис отошел. Барский сказал Бялому, как бы между прочим: «У него диссертация почти готова, в аспирантуру не попал, счастье, что нашел эту работу». Евсей понимал произносимые слова, хотя и не всегда. Понимал, но не желал соглашаться. «Мы увидимся с вами в ближайшее время, большие планы, я вам позвоню, хорошо, Евсей Павлович?!», – сказал возвратившийся Борис. «Обязательно», – отозвался Евсей. Они смотрели ему вслед с восторженными необъяснимыми пьяными улыбками, пока Бялый, похожий на огромную неловкую птицу в мокром оперении, быстро удалялся от них в снежной пыли. Потом, не сговариваясь, они двинули в переполненный гастроном через улицу, – душа горела, не все было сказано, необходимо было договорить, допить, догулять. Чудесно, что вот такие молодые мужчины, уже испорченные лукавой жизнью, циничные, не всегда правдивые, могли искренне влюбляться в людей и в то, что делают эти люди, и беспричинно надеяться на лучшее. Барский был очень

импозантен в намотанном на шее длинном шерстяном шарфе и сдвинутой на затылок шляпе. Женщины оборачивались именно на него, хотя Борис тоже был привлекателен – со сверкающими глазами, широкими плечами и скуластым лицом нарушителя закона.

Тоня до замужества с Евсеем два раза была замужем. Она была и осталась привлекательной женщиной со зрелым телом верных бежево-мраморных пропорций и сложным характером, не склонным к семейным и общественным компромиссам. Как ни странно, это упрямство, назовем так, делало ее почему-то еще более привлекательной для мужчин. Она могла поссориться на пустом месте, как говорится, обидеть и обидеться непонятно на что; жизнь с ней была похожа на переход минного поля под перекрестным огнем противника. До поры до времени Евсей справлялся со всеми сложностями семейной жизни с честью. И потому справлялся, что счастья было также очень много, больше, чем остального. Он смотрел на Тоню с нежностью, хотя и без снисхождения.

Как это ни странно, Тоня была копией стройных спортсменок, которые ходили в трусах и футболках с короткими рукавами строем на сокрушительных физкультурных парадах по Красной площади в первомайские праздники и алые календарные даты великих свершений и побед. И пшеничные волосы, уложенные вокруг головы, и славянское лицо, готовое к любви, и умопомрачительные, розовые ноги, – все было «за». И вообще – все. Вот только серые глаза волчицы выдавали ее – суровые, своевольные, проницательные, ненавидящие, безжалостные, пронзительные. Мать ее доживала век где-то в Орловской области, прячась от власти в бухгалтерии областного Дома культуры. Все остальные члены семьи (ЧСИР) погибли в Гражданскую войну, как и все немалое имущество. Тоня родилась от неизвестного активиста, который закрутил с чуждым одиноким немолодым элементом любовь, а затем бесследно скрылся, узнав о беременности своего объекта. Возможно, к счастью для всех.

Евсей вернулся домой уже ближе к вечеру. Темнело. Тоня сидела за столом и под светом настольной лампы читала книгу, поставив ее перед собой обложкой к двери. «‘Гамлет’, ну конечно, ‘Гамлет’, что еще могла она читать», – радостно подумал Евсей, входя. Женщиной она была замечательной, подходила Евсею во всем. Он это знал и понимал.

«Я знаю, что все прошло прекрасно, ты только не расслабляйся, помни, Сева, все помни, обязательно», – сказала Тоня раздельно. Она встала и, гибко шагнув к мужу, обняла его. Евсей держал тяжелые руки

на ее плечах, не в силах распрямить кисти; иногда, в минуты волнения, на него находило, и он переставал владеть руками совершенно. «Мне заплатили очень много за один рассказ, второй отвергли, я кое-чего купил для тебя», – сказал он, неловко пропадая в очередной раз, пытаясь достать из глубоких карманов пальто консервные банки и свертки, испачканные жиром. «Умоляю тебя, не увлекайся Севочка, они обманут и опять посадят, всех посадят и перестреляют, как бешеных собак, под шум машинных моторов», – шептала женщина. У нее были замечательные, полные, капризно вытянутые вниз губы, которые призывно раскрылись для него. «Ну ладно, Тоня, ну хватит уже, давай отпразднуем», – отозвался Сева. «Давай», – сказала женщина. Их поцелуй был сладко влажен и длителен, как поцелуй влюбленных молодоженов.

Как и предрекал Борис, публикация небольшого рассказа Евсея вызвала большой резонанс в столице. Вообще изменилась ситуация вокруг Евсея. Нельзя сказать, что это повлияло на него или его поведение. Просто в библиотеке женщины начали на него смотреть с удивлением. Некоторые откровенно угождали и заискивали, хотя он и оставался на прежней должности разнорабочего, иначе говоря, грузчика. Одна молодая девушка, только что после вуза, смущаясь и жеманясь, подарила ему шоколадку.

К главному редактору «Сельской жизни» Атаманенко Евсея привел все тот же Борис, возбужденный и веселый. Кабинет «хозяина», как называл его Борис, имел обтянутую коленкором дверь с надписью «Главный редактор». В чистой темноватой прихожей с горящей под лепным потолком люстрой молодая женщина, что называется «в соку», быстро печатала на древней прочной машинке, перебирая гибкими голыми до сливочных плеч руками, впившись большими глазами в листы, властно исписанные руководителем большого и передового мясо-молочного колхозного хозяйства где-то под Тулой.

Атаманенко был мужчиной средних лет, с сильным командирским лицом, плечистый, умный, опытный человек. Он растирал свою бычью шею, которая, по его словам, затекла. Он резко пожал руку Евсею, предложил ему сесть и оставил Бориса при разговоре, зачем-то ему это было надо. «Рад с вами познакомиться, прочел ваши рассказы, должен признаться – откровение», – сказал он искренне. За день до этого Борис передал ему три рассказа Евсея, которые отпечатала Тоня, посчитавшая их наименее опасными для советского издания. «Природа, счастье производственного труда и так далее», – бормотала эта славная женщина, любовно складывая отпечатанные листы.

Что-то в этом Атаманенко было приторное, несмотря на всю его естественность и органичность. Секретарша Таня, в строгом сером в

елочку партийном костюме с обтягивающей сильные ляжки и выпуклый зад юбкой, внесла поднос с чаем и тарелками с бутербродами. Любительская колбаса щедро свисала с ломтей московского батона, соленые огурчики лежали в ряд и горчица с ложечкой в глубокой плошке ждали своего часа. Атаманенко, человек партийной и литературной номенклатуры, судорожно покраснев и согнувшись, изъял бутылку вместе с тремя чисто звякнувшими хрустальными боками рюмками грамм на восемьдесят и выставил ее с пола на свой огромный стол с еще непрочитанными рукописями – почти шедеврами амбициозных авторов из дальних областей великой родины. «Пишет народ наш, учителя, агрономы, директора МТС, кого только нет», – извиняющимся тоном ласково пробасил Атаманенко, откладывая бумаги в сторону и разливая по рюмкам из чудесной зеленоватой бутылки. Евсей сказал, что не пьет. Атаманенко посмотрел на него непонимающими синими славянскими глазами и чокнулся с Борисом: «За все хорошее, за вас, Евсей Павлович, за ваш дар». И залпом выпил.

Евсей с удовольствием повторил про себя слово «дар», знаковое для него.

– Новое яркое независимое слово в нашей литературе, я горжусь вами, Евсей Павлович. Я понимаю, что ваша жизнь сложна, трагична даже, но вижу, что вы справляетесь, очень, очень рад этому. Будем вас печатать. А то охотников-то скоро до вас добежит, не отобьетесь. Дал Валентину Петровичу почитать, он мне говорит: кто же это такой, хочу познакомиться, поговорить, есть о чем говорить. А Петрович – наш классик, просто так не знакомится, знаете, кто он такой, Евсей Павлович?

Борис сидел и внимал Атаманенко, готовый поддержать разговор, но все у него не получалось сделать это естественно и органично.

– Я понимаю, что вы пробыли у хозяина долго? – спросил Атаманенко осторожно, не дождавшись ответа.

– Одиннадцать лет почти, – сказал Евсей, осторожно отложив бутерброд.

– Понимаю. Давай, Борис, еще по одной за нашего почетного автора.

– Жизнь вы знаете, Евсей Павлович. Должны понимать, что не все так розово и оптимистично, вам будут завидовать, ненавидеть, наговаривать, писать письма и так далее. Вы должны быть готовы ко всему. Предупреждение человека, который относится к вам почтительно. Но вы все знаете сами. Ведь так, Евсей Павлович? Литературная жизнь очень сложна, очень. Ну, давай, Боря, еще разок, за все хорошее...

Боря выдерживал нагрузки хорошо. Сидели недолго, но насыщенно.

– То, что я читал, печатать сейчас сложно, пожалуй, невозможно. Время ваших рассказов, Евсей Павлович, придет, думаю, раньше, чем это можно представить. Наша страна преподносит сюрпризы часто, вы это знаете, конечно.

Евсей ничего такого не знал и так не думал вовсе.

– Есть несколько вопросов, которые я могу для вас решить с удовольствием. Скажем, возьму вас в отдел самотека, на внутренние рецензии, хорошо? Будете работать с Борисом, он вас почитает и ценит, все-таки не рабочим в библиотеке, хорошо?! – Атаманенко решал все с налету после короткого и напряженного обдумывания всех аспектов.

Евсей смотрел на него неподвижно, только прикрывал глаза тяжелыми коричневыми веками в знак согласия и благодарности.

– С завтрашнего дня и выходите. У меня еще вопрос, уважаемый Евсей Павлович. Откуда все это взялось, все-таки вы книг там не читали, стихи вам не цитировали, с профессорами филфака вы не общались, а начали всю эту историю с литературой в двадцать лет, да!? Так откуда, уважаемый?

Борис почти кивнул вослед вопросу своего редактора – что, да, мол, откуда, очень интересно. Лицо его, расправившееся от сладкой горечи водки, было возбуждено.

Евсей не хотел отвечать Атаманенко. Но тот был очень доброжелателен, искренен и совершенно очевидно желал ему добра.

– Были, к моему счастью, люди, которые вели меня, если можно так сказать. Несколько человек наставили меня на путь, пояснили основы, направили. Я вам потом назову их имена. Скажу, что это не Валентин Петрович; он писатель замечательный, сильный, я его помню, думаю о нем. Ключевое слово для меня – «дар», я вам очень благодарен, товарищ Атаманенко. Был такой роман, который, так случилось, я не случайно прочитал в 20 лет, – Евсей сорвался и позволил сказать в кабинете Владимира Анатольевича Атаманенко больше обычного. Он очень верил этим людям, расслабился и сказал то, что сказал. А что?! «Тоня будет сильно ругать», – подумал Евсей и хрипло засмеялся. Атаманенко глянул на него мельком, пронзительно.

Он тут же вспомнил, как тот самый человек с Кропоткинской улицы дал ему прочитать летом 45-го пять номеров парижского журнала «Современные записки», тщательно завернув их в два номера газеты «Красная звезда». В журналах был напечатан эмигрантский роман «Дар» некоего Сирина. «Послезавтра вернете, Сева. Послезавтра. С Богом, дорогой», – сказал Николай Иванович, как будто отправляя Евсея в опасное плавание по бурному морю. Да так оно и было.

Атаманенко, выпускник семинара К. Федина в Литинституте имени Горького за 1952 год, знал, кто такой Сирин и что это за роман такой прочел Евсей Бялый. Владимир Анатольевич Атаманенко был майором бронетанковых войск. Он прошел войну с первого дня. Он догадывался, конечно, что бывший лагерник, похожий на изваяние, со своими простыми и доходчивыми рассказами о забое и тайге, о заключенных и хлебных пайках, о голоде и холоде, не мог взяться ниоткуда, что-то за ним было, жизнь собственная и чужая, судьба и память. Он был честный человек, Владимир Атаманенко, время позволяло ему быть таковым.

– Хорошо, Евсей Павлович. Я вас понял. Завтра вы выходите на работу, поглядите и выберите, кстати, еще несколько рассказов для нас, и приходите с утра оформляться, вам там Таня все объяснит. Был очень рад знакомству, – он поднялся, откинул волосы назад с покрасневшего лба и пожал руку Евсею своей мощной дланью. – Давайте, Евсей Павлович, все будет хорошо, по-моему. Сами еще будете удивляться.

Он пристально оглядел фигуру Евсея и сказал: «Вы знаете, уважаемый Евсей Павлович, у меня тут есть пиджак, почти ненадеванный, габардиновый... Вы не обижайтесь, у вас ведь 54 размер, да?! Примерьте. Мне он не нужен, у меня есть, а вам в самый раз, а!?»

И действительно оказался пиджак в самый раз, в полоску, темно-серый, однобортный, дорогой, – носи не хочу.

Евсей ушел из редакции в подаренном, почти новом пиджаке, оставив свой старый Тане, которая приняла его и сложила через руку с благоговением; мужчина ей понравился, хотя и вызвал поначалу сомнения. Володя к тому же сказал, что этот парень – талант, большой талант. «Через страдание пришел к большой литературе, поняла, Татьяна», – буркнул главный редактор. Выпив, он становился непонятным и еще более привлекательным для Тани. Евсей приобрел в пиджаке Атаманенко вид солидный и благопристойный, его прыгающая походка и неловкие судорожные руки отступили куда-то, остался рослый, крепкий, величественный мужчина с малоподвижным, сильным, суровым лицом. Атаманенко смотрел на него с удовольствием, Атаманенко был правильный человек, хотя и начальник. Время такое, что даже приличные люди могли стать в это время начальниками, пусть временно, но настоящими начальниками. Растерянное время.

Перед тем, как расстаться, Атаманенко, совсем расслабившийся, отпустивший по-русски удила, сказал, выговаривая слова, как командир, каковым он и был, не то Борису, не то Евсею, – слова пролетели

между ними, но запомнились: «Номенклатура не примет, это для нее слишком. А особенно писатели. Будут ненавидеть. Я вижу, что вы не боитесь и не думаете об этом. Хорошо. Надо помнить об этом». Он обнял Ессея за массивные плечи, повернулся и ушел в кабинет, хлопнув дверью. На посошок он Борису не предложил, потому что самому оставалось совсем мало, а тот молодой, сам найдет, обойдется.

Тоне пиджак понравился. «С барского плеча пожаловали Севочке», – пробормотала она. Она осторожно погладила лацканы, а потом поставила на стол сковороду с картошкой. Хлеб и колбаса добавляли в натюрморт цвета и вкуса. Водки не было, Евсей не пил, да и Тоня была экономна, – на все успехи мужа водки-то и не хватит. А жить ведь надо, правда?!

Евсей не совсем понял Атаманенко про ненависть писателей. Кто он и где он – а где они?! Он догадывался о многом, но до конца все не понимал, все-таки его жизнь протекала в другом измерении до этих дней. Он не расслаблялся, не строил планов на будущее и, конечно, не мечтал о покорении горных вершин. Только теперь он ходил в чужом пиджаке на новую работу и читал чужие рукописи без восторга и большого интереса. Чужие рассказы и романы, которые он должен был читать по 8-9 часов в день, они не влияли на него слишком сильно, иногда удивляли, иногда раздражали и веселили. Но эти рассказы прояснили многое в его взгляде на действительность. Некоторые фразы из чужих текстов он не специально запоминал. Подсознание работало у этого человека с нагрузкой.

Отпустили его из библиотеки с сожалением, заведующая даже всплакнула, как ему показалось. Скомканный платочек из рукава кружевной блузки она достала и осторожно промокнула им уголки близоруких азиатских глаз.

Тоня смотрела на него с некоторой тревогой, она очень боялась таких резких превращений, каковые произошли и происходили с ее мужем так быстро, на ее взгляд. «Только бы он не упал, не оступился, ведь так тяжело», – думала эта умная женщина. Денег у них стало теперь больше, и жить им стало полегче. Она очень хотела, чтобы Евсей купил теперь себе темную шляпу из мягкого фетра, которая изначально называлась «Федорой». Потом к этому названию шляпы добавилось романтическое слово «Борсалино», но это было потом. Шляпа эта была обвита лентой, имела мягкие поля. На тулье имелись три вмятины. Поля отбрасывали романтическую опасную тень на лицо, которая сводила женщин – и Тоню тоже – с ума. Тоне эти шляпы безумно нравились, но сломить Евсея ей пока не удавалось. «Ну, какая, Тоня, шляпа мне, старому зэку, ну не шути так, на мое-то лицо. И потом, ты помнишь, что я не блатной парень», – мягко гово-

рил он. Тоне казалось, что Сева ее будет в этой шляпе похож на артиста, поэта Маяковского или просто на мужчину из хорошего дворянского дома. Некоторая абсурдность этого заключения в отношении Евсея Бялого, далекого от дворянства, ее не смущала, женщина ведь всегда права. Увидеть, как он осторожно приподнимает мягкую шляпу над головой при знакомстве с кем-либо на Пречистенке, стало ее заветной, но, к несчастью, несбыточной мечтой. Ей нужно было немного для счастья. Евсей, обожавший ее, кое-чего совершить даже для любимой не мог. В частности, купить и надеть шляпу. Оперативники, которые брали его, были, как на подбор, в пыльниках, широченных брюках и новеньких серых велюровых шляпах, надвинутых на лоб, из-под которого выглядывали подозрительные глаза красивого серого оттенка. Ну не мог Евсей покупать шляпу, носить шляпу, хотя объяснить, конечно, нужно было Тоне все. Он считал, что она понимает все, происходящее с ним, все оттенки его сомнений и комплексов, так сказать. Женщина она была непонятная, сложная, суровая, на первый взгляд, но со своими великолепными слабостями. С кем Евсей мог так любезно здороваться на Пречистенке, Тоня сказать не могла, только предположить.

Сосед Гена заметил перемены в жизни Евсея, нельзя было этого не заметить. Он стал смотреть на Евсея с некоторым удивлением, перестал комментировать события в кухне и притих. Вера Прибыткова выражала любовь и восторг, сделала попытку подружиться с Тоней (не слишком удачную, заранее обреченную). Однажды она принесла им вечером торт «Рассвет» из булочной Филиппова на улице Горького. «Чтобы все у тебя, Сева, было очень хорошо теперь, очень рада за тебя», – сказала она, поставила торт на стол, поклонилась и вышла. Гена с Нюрой купили телевизор и наслаждались теперь в своей комнате видами и звуками. Гена стал еще более гордым, говорил меньше, агрессивность его исчезла, – Вера объясняла это влиянием телевизора. «Через линзу у них все забирает плохое», – говорила Прибыткова.

Распорядок дня у Евсея остался прежним. Отец к нему по ночам не являлся. На работу Тоня делала мужу бутерброды, для которых у нее был пакет из упаковочной коричневой бумаги. Достаточно часто Евсей давал ей на перепечатку два-три рассказа. Тоня говорила ему о них свое мнение, обычно восторженное.

Отпечатанные рассказы лежали в тумбочке у кровати, на которой они спали с Тоней. Толстые тетради, исписанные Евсеем, лежали в тумбочке на другой полке, их скопилось уже несколько штук.

«Ничего не прятать, я гражданин, помнящий о законах и чтящий их», – утверждал Евсей. Первая публикация Бялого в «Сельской жизни» не вызвала большого шума.

Дама из отдела культуры, известная в узких кругах и влиятельная, зашла к нему в комнатушку в редакции, где он сидел один, обложенный конвертами, рукописями и письмами, и сказала: «Интересно, в качестве иллюстрации». «Благодарю вас, большой для меня комплимент», – ответил Евсей. Она ему нравилась внешне, но не очень. Одежда ее была коричнево-синего темного оттенка, обычного для деловой дамы, напряженно работающей в культурной сфере. Приталенный клифт эффектно сошелся на выпуклом животе двумя пуговками, он завершал образ. Светлые волосы ее были аккуратно уложены вокруг чудной головы. Из бокового кармана ее пиджака торчала газета. Она была в курсе всех событий.

Весна нагло наступала на зиму, отвоевывая территорию по весомому карнизному сантиметру.

«Я хочу написать о вашей прозе, Евсей Павлович. У меня есть некоторые мысли, но и присутствует несколько загадок, которые я еще не разрешила в отношении вашего творчества и его направления», – сказала женщина. Евсей вздохнул; разговор с женщиной давался ему тяжело, она была в его вкусе и вообще очень соблазнительна, несмотря на строгий вид. А может быть, благодаря этому виду, неясно.

«Хорошая мысль, спасибо. Но все-таки давайте повременим, Екатерина Викторовна, всего одна публикация, стоит подождать, а?!» Она посмотрела на него оценивающе, как будто даже явственно цокнула, не то не веря услышанному, не то с известным восхищением: «Впервые вижу писателя, который отказывается от статьи в центральной прессе, – видите, как все сложно с вами, Евсей Павлович? Если передумаете, то я здесь, в комнате наискосок». Бялый кивнул и пожал огромными габардиновыми плечами. Она, медленно двигаясь, вышла из комнаты, продемонстрировав Евсею передние и задние возможности в полной красе и в полном объеме. Застоявшиеся стати Екатерины Викторовны превзошли нереализованные фантазии Евсея своими метрическими данными. Она была несколько сыровата по объективной оценке специалиста, но Евсей такими понятиями не фигурировал.

Он еще раз вздохнул и без удовольствия вернулся к рукописи учителя из Иркутской области. Учитель рассказывал о буднях сельской школы, занесенной пургой, и жизни румяных, ласковых работниц передового коровника. Евсей временами терял связь между героями повествования, но что-то там намечалось и крутилось между молодым спортивным завучем, умывавшимся снегом во тьме раннего

утра, и незамужней хохочущей героиней, в четыре утра с надеждой на любовь бредущей по снегу и морозу на первую сладкую дойку. Ноябрьская сибирская непогода и минус 36 градусов на дворе, упомянутые вскользь, делали этот текст неожиданно близким Бялому.

Атаманенко же просто пожал ему руку после выхода номера и сказал, что все прошло наилучшим образом. Что – «все» и кто – «все», он не пояснил. «На заседании культурной комиссии райкома хвалили, все очень загадочно и не совсем логично», – сказал он совершенно не наивному Евсею и торопливо ушел, оставив автора в недоумении, почему – райком, при чем – райком? У Евсея еще не были отлажены связи с московской действительностью, для этого требовалось время, особенно для такого человека, каким был Бялый. Атаманенко бывал часто пьяным на работе, прекрасно владея собой. До поры до времени, конечно. Если бы он жил в другой стране, то можно было сказать, что это порок честного человека, но в Москве это было иначе. Хотя Владимир Анатольевич был явно честен. В Москве пьянство было не пороком, а понятной слабостью. Не обязательно мужской.

– Ты счастлив сейчас? – спросила его Тоня, встретив дома с раскрытым номером «Сельской жизни» в руке. Тоня была очень неожиданна, так ей полагалось в связи с любовью к Евсею. Тот никогда не удивлялся ее поведению, вопросам и настойчивым советам.

Евсей скинул тяжелое, мокрое от снега пальто, сел за стол и внятно сказал жене: «Я не знаю, что такое счастье. Не могу ничего про это сказать. У меня есть ощущение плаванья в море, в зеленой глубокой воде, во время прилива. Давай, милая, съедим что-нибудь».

На Кропоткинскую он больше не ездил, было неудобно. Он был очень обязан этому человеку с Кропоткинской, ценил его, не соглашался с ним, по-прежнему обожал его. Слово «авангард» и все, что с этим связано, смущало его, что ли. Непонятно. Пока же он регулярно ходил в Ленинку за какими-то выписками из книг, которые были ему нужны. Ни с кем не общался. Там были в читальном зале похожие на него, плохо одетые, скованные, до безумия нацеленные на знания, но и с ними Евсей не общался, говорить было не о чем.

На чтения в литературный клуб Евсей больше не ходил. Он не знал, почему, просто не ходил. Сходил раз и все, это общение изжило себя. Один раз к нему наведались эти пареньки из соседних домов, которые писали стихи и учились неизвестным специальностям в ВУЗах уже два года. Но сердце их было отдано стихам и только им. С ними пришел и Барский, элегантный, с твердой зарплатой растущего

инженера. Они принесли бутылку коньяка (Барский) и бутылку водки (синеглазый). Кудрявый принес холодец из гастронома все в той же коричневой упаковочной бумаге, которая, несмотря на жирные пятна, не протекла.

Тоня нажарила картошки, что делала виртуозно, нарезая ее тончайшими ломтями и трижды меняя силу огня в конфорке за время жарки. Еще были порезанные вдоль соленые огурцы в глубокой тарелке с синей каймой, чай – и скованные до первых рюмок гости. В общем, стол бывшего каторжника, возвращающегося к жизни в Москве Всемирного молодежного фестиваля.

И все это под сильной 75-ватной лампой со скудным проволочно-матерчатым абажуром и под выключенной на время радиоточкой. И бесценный геометрический минималистский пейзаж исчезнувшего во времени гениального авангардиста из школы К. Малевича, висевший над кроватью и подаренный Евсею тем человеком с Кропоткинской в минуту расслабления почти 12 лет назад. «Заслужили за любознательность и любопытство, Сева», – сказал тот человек. Ни за что-то подарил, а за интерес, внимание и расположение. При аресте и обыске на картину обратил внимание старший группы, который резко спросил Евсея низким резким голосом офицера спецслужбы – без упрека и нареканий: «Что это такое, гражданин Бялый?»

Евсей пожал плечами: не знает или не хочет говорить. Старший не настаивал. Он подошел, стуча блестевшими негрубыми сапогами поближе к картине, вгляделся в неразборчивую подпись в углу холста и осуждающе и удивленно покачал головой с безупречным профилем, в фуражке с сиреневой тульей: «Ну, надо же, что делают». Но не изъял и не конфисковал как улику, за что вечное ему спасибо и благодарность от всех нас.

Спустя время Евсей часто вспоминал в столыпинском вагоне, напористо гнавшим под железный стук колес о рельсы осужденных в лагеря, этот эпизод, который вызывал у него сложное, почти сентиментальное чувство. «Вот ведь какой любознательный сотрудник», – думал Евсей, и подобие улыбки озаряло его тяжелое, мрачное лицо.

– Евсей Павлович, какие письма пишут в журнал, чем интересуются? – невинным голосом спросил Барский, с удовольствием прожевав ложку картошки и забросив вслед огурец.

– Разное пишут. Рассказы о любви на реке на заре под соловьиный свист, спрашивают про лучшее средство от живота, стихи присылают; народ не скучает, – бодро рассказал Евсей.

Тоня смотрела на него с удивлением, никогда он столько слов не произносил за раз.

Манерный Барский, который знал абсолютно всех в Москве благодаря живости характера, общительности и любопытству, разлил коньяк, оказавшийся густым, насыщенным напитком благородного кавказского цвета и чудного запаха. Все выпили за Евсея и его будущее.

Барский имел большой успех у женщин, хотя внешность у него не киношная, мягко говоря. Но он раскован, щедр, говорлив, умеет слушать, очень необычен. Никогда не скажешь, что он был выслан с семьей после ареста отца в киргизские степи, где провел шесть лет в условиях очень тяжелых и опасных. Отца его расстреляли, Барских в марте 1953 вернули в Москву в их старую квартиру. Миша легко поступил и закончил мехмат МГУ, его взяли в аспирантуру. Он на удивление мало посвящал времени учебе и науке, был невероятных способностей. Не удивительно потому, что Миша Барский интересовался живописью, литературой, политикой, – ему было что сказать почти по любому поводу. Такие люди встречаются довольно редко. Миша пользовался этим. Тоне он категорически не понравился. «Болтун, долгонос, только бы он Севу не свел с пути, – подумала она, – вон как хлещет.» Голова у Тони от этого деятеля кружилась. Она помнила слова Севы, что Барский страдал, долго был в ссылке, отца его расстреляли, этот факт как-то если не примирял с ним, то кое-что объяснял Тоне. «Безотцовщина, страдалец, свой, что его осуждать», – думала Тоня. Миша выпил еще рюмку. «Хлещет, как русский, – не удержалась Тоня от осуждения, – но способный, бес.»

Барский спросил у Евсея: «У вас было продолжение переговоров с Атаманенко на предмет публикаций, Евсей Павлович?» Евсей ответил, что два раза передавал рассказы Атаманенко, но ответа не получил. При случайных встречах в редакционном коридоре, когда сотрудники шарахались от «хозяина» (неофициальная кличка редактора), Атаманенко притормаживал ход и негромко бормотал Бялому: «Надо набраться терпения, Евсей Павлович. Оно у вас есть, я знаю». И шел дальше, энергично косолапя, как кавалерист. Женщины не смотрели ему вслед из уважения и боязни. Он был для всех личностью бесспорной.

Тоня, узнав про это, презрительно скривила губы. Она сказала, что «все врет, мерзавец, как можно верить, Сева, такому». Евсей отворачивался в знак несогласия, на Тоню это не влияло, она была очень самостоятельна и цельна, настоящая вещь в себе.

Тоня вышла и скоро вернулась, неся в руках закрытую пол-литровую банку кабачковой икры.

– Краснодарская, Вера одолжила. Открой, Сева, – попросила женщина. Евсей взял банку, встряхнул ее и одним изящным движением изуродованной кисти открыл.

– Славно, славно, – высоким голосом сказал Барский. Было не совсем ясно, про что он говорил: про то, как была открыта банка или про сытный дух из нее, вырвавшийся наружу. Но все равно, если спросить Евсея, ломти черного бородинского хлеба превосходили все продукты, находившееся на столе. А если посыпать хлебушек сверху сахарком, то такого лакомства невозможно было найти и в знаменитом магазине «Торты» на Кузнецком мосту.

– Мне Боря сказал, что Атаманенко хочет вас познакомить с Валентином Петровичем, очень полезное знакомство, – снисходительно одобрил инициативу редактора Барский. Синеглазый посмотрел на него без одобрения. Этот парень не был готов к компромиссу ни с кем и ни с чем. Барский макнул ломоть хлеба в блюдце с кабачковой икрой, куда Тоня подкрошила лука с руки.

– Не вмешиваюсь, Евсей Павлович и не даю советов, но что-то мне не верится, что все эти люди смогут справиться с собой по прочтении вашей прозы; ненависть будет невероятная, – синеглазый, не моргая, смотрел прямо в глаза Евсею. Разговор принимал странный оборот.

– Они ревнивы, конечно, – лениво сказал Барский, не объясняя, кто ревнив. Ему это было понятно. – Но сейчас Евсей Павлович обязан познакомиться с ним, кто знает, как все обернется, он молодежь привечает, хочет что-то изменить...И потом – независимость, что может быть важнее, а?

Тоня была очень хороша в этот вечер, просто на загляденье. Уголки ее губ, капризно опущенные вниз обычно, распрямились и лицо приобрело необычное мягкое сияние. Черты ее смягчились, она как бы перестала бороться с собой и средой и немедленно преобразилась. Барский поглядывал на нее с начала вечера с внимательным интересом завоевателя, делая это совершенно напрасно – шансов в данном случае у него не было никаких.

Евсей – вот уж кто был независим, просто не знал, казалось, что это такое – зависимость. Он оставался живым монументом, очень похожим на свое повзрослевшее долагерное изображение. Ему еще не отомкнули никаких ворот, он в этом не нуждался, как казалось. Он сам все откроет и займет без остатка.

– Он не боится, и это плохо, – вдруг тихо сказала Тоня. – Их надо бояться всегда, и сейчас тоже. И сейчас особенно.

Синеглазый посмотрел на Тоню, он не понял.

– Сейчас, всех и всегда, – повторила Тоня.

К знакомому Атаманенко, знаменитому писателю и прогрессивному редактору Валентину Петровичу, поехали в пригородный писа-

тельский поселок на машине. Это была новенькая «победа» бежевого цвета, которую Атаманенко приобрел на гонорар за книгу «Кубанская жатва». Книга имела огромный читательский успех, трижды переиздавалась за полтора года и принесла автору не только славу, но и большие деньги. Книгу читал, по слухам, сам хозяин и хвалил, не выбирая слов. Атаманенко был очень непростой человек, с судьбой, которой хватило бы на несколько судеб его коллег по секции прозы МО Союза писателей СССР.

Евсей ехал собирать свой урожай похвал, который, по его мнению, был еще недостаточен. В машину Евсей садился очень осторожно по причине парфюмерного запаха новенькой кожи и лаковой обивки внутри салона. Ему было трудно сложиться, как складной ножик, чтобы занять место возле водителя. «Не торопитесь, Евсей Павлович, время у нас есть», – чудно говорил ему Атаманенко, частя словами, украшенными смоленским акцентом, откуда он был родом.

Ехали шикарно, мягко объезжая черные лакированные, ажурные по краям лужи, нежно бибикая одиноким пешеходам, загодя притормаживая на светофорах. Улицы были полупустые, потому что было 11 часов утра, суббота. Все спали после энергичного отдыха или просто гуляли по дворам и улицам, в тени расцветающих тополей, нагуливая аппетит и жажду. Приехали, насладившись репликами и ветром навстречу в открытые окна. На скорости 60 км в час это было более чем приятно. Валентин Петрович ожидал их в беседке за столом, накрытым бязевой скатеркой и с тарелкой яблок. Он был любезен и внимателен, весело смотрел на Евсея с некоторым удивлением – «откуда такой взялся чудак, а?!»

– Так вот вы какой, Евсей Павлович! Очень рад, очень, – Валентин Петрович был доброжелательным человеком с двухдневной синеватой щетиной и некоторой хитринкой во взгляде черничных глаз. Что-то в этом человеке было неестественное, актерское, опереточное. Как будто он повторял свой старый рассказ, неиспользованный в официальном набираемом для печати романе. В нем крутилось несколько страстей – одна другой опасней, но он не был живодером, – это Евсей понял сразу. Он видел таких насквозь; навидался и настрадался. Специально не напакостит, не пырнет, но если загонят – тогда все, пиши пропало, загрызет.

Сели за стол. Атаманенко достал две бутылки пятизвездочного коньяка из портфеля: с пустыми руками в гости не ходят, ведь так?! Валентин Петрович посмотрел на бутылки, покачал головой и сказал Евсею: «Я слышал, что вы не курите и не пьете, это так?! Но, вообще, как же так? Писатель, хороший писатель, – и не пьет. Так ведь не бывает?»

Он приподнялся, взял бутылку и с нею в руках, как с якорем равновесия, признался: «А рассказы-то ваши очень сильные, давно я такого не читал, да вообще не читал, если честно. Вам сколько лет? Да неважно, я знаю, я многое знаю, но скрываю. Эстер, поди сюда, я тебя с нашим новым великим талантом познакомлю». И сел с бутылкой, глядя на Евсея, как на некое чудище, неизвестно как залетевшее к нему в набухающий весенний сад. Мелко шагая по песчаной дорожке в туфлях без каблука, пришла его жена Эстер, прекрасная пожилая одесская еврейка. От ее улыбающегося лица у Евсея защемило сердце, которое никогда раньше ему не изменяло.

– Мы берем три ваших рассказа, товарищ Бялый, напечатаем их в ближайшем номере. Вам надо подъехать, подписать договор и получить деньги. Я и вся редколлегия очень и очень рады, отбирал рассказы лично я из всех переданным мне любезным товарищем Атаманенко. Одна маленькая просьба... – Валентин Петрович глянул на Евсея, как дед Мороз из новогоднего представления в Доме культуры на рабочей окраине столицы. Эстер была снегурочкой, все верно.

Был в Москве некий ажиотаж в связи с рассказами Евсея Бялого, был. Евсей спрятал руки на коленях и сказал: «Спасибо большое, очень рад, слушаю вас внимательно».

– Там один рассказ назывался «Предатель», а другой «Сиэтл», так мы изменили их. Я назвал первый «Сучкорубы», а второй «Гости из будущего», – ничего, Евсей Павлович?

– Да, нормально, жаль, что не предупредили заранее, а так здорово, конечно, спасибо на добром слове, – отозвался Евсей.

Он действительно был очень рад этому известию. С тех пор, как Атаманенко попросил у него и получил для передачи в прогрессивный новый журнал («Да, два года всего существуют, не закоснели, живые очень люди, Евсей Палыч», – сказал он, быстро краснея.) шесть рассказов, которые были отобраны Бялым вместе с Тоней, прошло 10 дней. Перепечатывались рассказы в редакции по распоряжению все того же Атаманенко, большого человека. Все сейчас развивалось для Бялого просто с космическими скоростями.

Еще ему позвонил третьего дня вечером Николай Иванович с Кропоткинской, чем просто огорошил Евсея. Был в России Николай Иванович – политик, был Николай Иванович – работник службы безопасности, но с ними Евсей знаком не был и не жаждал встречаться, они давно умерли не своей смертью. А с этим человеком он мечтал поговорить, попить чая, поговорить за жизнь, обсудить дела, посмотреть картины. Что говорить, Николай Иванович с Кропоткинской улицы был для него важнее всех.

Он ходил на работу, никогда не опаздывая. Все в редакции прекрасно знали, что к нему благоволит главный. Даже больше, чем благоволит. Екатерина Викторовна, та самая складная дама в клифте, часто заглядывала к нему в комнату. Останавливалась в дверях и спрашивала иронично: «Вы откуда родом, Евсей Павлович?» – «Я из Москвы, уважаемая», – откликался Евсей. Он никогда на женщин не раздражался, хотя нервная система у него никуда не годилась, по словам того врача, у которого он был с частным визитом. «А родители?» – не унималась Екатерина Викторовна, облокачиваясь о дверной косяк и скрещивая длинные ноги в шелковых прозрачных чулках. – «Из Могилева они приехали в Москву». – «Да-да, я вижу у них получилось неплохо, такой сын...», – сказала Екатерина Викторовна без иронии. Она любила иронизировать на разные темы, но Евсея побаивалась. «Они умерли. Мама говорила ‘Могилёу’, а я за ней повторял ‘Могилёу’», – неожиданно для себя сказал Евсей. Екатерина Викторовна повторила с улыбкой: «*Могилёу*... конечно, так говорят белорусы, я тоже из тех мест, но не ваша». Понятно было, что имела в виду женщина. Она сказала это без сожаления.

Женщина настойчиво пыталась помешать Евсею работать. Над ним с утра висело сложное письмо-рецензия секретарю обкома большой области, который написал повесть о счастье и сложностях освоения целины. Все бросились писать в подражание юному писателю А. Гладилину, но не у всех получалось так живо, как у мальчишки из Москвы. Печатать повесть обкомовского прозаика было невозможно ни в каком виде, так сказал Евсею сам Атаманенко, великий дипломат и умелый нивелировщик.

Женщина осталась в проеме двери смущать и радовать Евсея своими словами и внешним видом. Ее тесный полосатый двубортный, почти мужской клифт был расстегнут для свободы дыхания и упрощения соблазнения.

– Я многое знаю про Любавичи и тамошних праведников, в них так много силы, энергии, – призналась кандидат в члены партии, член секции критики Московского СП Екатерина Викторовна, ласково огладив руками свои гладкие, сильные бока 35-летней завоевательницы. – У меня тетка бегала к ним за благословением, хотя она и христианка, и сразу выскочила после этого замуж, только вы не говорите про это никому, Евсей.

Так получилось, что и Евсей знал про Любавичи кое-что, но не задумывался на эту тему излишне. Так, почтение и поклонение атеиста издалека. Разговоров в доме про это местечко и династию праведников никогда не было, отцу Евсея было не до объяснений. Не до

этого. А до чего точно ему было дело, теперь уже и не узнать. Отец очень мало объяснял сыну про прошлое в черте оседлости (год его рождения был 1903-й) и про суть вещей. Разве в этом дело, а?! Вот Москва, строительство метрополитена, Первый процесс, Второй процесс, «трое славных ребят у железных ворот ГПУ...»* Отец был далек от современного литературного процесса да и вообще от любого литературного процесса, а вот эта строчка ему была известна почему-то и откуда-то.

Евсей попытался перечесть последнюю написанную им фразу, но не тут-то было. «Ваша повесть, глубокоуважаемый Клим Сергеевич, представляет большой и заслуженный интерес для нашего читателя, но она требуют некоторой редактуры и...», – было написано им привычно. Додумать и дописать эту важную фразу будущей рецензии Евсею не давала гостья. Перечитать ее еще раз он не смог тоже.

Гена столкнулся с Тоней в дверях кухни и ревниво сказал: «Могли бы и зайти по-соседски, не чужие ведь. А то приглашаем на телевизор, приглашаем, а вы все к Верке и к Верке, нехорошо. Сегодня ждем, Кармен дают, бессмертная музыка Бизе, Антонина. Не просто так». Он был строг и назидателен, телевидение изменило его отношение к людям и жизни. Тоня споткнулась от неожиданности, и он осторожно придержал ее за горячий локоть. Тоня приобрела сливочный тортик в булочной и стала, заглянув в зеркало и поправив локон у виска, с книгой в руках ждать мужа, с намерением нанести семейный визит радушным и, как оказалось, ревнивым соседям. Книга называлась «Пьесы», Уильям Шекспир. А вы что подумали?

– Вообще, со всеми этими делами, Евсей Павлович, шутить не надо, – вдруг серьезно и быстро сказала Екатерина Викторовна.

Евсей поднял глаза. «Никто не шутит ни на какие темы; вообще, какие шутки, о чем вы?!», – ответил он не без досады. Женщина как бы его уличила в чем-то мало приличном. Эти могилевские Любавичи, разговор о них, вдруг помешали ему; получалось, что эта энергичная тетка знала об этом больше него. Никогда он не думал ни о чем подобном, а тут вдруг в советской редакции, на ответственной работе рецензента... Это очень помешало Евсею, задело его почему-то.

Атаманенко в нем души не чаял. «Мы с вами родственники, Евсей Павлович», – говорил он Бялому за своим полированным столом, наливая себе рюмку и ловко пряча бутылку. Выпив, он расслаб-

* О. Мандельштам «День стоял о пяти головах...», 1935 г.

лялся, веселел и уже совершенно братским тоном беседовал с Евсеем, случайно встретив его в редакционном коридоре по дороге на собрание в актовом зале с публицистами. Евсея туда не приглашали, по счастью.

– Валентин Петрович утверждает, что вы еще премию получите, а уж он знает, о чем говорит. Но я думаю, что вам придется подождать немного, ситуация непростая, много политики, она никуда не ушла. Надо подкопить публикаций, может быть, удастся выпустить сборник вашей прозы, и вот тогда-то... Поймал себя на том, что начал вам подражать, ха-ха. Это не отразится на наших отношениях никак, во мне нету этой писательской подлянки, которая из-за зависти движет людьми на все эти ужасы. Ведь что сделали с Пастернаком, мерзавцы, а!? И поверьте мне, только из-за зависти, ничего там нет такого.

Он говорил громко, и Евсей попытался понизить шумы. Атаманенко, предполагая, что он все еще на передовой германского фронта, отмахнулся ладонью рабочего и продолжил:

– Берегите себя. Мне ничего не грозит, я их сам скручу в бараний рог, а вы нуждаетесь в защите, вы же сами все знаете... Осторожность, знаете, никогда не помешает. Свою мрачную прозу сейчас вам не стоит никому предлагать, Евсей Павлович.

Застеснявшись неизвестно чего, он поворачивался через левое крутое плечо и, забыв о цели своего похода, быстро уходил в свой кабинет под защиту вернейшей Тани.

Иногда Владимир Анатольевич становился вот таким, как сейчас, совершенно ужасным хлипким неприятным типом со всеми пороками алкоголика. Но это бывало редко. Его трусость не совпадала с ритмами выпивки, а то бы, конечно, хоть святых выноси. Кстати, а какие пороки у алкоголика, кто знает? Два шага вперед. То-то, никто не знает. А знаете, почему?! Потому что у этих достойных людей, подверженных понятной и объяснимой слабости, пороков нет и не было. Ну, может быть, когда-нибудь они и будут, но когда – неизвестно.

Жизнь Евсея и Тони не состояла только из выпивки и порожних разговоров. Они вместе спали, согласно и разнообразно любили друг друга. Она была податлива, мягка и уступчива в кровати, что не очень было ясно, если судить по ее поведению в жизни. Характер ее не менялся. Как она добилась своей профессии и независимости в жизни, было понятно, а вот с ее любовью к Евсею все было неясно. Что и хорошо, потому что с любовью вообще все странно и совершенно необъяснимо.

Он ежедневно, невзирая ни на что, садился вечером к столу и под горящей 75-ватной лампой работал, записывая в толстые тетради

в черном коленкоре факты из своей жизни, виденные им или услышанные им. Никаких красивостей, никаких чувств, никакого возбуждения. Ему было известно чувство голода, страха, боли, холода. Слова, выписываемые Евсеем Павловичем, были простыми, без сопровождения прилагательных, и от этого впечатление от его рассказов было столь сильным. Его почерк стал лучше, яснее, буквы различимее. Он регулярно подсчитывал количество написанных им рассказов. На данный момент, июнь 57-го года, написанных рассказов было 73, отпечатанных на машинке 30, попавших в печать – шесть.

Газеты сообщили об антипартийной группе в составе Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Евсей внимательно читал все, что писали в газетах, но полной информации на эту тему не было. Он даже попытался говорить на эту тему с Атаманенко, но тот разговаривать не стал. «Не нашего это ума дело, Евсей Павлович», – сказал он раздраженно. «Ну, не нашего, так не нашего, – досадуя на себя, ответил ему Евсей. – Но я рад, я за Никиту всегда». Атаманенко поглядел на него странным взглядом, но промолчал.

Дома Евсей сказал Тоне за картошкой со свежим огурцом, что бои идут за власть большие, но пастушок наш остается – и слава Богу. Лысый полный начальник из пастухов был для него лучшим, чем все остальные вместе взятые. «Кровь у него изо рта не идет, ну, не сильно хлещет чужая кровь, надо это помнить», – повторял он. Переубедить его было невозможно. «Не хочу ничего слушать», – говорил Евсей, упрямство его было невероятно.

Евсей не уходил от разговоров о политике. Он понимал, что не владеет материалом. «Потому все наши рассуждения будут казаться неточными и даже смешными», – объяснял он. Но он помнил, что «пастушок», условное имя начальника, – нервный, горячий, непредсказуемый, освободил его и многих других горемык от страданий и неволи. Причины этого поступка Евсея не волновали, потому что добро есть добро. Тоня же считала, что все люди во власти – злодеи, и ничего хорошего от них ждать нельзя. Она была не менее упряма, чем Евсей, хотя характер мужа был все-таки значительнее.

В редакции Евсей научился шикарно вскрывать конверты с письмами и рукописями. Указательный палец ловко вдвигался сбоку под приклеенную шапку, одно движение в сторону – и письмо аккуратно освобождено от грубоватого конверта с блеклым рисунком деревьев и текущего между ними весеннего ручья – фрагмент известной картины знаменитого передвижника.

Екатерина Викторовна приходила к Евсею в комнату, заваленную конвертами и газетами, каждый день. Что-то ее влекло к этому малоподвижному костистому мужчине, который мог повернуть голо-

ву только вместе с телом, неуклюже двигался и говорил мало и очень медленно, а главное, малопонятно. Она поддразнивала его, видя, что ему нравится эта игра в воспоминания о Могилеве и прошлом, в котором они прожили разные жизни.

Ей очень хотелось сказать, что она чувствует в нем горящую тоску по диким играм с полуодетыми женщинами, о которых он мечтал не только во сне. Вскрики и повизгивания, влажные шлепки, стоны и завывания – при одной мысли обо всем этом у нее кружилась хорошенькая головка. Екатерина Викторовна, облокачиваясь о косяк двери, очень хотела предложить ему пососать ее груди, которые она могла освободить от сбруи трехпуговичного лифчика одним лихим движением рук и плеч. Один раз она почти попросила его об этом сладком одолжении, но здесь, конечно, как всегда бывает в таких случаях, пронзительно зазвонил телефон на его столе. Евсей, обогнув ее горевшие негасимым пламенем чресла, плотно прижавшись к ней всем телом по дороге, быстрым шагом прошел к Атаманенко, который вызвал его на разговор. Ничего этот разговор не стоил, во всяком случае, его было не сравнить с этой истекающей Катей и ее мраморными белорусскими бедрами и персями. Стати ее были цвета тосканского благородного мрамора, что делало ее еще привлекательней. Евсей предполагал, что на груди ее можно было поставить рюмки с водкой, а ягодицы ее годились для той суровой и сладкой игры, которая хотя бы на время могла подавить все его мучительные страсти, которых скопилось за эти годы неисчислимо. Уходя, Екатерина Викторовна, солидная молодая женщина, известный литературный критик, тяжко вздыхала и пела: «Зачем, зачем на этом свете есть безответная любовь?..» Борис, сидевший в соседней комнате с открытой дверью, громко хохотал и после паузы, связанной с иканием, приходил к Евсею и говорил тому: «Надо брать немедленно, не теряйтесь, Евсей Павлович, по слухам, это что-то».

У Гены и Нюры в квадратной комнате с шифонером в углу был синеватый от включенного телевизора полумрак. На столе, накрытом шахматной клеенкой, стояла бутылка водки, стаканы и тарелки с закусками, накрытые холщовым полотенцем. Еще был графин с клюквенным морсом, который очень любил Евсей. «Чем богаты, Евсей, тем и рады, присаживайтесь, Тоня, – сказал хозяин очень радушно. – Бессмертная музыка Бизе, Нюра, начинается, ты что?!» Они жили хорошо, это было видно с полувзгляда, – слаженно.

Нюра очнулась, как от летаргического сна и бросилась к столу, подкрутив у телевизора громкость. «А, видал», – произнес Гена тор-

жественно. Евсей кивнул, что видал, но такой телекартины никогда. Он поймал себя на том, что поддался общему ажиотажу и стал добавлять в рассказы куски чужеродные и необходимые, на его взгляд, для «проходимости». Это ему насоветовал Атаманенко. «Но не увлекайтесь этим, мой дорогой», – сказал он. Евсей подумал, что все-таки увлекся. «Ожесточайся, что ли, Сева», – подумал он. Его твердые черты правильного сурового лица говорили о том, что ожесточение не чуждо ему. Он мог быть злым человеком.

– Ну, Сева, давай, за свободу и торжество пролетариата, – сказал Гена. Евсей сидел, как прежде, он пить не собирался. «Таких людей нет, Сева, их не бывает, и давно не пьешь?» – спросил Гена искренне, забросив в рот хлебушек. Евсей, который из всего, чему его когда-то учил отец, запомнил фразу: «Многословный не избежит греха» – смолчал, ну что говорить зря?

Тоня выпила залпом, как воду, Нюра не отстала; женщины были хоть куда.

– Отучили в тюряге, наверное? – поинтересовался Гена.

Евсей пожал плечами, что не знает.

– Да, тюрьма – не подарок, – изрек Гена.

– В лагере хуже, – неожиданно для себя сказал Евсей.

– Вот не думал. Все-таки природа, чистый воздух, люди... нет?

– Воздух – да, природа тоже, про людей не говорю, но лагерь, Гена, хуже. Ничего не поделаешь.

– Ну, хорошо, давай еще по разу.

И все опять выпили. Евсей поддел вилкой селедочки. К селедке у него было особое отношение, а здесь, политая подсолнечным горьковатым маслом, с луком и картошкой, эта еда казалась ему лакомством, что и было на самом деле. Гена наблюдал за ним недоверчиво и очень внимательно. Он очень хотел прощупать своего соседа на предмет преданности советской власти и напряженно думал, как это сделать ловчее.

– А вот антипартийная группа, видал, Каганович, понимаешь, что тут поделать, Евсей!? – Гена разливал по рюмкам, рука его была тверда. Нюра сидела смирно, во все глаза смотрела на Евсея, изучала чудо невиданное.

– Я за Никиту Сергеевича, большой человек, – ответил Евсей. Он был непоколебим. Тоня недовольно дернула плечом: видали мы, мол, таких больших людей. Она выпила больше своей нормы (150 гр. белой) и могла теперь не соглашаться с мужем по кардинальным вопросам жизни. Ее замечательные серые глаза не блуждали от выпитой водки, они смотрели прямо, были неподвижны, опасны – просто сильная волчица на охоте.

– Вот это правильно, по-ленински, по-нашему, – обрадовался Гена. – За тебя Евсей, пью, хоть ты и закрытый человек, но я все вижу. За дорогого Никиту Сергеевича.

И выпил, как спел песню. Тоня услышала слова: «Родина слышит, Родина знает...» Песня была вместо закуски. Гена свистел мелодию на фоне бессмертной музыки Бизе.

Во что веришь, то и существует, как известно.

Посидели познавательно, расстались дружески. Тоня расслабилась и по очереди пожала руки хозяйке и хозяину. Евсей ругал себя за этот визит, да и другие неудачные визиты вспомнил к месту. Все годы своей жизни он хотел жить у моря, у сине-зеленой воды, у большой волнующейся громады, но не получалось.

На самом деле Евсей Бялый не хотел ни славы, ни денег, ни поклонения, как он считал. Он хотел только придти домой и сесть вечером у стола – окно открыто, и июньский свежий ветер остужает голову, и, держа в окрепших, почти выпрямленных пальцах ребристое тело карандаша, рисовать буквы в слова, одно за одним. Вот и все. Понятно, что Евсей хотел всех писательских благ, цветов, женщин, шампанского, всего-всего, но не натужно, без уступок этой сложной и довольно непонятной жизни.

Самым главным в том, чем он занимался, он считал память. Он культивировал память, запоминая все увиденное почти автоматически. Евсей был опасен для окружающих, хотя никого не осуждал, не ругал, не судил. И уж, конечно, не учил. «Я только записываю то, что видел или слышал», – сказал он однажды Борису Алексеевичу. Тот, кажется, не понял, потому что считал рассказы Евсея Бялого гениальными и совсем не похожими на так хорошо знакомую ему жизнь.

На самом деле прорыва в большую литературу, как говорил Атаманенко, у Бялого не получалось. Рассказы и три повести лежали в двух московских журналах, даже был выплачен аванс за них, но с печатью дело шло туго. Атаманенко не мог смотреть ему в глаза; в журнале Валентина Петровича Евсея принимали на «ура», просили автограф, заговаривали, просили телефон, приглашали на пьянки и так далее. Он был оценен и признан.

Жарким днем он съездил, наконец, на Кропоткинскую. Николай Иванович, пригласивший его по телефону, принял Евсея очень хорошо, был радушен, удивлен, приветлив. На нем был модный пиджак с накладными карманами и байковая рубаха, наглухо застегнутая до воротника. Лицами к стенам, как и прежде, стояли на полу картины, которые часто висели и на стенах. Стол был в рукописях и больших

конвертах с фотографиями и эскизами. При всем кажущемся беспорядке чистота в доме была безукоризненной. Комнат было две. Соседей не было. Была нудная и скандальная соседка сверху; Николай Иванович, уж на что уживчивый человек, терпеть ее не мог. Они не ладили, она писала на Николая Ивановича и его возмутительное поведение подметные письма в ЖЭК и другие подобные места. Она его побеждала. Простые полки были заставлены книгами так, что за ними не видно было стены.

«Изменился, Евсей, заматерел, вот поглядите, пожалуйста, на Фалька и Суетина, есть такие замечательные люди, снующие на грани советского искусства», – сказал Николай Иванович, выставляя на угол стола бутылку коньяка, чайник, печенье в вазе из мгновенно блеснувшего синим пламенем хрусталя и фаянсовые чашки с расхожей линией контура Петропавловской крепости. «Вот», – он показал гостю, держа в руках прелестный пейзаж в простой раме старой – не то Москвы, не то Варшавы, с кривой надписью над входом в заведение со щербатыми ступенями ведущими вниз: «Traktir». Улыбающийся грозный городовой с расчесанной на стороны бородой, одетый в суконный мундир до колена, расставленные ноги в крепких сапогах. С дубинкой в больших крестьянских руках стоя в фас, он, нетерпеливо сверкая глазами, ожидал в сторонке шумного дежурного пьянчугу.

Евсей сидел прямо перед столом, не пряча темных, почти выпрямившихся рук, которых он теперь не стыдился. Он был счастлив здесь, улыбка не сходила с его тяжелого, крупного лица с пятнами обморожений. Взгляд его был острым, даже пронзительным, как и всегда, впрочем. Он выглядел как человек, который знает так много, что скрыть эти знания невозможно, а, главное, изменить их нельзя. Николай Иванович смотрел на него с огромным любопытством и симпатией.

За день до этого к нему позвонил на работу Барский и вызвал на улицу – «я внизу». Евсей ничему не удивляясь, послушно вышел мимо вахтера в застегнутой шинели сотрудника МВД на улицу. Перед входом в их здание были сложены мастерами каменных дел широкие гранитные ступени, которые не смогли стоптать за все годы Страны Советов сотни поклонников, поклонниц и простых сотрудников «Сельской жизни», – так все было прочно, конструктивно и надежно. И работа, и материал для нее. Там, на крыльце, Барский рассказал, стоя ступенькой ниже, задрав синий бритый подбородок, запинаясь и волнуясь, что арестован Леонид, – «Ну, помнишь, читал стихи до тебя в клубе, причина неизвестна, будь осторожен, Евсей, ведь дела у них хранятся вечно.» Пышные бакенбарды Барского вились на ветру. Он любил поучать, советовать, чем смущал Евсея.

Евсей отвык бояться новостей, он не испугался этой вести. Он никого не хотел пугать своими рассказами, он просто излагал происходившее с ним и другими. Сейчас Евсей понял, что ничто в жизни не проходит навсегда, все возвращается, и ничего с этим нельзя сделать. Причина, по которой он занялся литературой, нагнала его на этих ступенях с кустами жимолости на рядом устроенном газоне. Евсей ничего не забыл, не простил. Он считал, что написанные им рассказы и повести отодвинут прошлое в иной мир, в другое измерение. Запомнят его, это прошлое. А выяснилось, что вот оно, прошлое, – вы думаете о нем, так – вот оно, прошлое, живите с ним, Евсей Павлович.

Николай Иванович не давал никаких наставлений. Он выпил пару рюмок, сжевал печеньку и сказал Евсею: «Я рад, что вы никого не поучаете. Ваш стиль совершенен, простите мне эти слова, думаю, что вас оценят. Как они с вашей прозой будут жить, я не представляю». Он был очень серьезен, его темные глаза на нерусском лице горца выдавали напряженную работу ума. «И потом, это так ни на что не похоже, так оригинально, большой сюрприз для меня, Евсей, большой», – он вышел в другую комнату и принес аккуратный сверток. «Опять завернуто в газету», – подумал Евсей, который свято верил в счастливые совпадения и приметы.

– Это несколько книг для вас, Сева. Только проза; мне кажется, это будет вам интересно, – сказал Николай Иванович. Он переместился в старое кожаное кресло с проваленным до пола сиденьем и с удовольствием, подробно, с рюмкой в руке, повел рассказ. В этом несуетном рассказе было очень много всего: смерть Фалька, разногласия и вражда Малевича и Татлина, смерть Платонова, нелюбовь к Шагалу и другие важнейшие мелочи этой и той жизни. Николай Иванович был человек увлекательный, праздничный и артистичный. Его можно было слушать бесконечно.

Евсей сидел, как всегда неподвижно, слушал и запоминал каждое междометие, вспоминая славные имена неизвестных советским искусствоведам гениев. Он был совершенно счастлив. «Вы не обращайте внимания на то, что смертей у меня больше, чем рождений. Мне достаточно вашего рождения, Евсей Павлович, возвращения и рождения. Огромный подарок мне и не только мне, есть и еще внимательные достойные читатели», – хозяин явно не любил говорить торжественно и выспренно. Сейчас получилось именно так, – торжественно и празднично. Но очень к месту. У него были прямые волосы, которые он зачесывал набок, по московской моде тех лет. Ни одного седого волоска у него не было, хотя Николаю Ивановичу, по подсчетам Евсея, было в районе 60-ти. Перед хозяином в сторонке

лежала «Сельская жизнь» с публикацией Евсея и его неровной надписью карандашом над заглавием: «С благодарностью от автора и сердечной привязанностью».

– Очень вам благодарен, – сказал хозяин, который сбивался в обращении к Евсею с «ты» на «вы» и наоборот. – Вы ведь не обращаете внимания на все разговоры и предположения, досужие сплетни и все такое, живете, как жили, да?

– Да, живу, как прежде, хожу на работу, отвечаю на письма, пишу рецензии, возвращаюсь домой, ужинаю, беру карандаш и так далее, ничего не изменилось в моей жизни, ничего не должно было измениться, – он прихлебнул крепкого чая из тонкостенной чашки. Съел сушку с маком, смахнул крошки со скатерти холщовой салфеткой, на которой был вышит зеленый лавровый венок, и поднял на хозяина спокойные глаза наблюдателя.

Николай Иванович был не только волевым коллекционером, который знал всех. У него был авторитет, имя. Все знали его. Он был критик и писатель, был проницательным и много знающим человеком безо всякой тени цинизма. Как он уцелел при Сосо, было совершенно неясно. По всем прогнозам опытных и знающих перипетии и капризы власти многоумных людей его должны были арестовать за 30 лет до этого дня, а сейчас уже было, наверное, поздно, поезд на восток ушел. Хотя, конечно, кто знает?

Тоня дома примеряла какие-то чудные чулки, прозрачные, телесного цвета. Ее ноги в них казались совершенными произведениями мастеров Ренессанса, да они и были таковыми на самом деле.

– Видишь, у Гали, что в гастрономе торгует у метро, купила за 12 рублей. Чехословацкие, капроновые, красиво, правда? – спросила Тоня, показывая свою ногу.

– Очень красиво, – признал Евсей, очень высоко ценивший красоту ее тела как совершенное произведение. Он поднял ее ногу к груди и поцеловал в щиколотку, раз и еще раз.

– Ох, Сева, Сева, – вдохнула Тоня, она была в хорошем настроении, – они без заднего шва, понимаешь?

Сева не понимал, ему было все равно. Ему все нравилось, и со швом и без него.

– На сколько лет вы себя ощущаете, Евсей Павлович? – спросил его Атаманенко. Они беседовали в его кабинете, после рабочего дня. Секретарша Атаманенко Таня, свежая и ломкая, носила им чай и бутерброды осторожной походкой и с легкой всепонимающей улыбкой опытной женщины-матери. Евсей, как и всегда, не пил, но разго-

вор у него с Атаманычем, как его называл потихоньку Борис, шел на равных. Было непонятно, кто к кому относился лучше. В любом случае, это была беседа равных.

– На столько, сколько мне есть плюс еще тридцать.

– В смысле, год там идет за три?

– Ну, конечно, а то и больше, – сказал Евсей довольно спокойно.

– Хорошо, что вы не пьете, не нуждаетесь в этом, отвыкли от заразы. А я на фронте пристрастился, точнее, в прифронтовой полосе. У меня была подруга в госпитале, она носила мне колбы со спиртом, считала, что привораживает, девочка 20 лет, пшеничная коса вокруг головы, статуэтка скульптора Мухиной, поверите, Евсей Павлович? За ее здоровье, за ее счастье. С Богом. Чтобы у нее все было хорошо. И у вас тоже.

И выпил за всех. И посмотрел мутноватым взглядом на вошедшую с бутылкой «боржоми» Таню, которая реагировала на шефа в таком и любом другом состоянии, как подраненная дикая косуля, «спаси и помилуй, но и сам тоже держись, подлец».

Тоня сказала Евсею, что он оказался сильнее судьбы, мощнее обстоятельств. «Я знаю, почему это произошло, ты тоже знаешь почему, держись, как прежде, и все к тебе придет», – заявила женщина, которая не хотела этого разговора и не могла себе объяснить, почему его начала. «Дело не в характере и воле, а, конечно, в даровании. Тебя просто одарил Господь, ты ни в чем не виноват», – она как будто утешала себя. Евсей не мог ничего понять. Он догадывался, что жене что-то мешает в том, как идут дела. «Не стоит переживать так, Тонечка», – только и сказал он. Тоня вздрогнула и, глядя в пол, пошла легким шагом купальщицы на кухню дожаривать ему картошку на ужин. Ей очень был к лицу купальник, в котором она летом плескалась в Москва-реке. Евсей на зеленом берегу, в синей майке и брюках, босой и расслабленный, смотрел за женой обзорно, не выпуская из взгляда ее соседок по купанию и радужным брызгам вокруг них.

– Только бы вы, Евсей Павлович, не спалились, – пьяно говорил Атаманенко, склонив голову на руки. – Я знаю, что и кому говорю, прекрасно знаю, не думайте.

– Что вы имеете в виду? – поинтересовался Евсей. Ему не нравился этот разговор.

– Да-да, власть ничего не забывает, как вы знаете, вы должны держаться в рамках, которые они устанавливают для всех, вы – не исключение, и должны помнить об этом всегда, Евсей Павлович, всегда. Они-то помнят все и всегда, – Атаманенко смотрел на него, как

смотрят на малого, любимого, ничего не смыслящего ребенка. Малолетка, что с него взять, надо учить.

– Но повторов не будет, он не должен этого допустить, это невозможно, – сказал неожиданно для себя Евсей. Он просто не хотел верить в плохое сейчас.

– Все может быть, все. Эти люди могут все, запомните. Странно, что я вас учу чему-то. Это напоминание, считайте напоминанием мои слова, – и Владимир Анатольевич выпил, добавив: – Я свою дозу хорошо знаю, Евсей Павлович.

Атаманенко уронил голову на ладони и сразу заснул. Вдвоем с Борисом они перенесли его на диванчик, накрыли шерстяным неколким одеялом и вышли вон. Борис забрал с собой две порожние бутылки водки из-под стола, вытер комком вчерашней газеты «Труд» влажный стол и, еще раз оглядев комнату, вышел, как тать. Опыт у него был, вероятно, огромный.

– Это основной жизненный тезис советской литературы, Евсей Павлович: честь, запитая водкой, терзания по поводу неоцененного таланта, освежающий сон в углу на диванчике... но человек очень хороший, вы это знаете, конечно, – сказал Борис Евсею.

– Знаю, – кивнул Евсей.

В коридоре Борис попросил Евсея подождать. «Есть разговор, давайте поговорим минуту, личная просьба», – сказал Борис негромко. Они отошли к окну в конце коридора. Окно выходило на улицу, по которой ехала уборочная машина. Это было странно, потому что шел дождь, резкий московский июньский дождь, размахивавший листьями тополей, как весело размахивает зелеными флажками ислама преданная идее пророка несовершеннолетняя молодежь. Предположительно большого иракского города Киркук.

– Есть человек, много переживший, одинокий, очень способный, больной, надо ему помочь. Это можете сделать вы, Евсей Павлович. У меня лежит его повесть, вполне неплохая, приличная. Читаемая. Надо подтолкнуть, это можете сделать вы. Напишите положительную рецензию, я передам ее Владимиру Анатольевичу, он вас очень уважает, – объяснил Борис.

Евсей, который почти всегда думал перед тем, как ответить что-либо, посмотрел мимо Бориса и сказал ему занести текст. Борис был недоволен, но скрепленную стопку бумаги принес.

Читал Евсей напечатанный текст несколько минут, потом поднял глаза на Бориса, сидевшего напротив, и негромко заметил: «Вообще, Борис Алексеевич, это не очень сильно меня вдохновляет. Совсем не вдохновляет, для сведения». Борис, глядя как-то сбоку, как моложавый,

торопливый патриций, пожал круглыми плечами, что, мол, это все неважно.

– Очень надо? – спросил Евсей, прочитав 10-ю страницу.

– Очень, человек без прописки после лагеря, без копейки, одинокий и больной, вам ли этого не понять, Евсей Павлович?! Вам ли в этом не участвовать, а? – Борис был убедителен, как может быть убедителен человек, не признающий поражений никогда.

Евсей аккуратно отложил рукопись на край стола, взял чистый лист с полки, карандаш, оглядел его с интересом и начал писать рецензию, аккуратно и сильно выводя буквы хвалебных слов. Борис смотрел за ним, не упуская ни одного движения. Он никогда не видел того, как Евсей пишет. Этот непростой, трудоемкий процесс был достоин наблюдения и интереса. Жалкий текст, прочитанный Евсеем, не вызвал у него особых чувств. В лагере, например, он совершал и не такие поступки, которые могли привезти его в ужасные ситуации. А здесь что?!

Евсей не мог отказать Борису в этой просьбе. Написание рецензии заняло минут двенадцать-четырнадцать. Евсей перечитал написанное, кивнул в знак согласия, аккуратно подписался и передал лист через стол Борису. «Все-таки он порядочный человек, сиделец, страдалец, брат ваш», – быстро сказал Борис, пряча рецензию во внутреннем кармане расстегнутого тяжелого пиджака. «Я сам передам Владимиру Анатольевичу», – сообщил Борис и исчез без следа. Евсей никаких чувств не выражал, да и какие чувства. Дома он ничего и Тоне не рассказал, он многое держал при себе, по причине лагерного влияния, от которого никак не мог избавиться, да и не пытался.

Дома Тоня сообщила Евсею, что сегодня купила карпа в магазине на Пятницкой. «Понимаешь, случайно зашла, а там выбросили живую рыбу, деньги у меня были, я взяла, вернулась домой. Позвонила Рите, та объяснила мне, как готовят фаршированную рыбу, и я приготовила ее для тебя, по рецепту твоей мамы», – торжественно сказала Тоня. Глаза ее блестели замечательным светом любви. «Свекла и лук у меня были, морковь мне одолжила Нюра, кажется, получилось, Севочка», – она говорила непривычно много и возбужденно. «Ласточка моя», – сказал Сева, мимолетом подумав, что год назад они питались картошкой и макаронами и тоже были счастливы. Время идет и время вперед, как написал когда-то Валентин Петрович из Переделкино. «Как у мамы, и лучше», – сказал жене Евсей. Рыба действительно была божественной. В лагере у Евсея был однажды разговор с мегрелом Лашей, человеком нерушимых кавказских понятий о чести и любви. Лаша сказал ему тогда, сидя на бревне за бараком: «Вот увидеть сейчас утреннюю улыбку моей Изольды – и можно еще немного потянуть, а, Сева?!»

Через день после Тониной рыбы к Евсею в комнату на работе зашла, бурно дыша, секретарша Атаманенко Таня, стуча каблучками, шурша чулками, обдавая пространство вокруг себя щедрым и несравненным запахом «Красной Москвы». Евсей на самом деле привык ко многому в лагере, а главное, он ничему никогда не удивлялся, и запахам тоже.

– Евсей Павлович, вас Атаманенко зовет, сейчас, да?! – сказала она взволнованно. Евсей кивнул, сложил листы рукописи в стопку, поправил конверты, отложил карандаши и поднялся ей навстречу, идти к начальнику. Таня впустила его, предварительно громко постучав. Атаманенко поднял раздраженное лицо от исчерканной рукописи и поздоровался. Взял бумаги и сунул их в ящик стола, гулким деревянным звуком обозначив его закрытие.

– К вам тут пришли, Евсей Павлович, поговорите с нашим гостем. Кстати, о рукописи, переданной мне Борисом, и вашей рецензии – я не согласен, это не для нашего издания, не пойдет, к вашему сведению, об этом еще поговорим, – голос Атаманенко звучал грозно. Он был чем-то очень и очень недоволен. Выглядело так, что он недоволен собой. Поднялся и косолапо, мощно ступая короткими ногами, вышел из кабинета прочь, кивнув бритому, пригожему человеку средних лет, вольно сидевшему на диване.

Человек легко поднялся и протянул руку Евсею со словами: «Очень рад, Евсей Павлович, много наслышан». Евсей его руку пожал. Рука мужчины была небольшой, сухой, приветливой. Рукопожатие его было коротким, уверенным и жестким, как укол шпаги, но с полуокаменевшей и почти застывшей жутковатой дланью Евсея рукопожатие это не выглядело всепобеждающе.

«Меня звать Виктор Сергеевич Горяев, я майор государственной безопасности, пришел с вами познакомиться, пообщаться, вы ведь не против?» Евсей был не против, он был чист перед этой серьезной и могущественной организацией. Он давно не встречался с мудрыми и уравновешенными представителями ее, но помнил о них. Евсей «не скучал за ними», как говорила его любопытствующая соседка Нюра, жена Геннадия Ивановича, но понимал, что они, проницательные люди конторы, должны быть рядом, всегда и повсюду. Без них нельзя, это Евсей знал накрепко. У Горяева была папка из кожзаменителя. Он извлек из нее пару листков и, поглядывая в верхний, сказал Евсею:

– Вы не должны ни в коем случае волноваться, это рутинный разговор. Я вижу, что у вас все складывается положительно после освобождения. Мы этому очень рады, мы сейчас стали совсем другой организацией, воплощаем завет Феликса Эдмундовича, вы, вероятно, слышали, не так ли?

Русые волосы Горяева распадались на две равные части, закрывая уши. Типичная народовольческая прическа из русского прошлого, не хватало только круглых очков без оправы. Он был приветлив и доброжелателен.

Евсей сидел неподвижно, даже не кивал, у него бывали такие минуты. Он слишком многое повидал и пережил, чтобы расслабляться на народовольцев из конторы.

– Ну, хорошо, Евсей Павлович. Я вас спрошу кое о чем, а вы уж постарайтесь ответить мне, ладно?!

Таня, не стучась, внесла поднос с чаем. Горяев поглядел на нее не без досады: ну чего, ну кто тебя звал? Он терпеливо дождался, пока она расставила стаканы, блюдце с сушками, подвинула пепельницу и после этого вышла, с трудом семеня ногами в юбке, в которой забыли, кажется, сделать разрез на правом бедре для минимального удобства ее шага. Горяев ее юбку вместе с содержанием оной горячо молчаливо одобрил. А что, не человек? Сердце ведь горит. Но без экстаза, в рамочках себя держим.

– Так вот, были ли вы, Евсей Павлович, на заседании литературного объединения, когда там читал стихи Леонид К., арестованный нами пару недель назад? Вы там читали свои рассказы тогда? – Горяев задавал вопросы негромким голосом, в котором не было особого выражения и напора. На лацкане пиджака его был приколот значок МГУ. Полуулыбка его была необязательна.

– Да, – сказал Евсей, – был и слушал.

– Хорошо. А кто на этом заседании был из людей, которых вы знаете или знали?

– Не могу сказать, плохо помню все, потому что был взволнован, первый раз читал на публике.

– Ну как же так, Евсей Павлович. Там присутствовал ваш подельник Вениамин Брук, вы с ним разговаривали, о чем?

– Не помню, о чем я мог с ним говорить, он далекий от литературы человек.

– Хорошо. А как же Михаил Барский, он тоже незнакомый человек вам?

– Мы тогда и познакомились, в тот вечер.

– И что?

– Ничего. Интеллигентный человек, доброжелательный.

– Он староста этого Лито, вы об этом знали?

– Нет. Мы в тот вечер познакомились.

– А поэт Леонид К. читал стихи в тот вечер?

– Да, он читал передо мной.

– Вам понравились его стихи?

– Очень.

«Чем же вы настолько провинились, Леня, что такого совершили, что они так зашевелились?» – думал Евсей. Горяев, с его обтянутым кремовой молодой кожей мужским лицом, напоминал ему тех давешних следователей 45-го года, – конечно, этот уже был с образованием, с воспитанием и без усатого хозяина, что значило очень много. Но контора есть контора, контора живет вечно, это Евсей знал твердо. Контора веников не вяжет. Запомнил, слава Богу.

– И с Леонидом этим вы не разговаривали?

– Да я бы с удовольствием, но пришлось сразу после него читать, а потом была суета, и я не успел с ним познакомиться, о чем жалею очень, – признался Евсей.

– Ваши коллеги по работе отзываются о вас хорошо, товарищ Атаманенко просто души в вас не чает, считает надеждой советской литературы. Не будем торопиться, путь в литературе очень не прост. Полно препятствий и испытаний. Вам нужно, по мнению многих, думать об издании сборника повестей и рассказов. Ведь думаете, Евсей Павлович, признайтесь! – улыбка у Горяева была еще та, сердце холодело от нее, от улыбки.

Евсей Бялый не признавался никогда и ни в чем, он держался и в более серьезных ситуациях. А уж с этим любителем литературы... Да абубись ты, хитрован. Но он, конечно, молчал, ничего не выражал голосом и жестом, его раздражение не достигло точки кипения.

– Мы можем вам помочь, Евсей Павлович, во многих вопросах, у нас есть рычаги. И в вопросах публикаций, выпуска первого сборника тоже можем помочь. Я понимаю, что ваша семейная жизнь счастлива, все удачно, очень рад. Что скажете?

Бялый смотрел прямо перед собой, не говоря ни слова. Его было не пронять. Во всяком случае, Горяеву это было не под силу.

Но все-таки в данном случае его молчание было перебором, потому что Горяев был мягок и интеллигентен, старался произвести впечатление угодливого, даже услужливого человека. Поведение Бялого было неверным, Горяева нельзя дразнить, есть люди из власти, с которыми надо говорить прямо. «Где продаются такие костюмы?» – хотел спросить Евсей Горяева про одежду, которая его поразила, – очень была стильна, добротна, красива. Больше Евсею у Горяева было спрашивать нечего.

– Вам же интересны люди, они вас занимают, ну вот, стоит объединить пользу и интерес, Евсей Павлович, – как ни в чем не бывало продолжил Горяев.

На змея-искусителя он похож не был. Евсей вдруг понял, кого он ему напоминал: был у него в первом после суда лагере такой непри-

миримый воровской авторитет, по профессии бандит, по кличке Страх. Боялись этого Страха все, хотя он был вежлив, говорил тихо и иногда даже улыбался. У него были все зубы, возраста он был непонятного, суки от него отлетали, как кошки от большой собаки. Так вот, Горяев был копией этого Страха, Евсей судил навскидку. Первое впечатление его не обманывало обычно.

Бесенята с распушенными бородами бегали по шторе вверх-вниз, цепляясь когтями за материю, посвистывая и беззвучно хохоча. Евсей приподнялся и, дотянувшись, встряхнул штору двумя движениями правой руки. Горяев наблюдал за ним с большим интересом. Бесенята взлетели к потолку и скрылись за карнизом, обещая небывалую кару высокими голосами.

– Вы уверенный в себе человек, Евсей Павлович, да и понятно почему. Удачное возвращение в жизнь, карьера, работа... Все, как в сказке. Так что же вы скажете по моему вопросу? – спросил Горяев как ни в чем не бывало. – Соседи вас также характеризуют положительно, и товарищ Прибыткова, и Геннадий Иванович, и его супруга Нюра, просто все, даже странно... – Он ничего не держал в руках, записи ему делать было не нужно, хорошо тренированная память его не подводила.

Бялый сидел достаточно напряженно. Он не ожидал ничего хорошего от этой встречи, в этом было его преимущество перед Горяевым. Руки свои он держал перед собой, смотреть на них ему было тяжело по-прежнему.

– Значит, Леонид наш вам не знаком, Барский – человек хороший, а Брук вообще сбоку припеку, любопытствующий любитель, так... хорошо. Ну, что ж, я вас понял. В любом случае, Евсей Павлович, вы должны расписаться на чистом листе о факте нашей встречи, вот здесь внизу, – Горяев ловко извлек из внутреннего кармана сложенный пополам лист белой бумаги и вечное перо. Он, не выпуская бумагу из рук, ловко открутил колпачок, указательным пальцем и мизинцем, и протянул перо Бялому. Затем положил бумагу перед этим заторможенным уродливым упрямцем на столе, разгладив ее сильным движением левой руки. «Вот, – сказал он Евсею, – подписывайте.»

Бялый гладкую симпатичную авторучку не взял. Он сказал Горяеву весьма уверенно, твердо, убежденно, разделяя слова, как боевые корабли в океане:

– Я должен знать, что подписываю, а ваш пустой лист – это вообще противозаконно.

Голос у него был сильный, низкого тембра, и так как до этого он таких длинных фраз Горяеву не произносил, то теперь, в большом

кабинете Атаманенко с высоченным барским потолком, выглядело все внушительно и веско. «Да за кого ты меня принимаешь, майор?» – звучало в голосе Бялого.

– Так, – сказал Горяев, – так. Хорошо, товарищ Евсей Бялый.

Голос Горяева был прежний, спокойный, но ничего хорошего он собеседнику не обещал. Звучало его последующее молчание в дрожащем от напряжения воздухе кабинета редактора Атаманенко, как дворовая детская присказка: «Евсей – воробей, ты – не царь, ты известен как еврей». Горяев пристроил темно-серую шляпу с широкими полями на голову, оттенив волевое лицо с правильными и несколько мелковатыми чертами. Он вышел из кабинета Атаманенко, неся обиду и раздражение, думая, что вот распустили народ, а мы теперь расхлебывай, но ничего, друг, ничего, разберемся и с тобою. Писатель, прости господи, из лагерного барака. С Таней он простился вежливо, заглянув ей в глаза, как в прочитанную знакомую книгу. Таня не смутилась, она навидалась этих рыцарей и бобарей в шляпах.

Евсей подумал, что этот уверенный сильный мужчина, майор Горяев, не будет его учить поведению в жизни. Они были людьми разных жизненных установок, только Горяев этого не хотел знать. Евсей же знал. «Я сам знаю, что мне делать, я уже научился, и я знаю, как себя вести в таких ситуациях, я умею побеждать волнение и страх», – так он думал, хотя и несколько самонадеянно, но, наверное, единственно правильно. Он очень хотел спросить Горяева про амнистию для Стрельцова, о которой много говорили мужики на стадионе. Стрельцов был тот самый обожаемый половиной Москвы и Союза двадцатилетний красавец-нападающий «Торпедо», который получил серьезный срок за мутную бытовую уголовщину, в которой не все было понятно. Но случая задать этот важный вопрос майору не выпало, настрой у их беседы был другой, не футбольный. И потом, этот Горяев наверняка болел за «Динамо», согласно своему ведомству.

Тоня очень тревожилась за мужа. «Они не отстанут от тебя, Севочка, будут пакостить и гадить. Я сейчас тебе картошки с сардельками принесу, у меня все на газу», – быстро говорила Тоня, по дороге погладив Евсея по голове, как подобранного во дворе у подвальных неровных ступеней потерявшегося котенка. Он ничего Тоне про Горяева и разговор с ним не рассказал. Она просто все чувствовала. Кожей, что ли?

Евсей нарезал три ломтя черного хлеба, намазал их горчицей и отложил на блюдце. Затем налил из заварного чайника в граненый стакан до половины темнейшей свежей заварки и долил ее кипятком из родительского чайника, который к его приходу всегда кипятила

Тоня. Два куска рафинада вприкуску – и готов живительный напиток, пробуждавший Бялого к жизни лучше всех других. Если не считать Тоню, которая пробуждала его не меньше, а больше всего остального, то сразу вслед за Тоней находился этот душистый чай, за которым жена выстаивала огромные очереди. Слово «грузинский» на пакетике делало его еще желанней. «Хоббский комбинат чая» было написано на бурой бумажной упаковке. Краснодарский или индийский чаи было не достать никак – дефицит, хотя грузинский был не хуже, конечно. Это все Тоня различала, сортировала и отбирала чаи. Евсею были все они хороши.

– Мегрелы знают толк в еде и напитках, прибрежная нация; Хобби – городок на северо-западе нашей безумной страны, давай заделаем чифирка, Сева, – говорил ему Лаша, получивший посылку из дома и крутивший в руках заветный, порванный тюремщиком 100-граммовый пакетик чая из Хобби.

За чифирем, от двух глотков которого билось сердце не в такт, он рассказывал Севе о сванах. «Работящие, молчаливые, суровые, но очень ценят месть, очень. Скажу, что они боготворят месть», – говорил Лаша. Они просто беседовали, негромко разговаривали о Кавказе. «Я ведь женат на женщине из Сванетии, Сева. Почему тебе рассказываю? Потому что тот сын проститутки, который вел мое дело, уехал из Грузии в Москву – якобы на повышение. Но я-то знаю, что он боится ее братьев, понимаешь, до дрожи боится», – сказал Лаша; он был болен, достоин и честен, но Сева относился к его словам с недоверием. «Человек из конторы боится каких-то братьев жены врага народа из деревни – ну, не знаю, Лаша», – отозвался Евсей. Лаша поглядел на него с недоверием: не может быть такой ошибки у него, мудрого мегрела. «Эх, не понимаешь ты, Сева, жизни, молодой, не понимаешь и не знаешь. Дай Бог, чтобы научился и чтобы я до этого дожил», – он выпил еще чифирку и сладко закурил. «Как дома, поверишь», – сказал Лаша.

Евсей отхлебнул привычного с тех самых пор крепчайшего чая, откусил хлеба с горчицей и начал читать журнал, который ему дал Николай Иванович.

Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было: не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю

*ночь, неизвестно – сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.**

Вернулась из кухни Тоня, которая принесла шипящую чугунную сковороду с картошкой.

– Вот, – сказала она быстро и поставила сковороду на проволочную подставку перед Евсеем. Так он любил обедать.

– Что читаешь, Сева? – спросила она.

– «Возвращение», рассказ Платонова, – ответил Евсей, не отрываясь от чтения.

– И как?

– Невозможно замечательно. Не верю, что он умер, – сказал Евсей горько. Он взглянул на Тоню, она была его женщиной с головы до ступней, она была счастлива от этого.

– Прочти мне, пожалуйста, – попросила Тоня.

И Евсей сразу же прочел ей абзац из рассказа Платонова:

В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу, и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.

– Твое сердце меня утешает и развлекает, – сказала Тоня и прижалась к Евсею.

За окном уже темнело. Свистела дворничиха во дворе, грузовичок с товаром для гастронома на выезде из Кривоколенного медленно ехал вдоль тротуара. Стоянки у магазина не было, она была завалена разбитыми фанерными ящиками. Мокрые кусты бузины обрамляли площадку у магазина. Подсобный рабочий с мятым небритым лицом, одетый в серый замызганный халат и стоптанные полуботинки, терпеливо ждал на крыльце магазина. В грузовике были макаронные изделия, упакованные в больших коробках, перевязанных шпагатом. Было жарко и томно на улице. Дождь, коротко пролившийся днем, воздух не освежил, но пыль с мостовой смыл. Шофер грузовика вытер потное лицо смятым кепарем, он устал за смену, начавшуюся в 7 утра. Сейчас было 8 вечера.

– Нюра в кухне, бедная, всхлипывала и всхлипывала. Под глазом синяк, растрепанная, бурчит чего-то под нос. Кажется, «убью гада, кровопиец, убью», шепчет, – сказала Тоня, наливая себе чаю.

---

* А. Платонов «Возвращение». Впервые под этим названием издан посмертно в сб. «Рассказы» А. Платонова в 1962 г. Первая публикация – «Семья Иванова». – «Новый мир», 1946.

– Генка постарался? – Евсей ласково и крепко держал ее за талию.

– А кто же еще. И главное – трезвый, ходит злой, не здоровается, лицо белое, глаза бешеные. Схватил чайник и умчался обратно. А Нюра на табуретке осталась, не может успокоиться. Я ее звала к нам, но она ни за что не соглашается, стыд какой, говорит. Ей Прибыткова валерьянки принесла. Вот тебе и Генка, сотрудник органов, член партии, борец за мир. Была бы я другим человеком, написала бы на него бумагу, ей Богу бы написала, – сказала Тоня, прижимаясь к Евсею еще крепче. Тело ее было молодое, славянское, крепкое и плотное, необходимое ему.

Совсем поздно вечером, когда Евсей трудился под светом настольной лампы, сверяясь с исписанным заранее листом, а Тоня продолжала читать Платонова, изредка откладывая книгу и засыпая, Вера Прибыткова позвала его к телефону. Было без пятнадцати двенадцать.

Звонил Барский. «Прошу вас, Евсей, спуститься вниз, я жду у парадной, нужно поговорить», – сказал он хрипло и быстро. Евсей вышел в тапочках без задника на босу ногу; было тепло, ветерок обдувал лицо. Барский стоял напротив парадной, держась за железный поручень детской горки. Волосы его трепетали на вечернем ветру.

Барский, схожий с Жаком Паганелем из довоенного кинофильма «Дети капитана Гранта», шагнул Евсею навстречу из полутьмы. При въезде в Потаповский горел ненужный фонарь.

– У меня были гости, Евсей Павлович, спрашивали о вас много, спрашивали об арестованном поэте, интересовались вашими связями. Их еще очень интересовал этот Лева Брук, который пришел на тот вечер, я не знал, что он ваш подельник. Ничего им не сказал, – торопливо бормотал Барский.

На третьем этаже 7-го дома напротив подвыпивший сосед, альпинист, аспирант мехмата, разведенный 27-летний мужчина, одетый в безрукавку на голое тело, похожий на отставного офицера из фильма о Гражданской войне, играл на расстроенном пианино «Красный октябрь» «Мурку», сопровождая мелодию бравурными опереточными аккордами.

– Не надо бояться и показывать им это. Они только и ждут, что вы будете бояться и нервничать, Миша, – негромко сказал Евсей. Он всеми силами хотел успокоить ситуацию вокруг себя и своей работы. «Дайте жить, парни, что я вам сделал такого непоправимого», – думал он. Евсей, если говорить откровенно, оказался значительнее своей судьбы, которая тоже была огромна и трагична; но он еще владел своим талантом, своей жизнью, с этим было невозможно сми-

риться. Его требовалось понять; контора разбиралась с Евсеем в свете новых веяний, в свете нового времени.

От остановки автобуса тяжелой медленной походкой пришла Вера Прибыткова, после работы сутулящаяся, усталая. Она, как всегда загадочная и неожиданная, смотрела перед собой. У входа в парадную повернула голову и, как будто что-то вспомнив, поздоровалась с Евсеем. «Здравствуйте, Вера, спокойной ночи вам», – ответил он ей и легко поклонился.

– Вы не хотите свои рукописи, свой архив передать в Париж, есть надежный вариант, Евсей Павлович? – совсем тихо сказал Барский.

– Я с вами свяжусь, Миша, обязательно. Главное, не нервничайте, не давайте им повода и не бойтесь, – Евсей пожал руку Барскому, повернулся привычно, как заводная неловкая игрушка, и медленно пошел домой под приблизительные и шумные аккорды набравшего силу и вошедшего в раж совершенно раздухарившегося полубезумного аспиранта.

Евсей, конечно, думал о судьбе всего написанного им за это время. Его уверенность в необходимости этой работы и собственной жизни не прошла. Он, последовательный практик и настойчивый прагматик, считал, что время его не подгоняет. Он работал в раз и навсегда заданном режиме. Из написанных рассказов была отпечатана примерно половина, учитывая почерк Евсея и обязательную авторскую редактуру, все должно было быть, по меньшей мере, два раза переписано, а иногда и три-четыре. Все это Евсея не пугало, а наоборот, радовало.

Утром Тоня забрала одну в синем коленкоре тетрадь мужа из нескольких, лежавших стопкой в тумбочке у кровати. Евсей перекладывал исписанные тетради с места на место, как будто это что-то решало, могло их сохранить от чьей-то злой воли. Он не посвящал мыслям об этом много времени. Тоня положила тетрадь в сумку с ключами, бутербродами и другими вещами, с которыми она ходила на работу, и задернула грубую молнию. Она ушла, поцеловав его по дороге в затылок. Ее поцелуй не был материнским и не должен был им быть. Евсей начинал работу позже, он пил свой крепчайший чай и с привычным подозрительным удивлением читал Платонова. Тоня покосилась на кружку с черного цвета напитком, но ничего не сказала. «Прошу тебя, без демонстраций отчаянной смелости, Тоня, хорошо!?», – попросил ее Евсей, полуобернувшись. «Ну какая смелость, когда я собственной тени боюсь», – сказала Тоня правду и вышла, плотно прикрыв за собой скрипящую огромную дверь. «Прибавила Тонечка в весе пару кило, ей к лицу», – нежданно подумал Евсей.

Улыбнулся, оскалив рот, закрыл глаза и лишь через несколько секунд вернулся к чаепитию и чтению.

Атаманенко вызвал Евсея к себе, угостил чаем, отвел глаза от Таниных прелестей и, вздохнув, сказал: «Послушайте, Евсей Павлович! Там у вас есть рассказ под названием ‘Караваджо’, я поставил его в номер. Есть одно ‘но’ – нужно изменить название, а то все это выглядит как-то провокационно, как будто вы над кем-то насмехаетесь, а? Я вас прошу, сделайте это, Евсей Павлович. Нам и вам очень нужна эта публикация». Он глухо побарабанил крепкими кривыми пальцами по полированной поверхности стола, мелодия была незнакомой Евсею. «А что, насмехаюсь?», – добродушно спросил Евсей. «Я предлагаю вам название, ‘Художник’, а? Просто и точно, а?!» – воодушевился Атаманенко. Евсей отвернул от него лицо и, подумав полминуты, сказал, «Хорошо, давайте, Владимир Анатольевич, пусть будет ‘Художник’». – «Не обижаетесь? Я хочу как лучше, заплатим вам, как члену Союза, как Паустовскому, он за вас горой, очень хвалит, – ‘Горький, – говорит, новый’. Татьяна, принеси еще чаю.» Евсей не обижался ни на «Художника», ни на Горького. Он вообще был не очень обидчив после лагеря. Отучился обижаться в заключении.

Дома Евсей сказал Тоне, что есть два пригласительных билета на Американскую выставку в Сокольниках. «Атаманенко дал, сказал, что ценит, – сказал Евсей почти с гордостью. – В пятницу открытие, пойдем, Тонечка?» – жена смотрела на него блестящими, неизвестно отчего серыми русскими глазами королевы безоглядной любви. Евсей и не знал, когда это с ней и с ним произошло точно. Заболели и все, ничего неизлечимого, но очень опасно.

– Ну, что ходить, Севочка, там сплошные стукачи и гебня голимая, ну что ты там забыл, а? – сказала женщина, но, конечно, она не могла ничего сделать против.

– Прямая ветка, от нас до Сокольников, поедем потихоньку, народу будет много, затеряемся, поглядим, интересно ведь, – он был безумно любопытен. Это качество характера могло Бялого завести неизвестно куда.

– Ты другие книги совсем перестал читать? – поинтересовалась Тоня, убирая со стола пустую могучую сковороду из-под жареной картошки. Они не были уже бедными, как многие другие люди, но жили по своему пониманию действительности. Картофель, соленые огурцы, масло, чай, – вот разве бутылки на столе не было, Сева не употреблял, а сама Тоня не решалась. Никакой инициативы в этом

вопросе было проявить нельзя, Тоня это понимала, хотя любила выпить рюмку-другую. Тоня показала рукой на Платоновский сборник, который стал для Евсея чем-то вроде путеводной книги. Он даже после своих рассказов на ночь читал несколько страниц, как наркотик, лишь потом жарко обнимал Тоню в кровати за бедра и талию.

– Да, – жутко смутился вдруг Евсей, – ничего не могу с собой поделать, а? Подскажи, Тонечка.

Женщина, понимавшая его мгновенно и безоговорочно, отвернулась и вышла со сковородой в руке, о чем-то думая. Вернувшись, она забрала книгу со стола и сказала залихватским тоном, как примерно говорила на кухне с Нюрой: «Пусть полежит у меня теперь, отдохни Сева, отдохни братец». Она спрятала книгу так, как привыкла это делать еще в юности. Найти книгу было невозможно, Евсей даже и не старался, потому что знал все сам – не найти, не надо находить.

Первым знакомым, которого они встретили в густой нарядной толпе на выставке в Сокольниках, был Бух.

– Евсей, здравствуй, – как ни в чем не бывало сказал Бух, гладкий и уверенный мужчина, с нервными повадками почему-то. – А я тут Левку видел, подлеца и бандита, прошел мимо, как чужой, а мы ведь не чужие, правда, Евсей? Я слышал, ты в гору пошел, молодец, я всегда знал, что из тебя будет толк, не то, что из этого хулигана. Машины – надо посмотреть их – стоящие. Могут, гады, да-а. А это жена, да? Красавица, одобряю выбор, – непонятно было, кому он это все говорил, Евсею или Тоне. Он протянул три пальца Тоне, и она зябко пожала их, сильно отряхнув кисть, как будто окунувшуюся в ржавую кухонную грязь.

Евсей ему руку не жал, не говорил с ним, смотрел поверх головы, благо рост позволял. «А я, понимаешь, поднимаюсь по карьерной лестнице, расту. Теперь в инструкторах Краснопресненского райкома, ценят меня, уважают. Ты, если что, обращайся, у тебя телефончик мой есть, Евсей, может, и подмогну, чем смогу. До свидания, товарищи, дела, – и он ушел, странно вихляя бедрами, почти женскими. Но это уже преувеличение, этого не может быть, в Краснопресненском-то райкоме? Невозможно.

Тоня ничего не спросила – а что спрашивать, всякие люди есть на свете. Было очень жарко. Московский июль. Они отстояли сорокаминутную очередь и выпили по стаканчику бесплатной пепси-колы в одноразовых диковинных стаканчиках с надписью «Пепси-Кола». Мужик перед ними пролил себе на рубаху пепси и расстроился. Девушка-американка, раздававшая стаканчики, успокоила бедолагу: «Вы не волнуйтесь, уважаемый, это легко стирается обыкновенной

водой». «Вот спасибо тебе, дорогая, а то выходная рубашка-то», – и ушел восвояси, удивляясь русскому языку девушки, ее красоте и вообще многому другому.

Они увидели густую толпу в другой павильон, неподалеку. Из него выбирались похорошевшие яркие женщины с искусно сделанными лицами, длинными алыми губами, изогнутыми бровями и бело-бежевыми скулами. «Там косметику накладывают, – жалобно сказала Тоня Евсею, – я тоже хочу такой стать.» Она показала на помолодевшую, красивую даму, которая продиралась на главную аллею сквозь толпу со счастливо возбужденным лицом. «Да ради Бога, Тонечка, но как?» – Евсей показал на огромное скопление женщин, с решительным выражением лиц; никто и не думал уступать ничего и никому. «Ты и так прекрасна, лучше всех, клянусь Тонечка», – прошептал жене Евсей. Та обреченно кивнула, грустно улыбнулась ему, и они, развернувшись, ушли прочь. Никогда Евсей не видел ее такой, он и не представлял, что по этому ерундовому поводу его непреклонная Тоня будет так переживать.

В галерее искусств пожилой, солидный инженер допытывался у американки: «А вы почему сняли фильм ‘Война и мир’, что это значит, вообще говоря?» Девушка отвечала, что это великое произведение и через него можно лучше понять мир, жизнь, русскую страну. «Ну не знаю, не знаю», – бурчал инженер. Уходя и пробираясь в толпе, он громко шепнул, почему-то попав на Евсея: «А фильма-то хорошая, а Наташа Ростова – просто прелесть». Леву Брука они не встретили.

Они долго смотрели на картины Джексона Поллока. «Вот великий художник», – зачарованно, тихо сказал обожавший абстракцию Евсей. «Он мольберта не касается, разбрызгивает краски», – Евсей не отходил от работ Поллока, мешая другим смотреть и знакомиться. «Алкаш сумасшедший, – внятно и высоко сказал кто-то неподалеку, – просто алкаш.» Это был Бух. Евсей не мог его пихнуть ногой, потому что было не дотянуться, а пробраться в толпе ближе к нему было невозможно. Да Евсей и не смог бы дотянуться, еще не восстановился окончательно, хотя прошло уже больше трех лет. «Как его звать, не подскажете, а? Ну, художника этого, от слова ‘худо’. Поляк!? А-а, тогда понятно», – протянул Бух. «Уймись уже, Вадик, уймись», – сказала ему женщина, смутно знакомая Евсею. Это была одна из девочек, проходивших по их делу.

Сердце у Евсея остановилось, дрогнуло и заработало дальше. Мимо огромной клумбы с белыми и красными розами они ушли с выставки в тесном окружении нарядных, измученных и удивленных людей. «Мне понравились американские машины», – сказала вдруг

Тоня, когда они ехали обратно домой, прижатые друг к другу посторонними людьми в покачивающемся и гудящем вагоне метро до неприличия крепко. Евсей поглядел на нее и нежно кивнул, он мог согласиться с чем угодно сейчас, ее прикосновения сводили его с ума. «Вообще, все очень достоверно, ничего себе машинки», – согласился Евсей. У центральных дверей пьяненький, расстегнутый сверху донизу щуплый мужик, головокружительно пахший крепленым вином, вещал о «нашем Никите». «Он, конечно, дает, Никиток. Говорит Никсону: мы покажем вам кузькину мать, хе-хе, а тот глазами хлопает, но парень не прост, ох, не прост. Что-то еще будет с нами со всеми?» – его друг, тоже бухой, но в меньшей мере, пытался посадить того себе на колени. «Я тебе не баба, чтобы на коленях твоих сидеть, ни-ни, но пасаран», – отвечал оратор. Народ вокруг безмолвствовал. Говорливый человек людей стеснял.

– Ну, как впечатления? – спросил назавтра Атаманенко, изучающе глядя на Евсея.

– Как на луну слетал, Владимир Анатольевич; все думаю, как так можно жить, ведь можно умереть от этого удобства, от быта, от этих машин, нет? – откликнулся Евсей неожиданно живо. Они были вдвоем в кабинете Атаманенко. Редактор пил чай с лимоном, Евсей отказался, потому что чай показался ему слабоватым. Запах чая был прекрасен, но недостаточен.

– Нет, Евсей Павлович, это просто другая жизнь, надо стараться не думать об этом, там – так, здесь – так, мы живем здесь, по-нашему, не занимаемся сравнениями. Вы в войну тушенку американскую ели? А хлеб? Если думать обо всем этом, то можно черт знает что надумать, – Атаманенко был задумчив, медлителен, он думал неожиданно. – Вы принесите мне еще пару рассказов, надо вас проталкивать активнее, а то у них так много вопросов. И ответов у меня на все нету, Евсей Павлович. Есть у вас еще рассказы для нас? – Я знаю, что есть.

За окном было знойное июльское лето. Надо ехать за город, на речку, в тенек, а не рассуждать об американских машинах и тушенке. Бялый всех успокаивал, считая необходимым это делать. Хотя кто он такой был, чтобы вещать о спокойствии духа, которого у него самого совсем не было. У него был в накладном кармане пиджака посоленный сухарь из ломтя черного бородинского хлеба, который он осторожно покусывал и грыз, почти теряя сознание от удовольствия и счастья. Ему было, в принципе, очень немного надо. Стоит усомниться, конечно, в этом, потому что страсти свои он не подавлял. Не мог справиться.

– Не надо волноваться, я вам очень благодарен, Владимир Анатольевич, все неожиданно, я так далеко не планировал, если чест-

но. Я принесу рассказы. Время другое, верю во время, без надрыва; за путевку – спасибо большое, поедем с Тоней в санаторий, она счастлива, – Евсей считал, что все нужно всем объяснять потому, что если не объяснять, то никто не поймет. Так он думал.

– Меня очень занимает та ваша рецензия на повесть бывшего зэка, – это что, по дружбе это вы написали по поводу повести, хотели помочь автору? – поинтересовался Атаманенко. У Владимира Анатольевича был дядя с материнской стороны, который отбухал 21 год у хозяина (1934–1955) и был минусовиком, то есть человеком, который не имел права жить в больших городах. Атаманенко, которого пропустили в его провинции, профукали органы, все знал и понимал, у него, как и у других людей, была душа и была память. Он с любопытством смотрел на Бялого, как на непонятного пациента в психбольнице. Круглые очки его с сильными стеклами без оправы лежали перед ним.

Евсей помялся, подумал и ответил: «Примерно, мы не знакомы, но он не хуже других пишет, а судьбой заслужил всего, все честно».

– Вы так считаете? Ну, хорошо, я вам верю. Но повесть этого Робин Гуда не годится ни по теме, ни по написанию, – по написанию, прежде всего, не пойдет, ни в коем случае; невозможно эксплуатировать одно и то же всем, не получится, вы понимаете?! Тема неисчерпаема, но требует, как и все другое, дарования. Скоро такого будут километры, никто не справится... И что, все печатать? Почему, за что? За страдания, за болезни, за боль, по-вашему? А, Евсей Павлович?!

Бялый промолчал, потому что ему нечего было ответить. Если бы он хотел что-нибудь сказать, то он, конечно бы, сказал. Они простились холодно.

Тоня съездила по просьбе Евсея к Николаю Ивановичу. Все-таки Евсей был битый, тертый человек, переживший столько, что хватило бы на несколько самых хитрых Горяевых. Даже если бы эти Горяевы были бы подполковниками. Предварительно Тоня позвонила Николаю Ивановичу с работы. Они переговорили коротко, обсудили детали, он угостил ее чаем с песочными, тающими во рту пирожными. Она ушла с положительным ответом, очень довольная. Через три дня Тоня прямо с работы опять съездила к Николаю Ивановичу. В ее хозяйственной сумке из черной кирзы лежал увесистый газетный, перевязанный и заклеенный, пакет с рассказами мужа. Всего 44 рассказа и две повести, 342 страницы, аккуратно отпечатанные на машинке, – увлеченный, тяжелый и счастливый труд Антонины Кирилловны Бялой. Николай Иванович унес пакет в другую комнату. Они опять пили чай с песочными пирожными и мило беседовали о

рецептах окрошки и щавелевого супа. Потом Тоня уехала домой. Мужу она тихо сказала: «Все в порядке, Николай Иванович сказал, что через пару дней это уйдет в Париж, там ждут». И засмеялась специальным горловым смехом, схожим с клекотом горлицы в апреле-мае. Они завершили разговор жаркими объятиями, длительными поцелуями и прикосновениями рук.

Евсею эта идея с передачей рукописи за границу не нравилась, делал он все на всякий случай, со щемящей тревогой и душевной болью, понимая, что жизнь в СССР может быть такой, а может в одночасье стать другой. В любом другом месте тоже так, но здесь, на углу Потаповского и Кривоколенного, это изменение мгновенно могло стать катаклизмом. Чтобы ничего не было зря, чтобы ничего не пропало навсегда в архивах конторы, чтобы Горяев не торжествовал победу в своем двубортном костюмчике с университетским значком, с вечным пером в нагрудном кармане и гедеэровском узком галстучке, прямо и покойно лежавшем на выпуклой батистовой груди перворазрядника боевого самбо. Вот он, Горяев, победил, и все коту под хвост, вся Евсеева неповторимая жизнь... И, главное, ничего с этой победой поделать нельзя. Вот только обезопасить по возможности свой труд, сделав это осторожно и хитро, недоступно и необъяснимо для горяевского сознания, обогащенного университетскими знаниями и конторскими курсами по психологии преступного мира и изощренных кознях политических врагов пролетарской революции.

– Никита в Штаты собирается, с визитом, вот он им ужо покажет, – сказал, сидя напротив Евсея, Борис.

– Да оставьте вы его уже в покое, пусть едет куда хочет, заслужил, – ответил ему Евсей, свое мнение менявший очень редко. Почти никогда.

– Да я не об этом, Атаман наш приглашен полететь с ним в свите, шагает наверх наш Анатольич, чему я рад.

– Слава Богу. У меня с ним был разговор, он ту повесть вашего друга осудил, меня не понял за рецензию, сказал, что печатать ее нельзя по причине художественной слабости, ни по какой другой, – рассказал Евсей.

– Я знаю, он мне тоже это сказал, не обижайтесь. Не хотел никого подставить, вас особенно, Евсей Павлович, он ценит вас очень высоко по-прежнему. Мы сделали, что могли. Вам спасибо от автора, он сказал, что вы – человек, просил вам передать именно в таком виде благодарность, – Борис протянул Евсею небольшой газетный сверток, в нем была пачка «Краснодарского чая» в обертке из мягкого картона. Евсей кивнул Борису и убрал чай в стол, как опытный взяточник.

– Катя, та, что Викторовна, стала к вам реже заходить в последнее время, Евсей Павлович? – поинтересовался Борис.

Евсей не сразу понял вопрос. Он подумал и сказал, что да, давно ее не видел почему-то.

– Вообще, это знак. Она у нас флюгер, все чует за версту, дорогой. Между страстью и репутацией Катя выберет репутацию, как это не будет тяжело ей сделать, она добропорядочна и законопослушна. Она все знает, а что не знает – догадывается. Неприятности, успехи – для нее это открытая книга, примите к сведению, Евсей Павлович, важный знак, – он посмотрел на Евсея в упор своими веселыми глазами честного плута.

– Обязательно, – спокойно отозвался Евсей, – обязательно.

Зазвонил телефон, Татьяна звала его прямо сейчас к Атаманенко.

– Владимир Анатольевич зовет, – сказал Евсей Борису.

– Вот, и это тоже знак, радостный знак, – весело отреагировал Борис; этот тяжело пьющий человек был бескорыстен и добр, ценил дарование у других людей, радовался успехам друзей. Он очень выделялся. Но он ничего не знал и знать не мог. А Екатерина Викторовна, которая тоже ничего не знала, интуитивно все чувствовала, помогало ее могущественное женское начало. Уж было у нее такое начало, всем началам начало.

Атаманенко был торжественен и горд, это было видно с порога невооруженным глазом. Он был в белой рубахе и галстуке в тонкую синюю полоску.

– Еду в Америку с Никитой Сергеевичем в середине сентября, вчера утром позвонили из секретариата ЦК и попросили документы на оформление. Очень обрадовался. Посмотрим, посмотрим. Я знаю, что вы за Никиту Сергеевича и за меня – тоже, потому сообщаю, чтобы порадовались. Знаю, что вы не завистник, – рассказал Атаманенко Евсею без улыбки. Редактор пил водку стандартными небольшими порциями, Евсей пил чай, который Таня, пахнувшая дивными иностранными духами («от Атамана», однажды проговорилась женщина подруге-корректору, и об этом «духи от Атамана» тут же узнали все на этаже), теперь заваривала специально для него – крепчайший. «И пол-ложечки песку вам положила», – с этими ласковыми словами она осторожно поставила перед Евсеем стакан черного цвета чая с мельхиоровой «выставочной» ложкой, лежавшей на фаянсовом блюдечке.

– 4-е Управление КГБ знаете что такое, знаете, кем занимается, Евсей Павлович? – спросил Атаманенко. Он аппетитно закусил выпитую стопку, хрустнув маковой сушкой. Евсей не знал ответа на

вопрос, он устал от известных знаний о структуре знаковой организации и не хотел себя перегружать этими знаниями. У Атаманенко прибавилось уверенности, это было очевидно. – Антисоветскими элементами занимается. Вами активно интересуются, да вы сами все прекрасно знаете. Но вы не волнуйтесь, я смогу вас отстоять, уж теперь-то точно. Всем назло, Алексей Иванович – мой друг, замечательный человек.

Евсей пил чай. Он не знал, кто такой Алексей Иванович, «ну, начальник», думал он, даже не представляя, какой такой начальник. Его плечи и корпус были неподвижны в связи с нездоровым состоянием тела, никак не проходил недуг Евсея. Атаманенко был активен, пил рюмку за рюмкой, почти не замечая процесса.

– Я не борюсь с властью, они это знают. Моя цель, цель всех моих писаний, – отражение и восстановление увиденного и пережитого, если на то пошло. Я не судья, не учитель, не наставник, это так очевидно, – Евсей посчитал нужным оправдываться, ему было сложно освободиться от этой лагерной привычки, даже время не помогло в этом. Эти слова были им заготовлены заранее.

Атаманенко оттянул воротник рубахи указательным и средним пальцами правой кисти, как будто ему было душно. Отскочила верхняя пуговица, узел галстука обвис, он радостно и освобождено вздохнул.

– Вижу, что вы не знаете, кто такой этот Алексей Иваныч. Хотите спросить и не спрашиваете. А?! Не надо стесняться. Алексей – зять Никиты, муж его дочери, мой друг; учились вместе, познакомились на фронте, замечательный человек, любит меня. Я люблю его, человек достойный, свой, понимаете? – Атаманенко хлопнул еще рюмку, выдохнул; взгляд его голубых глаз был осмысленным. Он несколько растекался в ширину, теряя свой бравый, могучий вид, на глазах превращаясь в нечто студнеобразное. – Вот он нам поможет.

Возвращался домой Евсей в этот день раньше обычного. На углу Потаповского, возле свежевыкрашенного зеленым цветом газетного, еще довоенного киоска его окликнула Нюра, необычно напряженная, радостная, какая-то бледная, почти нарядная. Женщина лет пятидесяти двух – пятидесяти трех.

– Евсей, подойди, – сказала она высоким приказным голосом. «Ну, все начальники, от Тани и Кати до Нюры и Бог знает, кого еще», – повеселел Евсей, но шагнул навстречу Нюре широко и охотно. Женщина была густо напудрена, губы накрашены бордовой помадой, волосы завиты. В таком виде выходят замуж во второй раз или, минимум, идут на праздничный вечер с весельчаком конферансье и дуэтом балалаечников.

– Я что хотела тебе сказать, Сева. У твоей Тоньки грубые черты лица, чтоб ты знал, и сама она, эта Тонька, хулиганка и хамка, запомни это, – выпалила Нюра и замолчала. Евсей не понимал происходящего. – Все это ты и сам знаешь. А есть такие женщины, которые и красивые, и нежные, и ласковые. Надо только присмотреться, Севочка, только позвать.

Нюра, которая была замужем за своим Геной 27 лет, сделала полтора десятка абортов и была лет на двадцать старше своего соседа, погладила его по щеке, привстав на цыпочки, потому что он был слишком высокого роста.

– Ну, вот. Потом еще. Тобой и Тонькой интересуются очень, сам знаешь кто. И Генка говорит, что спрашивают все время, как и что с Бялым. Имей в виду, Сева, смотри там. А сегодня днем приходил мужик, искал тебя, пару часов назад. Здоровый такой, рыжий, штатский, ужасный, нерусский. Грузинский товарищ, но не черный, понимаешь. Говорит: «Ифсей здесь живет, уважаемая женщина?» Я открыла, я сегодня в ночную. Я говорю ему: «Какой Евсей?» Он отвечает: «Не знаю. Мне сказали – Ифсей, я ищу Ифсея. Сказали – Ифсей проси, Ифсей – еврей, эбраэли». Я говорю – приходи потом, вечером, Ифсей, говорю, на работе. Ты имей в виду, Сева, что я тебе сказала. Запомни. Я все сказала.

Нюра повернулась и ушла, «как младая оленица», за дом, опустив плечи, властная, пугливая женщина средних лет, состоявшая из крепких окороков, еще хоть куда, кладезь бесценной информации и нерастраченной любви.

Отвыкший удивляться чему-либо Евсей, все-таки обалдевший от этой встречи и разговора, дождался дома Тони. Он захотел успокоить женщину, посадил к себе на колени и шепнул на ухо: «Атаманенко сказал, чтобы я не волновался, он отобьет меня и тебя, у него друг есть, очень большой начальник. Атаманенко пригласили лететь в Америку с Никитой, он выпил на радостях и рассказал мне про своего друга, не нервничай Тонечка». Тоня смотрела на него недоверчиво и влюблено. Она подумала, что Сева все-таки очень наивен, тюрьма его не сделала подозрительным, а это очень жаль. Но что ж поделаешь.

– Я напомню тебе Тоня, повторю, что я не мученик ни в коем случае, не хочу им быть и не буду. Им нечего меня бояться, они это знают. Я не вырос из теней тех несчастных, что умерли при мне и у меня на глазах, я не певец ужасов, я их только отражаю, я наблюдатель всего лишь, – нашептал Евсей.

– Ты мне это уже говорил, милый, я это помню и знаю, – сказала Тоня. Она поправила ему сбившийся ворот рубахи.

– И никто мне ничего не диктует, понимаешь? – спросил Евсей, – это только работа памяти и воли.

Все эти взрывы подробных объяснений своего характера для Тони были не всегда понятны.

Через час примерно, когда Евсей работал за столом, а Тоня, лежа в кровати на животе, читала «Гамлета», Вера Прибыткова привела к ним гостя. «Вот позвонил ко мне, Ифсея хочет, говорит». Гость – рыжий рослый нерусский мужчина лет тридцати семи, с чемоданом в руке и коричневой кожаной торбой, был почему-то в черной сатиновой косоворотке и пиджаке из жизни прошлых десятилетий. Он сам казался человеком из прошлого. Не ужасал и не пугал. Евсей поднялся ему навстречу. «Здравствуй, Ифсей. Я Мурман из Ушгули, я брат Изольды, жены Лаши», – сказал мужчина Евсею. Кисть его руки была квадратной, безоговорочной.

Они сели за стол, освобожденный Тоней от бумаг и тетрадей мужа. Мурман извлек из торбы круг копченого твердого сыра в матовой, замасленной бумаге и еще предметы, похожие на еду.

– Это чвисхдари и кубдари, я привез для вас гостинцы, – сказал Мурман, брат Изольды.

– Подождите, а что мой сердечный друг Лаша? Почему не приехал? – спросил Евсей.

– Лаша умер два месяца назад. Он как вышел, так и не выздоровел, все лежал, кашлял, хворал. Вас часто вспоминал, Ифсей. Я с братом вот приехал в Москву взять долг с Луки Капарадзе, – объяснил гость. Это был обстоятельный, спокойный человек, в глазах его жил гневный, медленный, страшный огонь. – Мой брат Зезуа приехал на Спартакиаду, он борец вольного стиля, чемпион республики, он будет помогать мне.

Все это было неожиданно. Очень странно. Но Евсей немедленно все понял. Братья жены Лаши Изольды, сваны Мурман и Зезуа, приехали мстить Луке Капарадзе, полковнику, который посадил художника Лашу 20 лет назад, забрав его с перрона в Сухуми в тюрьму, где он должен был встать на путь исправления.

– А это наше вино для вас. Лаша всегда говорил, что вы, Ифсей, его друг на всю жизнь, – Мурмани поставил на стол бутылку без фабричной этикетки. И еще одну. Торба его, казалось, была объемна и безразмерна.

Остановить Мурмана и его брата Зезуа было, конечно, невозможно. И даже пытаться было нельзя, это не Евсея было дело, не его месть. «Не вмешивайся в чужие дела, особенно когда тебя не просят, никогда не лезь не в свое дело», – таков был один из главных законов лагеря.

– Лука в отставке, дом его на Смоленской площади, второй подъезд, третий этаж налево. Он не страдал после смерти Сосо, не был наказан, только вышел в отставку, ждал нас с Зезуа, – Мурман совершенно не шутил, был деловит и прост в общении.

Он отказался от чая и вина. Съел ломтик сыра, не удивился тому, что Тоня присела вместе с ними к столу. Он ничего не скрывал ни от кого. При всем при этом Мурман прекрасно понимал, о чем он говорит и что именно предполагает сделать.

Евсей спросил: «Как Лаша умер?»

– Лежал-лежал, не ел ничего, улыбался. Потом перестал дышать ночью, нам показалось, что он умер от отсутствия кислорода. Не знаю. Ифсея всегда вспоминал хорошо, – сказал Мурман. – Я оставлю у вас чемодан, да? До завтра, хорошо?

– Хорошо, – сказал Евсей.

Они были почти одного роста и сложения, только Мурман был ловчее и пластичнее громоздкого и неловкого в движениях Евсея. Тональность его тоже была смуглее, а так – как одна мама их родила.

Через день Мурман с братом зашел вечером за чемоданом. Тоня забегала в кухню и обратно, но гости есть отказались. Зезуа был помельче старшего брата, пострашнее. В нем сразу прочитывалась бойцовская неукротимая решительность. Тонкие губы, худое лицо с синими бритыми скулами. Он не оставлял надежды врагу, никакой. Он мог сделать все, что угодно, он был по-настоящему лихой человек. Дикий дух гор и лощин, необузданных рек и некошеных склонов шел от него, даже голова кружилась. Зезуа почтительно пожал руку Евсею, заглянул ему в глаза и сказал: «Всегда будете у нас в Ушгули главный и желанный гость, приезжайте, когда хотите, в трудный час тоже, обязательно, мы о вас от дяди Лаша много слышали, вы наш брат, Евсей Павлович». По-русски он говорил лучше Мурмана, был моложе, обтесаннее, учился в институте физкультуры. Но смотреть на него было очень тяжело. Тоня поежилась от вида этого складного, очень ловкого человека. От него можно было в любую секунду ждать, что вот-вот он начнет жонглировать боевыми гранатами. Евсей подумал без сочувствия, что Луке этому придется тяжело.

Они ушли и больше никогда в этом доме не появлялись. Ничего о них не было слышно. О том, что они сделали или не сделали с Лукой Капарадзе, ничего не было известно. Москва большая, СССР – огромен и необъятен. Пока новость доберется, ведь так? И потом, кто там что поймет с этим Кавказом... во всяком случае, Евсей не понимал.

Через лет шесть после этого дня, уже при новой власти, когда человек с бровями сменил человека с ботинком в руке, Евсею позво-

нит Изольда. Вера Прибыткова постучала в дверь и певуче сказала: «Сева, вас к телефону».

Изольда сообщила Евсею, что о нем в их семье часто говорят, помнят, любят, ценят. По-русски она говорила без акцента: «Я училась в Ростове, в мединституте». «Вы наш брат, Евсей Павлович, вы всегда желанный и любимый гость в нашем доме, приезжайте, пожалуйста, очень просим», – сказала женщина, слышно ее было как из соседней комнаты. «У нас все в порядке», – добавила она. Евсей слушал ее внимательно, стоя в коридоре у неизменного телефона, повешенного на стенку до войны. «Мурману и Зезуа поклон», – громко сказал он. «Обязательно передам, они тут возле меня, кланяются вам, приглашают», – Изольда попрощалась с Евсеем.

– Изольда звонила, – сказал он, вернувшись в комнату.

– Да ну, неужели? Ты ничего у нее не спросил? – живо воскликнула Тоня, все такая же, как прежде. Она была осведомлена обо всем и помнила всех, кто был связан так или иначе с мужем.

– Нет, не спросил. Совсем ты лишена осторожности, Тонечка. Братья ее стояли возле нее, приглашали в гости. Поедем?

– Вот это нет, я осторожна, когда надо, – ответила женщина. Характер у нее был еще тот, что и прежде. Ничего не меняется.

Атаманенко вернулся из Америки оживленный, переполненный рассказами и впечатлениями. «Живут хорошо, богато живут. По три спальни в домах, телевизоры, машины, ну, все, что ты пожелаешь. Еда хорошая, хотя с нашей не сравнить. Люди доброжелательные, открытые, одеты, как в концерте. Кока-кола вкуснее Пепси-колы, гамбургеры можно есть и есть, виски, конечно, – благородный напиток, но водка лучше будет, привычней. Никиту Сергеевича не знали, как воспринимать, пугались его, смеялись, но видели, что живой человек; удачно съездили, что говорить, не осрамились, значков со спутником не хватило, – да если б я знал, соломки бы подстелил; хорошо домой вернуться, устал от впечатлений», – признал Атаманенко. Все это происходило в редакционной зале, где он рассказал работникам редакции о поездке в США. Слушали его аккуратно, букв не пропускали. Екатерина Викторовна сидела через два стула от Евсея, поправляла блузку и рассматривала руки с розовым маникюром на фоне мокрого от дождя октябрьского окна. Потом Атаманенко позвал Евсея в свой кабинет – «примем с устатку, да?!», налил себе виски из литровой полупустой бутылки и сообщил ему:«Не волнуйтесь, я все уладил, теперь должны вас оставить в покое, Евсей, вы уж не подведите меня, хорошо?» Он выпил чайный стакан виски, закусил шоколадной конфетой.

– Алексей обещал поговорить со знающими людьми, а уже здесь

сказал, что все в порядке. Я ему описал вас, говорю: «Правильный человек, но не пьет и не курит, а так – свой в доску», – извините меня, Евсей Павлович.– «Не эстет», – говорю. А он, вообще, замечательный человек, Алексей, – не злодей и не подлец, ничего важнее этого нет, учитывая судьбу его и статус победителя. Он уже читал рассказы, знаком, следит за всем, он ведь газетчик, ему понравилось, обещал тестю почитать вслух, тот любит, когда ему вслух читают в выходные, зять и дочь. Лежа в гамаке, прикрыв лицо соломенной шляпой, а? Скажу вам, что Алексей, при всем при том, не человек нашей с вами поэтики, вы это знаете, конечно, но сейчас не это важно. Я ему подошлю днями ваш рассказ, странички четыре, на полосу, он любит удивлять и восхищать читателя, Леха – наш, у них тираж ведь на миллионы идет, отберите, пожалуйста, что-нибудь попроще, без трагизма, без ужасов, хорошо? Радость созидательного труда, красные щеки девушек, волнующие губы, да? Счастье первой любви... – ну, вы сами знаете, не мне вас учить. Ваше здоровье, Евсей Павлович. – И выпил еще три четверти стакана напитка благородного цвета. – «Белая лошадь», называется, поверьте, Евсей Павлович, у нас бабка в деревне самогон гнала из бурака, – ну клянусь, не хуже. Хотя и это добро неплохое. Не-пло-хо-е. Цвет янтарный, а так... вообще. – Он махнул рукой, съел еще конфетку.

Евсей отпил чая и закусил раскрошившейся вкуснейшей сушкой с маком. Атаманенко тяжело встал, качнувшись, повернулся к стене и бережно поправил двумя руками портрет Первого секретаря ЦК КПСС. «Давно хотел, понимаете, это сделать. Очень уважаю», – сел обратно и выпил еще порцию виски со словами: «Пусть будет жив и здоров, мой дорогой, присоединяйтесь, Евсей Павлович». Бялый поднял свой стакан до уровня глаз и выпил своего черного напитка, почти чифирка. Почти чифирка, да не совсем. «С удовольствием, Владимир Анатольевич, я тоже так думаю», – сказал он.

Бялый жил и работал в прежнем ритме, ничего не меняя в своей жизни. Утро, завтрак, работа, возвращение, ужин, работа, Тоня, ночь, сон. Он не обращал внимания на некий автоматизм своего поведения. «Вот она, жизнь моя», – думал он. Пробиваться наверх у Евсея, тем не менее, не получалось. Да он сам для этого особых усилий не предпринимал, считая (неверно), что все придет если не само, но все-таки без специальных поступков для достижения успеха. Несколько человек считало его без оговорок бесспорно талантливым писателем. К ним относились самые известные и почитаемые советские авторы. Но в Союз писателей Евсея Бялого не принимали. Он, правда, так и не написал заявления о приеме в СП, но и оснований для этого прие-

ма, если честно, не было. Книга у него так и не вышла. Публикаций было несколько, все они наделали достаточно шума, но не более того. Издательства и слышать ничего не хотели о сборнике Евсея Бялого, редакторы испуганно шарахались от предложений Атаманенко и рекомендаций других солидных и уважаемых писателей. Необходимо было вмешательство организованного случая.

Таким случаем неожиданно стала публикация во второй по значимости газете страны рассказа Бялого «Случай на перегоне». Рассказ на четвертой полосе газеты с небольшой вступительной врезкой главного редактора (Алексей Иванович Н.) произвел ту самую сенсацию, которая была необходима для толчка к славе и успеху малоизвестного молодого писателя. Тридцатипятилетний Бялый полностью соответствовал тому, что было нужно темпераментному, хитрому и непредсказуемому тестю Алексея Ивановича в данный момент времени. Самое интересное заключалось в том, что рассказ «Случай на перегоне» не был изменен, в нем ничего не убрали, не добавили. Могущественный Алексей Иванович, которого Евсей не видел никогда, позволил себе то, что не мог позволить никто. Запятой не было изменено в тексте Бялого. Рассказ был суровый, жесткий, без особых красот природы, про работу сучкоруба Боброва, про труд в тайге. Радости подневольного труда в рассказе не было. Подпоясанный бечевкой ватник и сбитая в сторону рыжая ушанка из жесткого собачьего меха, руки в брезентовых варежках, окаменевшие плечи, замерзшие сопли, брови во льду, белые скулы, костерок на опушке, куда бегали работяги по разрешению отогреваться – мороз 38 градусов. Вот эти слова «разрешение погреться» были ключевыми. Газетчик их не убрал. И каторжное послушание лесорубов не убрал из рассказа Алексей Иванович, редактор милостью Божьей. Рассказ пробивал читателя, неизвестно почему, наповал. Алексей Иванович позвонил Евсею на работу и сказал: «Очарован и сражен вашим рассказом, поздравляю вас, приезжайте в редакцию, поговорим, обсудим кое-что, взвесим, приезжайте уже завтра, в полдень хорошо?». Он заливисто засмеялся. Ему было можно все, он это все время помнил.

Невероятно, но Атаманенко вместе со своим другом Алексеем Ивановичем оградили Евсея от неприятного и назойливого внимания службы безопасности. Так думал Евсей, человек не наивный, но веривший в эволюцию власти и режима. Поэт Леня Н., из-за которого и начался весь сыр-бор, получил 6 лет. Никто больше по его делу не проходил. Болтливые люди, пытавшиеся приобщиться к советской литературе, получили предупреждение. Почему сел Леня, никто не понимал и не знал, ходили разные слухи, ничего конкретного. Не то

сказал и не тому человеку, так думали многие. Не повезло. Барский организовал продуктовую посылку Лене в лагерь и отправил ее. Посылка дошла, Леня прислал Барскому письмо благодарности, в котором были вымараны чужой рукой отдельные строчки. Леня написал, что работает, шьет рукавицы. Когда Евсей узнал обо всем, то подумал, что все-таки шить рукавицы – это не на лесоповале трудиться по 10 часов, и то, слава Богу. Он сказал это Барскому, но тот не понял его и посмотрел на него странно.

Евсей по-прежнему думал и говорил о Первом секретаре ЦК КПСС очень хорошо. «Ничего лучше в Союзе произойти не могло, чем власть такого человека, как он», – повторил как-то Евсей в разговоре с Борисом и Барским. Он был непреклонен и упрям, как и полагается человеку его судьбы и призвания. Разговор опять был в кафе «Ландыш» на Чистых прудах. Под аккомпанемент стука ложек о тарелки, глухой шум разговоров за столиками и дождь со снегом за окном. Был московский месяц ноябрь со всеми его атрибутами уюта. Три бутылки водки с надежно уменьшающимся содержимым в несокрушимом портфеле Бориса усугубляли происходящее. Евсей, не изменявший привычкам, совершенно не пил, чего нельзя было сказать о его собеседниках.

Барский считал, что Евсей ошибается, что режим неизменен, и что ничем хорошим все это кончиться не может. «Конечно, не может, вы правы Миша. Жизнь тоже кончается, Миша, не очень хорошо. Ведь так?», – спросил Евсей. Он слишком быстро поедал пельмени, склонившись к самой тарелке, видно боялся пронести мимо рта – привычка сильнее натуры, как известно. С едой у Евсея была проблема, о которой он знал и не знал, как ее разрешить. «Да ешь, как хочешь, Севочка, не думай ни о чем», – говорила ему Тоня. Екатерина Викторовна, возобновившая свои томительные визиты к нему в рабочую комнату, увидев, как он хищно откусывает от домашних бутербродов и, отказавшись от соучастия, не удержалась и сказала: «Ваша мама, Евсей Павлович, вам не говорила ‘Ешь, пока рот свеж’, а?» Евсей кивнул, что да, говорила. «Нешто не так, – улыбалась женщина, – нешто не так». Евсей кивал в ответ, – не так, конечно, не так. И улыбался наглой, гладкой бабе, которая никак не желала становиться жертвой. Это происходило потому, что критикесса сама любила общаться с жертвами и любить жертвы. Но к Евсею ее тянуло, «влекло», как она сама говорила. Что-то в этом мужчине ее интересовало и притягивало неотвратимо.

Каждый новый посетитель, открывавший дверь в кафе, впускал вместе с собой в помещение большую порцию холодного, мокрого воздуха из глухой московской осени. Никто из присутствующих не

оборачивался на новенького, не выговаривал ему, не обижал. Новичок, энергичный и растерянный, выбирал свободный столик и пробирался к нему, придерживая полы демисезонного тяжелого пальто. Есть такие, и немалые, кто считают ледяную московскую осень лучшим временем года. Их имена известны. В зале звучала музыка, несшаяся из-за стойки: «Ты сегодня мне принес не букет из свежих роз, не тюльпаны и не лилии...» Эта песня покорила столицу Союза и не только ее: «Ландыши, ландыши, светлого мая привет». Этой песне была суждена большая и увлекательная жизнь. Преувеличенный голос певицы был веселым и покоряющим людей и время, как и другие немалые достижения страны побеждающего (победившего?) социализма. Уже летал, к примеру, спутник земли, накручивая огромные круги, уже разобрались с оппозицией внутри ЦК и никого не расстреляли... Уже железный маршал Победы был убран в благодарность с первых ролей в никуда, уже Евсей написал и в третий раз переписывал свою повесть «Счастье лесника Колесниченко», которая казалась Тоне совершенной и очень опасной для свободы и жизни мужа.

Барский и Борис вливали в себя водку, ведя беседу на отвлеченные и ничего не значащие темы. Они смотрели на Евсея Павловича с сомнением, ожидая от него неожиданных и спорных ответов, считая, что ему все можно, ну, почти все. «Вы у кого учились, Евсей Павлович?» – спрашивал Борис Алексеевич, трогая его за рукав пиджака. Евсей дожевал пельмень, отер рот носовым платком, сказал непонятно: «Вы знаете, я учусь у тех, кого нет со мной, стараюсь не думать о заимствованиях, а то ведь можно так и с ума сойти».

Ни одной женщине в квартире Евсея Бог детей не дал. Ни Тоне, ни Вере Прибытковой, ни Нюре, ни малозаметной старухе Клавдии с каким-то стертым подростковым лицом. Что-то это значило все. Кто-то околдовал жительниц этих комнат с высокими потолками, нарезанных из бывшей огромной гостиной и спальни богатого адвоката. Нюра, будучи молодой женой, тайком ходила снимать порчу с себя и дома, еще до войны, но безуспешно.

Тоня очень переживала из-за отсутствия детей, ходила на проверки к хорошим опытным врачам, но точного ответа ни от кого не добилась. Жили они с Севой хорошо, слаженно. Ей очень нравилась его плоская мощная грудь, его кожа, его плохо сгибающиеся непластичные руки каторжника, которые все не смягчались и не смягчались, несмотря на солевые и травяные ванночки. Тоня старалась для его рук сделать все, что возможно, советовалась со старухами в сплошь деревянном Теплом стане на самом краю Москвы. Старухи знали рецепты отмочек и шептали ей заговоры. «А то, что он не русский, это ничего, не помешает?» – робко спрашивала Тоня, как девочка.

«Тоже человек, раб Божий, Евсей твой, не помешает», – успокаивала бабка, удивляясь Тониной красоте и пряча деньги в карман шерстяной растянутой кофты домашней вязки. Холодно и зябко в Теплом стане к вечеру, метро нет. Добиралась туда Тоня полтора часа в выходной. «Ты не волнуйся, дочка, он у тебя здоровый, всех переживет, и не думай даже», – говорила повеселевшая старуха вслед Тоне уже бесплатно в знак особого расположения. Тоня уходила обнадеженная и счастливая. Тоня просила у бабки и рецепт на скорую беременность. Взрослая, образованная, очень прагматичная женщина, а вот, поди ж ты... И одета хорошо, ботики, пальто, шляпка, и красивая, в помаде, и умная, все понимает, как большая, и характер есть, и пережила столько, – все при ней, но ты только посмотри, что делается? А, Варламовна!?

– Меня в Совпис приглашают на работу, что скажете, Евсей Павлович? – почему-то Борис обращался только к нему, как к главному. Барский не обижался ни секунды, запоминал и не обижался. Пригладил пальцами лохматые бакенбарды. Он нашел хорошую работу, писал докторскую по своей невероятной науке, за которую еще лет десять назад сажали напропалую и расстреливали, а теперь все было на подъеме. Барский, просчитывавший все, иногда, подвыпив, говорил, что «наша империя продержится еще лет 25-30 максимум, а потом все распадется». Сейчас он подвыпил и все искал повода вставить свои три копейки в разговор.

– Не жалко от Атаманенко уходить, а? – спросил Евсей.

– Вот только Владимир Анатольевич и держит. А вы что скажете, Миша?

– Немедленно уходить. Нельзя всю жизнь держаться за Атаманенко, надо выходить в большой мир, несмотря ни на что. Не думайте даже, уходите, Боря. Совпис – как много в этом слове для сердца русского... – он не помнил, что дальше, и замолчал.

– Если уйду, Евсей Павлович, то только чтобы издать ваш сборник, только для этого, – Борис был человек яростный, влюбчивый, безоглядный. Произнес эти слова он задумчиво, с загадочной улыбкой.

Из-за стойки звучала лирическая песня. «На этой улице Заречной, гонял по крыше голубей», – сказал густой ласковый голос набирающего невероятную популярность артиста. «Хорошо поет Николай, до души пробирает», – сказал за соседним столиком мужчина в джемпере с оленями, пристально глядя на Евсея. Тот в разговоры ни с кем никогда не вступал, репликами не обменивался, но и глаз не отводил. «Ты чего зыришь, хрен нерусский», – спросил мужчина, человек нетрезвый и мало понятный. Он даже махнул на него крупным кулаком рабочего человека. Борис, обожавший ссориться в

общественных местах, будучи пьяным и резким, полуобернулся: «Ты с кем разговариваешь? Ты с большим писателем разговариваешь, с художником, извинись сейчас же». «Ага, с художником от слова ‘худо’. Угрожаешь, да? Мне, Цветкову Толе, угрожаешь, да? Ну, смотри, я – Толя Цвет. Если ты еще не понял, меня ‘на понял’ не возьмешь, понял? Меня все здесь знают», – мужчина поднялся, он был высок и плотен, и не так и пьян, на самом деле, как казался. Он, не оглядываясь, пошел на выход, как был, не надевая пальто и кепки. Он не забыл пустой бутылки, которую перехватил его друг, шедший за ним тенью.

– Я с вами, Борис, – неожиданно проворно Евсей поднялся и пошел за Борисом Алексеевичем.

– Ну что вы, да там дела-то на пару минут, не надо, – живо откликнулся Борис, но Евсей был непреклонен. – Двое на двое – так двое на двое.

Барский тоже пошел за ними, он был подвижен и смел, но мало эффективен со своими бакенбардами и носом в столкновении с Толей Цветом и его корешем.

На улице все действительно случилось очень быстро, можно сказать, мгновенно. Толя Цвет сразу же коротко и мощно получил от Бориса не выпрямленной рукой по челюсти и сел на тротуар, мотая головой. Его друг был наказан мягче, только пощечиной, от которой из него вылетели сверкающие искры, с шипением потухшие в ажурной луже под тротуаром на мостовой. Борис склонился к Цвету, поглядел в его суровые глаза. Он остался доволен увиденным, приветливо кивнул ему. «Ты понял?!» – спросил. Цвет не понимал. Борис приподнял его за плечи, деловито прислонил к стене кафе. Затем он достал носовой платок из бокового кармана пиджака и тщательно вытер лицо Цвету. Евсей, видевший в жизни много подобного, остался в удивлении. «Вы большой специалист, непревзойденный мастер», – сказал он. Борис был очень весел и доволен. Про себя Евсей подумал, что в лагере тому бы пришлось тяжело, уж очень нескромен. Барский качал головой и повторял, то ли в восхищении, то ли в осуждении: «Никогда не видел ничего подобного». Боря был московский ловкий человек средних лет, находчивый, хулиганистый, веселый. Подошедшему милиционеру он сказал, показав на Цвета: «Видите, товарищ лейтенант, перебрал друг, привожу в чувство». Тот взглянул на пострадавшего, покачал головой и спросил: «Идти можешь?» Цвет кивнул, глаза его были закатаны. «Жить будет, до свадьбы проспится», – поощрил Борис. Милиционер ушел, успокоенный. Уже в кафе за столом Евсей сказал Борису: «Вы, конечно, должны пойти на работу в издательство, вас ждет успех, как

я понимаю». «Решено, так и будет, я знал, что вы посоветуете дело, Евсей Павлович», – отозвался Борис.

Вот он-то и издал первую книгу Евсея Бялого в Совписе, сборник рассказов под названием «Костер на таежной поляне». Книга была небольшая, тиражом 60 тысяч экземпляров, 160 страниц, включала в себя 7 рассказов и повесть «Художник», которая изначально была названа Бялым «Караваджо». Было еще несколько изменений, поправок, сокращений. «Неизбежно и необходимо, но минимально, Евсей Павлович», – объяснял Борис. В Совписе его уважали и ценили. Дамы, зябко кутаясь в шаль, заходили к нему в комнату с постоянно открытым окном покурить, поболтать, пострелять глазами наотмашь, поразведать, показать ножки в черном капроне, поскрипеть гедеэровскими колготками. «Что у вас в работе, Борис Алексеевич? Вы всегда удивляете своим выбором», – спрашивали женщины. Он смотрел на них в ответ, выдерживал паузу, ничего не говорил по существу. В СП Бялого не приняли, пообсуждали и решили выждать. «Ну, нельзя так сразу давать им все и в одни руки, товарищи, пусть подождет, помаринуется, так сказать, созреет. Юноша ведь. Много вольностей наблюдается на страницах, а так... Есть место сдержанной критике. Молодежь, хе-хе. Одну-то книгу всякий написать сумеет, на второй проверка наступит», – говорил на заседании Московского отделения секции прозы председатель ее, похожий на ласкового хуторянина, лысый и быстроглазый, как жулик на колхозном рынке. Его звали Терентий Браво, но у этого имени были и другие версии. Инварианты, так сказать.

Евсей получил гонорар за книгу в четыре с половиной тысячи рублей новыми деньгами, что было суммой невероятной и трудно понимаемой. Тоня заказала ему костюм из материала «бостон». Матвей Абрамыч, старый мастер, пошил Евсею с одной примеркой замечательный двубортный костюм серого цвета в бордовую елочку. «Как влитой сидит», – сказал Абрамыч задумчиво. Обошлось вся эта история им в 250 рублей, сумасшедшие деньги, да кто их считал. Две тысячи Тоня положила на сберкнижку, «на предъявителя». Купила еще полкило красной икры за 3 рубля, сливочного масла в гастрономе на Лубянке. И по мелочи там, шампанского, лимонада, торт «Наполеон». Чудесная суета счастья. Они отпраздновали с Евсеем его книгу как полагается. Евсей, в свою очередь, на годовую зарплату купил Тоне серьги с бриллиантами в комиссионке. Серьги были очень к лицу Тоне, она с удовольствием наблюдала себя в зеркальце. Муж сказал ей, что она неотразима.

Атаманенко вызвал Евсея к себе и сказал, что очень рад за него. «Этот ваш ‘Костер на таежной поляне’ ни у кого не оставляет места для сомнений, вы зрелый сформировавшийся мастер, работающий в классическом ключе, будущее за вами», – сказал. Он был совершенно трезв, должен был куда-то ехать, «в присутствие», как он выразился. «Я слышал, ее не достать, вашу книгу, все раскупили или нет?» – спросил Атаманенко. Евсей поднялся, сходил в свою комнату и принес свою книжку, оформленную конструктивно: контуры костра от двух поленьев на фоне черных деревьев. Он написал на титульном листе следующее: «Владимиру Анатольевичу Атаманенко с вечной благодарностью за все от Евсея Бялого, который все помнит». «Буду хранить, как ‘дело’ в конторе, – ‘Хранить вечно’», – сказал Атаманенко. Евсей вздрогнул. Атаманенко встал, обошел стол и обнял его за плечи: «Горжусь знакомством с вами, Евсей Павлович».

Вечером к ним зашла Вера Прибыткова и попросила автограф. «Вот купила в лавке, очередь была, не поверишь, Сева, дрались люди, надпиши на память», – попросила женщина. Сева написал ей: «С вечной любовью, Верочке от автора, поклонника и соседа». Геннадий Иванович начал кланяться Евсею издали. Нюра опускала глаза и шептала: «Слышала, что стал ты, Сева, большим человеком, не зазнайся, помни нас, сермяжных». Нюра прикрывала очередной синяк на скуле, глаза ее смеялись и блестели. Геннадий Иванович ее лупил регулярно, кажется, за дело. Потом зашел к Евсею сосед, тот самый поэт с изумрудными глазами. Попросил книжку в подарок. Евсей подарил. «Всем говорю, что знаком с вами, Евсей Павлович, никто не верит, к вам и друг мой кудрявый собирается зайти за книжкой, в продаже ее нет, вы не гневайтесь», – попросил он Бялого. Тот не гневался вовсе.

Через неделю все кончилось, начались советские будни. Покатились вспять. Барский опять днем вызвал Евсея на улицу. Там он сообщил, глядя в сторону: «Слушайте, вы не переживайте. По ‘Свободе’ передали ночью, что в Париже выпустили вашу книгу, называется ‘Лагерный Караваджо и другие рассказы’. Имейте это в виду». Миша Барский все новости знал раньше всех. Наверное, в Париже хотели сделать, как лучше, но у них получилось наоборот.

Ничего хорошего это известие Бялому не принесло. Конечно, никакого приема в СП не состоялось. Рассказы в журнале у Валентина Петровича, которого уже сменил Борис Николаевич, были выброшены из плана. Все было перекрыто в советской стране для Бялого. Тоня смотрела на мужа с тревогой, но молчала. Нечего было говорить. Екатерина Викторовна, редакционная королева Марго, опять переста-

ла заходить к нему в комнату. Спасибо хоть Атаманенко отстоял ему ставку, его было не сбить. На ходу он ему сказал в коридоре, что идет к Алеше сбить пламя. Но, видно, не очень получилось, потому что он после этого с Евсеем не беседовал. Есть вещи, которые власть не прощает никогда, иначе она не власть. Тут же появился и Горяев. Он стал настаивать на написании открытого письма в Литгазету, в котором бы Евсей осуждал публикацию на западе. «Вы же не разрешали этой публикации, это правда?» «Правда», – твердо отвечал Бялый. «Ну вот. А кстати, как вы передали рукопись на Запад, вы передавали ее или они сами ее получили неизвестно как?!» – он не иронизировал нисколько. «Конечно, не передавал, как вы только могли подумать такое», – Евсей тоже не иронизировал. Он дал слабину, подыграл конторе, что-то в нем отказало из-за праведного гнева на поклонников в Париже. Тоня сказала ему дома, что письмо в газету надо написать обязательно. Она тоже надломилась – возраст, любовь и досада за мужа сыграли свою разрушительную роль. «Ты же их уже знаешь хорошо, правда?» Евсей кивнул. Через три дня он сказал Горяеву, что письмо в газету написано. Горяев прочитал написанное, одобрил в целом. Сделал два исправления. Письмо было опубликовано. Евсей написал, среди прочего ожидаемого, что никакого разрешения на публикацию не давал, никто это разрешение не спрашивал. Порядочные люди так себя не ведут, написал Евсей Бялый, его гнев был справедлив. Ему было 43 года от рождения. Письмо было напечатано. Чуть опомнившись, он очень расстроился из-за своего поступка, но назад уже дороги не было. Евсея многие осудили, вызвав его гнев: да что вы знаете, дети малые. Борис Алексеевич сказал, что все было правильно. Некоторые интонации письма, которые не красили Бялого, вызывали у него самого протест, но не более того. Протест этот был молчалив.

Молодые поэты, соседи Евсея по кварталу, встретили его на улице, пожали по очереди ему руку и сказали, что ни на что не надо обращать внимания. «Правда с вами, Евсей Павлович», – сказал бирюзовоглазый. Николай Иванович с ним не связался, не позвонил. Да он и раньше Евсею не звонил. Они все-таки поговорили через пару недель подробно и уладили недоразумение. Евсей, человек пунктуальный, хотел знать, что и как произошло с его рукописью. Николай Иванович ко всей этой истории отношения не имел, она прошла мимо него.

У Евсея осталось любимое «Торпедо», в которое вернулся Стрелец, после тюрьмы потяжелевший, полысевший, но все равно гений. Как будто и не было ничего в его жизни ужасного и необратимого. «Торпедо» выиграло чемпионат СССР и сделало абсолютно счастливым Евсея Бялого и многих других людей, братьев его по

страсти и любви. «Торпедо» украсило жизнь Бялого, которая и так была красива, но с золотыми медалями и изощренно стихийным Стрельцом стала совершенно праздничной и веселой. Мужики, гомонившие у фанерных таблиц первенства СССР перед Лужниками днем и ночью, признали Евсея своим. Он не участвовал в разговорах о финтах, ударах, похождениях бесподобных и великих Гили, Числа, Валеры, Гуся. Но слушал всех с интересом, а некоторых – с наслаждением. Геннадий Иванович сухо поздравил Евсея, встретив в коридоре их квартиры, с победой. Во время произнесения поздравлений Гена опустил голову долу, не мог вынести торжества «мужиков» с какого-то ЗИЛа. Он болел, конечно, за «Динамо», в силу профессиональных пристрастий.

В сентябре 68-го к Евсею вдруг зашел без предупреждения Борис Алексеевич. Дело было поздно вечером. Он принес Евсею для подписи письмо протеста против вторжения в Чехословакию. «Все подписали, Андрей Дмитриевич, – профессора, поэты, буквально все – композиторы, художники, двое рабочих есть... Один из участников сказал, что и вы должны принять участие в протесте для полной картины, у вас очень большой авторитет в обществе, Евсей Павлович», – смущаясь, сказал гость. Он совершенно не изменился за эти годы, ну, несколько седых волос в чубе, и все. Он все еще работал в Совписе.

Тоня принесла из кухни жареную картошку и тарелку с солеными огурцами. Еще был хлеб и нарезанная докторская колбаса; благосостояние Бялых выросло за это время в разы, но меню ужинов и обедов почти не изменилось.

Евсей, надев круглые стильные очки без оправы, внимательно прочитал, водя пальцем по строчкам, письмо, одна страничка на машинке и две страницы подписей со званиями и титулами. «Не буду это подписывать, Борис», – сказал он серьезно и даже мрачно. «Я примерно этого ожидал, Евсей Павлович, но вообще, объясните мне на всякий случай, почему», – тихо попросил Борис. «А почему ты именно этого ждал? Хорошо. Кто я такой? Я никому ничего не должен, мне никто ничего не должен. Моя подпись ничего не значит и не меняет. И вообще, весь этот сыр-бор, ажиотаж, мне неприятен, я вне игры. Где политика – и где я, скажи!» – воскликнул Евсей, неожиданно для себя раздражаясь. И не подписал. Войска из Чехословакии никто не вывел. За год до этого книгу Бялого под названием «Караваджо» перевели на чешский, она имела успех в этой чудесной стране. По этому поводу была статья в бывшей газете Алексея Ивановича, осудившая антисоветскую вылазку, но Евсея не тревожили. Просто упомянули как антисоветчика средних лет. «Дайте мне

жить», – сказал Евсей Борису. Тот дал ему жить, простившись с ним с сожалением. Ни с кем Евсей не общался.

В ноябре 73-го Бялый отказался участвовать в пресс-конференции по поводу преступлений израильской военщины. Он категорически сказал молодому возбужденному гонцу, примчавшемуся, задыхаясь, из бывшей газеты Алексея Ивановича: «Идите, уважаемый отсюда, я не играю с вами». Тоже обошлось без последствий. На немой вопрос Тони Евсей раздраженно сказал, что западло ему с ними в одни ворота гонять. Он не объяснил смысла этих слов жене, но смысл был ясен и без объяснений. Про Чехословакию он и этого не сказал. Он жил незаметно и был этим фактом доволен. Здоровье у него ухудшалось все время. Он ходил по улице как огромная птица, руки были как на шарнирах, голова запрокинута, все это было довольно неприятно для него. Дети начальных классов на площадке у школы в Кривоколенном испуганно показывали на него пальцами. На работу он ходил исправно, бюллетеней не брал никогда.

Через пару лет после того отказа Тоня вдруг заболела. Года теперь неслись, как угорелые. Евсей устроил ее через Атаманенко в хорошую больницу. Она тихо скончалась. Она умерла во сне. Евсей надеялся всей душой, что она не страдала. Похороны ее организовала Рита. Похороны Тони прошли так же тихо, как и ее жизнь. Но некий необъяснимый градус гнева все-таки присутствовал на этих похоронах.

Больше Бялого в Союзе не печатали, да он и сам не рвался никуда. Хотя работал по-прежнему настойчиво. Атаманенко, потерявший место после известных событий (Алексей Иванович также слетел в одночасье), уехал куда-то в Барнаул, обещал писать, но пропал. У этого человека была довольно типичная русская судьба.

Борис жил очень активно, вел общественную жизнь на грани посадки. Барский небрежно дописывал докторскую, «одной левой», по его словам. Одной правой он ухаживал за дамами всех возрастов и пристрастий.

А Евсей ехал с ярмарки. Как говорила его тихая, но неуступчивая мама когда-то: «Первую половину жизни мы едем на ярмарку, сынок, наверх, – веселые, красивые, здоровые. Вторую половину жизни мы едем вниз, с ярмарки, – пожилые, с болезнями, не слишком красивые». Так вот, Евсей Бялый ехал с ярмарки. Скорость движения его по жизни все росла и росла. Да и сама жизнь гнала, как ненормальная. Так должно быть.

В середине 90-х он, одинокий старый человек с усугубившейся болезнью, которая называлась «синдромом Меньера», решил уехать в Израиль. Он не заметил, как прошли последние 15–18 лет. Все мельк-

нуло, не оставив следа. Вера Прибыткова одобрила это решение любимого Севки. «Езжай милый, нечего здесь гнить», – сказала она Евсею. И он решился. В Израиле уже давно жил Лева Брук, инженер на пенсии, авторитетный человек в сионистской среде и не только. «Только побей Буха перед отъездом, два раза дай по морде – и все, и приезжай, есть шесть прямых рейсов из Москвы; давай, жду. А у меня руки до него уже не доходят, дорогой», – звонко признался он Евсею во время телефонного разговора. Веня ничего не забывал. Евсей его разыскал и дозвонился спросить, что и как. Евсею было 76 лет, он был в силе, но здоровье его было нехорошее.

Все получилось быстро и неожиданно легко. Или ему так казалось, Евсей не задумывался над этим. Он совершенно не мучился от одиночества, потому что он был одинокий человек изначально. Поэты из соседнего дома, уже советские пенсионеры с изданными книгами, признанные в России авторы, провожали Евсея. Лева встретил его в израильском неправдоподобном по гулкому объему аэропорту, громогласный, худой, седой, заводной, как и прежде. С ним был его вольно одетый, похожий на усталого хищника, внук, который исполнял при Леве функции водителя. У Левы была катаракта: «Через неделю операция в Шаарей Цедек, в Иерусалиме, буду как новый». Евсей кивнул. «Знаешь, что есть такой город – Иерусалим, Сева?», – спросил Лева Брук. Он все хотел знать, нация такая у него: хочет все знать.

Евсей жил тихо в своем последнем прибежище, как он называл хостель у моря. Он привез чемодан рукописей. Среди них были замечательные рассказы и щемящие повести, вызывающие слезы и громких смех. Талант ведь не уходит никуда, только стирается потихоньку с годами. У Севы Бялого не стерся. Ему всего хватало, да немного ему было и надо. Из Парижа и Нью-Йорка пришли деньги за три книги, изданные на Западе в те еще годы. Евсей ругался тогда на эти издания, но Горяева, который стал полковником, а может быть, и генералом, кто их знает, людей с ледяным сердцем, чистыми руками, ругань Бялого уже не интересовала. В Израиле Бялый стал членом Союза писателей, к нему приехали домой трое милых быстрых немолодых мужчин, чисто одетых, бодрых, трезвых. Они заполнили за Евсея анкеты и выдали членское удостоверение. «Мы вас очень уважаем и ценим. Поздравляем вас, Евсей Павлович, вы наш собрат теперь», – они пожали ему скрюченную руку по очереди. Затем разлили по стаканам солнечное, чуть терпкое вино под названием «Гамла», привезенное с собой, и уехали. Пообещали вернуться в скором времени. Евсей вина не пил, как и прежде, ограничился яблочным

соком из картонки. Бесенята терпеливо дожидались своей очереди за окошком.

Соседка позвала Евсея, жевавшего перед сном творожок с хлебом, в холл. «Сегодня фильм показывают, ‘Римские каникулы’ называется. Говорят смешной, пойдемте, Евсей Павлович, пойдемте, что сидеть-то одному? Посмеемся», – сказала женщина, стоя в дверях, как когда-то стояла незабвенная Екатерина Викторовна, чтобы она жила 120 лет, как говорят в столице евреев.

Фильм оказался чудесный, действительно смешной, красивый. Про любовь и город Рим. В самом начале Евсей разглядел, что фильм этот был сделан в 1953 году. Люди танцевали, влюблялись, ездили на мотороллерах, одалживали деньги на выпивку. Пели и так далее. И все это в городе Риме.

– А где я был в это время? Что делал? – подумал старик Евсей.

Он тут же вспомнил свой 1953 год, лагерь, Лашу, мужиков из бригады, чахлый костерок на снегу. Кажется, он заплакал, во всяком случае, он вытирал мокрое лицо скрюченной ладонью. Никто ничего не заметил. Он, железный человек, привык никогда ни о чем не жалеть. Его закалки хватало на это вполне. Заснул он после кино с таблеткой снотворного быстро и крепко. Ему не снилось ничего. К утру прямо с улицы в комнату пришла босая Одри Хепберн* в кружевной ночной рубашке и заботливо подоткнула на нем пикейное одеяло, привезенное Евсеем из Москвы. Она осторожно погладила его по лицу, повернулась и ушла обратно в свои вечные каникулы в Риме.

2016

* Одри Хепберн (1929–1993) – британская актриса, исполнительница главной роли в фильме «Римские каникулы».

Марина Гарбер

Мы никуда отсюда не умрем

* * *

1

В колодец плюнешь или в потолок,
забытая чужими и своими,
припомнишь «воробьиный холодок»
каникул зимних.
Еще не покачнулся материк,
дома нежны, как белая посуда,
игра в снежки и дворничихин крик:
«Давай отсюда!»

Побег – кривая веточка метро –
в чертоги современного искусства,
в глазах рябит от шапок и пальто,
на сердце пусто,
дыра в подкладке, на трамвай пятак, –
и понимаешь, что в стенах музея
ты лишняя, одна, среди зевак
и ротозеев.

Плывет Вергилий, горбоносый гид,
за ним волна в мохере и граните,
а ты прислушиваешься – бубнит
в углу смотритель,
в пяти шагах из-за твоей спины,
хоть кажется, что там зияют рвы,
сидит, неотличимый от стены,
без головы.

И так расслышать силишься слова,
малейший шорох норовишь за ласку
принять, вообразить: вот голова,
вот губы – сказку:
«в саду деревья – во дворе дрова,
твой дом – на слом, любовь пойдет на вынос,
а медных труб тугие рукава –
тебе на вырост».

Домой, домой! Покуда невредим,
пока живой и дышишь горячо,
на Чоколовку: чок-чок-чок... Таким –
куда ж еще?
Трамвай застынет, покачнется лед,
но ты беги, покамест не погасло
внутри, как будто знаешь наперед,
что не напрасно

с базара дворничиха Аннушка идет:
авоська, масло.

2

...и что ни пропоешь, выходит «аве».
Ольга Аникина

Фойе вокзала. Женщина в платке
(обычный хлопок, лютики да маки)
привычно моет окна: проведет –
проступит надпись на помойном баке,
листва на необкатанном катке
и вдалеке жужжащий вертолет.

В ней ни на волос нет от феи, всё же
колдует, совершая чудеса,
то тряпками, то скомканной газетой
взмахнет – и побежит волна прохожих,
еще – и разглядишь, какого цвета
у первого невстречного глаза.

Мы обе знаем, за спиной – перрон,
кассирша, заскучавшая в окошке,
и предотъездный шум, и толкотня,
покашливает машинист Харон,
и кто-то там, похожий на меня,
докуривает на входной подножке.

Скользит рука – то запад, то восток,
а наш вокзал – всегда меж тем и этим.
Не стану врать, нам хорошо вдвоем!
Кому – гудок, кому – в руке платок.
Волшебница, мы нынче не уедем
и никуда отсюда не умрем!

И по небу размазывая синь,
но думая, должно быть, о другом –
о чистоте? о разноцветной пене? –
она отрадно говорит «аминь»
пред тем, как медным прозвенеть ведром
и разогнуть затекшие колени.

* * *

...отравленное зеркало мое.
Александр Кабанов

Райок закрыт. Не будет благодати.
Монтер по пьяни перерезал свет.
Уснул малыш в игрушечной кровати,
зажав в руке хрустальный пистолет.

Дверь заперев, дитя проверив в детской,
уснула мать в носках и бигуди,
и браунинг, воистину богемский,
блестит на остывающей груди.

Осоловев от духоты и лени,
забылись псы в объятиях двора.
И только мертвым не до сновидений –
что им Гекуба? Здесь – своя игра.

То лодочками складывают руки,
так, будто наземь проливают грусть,
то странные перевирают звуки:
боюсь тебя, люблю тебя, боюсь...

Они ведь тоже умирали, лишь бы
смола любви по донышку текла,
и прикрывали лубяные избы
телами из невзрачного стекла.

Уснул отец, пустой, как поллитровка, –
так неудобно спать на животе! –
но греет бок хрустальная винтовка,
посверкивая дулом в темноте.

И что-то есть в незащищенных, пьяных,
мертвецких снах – нахрапом, вкривь и вкось –
от хрупкости: ты потому стеклянно,
чтоб мы могли любить тебя насквозь,

чтоб к полночи, окаменев над спальней,
луна к дуге приладила копье.
И нет тебя ранимей и хрустальней,
нагое безотечество мое.

* * *

Тучки небесные...
М. Лермонтов

За часом час крупу толчет курант,
у времени в ушах чернеет вата:
оправдывает выбор отъезжант,
отстаивает выбор оставант.
А ты молчи, поскольку виновата

в том, что неважно, с ними или без,
ты помнила талантливо и долго
не темный лес – ты разлюбила лес! –
не шум дождя, не крутизну пригорка,
а то, как грела сумрачный подъезд
считалочка твоя, скороговорка.

Гони тоску взашей – который год
в грудном кармане тлеет еле-еле.
Тот виноват, кто раньше всех умрет,
кто помнит всё, но задом наперед, –
как на златом крыльце впотьмах сидели
предатель, вор, стукач и патриот.

Неторопливо и по одному –
у времени, поди, губа не дура, –
всех в ступе растолчет. А почему?
Хотя бы потому, что в слове *courant*
в английском – ударение на «у».

Сиди теперь, вины набравши в рот,
в своем кругу заняв чужое место:

они – наружу, ты, наоборот,
поглубже прячешь краденое детство –
в рукав, за пазуху, за шиворот.

Кто не отчалил – счастья не просил,
а кто в печали, тот остался в прошлом.
Но ты молчок! Но ты, что станет сил,
вини себя – за дырочку в подошве,
глотавшую подтаявший настил,

за влажный рот чужого сапога,
за разыгравшуюся не на шутку вьюгу,
за леденец родного языка
под языком, за то, что мы друг другу
читали «Тучи». В смысле, облака,
но тоже – к югу.

* * *

Идет издалека, трясет в горсти
все горести, мои или чужие,
все радости – из недр на-гора, –
так будущее подступает ближе.
Но нынче дети не хотят расти,
и пальмы на закате клонят выи
под золотистым взмахом топора,
вперед хвостами уходя под крыши.

Неясный страх, откуда ни возьмись:
свободен – одинок ли? независим?
Мне эти перья в пальмовом строю
напоминают о другом и дальнем.
Я говорю: «Смотрите, дети, вниз,
точнее, ввысь!» – в шесть глаз буравим выси.
«Не бойтесь ничего», – им говорю,
но каждый раз – чуть глуше и печальней.

Мне стыдно оттого, что я им мать,
но так и ничему не научилась –
ни показать, ни ткнуть упрямым лбом,
ни расцепить ухватистые пальцы,
от кожи вместе с кожей отодрать,

богооставленность преподнести как милость,
вперед толкнуть, сквозь что-то напролом...
Ведь я умею только возвращаться –

в лебяжий свет, где тополь у окна
так развернулся, будто вскрикнул «ах!»,
он весь – что всплеск, что различимый звук,
столь зримый, что в его ветвистой власти
восстановить картинку: я, она.
Там ничего не нужно, кроме рук.
Нет скованной потребности в стихах.
А только удивление и счастье.

* * *

Преемница негреющих широт,
где невпопад коса летит на камень,
и память, словно бабкин огород,
бессонно зарастает лопухами,
я помню звук, тот самый первый хруст
(хоть, говорят, в начале было слово),
у чьих-то ног осыпавшийся куст
шуршал газетой шестьдесят восьмого.

Не домысел, я слышала сама
с такого дна глухого, но, поди ж ты, –
под фонарем кругами шла зима
и в ночь с орбиты обрывалась трижды,
летела манной, падала халвой, –
я той зимы нахлебник и наследник –
и Суламифь, беременная мной,
завязывала на спине передник.

Родительный падеж – кого? чего? –
уже тогда звучал во мне вполсилы,
когда соседка слово «рождество»
чуть заговорщицки произносила, –
ей, маковым пропахшей молоком,
в подъезде прибиравшейся в Сочельник,
хотелось, чтобы с каждым сапогом
на лестнице расшаркивался веник.

Во лбу семерка, пассажир во рту –
гундосил заблудившийся автобус,
и реки вен текли по животу,
похожему на выпяченный глобус,
и оттеняя темно-синий диск
(«О, девочка моя, как много света!»)
наш ясень превращался в тамариск –
я ощущала превращенье это!

Фонарная трещала голова,
под кроличьей не умещаясь шапкой,
«Еловый лес» летел под жернова,
вращаемые отставной лошадкой –
в слепой тоске, но слышащей пока:
ша, на муке замешивает вьюгу
ничейная широкая рука,
пускающая музыку по кругу.

На тридцать третьем прыгала игла,
поддетая невидимым мизинцем...
А я в ту пору всей Землей была,
обтянутой аляповатым ситцем.

Лас-Вегас

Сергей Захаров

Три рассказа

МАРИЯ

Помните ли вы Марию, пускавшую розово-алые пузыри?

Я – помнил, помнил и знал довольно долго, но забыл, как все забывается в этом городе, древнем и замечательном, серьгой привешенном к уху страны, серебряном и зеленом, набитом мясцом человеческим городе, где был рожден я и где собирался услышать прощальные молотки.

Вот как случается, и не так уж, к слову сказать, редко – напрочь гинут из памяти и жизни недалекие в свое время люди, с какими спал когда-то в одной, закрытой продранным одеялом кровати, одной пользовался машиной, пил компот из оранжевой, с выщербленным краем чашки и молился нищим богам.

Разве не было шарма в страждущей и безысходной нищете, разве не была сама эта безысходность отчаянным и веселым исходом? Двадцать или больше – я знал досконально пятерых. Доза. Доза! Доза!!! – иглой, раскаленной добела, ранило в съеженный мозг.

Неужели не помните вы Марию, пускавшую розово-алые пузыри?

К тому времени я два раза уходил уже, и ожидал, что вот-вот приступит он, третий: выпихнет жесткой рукой на битые кафельные квадраты – и в себя я вернусь уже в больнице, привязанный намертво к койке, и сосед справа будет расписывать неоспоримые и баснословные достоинства своей восьмилетней жены, какой никогда у него не было, а сосед слева – гниющий, горбатый Могила, бывший директор Вагоноремонтного, обмочившись в очередной раз, бормотать что-то грозное будет на собачьем своем языке.

Но Мария – разве мог когда-то предполагать я, что утонет все напрочь в пыли?

Завершали в тонкое время ноль – и продолжали в летние пять. Искали, ломали, свинчивали в тщетных усилиях отравленный мозг, извлекали смертельные кубики – вопрос не был решаем. Кто-то сходил и падал – я ловил в неточный зрачок юную Марию... Как боялся я третьего раза! Засыпал я, укрывшись ее волосами, и голоса за дверью почти не тревожили хрупкий мой сон.

Если только я выберусь, думал я, глядя на пыльный луч, то вычеркну, до последней вычеркну запятой и сочиню заново. Я считал тогда, что ни в коем случае не выберусь, – и как выяснилось, ошибался.

Здесь и сейчас – разве осталось что-то от прежнего, в ядовитых поисках, марафона? Сейчас и здесь – спокоен, как стоячая вода, малогрешен и чист – разве осталось что-то от прежнего меня?

Разволакивая извилистыми, бело-больными руками воду, она звала меня туда, где глубже, где не могли увидать нас с берега, – чтобы смеяться и тыкать чужими пальцами. Заблудшая дочь прокурора – вся улица звала ее Прокуроршей. С набухшими венами и сведенной вмертвую шеей, распластанный на шипящем песке, ожидал я третьего раза. А она, поправляя золоченые очки, след годичного пребывания в университете, мчалась в вихре волос через мост, единственное добывала лекарство.

Где и за что брала она – о том мне ничего не известно. Она просила рассказывать и, вытянув гладкую ногу, чертила по горячей коже ноготком.

– Это временно, – говорила она, – временно и нестрашно. А у тебя... ну что может быть плохо у тебя? Ты заблудился – заблудился и примкнул, но знаешь наверняка сам, что уйдешь в положенный срок, потянешь в последний раз ручку двери – моей двери.

– А что же ты, – спрашивал убито и скучно я, поглядывая на свежий еще изгиб. – Почему бы не уйти тебе – избежать прозрачности воска, слезть, спрыгнуть, убежать, вернуться и целовать седые волосы матерого отца?

Ей не терпелось, она вела меня через мост и парк – я боялся ходить один – и, минуя желтые скамьи, тащила в уставленный гаражами двор, в орошенный подъезд, в мягкую пыль распроданной квартиры.

Я делал, что мог, – и пускать пузыри научил ее именно я.

В бронзовом и теплом сентябре, опутанном последней паутиной, я смог вернуться в Бюро и знал уже, что оказался сильнее. Да и могла бы она вытащить меня на ломких, усыпанных веснушками плечах? Никогда! И, заключив так, я мог уверенно поглядывать в будущее – у меня было будущее.

Но я совершенно забыл Марию, пускавшую липкие пузыри.

Я имел большой опыт – но только у нее, ни у кого больше, довелось мне видеть взбухающие мгновенно на разбитых губах ало-розовые, полупрозрачные пузыри – след моего исцеления.

– Так нельзя, – говорила, вставая или пытаясь вставать, она, – я перестаю узнавать тебя, я утратила всякую возможность достучаться, понять, что происходит, – имею я право знать?

Она еще говорила о правах – типичная дочь прокурора! Надувая тугие, свеженькие пузыри, она ползла неудержимо на пол; я же, остыв, запершись в ванной, унять пытаясь жаркую пляску рук, придавливая расходившийся пульс, утешался сознанием, что скоро, вот-вот, отдано будет последнее, я стану здоров – и свободен! Завершится жестокое время отказа, крушения, умирания надежд юной Марии – уйдет, наконец, ненавистное шоу розовых пузырей.

Изблевав себя на зеленый ковер, она стонала – тихонько-нежно; жалость заставляла меня накручивать номера когда-то знакомых – и оставленных давно – горожан. Закипая вновь от необходимости униженно врать, я выговаривал больной девочке эфемерное спасение, ехал в другой конец города, выдерживал нескрытое презрение глаз – плюя желчью в подъездную дверь, прикуривая в стеклянном павильоне, считал цену ничтожества, своего ничтожества – и в душу мою сходил непривычный покой.

Входя спасителем за черный дерматин – разве не был я по-своему счастлив? Я знал наверное: ждать остается недолго. Она угасала, истаивала струйкой печной, а я сторонним был наблюдателем. Слабые должны умереть – зачем они на разломе эпох? Пусть лучше так, сейчас: в относительном затишье, в покое оголенной квартиры, с верой в существование лучшей жизни, где-то там, на земляничных полянах. Пусть лучше так – продранный, в крупную клетку, плед, платяной шкаф, дверцы которого хронически не закрывались, телевизор, тумба, сломанный стул – да что метать икру слов, рассказывая о всех досконально известных вещах!

Но пузыри, что выдувал я из умирающего ее тела! Я должен бы каяться – но кто учил меня хлопотному этому занятию?

Не скрою – в бронзовом, новорожденном для меня и предельном для дочери прокурора сентябре, разглядывая оранжевую, в горошек, чашку с выщербленным краем, слушая, как будильник – дешевенькая китайская погремушка – выщелкивает из временной обоймы секунды, наблюдая беззвучный, самой смерти подобный, сон жалкой, нежной в своем уходе Марии, – разве не желал я, чтобы все свершилось скорее? И всюду, всюду признаки псевдобольницы: упаковки одноразовых шприцев, свешенный с ломаной спинки жгут...

Тогда, в сентябре моего воскресения, она почти не могла уже есть, и одно только, спасительно-убивающее, заставляло мотор стучать – но тише, слабее, и тише делался этот стук. Все предложения мои о врачах и больнице она отвергала наотрез.

– Зачем? – говорила она и так ясно взглядывала серыми своими глазами, что и сам я с пронзительной ясностью понимал – незачем! Не помогут никакие врачи человеку, утратившему сцепление с

Землей. Им, врачам, остается только констатировать неизбежность развязки.

Последний грех на душу не возьму: с той поры, как близкая смерть проставила на Марии холодящие свои клейма, я не тронул ее и пальцем. Ушло время розовых пузырей – чтобы никогда не вернуться больше.

Ему некогда было возвращаться. Туманным утром двадцать восьмого дня девятого месяца последнего года, захлопнув обитую дерматином дверь девушки, я уехал в Бюро – впервые после годичного отсутствия.

Я уехал в Бюро, чуть ли не силой влив в Марию – волосы ее стали замечательно длинны – полчашки куриного бульона и обещав вернуться после шести. Накануне я был в своей пустовавшей долго квартире – она, пусть и в меньшей степени, также несла на себе следы тотальной болезни, и в платяном, запертом надежно шкафу, отыскал излюбленную, отменного качества одежду.

Продать ее я не решился даже в те критические, уводящие в безумие миги, когда рушилось все, летело под откос, и, разбухшую голову зажимая в анемичных руках, я на что угодно согласен был – лишь бы прекратился бесконечный этот, в петлю толкающий вой. Возвращаясь в Бюро, я должен иметь представительный вид – сумку с одеждой я взял к Марии и вечер напролет орудовал одолженным у соседки утюгом.

Мария, тусклая моя девочка! Жестокость, ненависть, боль, инициатором коих выступал я в мучительный период излечения, были, казалось, стерты из памяти начисто.

Хорошо помню: темь заоконная, вязкая, густая, взрезаемая то и дело пьяными выкриками... В комнате же, прилизанной и полуголой – лампочка откровенный лучит свет, рвется с шипением пар от тяжелого утюга, взмывает горячим облаком над столом. Я спокоен, сосредоточен и деловит, как человек, выполняющий работу исключительной важности; глаз мой захватывает бледный овал лица, папиросную бумагу твоих рук, Мария.

Когда зверем подавленным, обескровленным, больным, тыкался я в чужие, не мои, стены, умоляя Бога, в которого никогда не верил, не дать мне утратить остатки рассудка, и зная наперед, что тщетны униженные эти просьбы, – ты, а никто другой, была рядом – зная, что рядом обязательно должен кто-то быть! Ты, а никто другой, выдувая закипающие на лохмотьях губ пузыри, волоча исчерненное тело по желтым доскам, пыталась искать хоть малое укрытие: квартиру с исчезающим мною ты не оставила бы никогда!

Ты знала, великодушная дочь прокурора, что утешающий, благожелательный голос близкого человека – не присутствие, а именно

голос, – единственная нить, на какой удается балансировать горящему мозгу. Ты платила худеньким своим телом, ползла досками, истертыми тысячей ног, пыталась забиться в несуществующую щель – несуществующую щель, Мария! Я слишком был напуган сам, чтобы думать о чужих страхах; там во мне визжал в тоске и предсмертном ужасе попавший в капкан зверек – он кусал, он грыз, чтобы жить; он выбрался – и забыл.

В болезненно-хрупкое время излечения, когда голос случайного прохожего за окном, стук дождевой о жесть подоконника, глухие стоны в живущих независимо трубах – любая мелочь способна была обернуть мои помыслы к грязи, – не тогда ли расцвела она, панацея розовых, липких, замечательных в своей тягучести пузырей? Не тогда ли окончательно уверовал я в спасение, вскормленное алыми пузырями?

И все-таки было: вечер, лампа, голый уют, клубится изгнанный тяжким утюгом пар – иллюзорный покой, тончайший пергамент твоих рук, Мария. Ты улыбалась тогда – несмело сперва, с опаской, будто пробуя кончиками пальцев холодную воду в утренней реке, а после – ясно, открыто, тепло, как умела улыбаться только ты.

Ты просила меня одеться – как буду одет я завтра – и в полном была восторге.

– Вот видишь, а ты не верил, что все вернется, – говорила ты, и в голосе билась-дрожала проклюнувшаяся ненадолго жизнь. И я, возрожденный тобой, имеющий уже кое-какие деньги, съездил к знакомой твари одной и привез – много, много и больше, чем было это необходимо. Заснул я, как прежде, укрывшись бронзой твоих волос, – но непонятно-тревожны были мои сны.

А утром я уходил серой улицей – уходил чужим. Уходил, обещая вернуться после шести.

Обещая вернуться.

Как быстро забывается все в этом городе, древнем и замечательном, серьгой привешенном к уху страны! Я и сам порой не уверен, жила ли когда-то славная пузырями Мария, заблудшая дочь прокурора, или все это – плод нездоровой фантазии, выдумка больного ума – ума страждущего и впоследствии исцеленного.

И все-таки: помните ли вы Марию, пускавшую розово-алые пузыри?

ПОЛОСА ЛЕСА

Какой тут может быть обман? Здесь все по существу. Если бы деньги, что есть у меня сейчас (малую их толику), да отцу моему семь лет назад, – разве лежал бы он на шестнадцатом километре, в

лесополосе, с отрезанным ухом и полуснесенным черепом (стреляли из обреза в затылок с расстояния в один метр)?

Лесополоса, полоса леса... Сегодня у Зинки буря, сегодня внизу погром – прислушайся, Лиса. Сегодня я хочу, наконец, выяснить, какого цвета у тебя глаза, Рыжая, – мне давно пора это знать. А завтра – мы улетим в Москву, и дальше – во Владивосток. Армейский товарищ давно меня зовет.

Ты лучше скажи, Лисица, – кому потребен рыночный торгаш, гуляющий собаку ровно в десять? Кому интересно, что был он когда-то человеком с положением – или в положении, рыжая девушка? Как там, кстати, твой цикл? Никак? Похоже, ты действительно собираешься подарить мне первенца – этакого наглого, багрово-сморщенного, горлопанистого пацаненка. Что ж, самое время, Лисица. Наш сын будет жить в окружении океанских лайнеров, он вырастет и станет капитаном, и корабли его никогда не уйдут на дно – как случилось с кораблями его дедушки.

Два года я снимал эту квартиру и здорово к ней успел привязаться, как и к каштану, настырно лезущему ветвями в самое окно, – тому самому каштану, от какого в комнате всегда прописан зеленовато-прохладный сумрак. Но сильнее всего я успел привязаться к тебе, рыжая девушка. Именно поэтому каштан остается, как остается квартира, дом и все в нем живущие люди, звери и сволочи, а ты улетаешь со мной к Океану – армейский товарищ давно уж зовет.

Сегодня у Зинки буря, сегодня внизу погром! Слышишь, Лисица, как отчаянно и лихо матерятся кастрюли, как ревет Зинка грозным басом, избивая пожизненно виноватого мужа? О, милые моему сердцу твари! Сколько раз служил я громоотводом в смертоубийственном вашем союзе, сколько раз причесать-пригладить пытался эту вечно растрепанную неряху – вашу жизнь! А знаешь, Лисица, я, пожалуй, спасу их сегодня – в последний-то раз. Может быть, кто-то в нужное время выручит и меня – всякое ведь в жизни бывает...

Давай-ка выпьем, Лисичка, и глянем в плоский экран: что творится там, в ненастроенном мире? Американские торнадо совсем отбились от рук. Землетрясение силой в семь баллов зафиксировано в Стране восходящего солнца. Остатки бандформирований зажаты в Аргунском ущелье – так, рыжая девушка? Кому потребен он – лживоглазый, ухоженноусый ублюдок? Тот самый, в последние годы разбавлявший закономерное одиночество приходящими проститутками да собакой-сучкой колли – единственным, кроме него, постоянно жившим в доме существом? Никому, Рыжая, за маленьким одним исключением – он нужен был мне.

* * *

Ты ведь знаешь, что и как, я рассказывал – если не все, то главное. Был у меня отец, Лисица, – у многих они бывают.

Очки носил в роговой оправе, барабанил двумя пальцами на пишущей машинке диссертацию, брал меня на охоту (невзирая на подрастраченное за книгами зрение, стрелял он профессорски), покупал в гастрономе «Космос» докторскую колбасу и кефир, а картошку жарил просто исключительно – мы чудно с ним ладили, и никакая мама, тем более однажды променявшая нас (двоих!) на одного нехорошего человека, актера, – не была мне нужна. Вообще, отец мой принадлежал к тому племени динозавров-романтиков, поклонников Хемингуэя и Ремарка и любителей авторской песни, которые, при всех неоспоримых своих достоинствах, как-то не очень приспособлены к суровой реальности.

Пришло время, и я сделался студентиком, Лисица. Союз загнулся, всюду грохотал гром, гремел бум, и рокеры-скорпионы вовсю голосили о ветрах перемен. Люди бросились зарабатывать деньги, и отец мой, имевший кое-какие сбережения, с подачи одного хорошего знакомого решил их безболезненно и быстро утроить. Так, во всяком случае, утверждал этот знакомый. Никогда, никогда и ничего не доверяй хорошим знакомым, Лисичка! «Хороший знакомый» гораздо страшнее откровенного недоброжелателя: это враг тайный, прекрасно осведомленный и потому во сто крат более опасный. Буду краток: через полгода лживоглазый, ухоженноусый торгаш окончательно запутал отца в изощренно-мутных своих аферах и повесил на него неподъемный долг.

Отдать его отец был не в состоянии, а счетчик стучал, проценты капали усатой сволочи в копилку. Начались звонки с угрозами, а после к нам стали наведываться крепкие парни с уверенными и пустыми глазами. После каждого их визита отец подолгу курил в кухне, и лицо его делалось несчастным, страдающим, серым – как у человека, умирающего от туберкулеза.

Он продал квартиру, чтобы вернуть хотя бы часть, мы обретались теперь в захламленной халупе на окраине, но угрозы и визиты не прекращались. Кончилось тем, что отец уехал, сбежал, исчез, оставив мне покаянную записку и 970 зеленых единиц. И я ничуть не осуждал его, Лисица, – я знал, как ему тяжело.

* * *

Теперь я жил один, но крепкие парни и не думали оставлять меня в покое – им нужен был старик. Нервы мои изрядно расшатались (я ведь совсем еще был щенок), каждый раз, возвращаясь из

университета, я заходил в гастроном и покупал водку – так мне проще было мириться с ситуацией.

Помню, что мечтал я тогда об одном: спрятаться в долгое, без сновидений, забытье, и, проснувшись, обнаружить, что все – как прежде: отец снова выбивает дробь на клавишах пишущей машинки или, как всегда опаздывая и чертыхаясь, собирается на лекции в институт. Но мечты не склонны совпадать с действительностью, им в принципе это претит.

Когда крепыши явились в очередной раз, я был пьян и, недолго думая, затеял с ними драку, успев-таки кого-то хорошо приложить, – меня просто ткнули два раза ножом и ушли. Убивать, я полагаю, никто и не намеревался, однако это им почти удалось.

Да и в дальнейшем мне всегда «везло» в этом плане, Лисица. Если чей-то мир был усажен розовыми кустами или в глаза лез сосками погибающих от желания отдаться красоток, – мой отныне недобро щетинился ножевыми клинками, а то и еще чем посерьезнее: все это, вероятно, изначально было заложено в жизненную мою программу.

...Помню, как долго полз я, размазывая кровь по паркету, к входной двери, открыл ее – и обессилел окончательно. И, веришь ли, Рыжая: давящая тоска и одиночество вдруг развеялись, канули, ушли, я ощутил не испытанные ранее умиротворенность, легкость, покой даже, и понял: так вот она, смерть, и испорченное, выпускающее кровь тело никогда мне больше не понадобится. А дальше – провал, и в себя я пришел лишь в больнице, сутки спустя.

Забавно, что спасла меня соседка-старуха Анна Николаевна, та самая склочница, сплетница и брюзга, которую я не переносил на дух, – именно она не побоялась выскочить на площадку едва ли не скорее, чем исчезли мои антагонисты, и она же вызвала скорую... Вот и суди потом о людях предвзято!

* * *

Выжить я выжил, но провалялся в больнице довольно долго. У меня было время пораскинуть выздоравливающим мозгом.

Одна мысль особенно меня поразила, когда я, не по своей воле, изучал неровный больничный потолок. Оказывается, жизнь, об исключительной, ни с чем не сравнимой ценности которой мне прожужжали все уши еще в школе, – вовсе не такая уж загадочная и неприкосновенная штука.

Любой, вооруженный жалкой полоской стали, может без особых затруднений отнять ее у тебя так же просто, как щелкнуть выключателем, оставляя комнату в темноте. И, что самое главное, ни ужаса,

ни сожаления при этом не чувствуешь. Не бьют в набат колокола, сообщая скорбную весть, не рыдают прекрасные девы, заламывая в отчаянии руки, – все просто, буднично, скучно даже.

А ведь когда-то, увидав по телевизору документальные кадры расстрела, я три дня ходил как оглушенный и не мог прикоснуться к еде.

Да, что ни говори, Лисица, а страх смерти – великая, тяжкая сила, прижимающая человека к земле и не дающая ему воспарить. Пережив близость, оказавшись на грани и почти за (я пробыл критически долго в состоянии клинической смерти), пережив и убедившись, что страх этот – миф, я ощутил странно-притягивающую, недоступную мне ранее свободу. Это важно, очень важно, рыжая девушка. В дальнейшем это понимание сильно меня изменило. Но жив, жив и здоров, а ведь совсем могло быть по-другому.

* * *

Забирать меня из больницы приехала в прошлом певица, а на тот момент преподаватель вокала в областной Филармонии, Рона Максимовна Волчецкая – бывшая соседка наша по проданной квартире. Внешне магически, до невероятия схожая с Тиной Тернер, она крайне неравнодушна была к отцу – когда имелся еще отец.

Помню, как аккуратно и медленно шел я по коридору, будто заново учась ходить, и, оказавшись на крыльце, осознал в полной мере, насколько еще слаб: от свежего воздуха голова моя отчаянным пошла кругом, и, не будь рядом музыкальной Роны, – я вряд ли удержался бы на ногах.

Рона Максимовна повезла меня к себе.

В квартире певицы – торжественно-гулкая тишина, пианино дорогое-старинное, фотографии в резных рамках, дипломы, награды, грамоты и подарки, бронзовые подсвечники и того же металла древняя люстра – обстановка сродни музейной. Из родных же и близких – пожилая, нервная канарейка, дочь в Прибалтике за богатым мужем да отец мой, который незнамо где...

...Рона усаживает меня за накрытый загодя стол, наливает зачем-то не рюмку, а целый фужер водки, да и себе льет порядком.

– Ну вот, Димочка, все позади и слава Богу, что ты живой. Слава Богу, что все обошлось. Ты выпей, выпей – сейчас можно.

Она закуривает, тонкие, чуткие, слегка искривленные пальцы, зажавшие сигарету, дрожат. И снова льет до краев, как будто спешит-опаздывает непонятно куда, – странно, она ведь не любитель алкоголя. Она и отца поругивала – за то, что случалось ему порой перебрать с физиками-оптиками.

– Знаешь, Димочка... ты только не волнуйся, – Рона с трудом

находит слова. – Ты не волнуйся – ладно? Папа твой, отец... Убили, Дмитрий, папу твоего... Нет его больше – нет...

И я понял, Лисица, что именно это и ожидал все время услышать, – с того самого момента, как увидал лицо Роны, и неспроста ведь водка фужерами, и дрожащие пальцы, обхватившие сигарету, словно ту самую соломинку, которая никого уже не спасет, – тоже неспроста.

Певица встала и ушла к окну; по плечам ее я видел, что она плачет.

А что я? Как должны вести себя люди в подобных ситуациях? Что там, у меня внутри? Да ничего, пожалуй, не изменилось...

Только время, прыгавшее до того с кочки на кочку, перемещавшееся дерганно и рвано, внезапно укротило ход свой, почти застыло, и тонкий, комариный народился звон. Я еще налил и выпил, что-то подцепил на вилку, механически прожевал и проглотил, закурил, затянулся раз и другой – и рухнул в темное никуда, на выходе из которого – жесткий пол, женские руки и нашатырная резь.

* * *

Я все же спускаюсь к Зинкиной квартире. Дверь полуоткрыта, муж Коля сидит на площадке, прислонившись к обшарпанной стене, мотает окровавленной головой – работенка супруги.

Сама Зинка в кухне – багроволицая, огромная, страшная неукротимым и яростным нравом, профессионально изощренная в матерщине, – сидит, лелея живот на коленях, навалившись грудями-подушками на стол, до смешного маленький и хрупкий в сравнении с ней, – и воет. Среди басовитых ее всхлипываний я-таки разбираю общую картину трагедии.

Коля, как выясняется, вернулся с работы сильно не в духе и затребовал водки, зная, что у Зинки припасено на празднование ее же дня рождения. Затребовал и получил отказ: на плите варилось мясо для холодного, в духовке дозревала курица, и пока не будет праздничный стол накрыт, как следует, никакой выпивки – чай не зверье, надо, чтобы все как у людей!

Коля, волосатой неухоженностью и худобой сильно смахивающий на йетти-рахита, оказался не робкого все же десятка и проявил мужской свой характер: кастрюля с будущим холодным ушла в окно, а водку он выдернул из холодильника, заперся в туалете и за время, какое потребовалось супруге, чтобы выбить задвижку, успел-таки оприходовать бутылку на две трети.

А пока Зинка восстанавливала поруганную справедливость с помощью рук и предметов домашнего обихода (отсюда разбитая Колина голова), курица безвозвратно сгорела. Ну и как тут не выть?! Да и без того – мало ли в жизни поводов для вытья?

Вот и воет она, Зинка-борец, – по курице обугленной, по ушедшему во внешний мир холодному, по хроническому алконавту-мужу, по сыну-насильнику, какой третий год уже топчет зону по не особо уважаемой статье, – жизнь, как ни крути, далеко не праздник солнца и любви!

Но я знаю волшебное средство, Лисица, – я даю Зинке денег. Эти бумажки можно обменять на круглосуточную прозрачную радость – прямо сейчас. И лев возляжет рядом с ягненком, забыты будут курица и холодное, а Зинка, вооруженная йодом и бинтами, позволит мужу воротиться на жилплощадь и примется врачевать.

Легко, чуть ли не с благодарностью даже, я даю Зинке эти купюры – пропуск в мир недолго-зыбкого покоя; я обещаю заглянуть чуть позже и посидеть с ними, и выпить из зеленой рюмахи. Только позже – чуть позже, погодя... Нам ведь не стоит ничего посидеть часок у разбитого вдребезги корыта – так, Рыжая?

* * *

Ровно сутки назад мы стояли на ночном мосту; я выбросил ненужный мне совершенно предмет – всплеск за шумом прогулочного катера вышел совершенно неслышным.

Горели чудно матовые шары фонарей, мы пошли в белоколонную беседку, стоящую на самом краю обрыва. Сто лет назад влюбленные романтики-гимназисты читали здесь барышням Тютчева и Кольцова, а может быть, замышляли революционную смуту, или, в крайнем случае, дерзкий экс как средство пополнения партийной кассы, ощупывали влажными от волнения пальцами барабаны так греющих юношеское самолюбие наганов, нам же – просто хотелось сидеть и молчать, слушая вечную реку.

Владивосток – огромный город, прекрасный, замечательный город, и ВУЗов там предостаточно – тебе останется только выбрать. Ты ведь не передумала еще – лететь со мной? Ну ладно, ладно, Лисица, – не сердись. Это я от радости поглупел – ты ведь знаешь, как хочется мне стать отцом.

А кроме того, ты и представить себе не можешь, как счастлив я, что это, семь лет люто ненавидимое мною, слово ЛЕСОПОЛОСА перестанет, наконец, плавать у меня в глазах и будить по ночам, а то и вовсе не давать уснуть, – все завершилось, пусть и не так, как предполагалось ранее.

Ты знаешь, как я отношусь к органам внутренних дел. Они, по большому счету, способны лишь на то, чтобы доставлять в вытрезвитель загулявших работяг да снимать дань со старух, приторговывающих контрабандными сигаретами. Я никого не берусь судить (это

меня, и не один раз, пытались) – но семь лет назад вся милиция (включая областного полковника-босса, зажравщуюся на бандитских харчах шкуру) была на корню закуплена, продана и снова закуплена – а широкая общественность узнала об этом совсем недавно.

Отца моего, с раздробленным затылком и отрезанным ухом, нашли в лесополосе, в неглубокой, забросанной кое-как яме, в шестнадцати километрах от города.

Лицо его, багрово-синяя маска, было сплошь в царапинах, порезах и ссадинах – уже позже, своим умом, я догадался, что, убив, его тащили подальше от дороги, лицом вниз. Помню, я очень спокойно перенес и опознание, и все мероприятия, связанные с похоронами (здесь мне очень помогла Рона Максимовна – такая же, кстати, пламенно-рыжая, как и ты).

Что касается убийц – их, разумеется, не нашли, да и не пытались искать, но я... я-то знал отлично виновного и понимал, что *не просто так* знаю об этом.

* * *

Первый месяц был чёрен. В окнах дома напротив жгли новогодние елки, я же сносил на толкучку вещи – денег у меня не было, а я, отказавшись взять что-либо у Роны, остро в них нуждался: мне нужна была водка. Со студенчеством я покончил. Я не знал еще, чем займусь, но нисколько не сомневался – к прежнему возврата не будет.

Человека нельзя, категорически нельзя лишать всего, рыжая девушка, – тогда он становится свободен, как птица, и опасен, как гремучая змея.

В ту пору ненависти во мне было столько, что, даже покупая сигареты в ларьке, я не мог не обозвать девушку-продавщицу «сучкой». В чернейший месяц этот я то и дело, без малейшего повода, затевал жестокие драки, чтобы хоть как-то избавляться от нее – ненависти, и я, утерявший страх смерти, нарочно лез на рожон.

Едва ли не каждый вечер я проводил в кафе «Трюм», где обретался криминальный и околокриминальный люд. Жизнью я нисколько тогда не дорожил и только и ждал повода, чтобы затеять ссору, – надеясь при этом, что меня зарежут или пристрелят. Но смерть, как будто уверившись, что я нисколько ее не боюсь, сама предпочла обходить меня тогда стороной.

Впрочем, рано или поздно это должно было завершиться – слишком уж нагло я себя вел, – если бы не авторитетный один человек, захаживавший в «Трюм» каждый вечер. Человек этот только наблюдал за мной какое-то время, а после, в предрождественскую субботу, имел со мной задушевный разговор.

Он предложил мне заниматься конкретной деятельностью – уж не знаю, что он во мне разглядел, – и я, Лисица, принял его предложение не раздумывая. Да и как иначе: у меня ведь ничего не было, никому, даже самому себе, я не был нужен – и никто не был нужен мне.

Кто они, копошащиеся вокруг, думалось мне тогда, – жалкие, убогие твари, трясущиеся над копеечной своей жизнью, которая не стоит и скорлупы от выеденного яйца! Тогда, в случае необходимости, я готов был убить не раздумывая, убить без особых угрызений того, что принято именовать совестью. Ведь самого меня убивали, но я же не делал из этого трагедию, не визжал и не плакал, вцепляясь когтями и зубами в тающую быстро жизнь... Так какое право на визг имеет кто-то другой?!

Моего отца нашли в лесополосе, изгрызенного бродячими собаками, изуродованного до неузнаваемости, – разве содрогнулся от ужаса мир, разве замедлил хоть на мгновение беспорядочный ход свой?

Да, рыжая девушка, – тогда я готов был убить, и если до этого не дошло, то по причинам, нисколько от меня не зависящим. Через семь месяцев после моего вступления в ряды за два выходных дня была без накладок отстреляна вся верхушка организации, а после невыясненные на тот момент конкуренты взялись за среднее звено, действуя с пугающей осведомленностью. Имена тех, кто организовал тотальное истребление, станут известны лишь в 2003-м – тогда же пацаны в темпе исчезали из города и ложились на дно. Тем более, что и милиция (попросту перекупленная, как выяснится в том же 2003-м: кто больше готов заплатить, с тем и ляжет корыстная ---ь), вдруг вспомнила о своем профессиональном долге и взялась за нас по своей линии. Бежать и выждать, пока утихнет все и хотя бы что-то прояснится, – самая разумная в таком случае тактика.

Нужно было бежать и мне – и тут я вспомнил о повестках из военкомата, что приходили ко мне с момента отчисления из университета. Так начался мой третий – и самый, пожалуй, светлый период – при всех своих «но».

Кому-то это покажется глупым – но мне нравилось быть военным, Лиса. Отслужив срочную, я перешел на контракт, восстановился в университете и получил-таки диплом – хотя «к профессии, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения», как сказал кто-то из классиков.

А потом, рыжая девушка, я ушел и оттуда, как сильно повзрослевший Колобок, – на пару с Рустамом, армейским же приятелем, затеял свой, маленький мясной бизнес. Если бы деньги, что есть у меня сейчас (малую их толику), да отцу моему семь лет назад!.. Но жизнь не признает условных наклонений – и это нужно принимать во внимание.

Слышишь, Лисица, часовой бой? Еще шестьдесят недолгих минут, и сегодня истечет – наступит завтра.

Внизу, в Зинкиной обители – тихо. Зинка сходила за водкой, обмыла и обработала рану на голове беспутного мужа, даже курица, может быть, сгорела не полностью – и сейчас они сидят за кухонным столом, отмечая Зинкин день и наслаждаясь эфемерным покоем.

Да, рыжая девушка, я страшно, свирепо хочу стать отцом – а ведь до встречи с тобой как-то и не задумывался об этом. Знаешь, глаза у тебя все-таки зеленые, и глубины в них – две Марианских впадины. Ты часом не передумала, Лиса? Ну, тише, тише, не сердись – я шучу. Просто шучу. Давай-ка нальем и выпьем – за все, что хорошо кончается. Ведь так хочется верить, что все плохое, отмеренное на жизнь, уже произошло, и впереди – другие, куда более светлые ожидают времена.

Так и будет, Лисица. Наш сын вырастет, станет капитаном, и корабли его никогда не уйдут на дно – как ушли корабли его дедушки.

* * *

В первое время я нечасто вспоминал об отце – слишком новой, чересчур напряженной была моя тогдашняя жизнь. А после он стал регулярно сниться мне, и сон был один и тот же.

Отец, близоруко щурясь, входит в утреннюю комнату, ступая на цыпочках. Он думает, что я сплю, и, стараясь не шуметь, начинает что-то искать: выдвигает ящики письменного стола, тянет наружу целый ворох бумаг-материалов к недописанной диссертации, заглядывает под кровать, приставляет к книжному шкафу стул и, забравшись на него, шарит рукой наверху. Он ищет, ищет, ищет, бормоча что-то при этом тихонько и печально, – и все безуспешно, все зря: нет нигде так нужной ему вещи. Устав или отчаявшись, он садится на стул и смотрит на меня.

Он долго-долго смотрит, не решаясь разбудить, и я, наконец, говорю:

– Здравствуй, папа. Что это ты ищешь? – а он, улыбаясь смущенно, отвечает:

– Да вот, Дима, очки мои куда-то подевались. Ты, случайно, не встречал их нигде? Ты же знаешь, Дима, какое у меня зрение, а куда я эти чертовы очки сунул – хоть убей, вспомнить не могу! А я лежу там, Дима, долго лежу, и без очков – ну совершенно ничего не видно. Ты, сын, помоги мне найти, пожалуйста.

И голос у отца просительный, застенчивый, смущенный, как будто даже вину какую-то чувствует он передо мной. Я встаю и, подойдя к нему ближе, замечаю вдруг, что левого уха у отца нет, а изуродованное, багрово-синее лицо – все в ссадинах и порезах.

– Что с тобой, пап? – спрашиваю я, холодея от мгновенного ужаса, а он, чуть улыбнувшись, отмахивается:

– Да ерунда это, пустяки! Давай-ка лучше искать!

Сколько раз, рыжая девушка, искал я эти очки и, проснувшись, выкарабкавшись из мучительного сна, лежал с больной головой! Я порой и сам удивляюсь – как мог я столько ждать? Но я, Лисица, не был уже тем зеленым, озлобленным на весь мир пацаном. Ненависть, злоба, жестокость – вполне обычные, неизбежные человеческие чувства, и вопрос лишь в том, чтобы научиться разумно управлять ими.

* * *

Жизнь понемногу входила в жесткую, или жестокую, свою колею. Все время, вплоть до бегства моего в войско, я не терял из виду лживоглазого, усатого симпатягу. Да, Рыжая, – шелковый торгаш богател, он, как сказал бы отец, вышел на принципиально иной уровень и перебрался в разряд бизнесменов средней руки. А я не забыл, Лисица, как часами сидел на телефоне отец, обзванивая знакомых, как унижался он, пытаясь хоть что-то выпросить, вымолить, наскрести в уплату долга. Половину он отдал – но победитель получает все. Победителю не нужна половина.

Да, торгаш богател, рыжая девушка, но в период моего нахождения в армии я приобрел неожиданного союзника в лице нашего правительства: грянул обвал рубля, и грянул действительно обвально, – антагонист с блестящими усами потерял почти все, нахапанное «честным трудом». Подняться он уже так и не смог, и к тому времени, когда я вернулся на гражданку, мой кровный друг имел «комок» в районе вокзала и влачил вполне скромное существование.

От прежнего величия у него сохранился лишь двухэтажный дом за рекой, где отстраивались преимущественно новые богачи, в число коих входил до краха и мой антагонист. Отличное, кстати, место – река рядом, лес, тишина, – и до центра двадцать минут пешком. Жена от него ушла, найдя спутника жизни покруче, и одиночество свое он делил, как я уже сказал, с рыжей собачкой-колли.

Мне по сию пору думается, что я не доиграл в детстве, Лиса, и, так или иначе, пытался наверстать упущенное: недолгим своим бандитством, армией, а потом – финальной, самой захватывающей игрой с шелковоусым торгашом. Только правила теперь были другие, и люди умирали не понарошку: как случилось с отцом или товарищем по отряду, которого застрелили на моих глазах. Как не раз почти было это со мной...

Как часто мотался я за мост, Рыжая, чтобы взглянуть на резиденцию кровного своего друга! Я провел полную рекогносцировку и

выяснил очень многое – пожалуй, все, что нужно. Я знал, что ровно в десять вечера он идет выгуливать шотландскую овчарку – добирается до автострады, сворачивает влево, идет вдоль шоссе песчаной тропкой и возвращается безлюдными, особенно в это время суток, зарослями ивняка, – декорации, идеально подходящие для моих целей.

Я на своем примере убедился, Лисица, – холостяки, вне зависимости от возраста и прочих факторов, – это люди с устоявшимися намертво привычками. Так, сам я надеваю сначала правый носок, а потом левый, сигареты курю – только с верблюдом, ключи от машины таскаю только в заднем кармане, и т. д. – другие варианты недопустимы.

И мне приятно было знать, что и он – из той же породы. Разваливаться будет на куски мир, горы упадут в океан, одна половина человечества сгинет, а другая сойдет с ума, – но ровно в десять, и ни секундой раньше или позже, лживоглазый, шелковоусый выведет мохнатого пса на прогулку и совершит законный свой круг. Это меня устраивало как нельзя более.

* * *

Так оно и было вчера, Лисица. Я перешел по мосту на *тот* берег – слева, со стороны пляжа, видны были огни костров, музыка доносилась, бутылочный звон и смех молодых самок, – но мне нужно было направо, к зарослям ивняка, что совершенно безлюдны. Часы показывали без пяти десять, я почувствовал, как левую ногу начало бить частой и мелкой дрожью, – не от страха, но от волнения. Так бывало со мной всегда в ответственные моменты, и ничего изменить я не мог.

Я прошагал еще двести метров вперед – автострада и мост были теперь совсем близко, – потащил наружу макаровскую железяку с полустершимся воронением (из армии я привез три таких), из другого кармана куртки – еще одну штучку, и неловко – руки тоже дрожали – стал соединять их вместе.

А что, если сегодня – именно сегодня – случится что-нибудь экстраординарное, выходящее из ряда вон, – и он не появится? Вдруг инфаркт – ему, как-никак, около пятидесяти. И мчит сейчас «скорая» по Советской, распугивая теплую вечернюю тишину. Вдруг тетя престарелая приехала из Костромы – может ведь так случиться?

Но жизнь не признает условных наклонений.

Я не сразу заметил собаку.

Совершенно неслышно она выскочила из зеленоватой тени и бросилась прямиком ко мне – на миг мне показалось даже, что мохнатый зверь сейчас укусит. Но собака и не думала нападать – она при-

нялась прыгать и ластиться ко мне, цепляясь когтистыми лапами за одежду, она повизгивала возбужденно и радостно, а я, сам не знаю отчего, – вдруг испугался. Неожиданно даже для себя я быстро отступил на шаг и нажал два раза на спуск – собака задавленно и коротко взвизгнула в последний раз, ткнулась мордой в землю, пыталась проползти вперед и влево – и затихла.

Он появился полминуты спустя. Еще не видя лица, я угадал его: в правой руке поблескивал тускло поводок. Я видел огонек сигареты и видел, как он бросил окурок, разлетевшийся в близких сумерках малиновыми брызгами.

– Альма, Альма, ко мне! – звал, подходя, он и почти поравнялся уже со мной, сошедшим с утоптанной тропки, но заметил-таки собаку, предмет удлиненный в моей руке – и резко остановился.

Он узнал меня, Рыжая. Он всегда отличался сообразительностью, шелковоусый, кровный друг мой. И, невзирая на семь лет, за которые я порядком изменился, сделавшись выше и шире, – он узнал меня. Впервые за все время он не играл в ту игру, к которой всегда был привержен, впервые он не ускользал пронзительно-светлыми и лживыми своими глазами – теперь все было наоборот.

Теперь он искал мой взгляд, впивался-вглядывался в зрачки со страстным усилием, – он вычитать пытался свою судьбу. Теперь он ловил мой взгляд, чтобы увидеть там – отмеренное ему время жить.

А мне... Мне бы вспомнить отца с раздробленным затылком, с отрезанным ухом и изуродованным до неузнаваемости лицом... Себя вспомнить, не особо желающего жить и все равно уползающего от смерти в сторону входной двери, и сигарету в дрожащих пальцах Роны, той самой Роны, которая до сих пор так и живет одна; и сны, мучившие меня и лишавшие всякого покоя, те сны, где отец ищет и не может найти очки... мне бы вспомнить растянувшееся на семь лет ожидание – но ничего этого не было.

Ничего этого не было. Не жалость – уж что-что, но только не жалость! И не боязнь выстрелить в человека – в армии мне доводилось делать это, соблюдая инструкцию, я стрелял в людей, которые лично мне ничего плохого не сделали. Проще простого, элементарно, дальше некуда, – нажать пару раз на спуск, повернуться и уйти – а я не мог этого сделать!

Семь лет я знал, что рано или поздно окажусь с ним лицом к лицу, и нисколько не сомневался, чем это закончится, – а теперь не мог этого сделать! Просто-напросто в эти семь лет мне не приходила в голову мысль, явившаяся, как озарение, тогда: я попаду не в него, даже стреляя в упор, – я попаду в себя. Я убью себя наповал – а он спокойно повернется и уйдет. Или останется лежать здесь – но и то,

чем я все-таки в себе дорожил, тоже перестанет дышать – вместе с шелковым торгашом. Я шагну туда, откуда вернуться уже не смогу, – как бы ни желал этого.

Да что тут... Или в том дело, что и он уже не был прежней успешной тварью? И он ведь многое потерял: молодую красотку-жену, улепетнувшую синхронно с благосостоянием, самоуважение, авторитет в своих неавторитетных кругах... Даже усы, шелковая гордость, глядели теперь клочком чужеродным серой пакли... И оставалась у него всего-навсего сучка-колли – да и ту я только что застрелил.

Но чушь это все, глупость и чушь! Не было, не было ничего, Рыжая, и ни о чем таком я не думал и не рассуждал – рассуждать и думать начинаешь только потом. А тогда мы беседовали глазами над трупом его собаки, и что-то он все же из этой беседы уяснил, для себя спасительное, – медленно и плавно, почти незаметно, он стал пятиться и, отойдя уже метров на пять, развернулся и, спину держа очень прямо, истаял в наползающей тьме.

Так же медленно развернувшись, пошел в другую сторону и я. Дрожь понемногу стихала. Быстро темнело, где-то на пляже стали запускать фейерверк, и ты ждала меня у памятника воинам-ополченцам.

Собака – вот кого действительно было жаль.

* * *

Потом мы курили, обнявшись, на мосту. Причаливал, разрывая темень огнями, прогулочный катер, я выбросил, широко размахнувшись, совершенно ненужный мне больше предмет, и всплеск, за шумом мотора, вышел совсем неслышным.

Но это вчера, рыжая девушка, а сейчас мы идем прощаться с родным городом, бродить памятными с детства улицами, аллеями, площадями, вино попивать из одноразовых стаканчиков. Завтра мы улетим в Москву и дальше во Владивосток – чтобы начать все заново.

Наш сын будет жить в окружении океанских лайнеров, он вырастет и станет капитаном, и ни один из его кораблей не уйдет на дно – как случилось это с кораблями его деда. Его деда и моего отца, Лисица. За одно я точно теперь спокоен: если отец и будет сниться мне, то совсем по-другому.

Снова он будет молод, весел и совершенно здоров, в тех самых очках, какие так долго не мог отыскать. Он будет барабанить на машинке диссертацию, жарить мне картошку и, подвыпив, крутить на древнем проигрывателе пластинки Высоцкого. Но нужно, обязательно нужно будет поговорить с ним об *этом*, и я скажу:

– Отец, я не испугался. Я ведь научился, пусть и не сразу, управ-

ляться со страхом. Я... я не могу объяснить, здесь другое... Совсем другое. Понимаешь?

– О чем речь, я замечательно тебя понимаю, сын, – ответит он, улыбаясь. – И перестал бы понимать, если бы ты все-таки убил. Не стоит, сын, лезть в дела Бога. А ему, торгашу, хватит и тех секунд – еще как хватит! Я ведь все о тебе знаю – конечно же, ты не испугался! И не говори глупостей – ты все сделал правильно!

И просыпаться я буду в радости, оттого что свиделся с ним и все у него хорошо, – и в печали: ведь это сон, и не больше. Так будет, рыжая девушка, – и Фриде перестанут, наконец, подавать проклятый, так долго мучивший ее платок.

А теперь послушай, Лисица, часовой бой – завтра уже наступило.

НЕ ВЫХОДИТЬ БЫ ТЕБЕ ЗА МАЙОРА

Будильник имел ощутимое сходство с револьвером Нагана – такой же вороненый и грозный – но звонил совершенно зря. Никто уже не спал. Майорша что-то разглядывала там, в зеркале, напевая и прицокивая время от времени языком. Услыхав шевеление, она обернулась.

– Знаешь, я еще ничего. Я даже больше чем ничего. Ты согласен?

– Ты и в самом деле ничего.

– Да, я ничего. Это странно даже – я ведь три года прожила когда-то с тобой! Это все муж – с ним я прямо-таки девочкой себя чувствую. Как будто снова семнадцать. Ты не знаешь, что он за человек! Золотой, божий человек – таких поискать! Вот неделю уже на учениях – а я извелась вся, только о нем и думаю! Зачем мужья куда-то уезжают? И все-таки я – ничего!

– Мне бежать надо, – он натягивал тренировочный костюм. – Ты приготовь пока поесть что-нибудь. Макароны у меня, кажется, есть, и тушенка должна быть в холодильнике. Только чай не заваривай: вернусь – сам заварю.

– Поразительно! – сказала майорша.– Ты бегаешь трусцой по утрам! Раньше ты дрых без задних ног. У тебя, насколько я помню, были другие предпочтения – водка, наркота. Зачем ты бегаешь по утрам? Это ведь так на тебя не похоже. Это же глупость самая настоящая – зачем ты бегаешь?

Он шнуровал кроссовки и поднял голову – майорша действительно была хороша.

– Да, – сказал твердо он. – Я бегаю трусцой по утрам.

Позвенел ключами и пошел из квартиры вон.

* * *

– Бей страх, бей страх, бей страх... – в беговой ввинчиваясь ритм, повторял я на выдохе. Пустынно-темна была улица, пятнами влажно-желтыми метили мой путь фонари, и дворники-сателлиты, и лица без места жительства, потрошившие мусорные контейнеры, маячили привычными вешками.

Никогда в жизни не стал бы я думать, что новые приступят времена, и я, вместо того чтобы хватать жадно каждую из недоспанных минут, убегаю-бегу вдоль ровной безукоризненно нити. Нить вползает безудержно вверх, и потому обратный путь дается все же легче. Нить означена фонарями, словно взлетная полоса, но я, дотягивая до спорткомплекса, вряд ли способен взлететь. Сочась липкой слюной, я делаю краткую передышку и убегаю обратно.

Бег дается мне тяжелее, чем два года назад, но я могу заблуждаться, – я, как и прежде, склонен к драматизации.

Майорше и невдомек, что каждое утро из последних семисот тридцати мне необходимо бегать: уходить в половине шестого и бежать-наматывать пять километров, пять незыблемых, как утренняя молитва, верст – и вызвано это лишь тем, что палочка Коха, которая вполне способна обходиться без дирижера, – заправляет всей кухней и заказывает музыку.

И борьба с ней ведется за каждую пядь оперативного пространства, и три последних анализа показывали стабильно закрытую форму, и на снимках не видно отрицательной динамики – но куда уходят мои килограммы?

Килограммы горят – сгорают дотла. В день объявления войны их было девяносто шесть, через полгода – восемьдесят восемь, а сейчас стрелка сообщает восемьдесят один – и ни граммом больше. И это при том, что пища, которую я запихиваю в себя через силу, – вдвое обильнее против прежней.

Гаснут сигнальные огни – но нельзя заблудиться. Большеглазые, послушные мальчики и вредные, толстые девочки, под мышками лелея буквари, отправляются в первый класс – помнишь, когда это было?

Но именно сейчас нельзя, да и невозможно заблудиться, как заблуждались мы когда-то, – шуршат кроссовки о мокрый асфальт, гаснут ненужные фонари, я убегаю от нее, волшебной палочки Коха, сматывая нить в клубок.

Кто, скажи, мог предполагать? Но женщина-доктор, испанская дочь, говорит, что вовсе не плохи дела, они, дела, вселяют оптимизм, – а ведь именно оптимизмом определяется степень сопротивляемости.

* * *

Еще мне кажется, что кожа с определенных пор – не моя. В глянцевой истонченной ломкости все чаще испытываю я желание стащить ее, как отслужившую век свой перчатку, и бросить в ящик с ветхой одеждой – пусть лежит там, пока не истлеет окончательно.

Но не сорвать, не выползти, не сбежать из утратившей прежнюю чувствительность оболочки – и нужно носить, и выбривать каждое утро с тщательностью педанта щетину – как никогда не выбривалась она ранее. Даже в больнице, и после, и сейчас, – зачем? Если я работаю дома и никуда не хожу?

И спроси об этом майорша, я сказал бы: я должен отвоевывать оперативное пространство, в надежде и уверенности, что первой сломается она – волшебная палочка Коха. Уйдет и не сможет вернуться – и для этого я должен накручивать пять утренних километров, и бриться каждое утро, как будто собираясь на дипломатический прием, и ровно десять часов каждый день сидеть за компьютером, выполняя свою работу, и делать массу других вещей – все изменилось с тех, двухлетней давности, пор.

Страх нужно убивать, в пыль дробя позвонки – иначе он сожрет тебя, со всеми оставшимися потрохами, выдавит вишневый сок, мозг высосет из черепной коробки... И пусть то, что будет перевариваться у него в желудке, и просуществует еще какое-то время – но время это обратится в ад.

А мне бы пожить – поработать, потоптать городскую броню, поесть свежего хлеба да сочного мяса – я ведь не такой, каким был когда-то, я уже начал понимать, что такое это – жить.

* * *

– Много перца, много кетчупа, – все, как ты любишь, – майорша уже оделась, два бокала – цапли в камышах – и узкая высокая бутылка устроены были на столе. – А я вот выпила, я никуда сегодня не спешу. Выпьешь?

– Слишком соленые, – он глотал, обжигаясь, макароны по-флотски. После, вспомнив, полез на полку, потянул коробку с лекарствами и на ладонь выкатил – четыре белых, две желтых и три красных таблетки, выпил и продолжал есть.

– Ты болеешь?

Он, не отвечая, разглядывал что-то и – бросил внезапно ложку.

– Волос! – он был обескуражен. – Почему у меня в тарелке волос? Мы так не договаривались! Я не хочу есть твои волосы!

– А почему ты решил, что это мой волос?

– Длинный крашеный волос – это твой волос! У меня нет длин-

ных крашеных волос! Может быть, твой майор и любит есть макароны с волосами. Может быть, он считает день неудавшимся, если не сожрет на завтрак пару-тройку твоих волос! Может, для него это нормальное вполне явление – но не для меня! Слышишь – не для меня!

– Ты стал ужасно занудным! – конечно, майорша обиделась. – Раньше ты не придирался к мелочам! Пусть был ты садистом и сволочью – зато не придирался к мелочам. Подумаешь – волос! Ночью ты был куда нежней!

– Ночью... То – ночью... – он немного остыл. – Ночью – дело другое. А сейчас – утро. Какая еще ночь?

Майорша отхлебнула из бокала, выбила из песочной пачки сигарету и закурила. Шлепанцы на ней были те же, что остались после ухода, – тигриного окраса. Майорша по-прежнему была хороша.

– Слушай, ты и вправду изменился! – сказала майорша. – В холодильнике вместо пива – мед, творог, жир какой-то в баночках... Даже не верится – совсем стал другим! Только зачем тебе пить столько таблеток? Болеешь?

«Так я тебе и сказал – он внутренне усмехнулся. – При твоей-то импульсивности. Ты же и майора, чего доброго, принесешь на алтарь. А он-то здесь причем?»

Но таблетки – действительно дрянь. От них стойко держится мерзкий привкус во рту, отбивающий всякий аппетит. И моча походит цветом на кровь – страшновато даже бывать в туалете. Но форма-то закрытая, и динамики нет – так что все в полном порядке.

– Давай еще – по поводу нашей встречи. Совсем, кстати, случайной. Знаешь, я просто не верю: такой ты стал правильный, вежливый да порядочный – ну кто бы мог подумать! Вчера даже не оскорбил меня ни разу – а выпили мы очень прилично!

– Не выходить бы тебе, майорша, за своего майора! – сказал, не удержавшись, он и пожалел тут же о сказанном. Она замечательно умела вздыхать.

– А что мне оставалось делать? Ты же знаешь – я еще в школе в тебя влюбилась. Как увидишь, бывало, – кривенькие эти ножки, квадратные плечики, ушки топориком, – так и млеет сердечко от любви. Такой парень! Я же не виновата, что так все получилось. В конце концов, я три года с тобой жила. Потом ты ушел в армию, а оттуда перебрался в тюрьму. А мне, молодой и красивой, – пропадать? Да и не верила я, что ты исправишься! Собственно, и сейчас – с трудом. Нет,: любить тебя – одно удовольствие, но жить с тобой – категорически нельзя! Было нельзя – в то время. Я же не знала, что ты так изменишься! Молоко, творог, геркулес, утренние эти пробежки... Прямо джентльмен с Пикадилли, честное слово! Но майор – если бы знал

ты, что это за человек! Я обязательно вас познакомлю. Ты поймешь, что я имею в виду. Это такой человек... слов нет! Настоящий кавалер, рыцарь, военный... Ухаживал, цветы каждый день дарил... А ты – пару раз за три года! Разве не так?

– Да, пожалуй, – он смутился и тоже потянулся за сигаретой, хотя курил теперь в крайне редких случаях. Майорша была во многом права.

* * *

Фотограф знал толк в своем деле: мальчики, переросшие одноклассниц, стояли на периферии, серых мышек сгруппировали во втором ряду, а высокая ногастая девочка маячила неизбежно на первом плане – как логотип, как фирменный знак давно ушедшего в небытие выпускного одиннадцатого «Б».

Майорша изъявила желание посмотреть школьный альбом – свидетельство незабвенного времени, когда они любили и умели блуждать во тьме, и мало что могло сравниться с удовольствием от сумбурных и прекрасных в новизне своей путешествий.

Тогда они могли заблуждаться, но нельзя заблудиться сейчас, даже если погашены сигнальные огни – на той самой утренней дороге-полосе, по которой я уже два года бегу-убегаю от волшебной палочки Коха.

Я исключил алкоголь, почти не курю, регулярно пью таблетки, употребляю собачий жир и каждые три месяца хожу на анализ и снимок. Каждый день я высиживаю положенные десять часов за работой – как будто цензор невидимый нависает над плечом, следя, чтобы я не вздумал отлынивать. Моя выходная одежда всегда наготове – хотя я крайне редко бываю на людях. Хорошо, что моя специальность позволяет работать дома.

Эта палочка поистине волшебна: не будь ее – разве стал бы я задумываться о том, что делаю и как живу? Когда поставлен был диагноз, я провел долгое время в больнице. Тени ходили бледными коридорами, каждую неделю, а то и чаще, кто-нибудь умирал – тот, кто вчера еще курил с тобой на лестнице или во дворе, расплевывая в кашле остатки легких. А на следующий день его нужно было везти в морг сопредельной дурки – своего, как ни странно, не было, или он не работал, – и труп приходилось спускать по лестнице старого корпуса, настолько старого, что там и лифта грузового не имелось, или, опять-таки, он был неисправен, – и транспортировать на каталке к веселым соседям, сквозь железную дверцу в бетонной стене.

Возили, как правило, пациенты, получая за то по сто пятьдесят спирта – в качестве моральной, что ли, компенсации.

Я выброшен был из жизни – как будто находился в мчавшем, не разбирая дороги, автомобиле, а потом – вставшая ниоткуда стена, не самый приятный в сокрушительности своей удар, и в себя я пришел уже по ту сторону, где все другое, и прежнего ничего нет.

Я пытался протестовать – тем единственным способом, каким умел: я запил так, как не пил никогда, – мне ведь не нужно было спешить-опаздывать на работу.

Но спасла меня все та же палочка Коха – как ни абсурдно это звучит. По ночам мне стало не хватать воздуха: как будто тяжелым и тупым ударяли в грудь, сбивая напрочь дыхание, – и страх близкой смерти кромсал беспощадно ножом.

Вот сейчас, сейчас будет это – я выбегал в коридор, к форточке, сквозь которую можно глотнуть холодного и свежего ночного воздуха. Постепенно отпускало, дыхание возвращалось, но страх не проходил, и спать ночами я разучился. Мне и делать-то ничего не оставалось – только думать. Думать, как все вернуть.

Два года я веду с ней войну, с волшебной палочкой Коха, – за каждую пядь оперативного пространства. Отрицательной динамики нет, как нет и открытой формы. Но кто-то ведь жрет мои килограммы. Так что пока результат неизвестен – она или я, – нужно жить в состоянии войны. И забыть о всяких встреченных случайно майоршах – тем более, имеющих своего майора.

* * *

– Не выходить бы тебе за майора, – снова он не удержался, потому как изрядно выпил, впервые за два года. Или потому, может быть, что они с майоршей стояли у подъезда, ожидая вызванного такси.

– Но я же не могла знать, что ты так изменишься, – сказала майорша искренне. – Откуда мне было знать? Вот откуда – скажи! Надо же... Жалость-то какая...

Привстав на цыпочки, она два раза поцеловала, в губы и в лоб.

– И почему бы тебе не поумнеть раньше? Ну, ничего, ничего – может, и втроем как-нибудь уживемся! Там видно будет. Ты не скучай и не падай духом – что-нибудь придумаем. И не вздумай исчезнуть – не вздумай!

Майорша действительно была хороша – и стопроцентно здорова. Он почти ненавидел ее – в ожидании такси. У майорши был свой майор. У него – бег трусцой и палочка Коха. Пожиравшая его килограммы палочка Коха. Которой обязательно нужно свернуть шею. А потом уже – все остальное.

Каталония

Вера Зубарева

ДЕРЕВО

Дерево колышется зеленым куполом.
Середина дня – приманка для зноя,
Пчел, стрекоз, слегка уже обугленных.
Под ветвями его – испаренья покоя,
Ладана, сладко подгнившего клевера.
Дупло в стволе его с ликом белки
Взято в рамку вьюнка. Дерево
Смотрит медленно сквозь трещины-веки.
Яблоко падает, раскачиваясь и колеблясь.
В нем паденье созрело. Трубка Ньютона
Диктует ему вековую ересь,
Что у него и пера невесомого
Одно и то же роковое ускорение.
Падают оковы, бутерброды и нравы
В дерзком споре яблока и гения,
В котором оба по-своему правы.
И рождается формула на грани бреда,
Вопреки представлениям о свободе воле,
О здравом смысле. Лишь тело Архимеда
Колышется на поверхности мировой юдоли.
И падает, жизнь закончив с отличием,
Божья коровка по строгой формуле,
И колесиковинтик, и каждый кирпичик,
О котором отдельно б никогда и не вспомнили.
И только я неправильно падаю,
Раздвигая ветвей вздыхающий занавес,
На диво дереву, что языческой статуей
Мнилось коровке, пока та, раздваиваясь
В челюстях птицы, думала, как плохо
Все устроено.
И птица падает,
Подчиняясь закону того же молоха,
И крыло от коровки машет из сада ей.
Я падаю с третьего, пятого, первого...
Ну, кто же так падает – то ниже, то выше?
Опять всё не так. Прости меня, дерево!
Да что же со мною?
– Это – летишь ты.

ЮРИ́КО

Похороните меня на Святой Земле.
Из завещания

Спит Юри́ко с вытянутыми по струнке ногами.
В сетях паутин качаются подземные осы,
Смолкнувшие цокотухи. Как развернутое оригами,
Полотно корней ветвится линиями сгиба,
Люциферы-жуки месят вязкую землю рогами.
Спит Юри́ко. Перед ней разложена схема мира,
Бродят звери над ней по останкам своих предков,
Ставят лапы на мох с осторожностью.
И только Юри́ко не боится тления,
Животные страхи ей неведомы.
Она качается на подземных водах
И смотрит в зенит, и стекло ее глаз
Отражает свечения горных пород,
Водоносных горизонтов, тонущих млечностей.
Спит Юри́ко в сгибах пространства.
Веки – прозрачней крыльев стрекозы.
Корни вцепились в нее, словно ястреб в добычу,
И над ней раскинулось дерево иерусалим.
Спит Юри́ко в оригами мира.
Всему наступает время уснуть.
Спит Юри́ко и отправляется в путь.

ЗАПИСКИ ИЗ ЛЕСА
(о*трывок*)

В полночь, когда замирает все в дуплах,
Коре, подземельях, запруженных водоемах,
Филин выходит на лунную охоту –
Каждую ночь он охотится на сны.
Они бросаются врассыпную, как мыши,
Чтоб слиться с теменью, превратиться в тени.
Клюв его стрелок остро отточен,
Два циферблата его глаз
Крутят стрелки в зеркальном направлении,
И все живое прижимается к земле.
Колышутся рыбы на блюде водоемов,
Вязнут птицы в болотах воздуха,

Звери зажмуриваются, и ночной страх
Их погружает в топи оцепенения.
Звери боятся превращений пространства,
Звери читают на языке тьмы.
На нем написаны все инстинкты,
И все стихии разговаривают на нем.
...Кажется, мы затерялись в пространстве.
Или во времени. Или в том и другом.
Трудно сказать наверняка, пока
Пространство и время сосуществуют,
Как тело и душа. Пространство – тело.
Время – душа. Оно беспокойно,
Оно разъедает жилы пространства,
Заставляет его пульсировать, болеть,
Сохнуть, обрушиваться, истекать потопами.
Без него пространство окоченеет,
Покроется коррозией, перестанет быть.
Быть или не быть – вопрос пространства.
Это оно, безутешный Гамлет,
Ловит знаки привидения-времени,
Верит в его допотопные россказни.
Время катится по нему, полыхает,
Как шаровая молния по полю жизни.
Кто перешел его – тот погиб.

Филадельфия

Евгений Ракович

* * *

Лене

Ты на окне сидишь, пятнадцать лет назад,
У воздуха в руке, с коленями в обнимку,
И фон прилег – в твоих неволосах,
Но умер на полу в пустой гримерной снимка.

Все, что цвело вокруг, – отпрянуло и съело
Само себя. Впотьмах, глотая тетиву,
Судьба дрожит, расставив, как хотела,
Всю мебель по углам – корнями в глубину.

А ось сюжета стерлась? – Умерла
И проросла в другом саду. Сквозь нас взлетела
Самозабвенно, как горящая стрела,
Неся через живот свое сухое тело.

У мертвых соответствий пальцы ледяные,
А шея у меня гуляет без подруг.
Как жизнь сплелась в пустяк, пока мы всё ловили
Гул голосов ее из раковин тех рук!

За вбитым в каждый шаг последним поворотом
Из наводненья сна, где ты одна живешь,
Вплетая в этот хор единственную ноту
Всех соответствий правду, зыбь и ложь.

Кровать не перевернута... Ты накроешь стол,
И перейдешь ко мне за шов стихотворенья,
И вдруг погаснет свет, и в комнате пустой
Ты скомканную жизнь разгладишь на коленях.

* * *

Бессмертная душа. Так это страшно.
Ее громада свесилась сюда
и мной уперлась в землю – скользкой башней,
как спица в стол – сквозь все еще жука.

Моя бессмертная, музей немодных платьев,
мой перекати-космос, моя включает-ток,
тьмы тем своих жильцов ученый собиратель,
великая немая, гора наоборот.

А привидения – они же все родные,
из верхних этажей остановились по пути,
и в янтари прилегшие густые,
все вечнодневки желтоголубые
живут в твоей благоустроенной груди.

Все то, что невозможно, как лес холодным дымом,
наполнено желаньем забрать его себе.
Высокое желанье – как дым стоит в вершинах,
и низкое желанье – как дым лежит в траве.

У невозможно-было и невозможно-стало
нет никого на свете – на этом и на том.
Они живут так долго – ведь одной жизни мало –
стоять у их витрины с бумажным молотком.

ВЕТЕР

Елене Шварц

Осенний ветер встанет – не отстанет!
А выбив стены в доме ноября,
Берет меня за улицу кустами,
Крапивных рук манжетами звеня.

Чугунный лифт, наполненный по горло,
Сейчас провалится в мои заобраза,
Из тесно – сквозь темно – в просторно
На мякоти тисков писать, глаза

Закрыв. Осенний ветер с треском,
Как черный зонт, наденет вдоль реки
Чехлы домов, простроченные леской,
На сумасшедшие свои стихи.

В огромной кофте в бешеных рисунках,
Заправленной за старый стадион,

Он поднимается с водонапорной рюмкой
В нарядно вечереющий бетон.

И так мычит, как рельсы над трамваем –
Хватая шеей лезвие сосны,
Он морщит дымный лоб и запивает
Смерть осени рождением зимы.

НОВОСЕЛЬЕ ОТЦА

Сжимали меня твои руки,
пока не превратились в каменные стуки,
пока по длинной скатерти бежали,
и не были еще скрижали.

Твое кольцо и твоя ширина ладони
теперь лежат в моей темноте, как резьба на троне.
И вещи, тебе подаренные мною,
стали моими опять, и наступают зимою.

Они покрывают снегом перила коры
больного дерева-лавра и прах мошкары.

Ты шел по полю, и вышел с поля,
и встал во мне триединым покоем.

Так, твоя душа, наконец, как хотела,
нашла для себя другое тело.

ПОСЛЕДНИЙ УЖИН

Жил на свете человекобомж.

Ему облик мама заказала
В ателье потусторонних рож.
Много лет прошло с тех пор, и вот, с вокзала
Он тележку с тряпками за талию ведет.
Сядет-посидит. И побредет.

Парк наброшен, как платок на клетку,
На холма старинную монетку.

Мертвые лежат на небе фонари,
Ноги вместе, руки изнутри.
Человекобомж тележку с тряпками толкает.
В луже темнота себя купает.
Себя купает в темноте собой.

Залезть со всеми горожанами зимой
Так жутко в это время в готовальню
Подвала своего или чужого спальню.

О, горние дела, мне все о вас известно!
Как тесно, тесно поднебесно!
На зеркало в ночной прихожей,
В небесные прихожие не вхожей,
По черной тверди парк стекает вешний.
Лицо светло. Глаза кромешны.

Их бывший свет, с боков заужен,
Приходит по окну на этот ужин,
И по щекам уродов-фонарей
Ведет печати парковых полей.

Вот синева. Из глаз любимых
Стекает в фотографий спелых сливы.
Лежит пять лет, потом взлетает.
И больше не бывает.

Нью-Йорк

Михаил Рабинович

Не любит запаха духов он,
но, ожиданием довольный,
идет знакомый Петухова
к приятельнице Ольги Львовны.

Он книги отложил и ноты
(а марки в кляссере, как волны),
прогнал кота, ушел с работы
к приятельнице Ольги Львовны.

Она компот из свежих яблок,
вареники, стихотворенье –
все приготовила, ведь ярок
друг Петухова, без сомненья.

А Ольга Львовна в ритме танца
зевает, вся в платке пуховом:
хоть в жизни им пришлось метаться,
но – разминулись с Петуховым.

* * *

Поздний ветер, исчезнув в морщинах реки,
оставляет свой город в тишине и печали,
и в разношенных тапках ползут старики
за таблеткой от кашля, что поможет едва ли,
но должна ведь помочь. Эта ночь без числа
вновь прошла – как прошла жизнь, стоявшая насмерть.
Этой ночью ни крика, ни скрипа весла.
Не сегодня, Харон, не сейчас. Просто насморк,
пустяки. Будто чудо, себе вопреки
начинается день – тень ушедшего ветра,
освещается утренний берег реки.
Там бегущие люди в кроссовках и гетрах
в сантиметрах от края, в начале пути,
и с него не сойти, пустоту выбирая,
где ни ада, ни рая – лишь ветер гудит,
неизбежно в морщинах реки исчезая.

* * *

Звездный космос, невесом, опьяняет светом реку,
и нетрезвый рыба-сом изучает человеков –
их ли удочки страшны, дудочки играют их ли?
Запахи большой луны в речке маленькой затихли.
Рыболову сом не рад: вечно думает о деле –
хлеб принес и шоколад, а неправильно разделит.
Музыкант и слух, и ум радует, воображаем.
Сон приходит к этим двум, и во сне сома так жаль им.
Сом читает эти сны, верит каждому в них слову.
Небу звездочки тесны, музыканту, рыболову...

* * *

Из строчки – нервной, темной, протяжной,
не электронной и не бумажной,
не из чернил и не на песке,

вдруг сорвалась одна запятая –
та, что устав и почти растаяв,
все же осталась – рука в руке,

под неразжатой мокрой ладонью,
хоть отпусти – в реке не утонет,
не разобьется о серп луны,

есть продолжение – это ж не точка, –
но никогда ведь не знаешь точно,
ответ восторжен или уныл,

а запятая – как запятая,
перечисленья соединяя,
пересечения, тьму и свет,

слова и числа, и серп и молот,
дрожит и жжется, и нежен холод
дыханья строчки, которой нет,

а запятая, уже отдельно,
в пространстве тесном и беспредельном,
начав сначала, как эмбрион,

скрутившись туже, поднявшись выше,
другую строчку зачем-то пишет:
часть разговора, что вне времен.

* * *

Разнополых людей коллектив
под весеннее пенье,
безусловно, с собой захватив
колбасу и печенье,
разливает по кружкам слова,
чтобы души согрелись,
а внизу зеленеет трава,
в небе птицы распелись,
и собака породы мастиф,
чей хозяин играет,
замечает неясный мотив
и ежа – но не лает.
Существуют иные миры,
а в единственном мире,
где раскрыта доска для игры, –
ход е-два – е-четыре.
Разноцветные тени деля,
шахматистов заметив,
в черно-белое красит поля
заблудившийся ветер,
и дрожание ветра держа
на открытых ладонях,
без колючек увидит ежа
человек – и не тронет.
Разнопольные в поле слоны –
значит, эндшпиль ничейный?
Коллектив в тусклом свете луны
доедает печенье
и, прощальными каплями слов
завершив шумный ужин,
не заметит, что выпадет слон
из коробки наружу.

Нью-Йорк

Владимир Эфроимсон

ЗАМЫСЛОВАТЫЙ ПУТЬ К ЦЕЛИ

Короче, в этот раз до цели я опять не дошел,
скорее всего, даже не понял, куда идти,
и, вообще, на хрена теперь эта цель, и без нее хорошо,
как, наверно, не было лет, скажем так, с двадцати.
А что было-то в двадцать? В двадцать пять? –
Ну, напивался в хлам,
девицы какие-то пробулькивали, как пузыри,
и на фоне булькающих водки (портвейна не пил), семьи,
института, веселых дам,
кажется, еще и стихи писал – поди-ка, теперь разбери –
ничего ж не осталось, все повыкидывал, вроде как Гоголь, сжег,
расколошматил вдребезги, разнес вдрызг,
потому, что в присутствии жизни, то есть – водки, семьи, чужих жен,
совершенно неуместен восторженно-скорбный поросячий визг.
Думал, что не вернусь, но оказался слаб, –
и с водкой – не напиваюсь, но выпить не откажусь,
и стихи вот всё лезут и лезут, и насчет баб...
впрочем, последнее – в прошлом, так, застарелая грусть...
А еще в двадцать – в голове голос: «Вставай и иди!», –
такой убедительный, что вставал и шел, и шел сколько было сил,
и создавал тот голос иллюзию, что цель есть – там, впереди,
и вставал я, и шел, и шел – до цели, правда, не доходил.
Но что интересно – голос (тот самый, про цель) снова бурчит, –
снова, всё еще... кто разберет эту всю лабуду.
Но только я уже старый, ученый, опытный, почти инвалид,
и с целью этой, пожалуй, я обожду,
обожду...
обожду...
еще обожду

* * *

Где-то там, в голове, в глубине где-то
существуют, живут все, с кем был когда-то,
говорят в темноте – ведь там нет света,
и звучат обиженно-виновато.
Виноваты все – и они, и я, – но
их упреки ко мне кажутся весомей,

а признанья вины звучат неявно –
отдаленный шорох в пустом доме.

Помолчи, попробуй не материться,
в покаянно-обиженном тихом хоре
различить голоса (а за ними лица),
разобрать на отдельные волны море.
Эти шепот, и ропот, и крик, и стоны
с ослаблением зренья звучат яснее...
Вдруг всплывет что было во время оно,
заглушит привычную ахинею.

И не старческой памяти ведь капризы –
этот шум, пробивающийся оттуда,
похороненный заживо стучит снизу,
и кричит, и шепчет, верит в чудо.

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

Было время, я, как и многие другие, тоже летал во сне.
Сны были яркие, детальные, легко вспоминались потом;
и что интересно – не было при этом ни легкости, ни эйфории во мне,
каждый сантиметр над землей требовал напряжения,
давался с трудом.

Поэтому летал я невысоко, от силы метр или два,
как бы плывя брасом, но воздух разреженнее, чем вода,
поэтому гребки были слабыми, перемещался едва-едва,
да еще и ветер то и дело сносил не туда.

Вот такие полеты – низко, медленно, от усталости чуть живой,
еще и руками размахиваю, как последний чудак,
ничего не вижу вокруг – нет сил вертеть головой...
Пешком быстрее, легче, изящнее, но иногда
хочется именно лететь, пусть хоть так

ОДИН ДЕНЬ

Солнце вломилось.
Завтрашний день.
А просыпаться все неохота,
но со стены возвещает что-то
листьев акации зыбкая тень,
как письмена языка чужого...

Точно! Послание! К черту сон!
Шанс, что бывает раз в миллион
лет, и не жди, что выпадет снова.

Сколько случилось за этот день!
Бабушкин сад до конца разведать
даже не думай – хоть до обеда
можешь пролазить, коль не лень.
Старая яблоня, звать «пепин»,
ветви почти до земли обвисли –
скрыться за ними и думать мысли,
те, что приходят, когда один.
Если пролезть за кусты малины –
там, у забора, есть пролаз –
нужно ползком – и на уровне глаз
закопошится холм муравьиный.
После на улицу – там друзья,
Галка-соседка – любовь до гроба,
знаю, мы это чувствуем оба,
хоть раньше думал, что только я.
К речке дорога, заросший сад,
мимо обрушенной старой криницы –
там обязательно надо напиться,
о это потом, на пути назад.

В ночь, не закончившись, сходит день,
в сон, в эту лунную тень на стенке,
в боль от разбитой опять коленки,
в мир, лихо сдвинутый набекрень.

Сколько случилось за этот год –
пара поездок, две-три интрижки,
пара статей, макет новой книжки –
словом, удачный, наполненный год.

Что же случилось за эту жизнь?
А ничего, почитай, не случилось...
Разве что солнце когда-то вломилось
в тот все еще не законченный день

Нью-Йорк

Феликс Чечик

Стихи из новой книги

* * *

Молодильное яблоко съев
или выпив 0,5 молодильных,
про себя повторяю напев
в сотый раз, как забытый будильник:
бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу...
Все пройдет. И у «выхода-входа»
бесполезно пенять на судьбу
и ругать бесконечность завода.

* * *

перебродивший сок
в стволах моих черешен
созвездием весов
до миллилитра взвешен
не нужный никому
ни людям ни природе
он предпочел тюрьму
возлюбленной свободе

* * *

А справа и слева: родители, дети и внуки –
стихи на могилах – от любящих и дорогих;
граненая стопка, горбушка, пустынные звуки, –
точнее, отсутствие их.

Твои сорок семь – (десять лет, не имеющих право
со мной переписки – пустяк, – их в расчет не беру), –
трехстопным хореем, не Павел, но все-таки справа,
о вечности шепчет Петру.

И Петр не молчит – отвечает на птичьем, на певчем,
где кактус еще не зацвел – зацветет, не спеши.
И я ухожу, и прощаюсь не с каждым, но встречным,
в декабрьской тиши.

* * *

Пусть кто-нибудь другой, не я
и не путем зерна – жнивья,
домой, не выходя из дома,
вернется, чтобы вновь и вновь,
изранившая в кровь солома
тире бессмертная любовь,
вдруг проросла, как зеленя,
путем меня.

* * *

На протяжении двадцати
лет не менялся пейзаж.
И обесценилось время в пути,
взятое на карандаш.
Но карандаш из IKEA, пока
не затупился, – ему
сердце велит и диктует рука
не полагаться на тьму.

* * *

И когда я пойду, – не домой, но вразнос,
сам – на автопилоте и без посторонних,
отвечая вопросом на вечный вопрос,
персонажем пустынь и морских кинохроник.
Потому что в крови португальский портвейн, –
не бывает других – все другие подобья,
и, вернувшись домой, получаю взамен
всепрощающий взгляд исподлобья.

* * *

Чай из мяты. След кометы.
Ветер-листобой.
Провожу эксперименты
над самим собой.
Было? Не было? И снова
память-решето
не просеивает слово,
как небес лито.

* * *

Из всех орудий по... А воробьи
клюют в саду подвешенное сало,
и местного значения бои
их, воробьев, интересуют мало.
Январь морозный. Вьюга и метель.
Шрапнели свист и подвыванье пули.
Не замечая эту канитель,
спокойно есть и думать о Катулле.

* * *

Ум пропьем и честь уроним,
совесть мучая, как жен.
И уже потусторонним
вход обратно воспрещен.
В будущее проторили
путь-дорожку - лишь затем,
чтоб, уйдя на все четыре,
возвратиться насовсем.

* * *

В день независимости от
березового листопада,
я праздную двадцатый год
период полного распада.
Смотрю на небо снизу вверх,
а не наоборот, как было,
и вижу листьев фейерверк
и птиц, поющих легкокрыло.

Иерусалим

Анатолий Николин

Роза, королева цветов

В двенадцатом часу холодного дождливого дня он вышел из вагона поезда на железнодорожном вокзале во Львове и, натянув шляпу на оттопыренные уши, кивнул на прощанье проводнице:

– Всего доброго, Мария...

– И вам удачи, – улыбнулась она.

Выходя из-под вокзального навеса, зябко поежился – холодная дождевая капля упала ему за воротник...

Навещавшие его время от времени приступы хандры и подспудного страха перед дождем вызваны его застарелой болезнью. Одним из множества хронических недугов, которыми страдают люди его возраста – от пятидесяти и более лет. Старым, запущенным отитом, как у голландского поэта Яна Хендрика Леопольда.

Это имя случайно встретилось ему на страницах старого художественного журнала. Потрепанные журналы с романами и стихами, которые никто не читал, приносил на кафедру не чуждый изящной словесности доцент Певзнер. Журналы валялись на хлипком столике в дальнем углу кафедры, и Павел Сергеевич их иногда перелистывал, пока не забирала утренняя уборщица. Это имя – Ян Хендрик Леопольд – запомнилось ему из-за объединявшей его с давно умершим поэтом странноватой болезни. О чем он не без интереса и прочел в предварявшей поэтическую подборку вступительной статье. Впоследствии ему доставляло удовольствие произносить эти три серых и, похоже, тоже сырых и промозглых слова: «Ян. Хендрик. Леопольд». «Ну как же – отит, такая обычная болезнь! Вот, например, Ян Хендрик Леопольд...»

Из-за этой своей болезни Павел Сергеевич перестал ездить в отпуск на юг, к морю, чтобы не намочить уши. А потом и вовсе отказался от отпусков и прослыл неисправимым трудоголиком. Пока врачи не посоветовали съездить на курорт в Z. – у него стали проявляться признаки новой, доставлявшей ему множество неудобств болезни.

Вот он сюда и зачастил...

В том, что по приезде во Львов его встретит настоящий водопад, Павел Сергеевич не сомневался. Когда бы он сюда ни приехал, его встречал дождь, дождь, дождь.

В пагубности всего с ним происходящего – оканчивал ли он уни-

верситет, женился или разводился (так что в конце концов остался старым холостяком), лечился ли от простых и сложных болезней, читал книги, путешествовал, заводил знакомства с женщинами или играл в преферанс – Павел Сергеевич не сомневался.

«Ни в чем. Жить человеку вредно», – с едкой усмешкой отвечал он, когда его спрашивали, в чем заключается смысл жизни.

Подобными вопросами его донимали любовницы на заре очередного нового романа – а на заре принято казаться глубоким и тонким, так легче завоевать расположение дамы.

«Смысл жизни, – завершал Павел Сергеевич свои монологи, – заключается в том, чтобы избегать этой самой жизни.» Чем от души веселил кратковременных своих спутниц.

Большие и малые житейские отправления Павел Сергеевич совершал, по его словам, «с большими слезами». Спросят у него: «Павел Сергеевич, как прошла воскресная рыбалка?» И хотя рыбалка была удачная, просто огромное количество выловленных карасей,– он отвечал с кислой улыбкой: «С большими слезами». «Как здоровье, Павел Сергеевич?» – и опять: «С большими слезами». Карьера? Кандидатская диссертация? Поездка в горы? Всё – с большими слезами, слезами, слезами... Так что холодный унылый дождь казался символом его длинной, невыразительной жизни.

Ему захотелось выпить пива. Пиво он вообще-то не любил. Но иногда, как он выражался, на него «находило», и он опорожнял в ближайшей пивной кружку-другую мутного, кисловато-горького напитка. Напиток был тяжел, как с трудом начинавшийся день.

Шел дождь, мелкий и нудный. На привокзальной площади, уложенная еще в позапрошлом веке австрийцами, мокро блестела брусчатка. Павел Сергеевич вздохнул и отвернулся. Нынешнее лето – такое мрачное и гнетущее, что хочется сидеть вот так целый день и цедить горькое пойло. «А ведь врачи запрещают», – равнодушно подумал он...

Пивной шатер с надписью «Максим» – для нерусской Галиции название довольно необычное – расположился посреди огромного круга привокзальной площади. Под мелким дождем мокли стада разноцветных такси, как и много лет назад, когда он в первый раз приехал сюда в отпуск. Казалось, время повернуло вспять, ему снова сорок четыре года, и с испугом, смешанным с удовольствием, он обозревает мутную перспективу Черновицкой улицы...

Таксомотор сделал разворот вокруг собора св. Анны и вымчал на загородное шоссе.

Сквозь сетку дождя Павел Сергеевич вглядывался в густые чащи распахнувшегося перед ним леса. Всматривался в голые убранные по-

ля – по ним бродили, задирая ноги, черно-белые аисты и время от времени вскидывали длинные клювы, чтобы проглотить мелкую добычу.

Когда автомобиль с радостным урчанием выскочил на прямую, как стрела, дубовую аллею, Павел Сергеевич подумал, что вот сейчас перед ним откроется, распахнется во всей своей неказистости знакомый курортный городок. С дубовой аллеи начинался торжественный въезд в поселение. Еще четыре, три, две минуты – и, словно по волшебству, перед ним возникнет («Слева... он должен находиться с левой стороны», – волнуясь, припоминал Павел Сергеевич) собор Покрова Пресвятой Девы Марии. Потянутся кривые, плохо мощеные улочки... И внезапно и молниеносно он потонет в туннеле из старых, развесистых дубов, помнивших еще императора Франца... А там покажется знакомая сетка ограждения возле административного флигеля и клумба с бледно-голубыми орхидеями...

В приемном покое тихо и полутемно даже в солнечную погоду. До блеска натертые полы пахнут мастикой, и сумрачный взгляд Девы Марии с иконы в вышитых рушниках скорбно устремлен прямо на него...

Смущаясь и волнуясь, он протянул молоденькой дежурной одетый в плотную коричневую кожу паспорт.

– С приездом, пан, – вежливо улыбнулась она, и сердце у него забилось.

«Как она на нее похожа. Боже, как похожа!», – ахал он, поднимаясь на свой этаж.

Сколько же лет прошло с тех пор?

«Мне было восемнадцать, – вспоминал он. – Пятьдесят шесть минус восемнадцать – тридцать восемь лет! Почти сорок! Целая жизнь!»

Банальные сравнения ничего к его воспоминаниям не добавляли, однако и не умаляли. Он вспомнил горячий июльский полдень сорок лет назад, южный загородный пляж. Тот злополучный день, когда, мучимый ревностью и подозрениями, он сорвался с работы и первым автобусом отправился в Юрьевку. От горячего песка поднималось густое марево, от блеска воды и солнца слепило глаза. Он болезненно щурился, вглядываясь в груды лежавших на песке мужских и женских голых тел. Но той, кого он так лихорадочно искал, на пляже не было. Он мысленно негодовал и возмущался: как так, он, Павлик Бессонов, с трудом выклянчил у директора эту поездку, а она...

Нет, она его не ждала. Он для нее слишком мал, мал и мелок. Простой рабочий сцены Дома культуры. Работающий временно, чтобы не сидеть без дела летом, до начала занятий в университете. А

она – признанный мастер сцены. Руководитель известного в Республике кукольного театра. Заслуженный работник культуры... Откуда ей знать, какие чувства испытывает к ней малознакомый молодой человек? И какие строит планы по ее завоеванию...

Как все влюбленные, Павлик мнил себя пупом земли. Он самонадеянно полагал, что Роза Нестерова тоже обратила на него внимание. В ту самую минуту, что и он на нее, – во время репетиции спектакля «Щи с топором». Он без конца переставлял убогую декорацию, изображавшую русскую избу, – главреж никак не могла определиться с оптимальным местом ее расположения. И Павлик тупо задавал один и тот же вопрос: «Так хорошо? А так? Приставить к заднику? Подвесить на штанкет?»

Она раздраженно отмахивалась, злясь и негодуя. Куда декорацию ни ставь, выходило еще хуже. Она уже ненавидела маленькую, тесную сцену, надоевший ей спектакль и неповоротливого рабочего.

«Сделай уже как-нибудь!» – в сердцах махнула она рукой.

Но ему, ослепленному ее красотой, казалось, что ее раздражение – всего лишь поза. Женское желание помучить его, прежде чем ответить взаимностью. А ему ничего другого и не надо... И он рисовал в воображении картины их будущей «большой» любви...

Розы нигде не было – ни на пляже, ни в пустом курортном городке. В голову полезли дурные мысли. Он подозревал, что Роза ему изменяет – и всегда изменяла. Даже здесь, прямо сейчас. В пансионате. В одном из этих беленых домиков на морском побережье. Иначе чем можно объяснить ее отсутствие!?

«Может быть, ее вовсе нет в пансионате? – пришла в голову спасительная мысль. – Уехала в город, они разминулись на автобусной остановке... И нет у нее никакого любовника!» На время он успокаивался, а потом снова мерещилось одно и то же: она, любовник...

Кто был этот человек и почему Павел о нем не знает, – об этом он не задумывался. А когда версия о городском возлюбленном Розы стала казаться ему очевидной, он придумал и версию их знакомства.

Познакомиться они могли... конечно же, на спектакле! Но молодые люди на кукольные спектакли не ходят! Следовательно, возлюбленный Розы – человек немолодой. Ему лет... тридцать, и он женат. Ребенок... Жена – толстая, некрасивая тетка, вот его и потянуло на молоденьких.

Да-да, все сходится. Он с семьей (инженер-металлург, самая крупная в городе популяция мужчин) отдыхает в пансионате. У него плановый отпуск, и Роза выбрала удобное время, чтобы приехать сюда с театром. Уговорила Петрашевского, наобещала ему невиданные финансовые сборы... Вот он и лезет из кожи вон: выбил для них

бесплатный домик, талоны на питание. Заказал грузовик, чтобы перевезти декорации, выделил рабочего сцены...

В пансионат должен был ехать Михалыч. Но Павлик уговорил Большого Ивана откомандировать его.

«Я моложе и шустрее. Михалыч комфорт любит, они не сработаются...»

«Ладно, поезжай, – сдался Большой Иван (рост один метр девяносто сантиметров). – На партконференцию останется Михалыч. Но смотри: не пить и не гулять!»

«Какие гулянки!» – возмущался Павел, трясясь в переполненном автобусе. В мыслях у него была одна Роза, самый прекрасный в мире цветок!

Цветов в пансионате было – море! Клумбы с темно-бархатистым львиным зевом и цветами табака – сиреневыми, белыми, лиловыми... По вечерам в городке – одуряющий цветочный запах, и на клумбах выделялись темные, в подпалинах, розы...

Белый песок похрустывает под ее босоножками. Он смотрел на загорелые щиколотки и белые носочки, на белое платье, оттенявшее загорелое лицо, удивлялся густоте и блеску волос цвета черной розы... Локоны она не завивала, как все девушки, – они сами у нее закручивались. Нежность охватила его крепкими клещами, и Павлик забыл о своих подозрениях...

...В номере он распаковал вещи и аккуратно – каждому предмету свое место – разложил по принадлежности. Ботинки на толстой подошве для прогулок в дождь поставил в обувной шкафчик, домашние тапочки – на пестрый домотканый коврик. Неновый синий костюм и галстуки повесил в темный, пахнущий дезинсекталем платяной шкаф. А прибор для бритья, мыло, зубную пасту и кремы – на стеклянную полочку в ванной.

Сливной бачок в унитазе был неисправен. Павел Сергеевич вспомнил, как он мучился с этим бачком в прошлый приезд. Особенно по ночам, когда глухой, непрерывный гул стекавшей воды напоминал шум горного потока.

Они сделали санитарную остановку неподалеку от Мертвого озера.

«На широком лугу на противоположной стороне озера, – вещала немолодая женщина-экскурсовод, пока туристы высыпали из автобуса и рассеянно озирались, – в 876 году войско князя Святослава наголову разбило полчища угров, вторгшихся в исконные земли древлян...»

Он стащил джинсы и по холодной, скользкой от падавших брызг

тропе пробрался к низвергавшемуся водопаду. Набрал полную грудь воздуха и стал брызгать себе на шею, лицо, руки...

Экскурсовод увлеченно рассказывала о сражении русичей с настырными уграми. Он ничего из ее рассказа не запомнил – ни подробностей, ни имен. Помнил только озеро, белое и как будто мертвое, нескончаемый шум и блеск ледяного потока, и как он стоял под ним, обдаваемый мокрой пылью.

...Жаль, он не может припомнить, в каком номере он тогда жил. Кажется, на третьем этаже – из окна хорошо просматривался цинковый купол храма Святого Луки.

«Цинк» на местном наречии – «блях». Смешное словечко потянуло цепочку воспоминаний. Вот утренний поход на местный рынок, суматошный и необильный. Дешевая огородная зелень, яблоки (кислые и сочные, как он любит), козье молоко, сыр... Скромную снедь продают с земли, присыпанной мелкой хвоей, моложавые, приветливые старушки. И сложное, в силу языковых трудностей, общение с аборигенами...

Он припомнил темно-зеленый парк, где свежо пахло карпатским деревом, – местные мастера выделывают из него миниатюрные шкатулочки, футлярчики для пастовых ручек, темные католические крестики. Торгуют свежими, только из леса, грибами, ягодами и целебными, от всех болезней, травами... В парке прохладно и сумрачно, пахнет телесной и древесной чистотой, влажной землей. Помолодевшие, поздоровевшие санаториане покупают у молчаливых гуцулов разнообразную мелочь: лукошки для ягод, расписной карпатский топорик, деревянные, грубо раскрашенные иконки. Весело хохоча, позируют со старинным кремневым ружьем возле чучела дикого кабана с острой, как у дикобраза, шкурой. Потный чернявый фотограф суетится, выбирая нужный ракурс: «Трошечки правише, пан!»

Воспоминания одолевают его, как будто он находится вдали от этих мест.

В отдалении (только что он принял душ и облачился в плотный джинсовый костюм) – в отдалении воспоминания имеют некоторый смысл, подумал он. Но почему они приходят к нему здесь, сейчас? Не проще ли – он взглянул на наручные часы: времени до ужина осталось мало, а нужно еще зарегистрироваться у дежурной медсестры, – переобуться, захватить зонтик (снова пошел дождь) и отправиться «к месту событий»?

Одеваясь перед балконной дверью, он решил, что в прошлый раз обитал все-таки этажом выше. Сейчас он находится на третьем, и крытая красным металлошифером кровля соседнего санатория едва заметна за верхушками леса, тогда как раньше он видел ее всю. «Хотя, – он

тут же возразил себе, – окружавшие санаторий деревья могли вырасти и разрастись за это время и заслонить крышу и санаторный корпус.»

Он знал, как проверить возникшее у него предположение. Завтра у него первое (как свидание с женщиной) посещение лечащего врача. Из холла последнего этажа – там располагаются кабинеты медперсонала и манипуляционные – открывались покрытые голубой пеленой отроги Карпат. Если он не ошибается и предыдущим местом его обитания был четвертый этаж, горы будут видны как на ладони. Они раскинутся во всю длину широкого окна, выходившего в санаторный парк. Если же его предположения неверны, он ничего не разглядит, кроме темной зубчатой стены леса да сероватой дымки дождя, затянувшей не только окрестности, но и безмерные карпатские дали.

Ему хотелось, чтобы он ошибся, чтобы прошлое повторилось в мельчайших подробностях, как будто тем он продлит свою жизнь. И хотя в действительности его жизнь ни от чего и ни от кого не зависела, в душе Павел Сергеевич продолжал надеяться. Он запрещал себе думать о плохом, потому что вместе с дурными мыслями приходит печаль, а ему не хотелось омрачать печалью последнюю поездку в Z...

Фалес был прав, утверждая, что основой всего сущего является вода.

Жизнь в городке Z. целых два столетия зиждилась на воде. Она ежедневно обрушивается на приезжих и местных обитателей в виде потоков дождя, бьет ключом из невидимых подземных источников, исцеляя недужные тела. Воду здесь пьют, смакуют; ею торгуют, как античные купцы египетским хлебом и самосским вином; одаривают ею приехавших из дальних и ближних городов и стран, как бесценным, немыслимой редкости сокровищем. Кажется, воду здесь даже едят вместо лепешек и козьего сыра. Простодушному приезжему представляется, что в Z. человеческому организму противопоказано все, кроме воды. Скажем точнее – вредно все постоянное и устоявшееся. Даже имя, данное два века назад заштатному местечку Австро-Венгерской империи, призвано стать обозначением главного качества воды – ее вечной и непреходящей текучести.

Значок «Z» является первой буквой немецкого слова «Zeit», что, как известно, означает «Время». А Время и Вода – категории одного порядка, первое провоцирует второе, а второе является метафорой первого...

Что касается моей персоны, то через четыре-пять месяцев я буду представлять собою один лишь дух. Без какой-либо формальной оболочки. Если, конечно, врач-гастроэнтеролог из частного диагностического центра «Фастдиамед» ничего не напутал.

«Плохи наши дела, молодой человек», – покровительственно заявил доктор Плесков («молодой человек» годился ему в отцы). Маленький, толстенький и самоуверенный, доктор Плесков пользовался безоговорочным авторитетом у пожилых дам и безнадежных больных. Его красивое, холодноватое лицо ничего не выражало, когда он объявлял от ужаса терявшему сознание пациенту очередной приговор. «У него потрясающая интуиция, – благоговейно шушукались в приемном отделении, пока доктор священнодействовал за дверью. – Он ни разу не ошибся...» За долгие годы безупречной практики доктор-онколог Роберт Плесков – Роба для особо приближенных – научился определять рак практически на глаз. С точностью до девяноста процентов.

Я кратко описал мои ощущения. Поколебавшись, Роба произнес тираду о том, как плохи «наши дела».

«Нужно обследоваться. Как можно быстрее. Тянуть больше нельзя.»

«Можно осенью? Не так жарко...»

«Почему бы нет», – говорило выражение его лица, пока он обдумывал свой ответ. По крайней мере, исчезнут комары и мухи, и в палате для приговоренных воцарится относительный комфорт.

«А сейчас я хочу в Карпаты. В последний раз...»

«Ну что ж, – пожал плечами Плесков. – В Карпаты так в Карпаты... Не возражаю. Но в октябре будьте готовы...»

Роба повздыхал и отправился мыть руки.

Я представил, как он намыливает белые, пухлые ручки, не забывая полюбоваться новеньким хромированным смесителем. Осторожно и тщательно протирает их салициловым спиртом, словно осматривает больного псориазом.

Мне его жаль. Судя по всему, меня скоро не будет. А ему еще долго мучиться с такими, как я. С его до розового блеска отполированными ногтями и танталовыми муками непрестанного накопительства. В кабинете с неизменным букетом свежих цветов и новенькими офисными шторами цвета кофе с молоком. Перед Робой маячил штормящий океан жизни, а передо мной открывалась радостная перспектива бессрочного отпуска. Детских каникул, которые никогда не заканчиваются, какую бы степень готовности к учебному году ни демонстрировал ученик...

Доктор Плесков с легкостью вспорхнувшей бабочки выплыл из-за ангельски белых ширм. На его лице сияла сладкая улыбка только что приехавшего дальнего родственника. «У нас не принято скрывать правду. Больной должен знать все. Какой бы горькой правда ни была. У всех неотложные дела, требующие завершения. На случай, если осенние анализы подтвердят наши предположения, – уточнил он. – Так или

иначе, наберитесь терпения. А пока – строгий режим, диета, ничего острого, кислого и соленого. И попейте вот это, – черкнул он на листке несколько неразборчивых латинских букв. – На первый случай... И захватите медицинскую карту, она понадобится санаторному врачу.»

Он рассуждал так, как будто меня уже не было. Я был не я, а медицинская функция. Субъект, чудесным образом превратившийся в бездушный, безмолвный объект.

«У меня нет родственников, доктор. И особенных дел тоже.»

Я не лукавил. В моем жизненном багаже покоились две с отменным блеском защищенные диссертации по римскому праву – науке, не требующей любви к жизни, и неудачная женитьба на женщине, которую я не любил. Потому что та, кого я любил, осталась за пределами моей жизни – там, где ничего не видно, кроме узкой полоски на горизонте.

В смысловых умолчаниях легко запутаться, если придавать им большое значение. Я – не придавал. Моя бывшая жена, тоже юрист, женщина с широким кругозором и широким монгольским лицом (по материнской линии бурятка), естественная блондинка, что, в свою очередь, делало ее похожей на отатарившуюся польку, была плохим адвокатом и хорошей домохозяйкой. Я бы никогда с ней не расстался, если бы она не была так посредственна. «В сущности, – критически оценил я себя, – в отношениях с Людмилой я был подобен доктору Плескову: функция для меня важнее импровизации...»

...Сама по себе лечебная вода моему пораженному неизлечимым недугом желчному пузырю вовсе не требуется. Просто напоследок меня осенила мысль посетить места, которые я любил.

Воспоминания о первом посещении Z. бесконечно меня трогают. Это связано с особенностями моей натуры, сладкую мнимость предпочитающей суровой правде. Или еще с каким-нибудь психологическим вывертом. Возможно, я совершил ошибку, приехав сюда, ведь в жизни ничего не следует повторять. Но бесспорное это правило мною же каждый раз и нарушается...

Снова пошел дождь. Над лесом повис туман, скрывавший очертания униатской церкви и покатую крышу соседнего санатория – все-таки я не ошибся, и судьба и прихоть дежурившей в приемном отделении медсестры определили меня в тот же триста первый номер. Внизу блестело под дождем решетчатое ограждение теннисного корта, и два венгра в шортах цветов национального флага (азиатский патриотизм!) с трудом волочили в подсобку мокрую сетку. От здешних непрестанных дождей веселеют только трава в санаторном парке да местный гробовщик. Все остальное – деревья, люди и небеса –

дышит всепоглощающей безнадежностью. Совершенно очевидно, что я попал на свое, искони мне принадлежавшее место...

Полная, грустная женщина в медицинском халате, с черной змейкой фонендоскопа на груди казалась частью этого совершенного в своей печали пейзажа.

«И все-таки напрасно я сюда приехал», – обреченно вздохнул я.

...От бывшей бильярдной осталась деревянная балюстрада, обшитая тонкими, крашеными зеленой краской досками. Остальное – крыша, стены, входная дверь и пожарная доска с прикрепленными к ней внушительного вида киркой, длинным брезентовым шлангом и красным металлическим конусом с песком – было произведением последующих эпох.

В помещении, переоборудованном в театральный зал, было сумрачно, пахло кошками и сухой пылью. Роза, красная и потная, с листами пьесы в руках сердито прохаживалась вдоль рядов. Утренняя репетиция шла из рук вон плохо. Более того, была на грани срыва. Актеры играли нехотя, то и дело запинались, и переживания сказочных героев и героинь выходили фальшиво и неискренно. Из-за невыносимого зноя – и это утром, в десять часов! – не хотелось шевелиться.

– Нуф, какой-то ты вялый! – выговаривала Роза толстенькой артисточке с глубоким декольте и выражением обиды на лице. У Розы был низкий, хрипловатый голос заядлой курильщицы. – Хищникам ты неинтересен! Хищные звери таких не любят. Правда, Волк? – насмешливо обратилась она к единственному актеру-мужчине Славику Елисееву. – Ты хочешь такого Нуфа? – указала она на потную, изнуренную жарой Наденьку Небе. – Не хочешь! И дети не захотят. Ни видеть его, ни сострадать....

– Роза Алексеевна, жарко! – теребя куклу за розовый пятачок, пожаловалась Надя. – Давайте на пляже порепетируем?

Павел сидел в стороне и безучастно наблюдал. Шла репетиция спектакля «Три поросенка». Премьера должна была состояться на днях тут же, в пансионате. Новый спектакль репетировали еще в городе, но за зиму так устали, что летом утруждать себя работой не было никаких сил. Сообща решили, что недоделки и недочеты исправят в Юрьевке.

Но то, что в городских условиях худо-бедно еще получалось, возле моря выходило совсем плохо. Вымученно и сухо. Равнодушно и вяло. Неудержимое отвращение к работе охватило всех. Когда с радостными восклицаниями и воплями артисты высыпали из автобуса и увидели ласковое море, белый песок и беззаботную публику, о спектакле сразу забыли.

Роза не скрывала своего отчаяния:

– Нам нужно радикально измениться. Всем. Восстановить ответственное отношение к работе. Если и дальше так пойдет, мы провалим гастроли. А это – крах! Мы и так не выполняем финансовый план.

В театре «Колобок» штат был небольшой: четыре молоденькие девушки-артистки, недавние выпускницы училища культуры, и тридцатилетний лохматый и полутрезвый Славик, бывший актер Театра драмы, изгнанный за пьянство.

Вялые реплики актрис, похмельное бормотание Славика и трагические монологи Розы, – все было знакомо и скучно. Павлик терпеливо ждал, когда закончится. Он любил Розу и терпеть не мог театр и актеров. Ему казалось, что театр он ненавидит из-за Розы. И актеров и актрис, неумных и неталантливых, ненавидит. Он не мог себе представить, что когда-нибудь полюбит артистку...

В кукольном театре молоденькие девушки исполняли самые разные роли: хриплых, грубых пиратов, стариков и старух, детей и солдат, царей и иванушек-дурачков, добрых и злых, плохих и хороших. Их способность к перевоплощению пугала и вызывала неприятные мысли. Павлик и к Розе подходил с той же меркой: если артистка – значит, лицемерка. Каждое слово, каждый поступок вызывали недоверие. Он замечал, как фальшива улыбка Розы, когда она разговаривает с мужчинами. С каким пренебрежением относится к работе. После премьеры бросается в дикий загул и не выходит на работу по несколько дней. Где она бывает и с кем – он старался не думать... Чем безалабернее и распутнее была Роза, тем сильнее его к ней тянуло. Словно в изменениях характера, привычек и желаний крылась подлинная причина ее привлекательности. Она была той и не той женщиной, о которой мечтал Павлик. Добираясь жарким июльским утром до побережья, он думал, что ничего о ней не знает. И никогда не узнает. Потому что Роза, несмотря на свою общительность, была женщиной холодной и скрытной. Однако вместо того, чтобы забыть, он хотел видеть ее снова и снова. Думать о ней. Тосковать... В его воображении всплывала она – небольшого роста смуглая красавица с крупными бедрами и черными, горящими глазами. Но внутренне это была совсем не Роза, а другой, незнакомый человек.

Все в жизни, когда принимаешься об этом думать, кажется другим, приходил Павлик к неутешительному выводу. Он не понимал, как его, спокойного и рассудительного юношу, могла захватить любовь к Розе. Он спрашивал себя, зачем он сюда приехал, ведь его никто не ждет, никому он здесь не нужен. И мысленно краснел, подыскивая слова, какими объяснит свое появление. Но Роза его ни о чем не спрашивала!

Реквизита и декораций кукольщики привезли совсем немного, на три небольших спектакля. Да, собственно, все спектакли театра

кукол Роза ставила так, чтобы не осложнять жизнь ненужными вещами. Ставили декорации и разбирали их сами, в считанные минуты. А реквизитом заведовала по совместительству актриса театра Алина Белогривцева. Так они и жили...

Покуривая, Павлик ждал, когда на него обратят внимание.

Первой к нему подошла Алина. Это была полненькая, смешливая девушка с усиками в уголках рта и широкой улыбкой. От Алины нехорошо пахло, одевалась она плохо, и у нее не было молодого человека. К вопросам любви Алина относилась с большим интересом. С энтузиазмом принимала участие в театральных и нетеатральных романах, знала, кто в кого влюблен и кто с кем расстался.

«Ты приехал из-за Розы?» – спросила она.

«Почему ты так думаешь?»

«Дай огонька...»

Прикурив, Алина с веселым прищуром глянула ему в глаза:

«Думаешь, это тайна? То, что ты в нее влюблен? Об этом все знают.»

Павлик Алине нравился. Стоило к нему подсесть, как она воображала себя его возлюбленной. Почти женой...

Павлик насупился.

«Кому какое дело...»

«Это верно. Но приставать к ней не советую. Пожалеешь.»

«Почему?»

«У нее роман с Большим Иваном. Уже давно. Ты разве не знал?»

В порыве восхищения Алина забыла стряхнуть пепел с сигареты. Серым комом он упал на сарафан с возбужденно вздымавшейся грудью. Она долго его не стряхивала – ждала, когда симпатичный рабочий с печальными, не пролетарскими глазами сдует его дуновением, похожим на поцелуй.

«Вот как? Я не знал...»

Алине можно было верить. Все знали, что она – глаза и уши Петрашевского.

«Большой Иван жутко ревнивый. Узнает – убьет!»

Алина гордо удалилась – на горстку пепла на ее груди Павлик не обратил никакого внимания.

Он посидел и побрел куда глаза глядят... В городке была жарко и тихо. Все народонаселение пансионата пребывало на пляже. На клумбах благоухали розы, и Павлик подумал, что он ни за что не осмелится подойти к ней и заговорить. Кажется, все на него смотрят и улыбаются: «Это тот, кто влюблен в Розу...»

После репетиции всей компанией отправились на пляж. Солнце

стояло высоко. Над морем реяли высматривавшие добычу чайки. Голые загорелые дети радостно визжали, швыряя распластавшимся в небе птицам корки прихваченного из столовой хлеба. Солнце, яркое и горячее, клонилось к западу.

Прошел, плавно скользя меж двух маяков, огромный теплоход, и Роза сказала, проводив его взглядом:

– Хорошо бы уехать...

– Куда, Роза Алексеевна? – стянула с себя сарафан Алина. – На Сицилию? К ревнивым мафиози?

– Но-но, – погрозила ей Роза. – Мафиози сами по себе, а мы сами...

– А вы, – не унималась, находившая, что масла в каше много не бывает, Алина, – и на Сицилии были бы не последней женщиной.

– Делать комплименты – обязанность мужчин, – натирая кремом и без того смуглое тело, отрезала Роза.

Павлик стащил джинсы и сел поодаль. Скрестил на коленях руки и положил на них голову. Прищурившись, деланно-пристально всматривался в морскую даль. Там было пусто, и на лазурной глади весело играли солнечные блики. От яркого блеска глаза быстро уставали, и он переводил взгляд на что-нибудь близкое: на хлопотливого, озабоченного Славика – тот вкапывал в песок большой разноцветный зонт. На девушек-артисток, раскладывавших провизию и купальные принадлежности.

Расположились поближе к воде, где было не так жарко.

Славик справился с непослушным зонтом и переложил в его тень одежду и сумки.

– Роза Алексеевна, идемте купаться!

– Идите, я позже.

Она закончила натираться кремом и вытянулась на подстилке.

Павлик видел, как наморщиваются и разглаживаются складки ее живота. Как тихо и медленно вздымается сам живот, а под не туго завязанным лифчиком нежно и призывно раскинулись смуглые, литые груди... И, глядя на нее, он каменел, замыкался...

– Ничем не можем помочь, – спокойный, негромкий голос докторессы едва долетал до его слуха. Как крики купальщиков на пляже. Когда напряженно вслушиваешься в глухие вопли на берегу, покоясь в мутно-зеленой морской глубине.

– С вашим диагнозом не следовало приезжать. Лечитесь дома.

«Она хотела сказать – умирайте...»

– Но это не окончательно, – возразил он.

Она недоверчиво покачала головой:

– Все равно. Поездка не пойдет вам на пользу.

– У меня были причины, доктор.

– Как знаете... – доктор Вр- или Бржесневская (он так и не запомнил ее сложную польскую фамилию) пожала плечами. – Лечение прописывать не буду. Но УЗИ придется пройти. Такой порядок... Рекомендации обычные: диета, водичка номер шесть и – полный покой. Каждую неделю – ко мне.

Ее крупное, затянутое в белый халат тело дрогнуло и колыхнулось.

«Вот и хорошо, – выйдя из кабинета, с облегчением подумал он. – Свободен, наконец-то свободен...»

Спускаясь по лестнице и поглядывая в окна, откуда открывался вид на горы, он забыл о неприятном посещении врача. Его ждал маленький, давно не виданный им городок с кривыми, разбитыми улицами, запахом леса, диковинных трав, орхидей и чего-то еще, что напоминало ему о молодости и здоровье. Ему хотелось прожить жизнь заново, придать ей характер счастья – хотя бы в воображении...

Спустившись вниз, он постоял у центрального входа с махавшей створками стеклянной дверью. Остановился перед фонтаном со скульптурой матери и ребенка – она напоминала копенгагенскую Русалку, такая же понурая и темная... На площади, как много лет назад, играли дети и сидели на лавочках, щурясь на бледном солнце, молодые мамы. За площадью простиралась лужайка с цветущим клевером, и он вспомнил, как на однобокой сосне жила маленькая черная белка, и местные ребятишки подкармливали ее хлебом и земляными орешками. Белку с дерева, где было так удобно поедать детские приношения, выжила черно-белая кошка – их много здесь обитает вместе с бродячими собаками, – и главврач санатория, дородный, осанистый мужчина в тесном халате и со строгим выражением лица, выговаривал сторожам: «Плохо работаете, вуйки. Везде животные бродят!..»

На зеленой лужайке, вспомнил он, высился – «почему – ‘высился’? – он и сейчас там стоит, никуда не делся!» – гранитный валун, и вся лужайка, когда небо прояснялось и роса блестела на солнце, выглядела по-скандинавски сурово и аскетично. Восторженно крича, по лужайке носились дети с легкими, прозрачными сачками, над цветами гудели шмели и реяли белые бабочки. Лужайка запомнилась Бессонову больше всего. Он поискал знакомый валун, ставший для него символом вечности, – и вспомнил, как собирал в глухой, отдаленной аллее камешки разных цветов и оттенков – от бледно-малахитовых и голубых до серых, с рубиновыми прожилками. В глубокой древности на месте Карпат простиралось первобытное море, от него и остались валуны и скалы, как в Финляндии, и камни неизвестного происхождения, попадавшиеся ему на каждом шагу, как в Коктебеле...

Он вспомнил свой обычный утренний маршрут. После завтрака, натянув кроссовки и куртку, он отправлялся бродить по окрестностям.

Нельзя сказать, что они были живописны. Хозяйственные и спортивные постройки в состоянии испортить самый трогательный пейзаж. А небольшой санаторный парк, прорезаемый дубовыми аллеями, слишком мал, чтобы бродить весь день. И он уходил на простор, где не было естественных или искусственных ограничений.

Дойдя до спортивного городка с крашеными брусьями, невысокой, до блеска отполированной перекладиной и железным столом для игры в настольный теннис, он остановился. «Здесь должен быть лаз, – вспоминал он, сомневаясь и заставляя себя поверить в невозможное. – Да, точно! Железная сетка, огораживающая спортивный городок и крашеная зеленой краской. А внизу была прореха, ее сразу и не заметишь... Да вот же она!»

Нагнувшись, он пролез через дыру, проделанную неизвестным ловкачом. И, раздвинув мокрые от росы и прошедшего дождя кусты ежевики, вышел на широкое асфальтированное шоссе.

Он облюбовал эту дорогу в свой второй приезд в Z., году в... э, да неважно! – для утренних пробежек, потому что шоссе было новым и гладким, и по периметру выходило как раз четыреста метров, классическая римская дистанция. Так удобнее отсчитывать круги. Его обычная утренняя норма – десять кругов, четыре километра, за это время он обдумывал одну-две главы диссертации и прикидывал систему защиты. Это должна быть блестящая диатриба по образцу Эразма. Легкая, остроумная, немного витиеватая, с ироничной похвалой в адрес оппонента – в последний раз это был Коровин, на все доводы только пыхтевший и задававший неумные вопросы...

Обойдя жилой корпус с тыльной, служебной стороны, он очутился перед черно-желтым шлагбаумом, здесь была граница санатория. По обеим ее сторонам цвели пионы и герберы – местный садовник как будто задался целью высадить то, что Бессонову и так было хорошо знакомо. А садовнику и дежурному в будочке, поднимавшему и опускавшему шлагбаум, было, наверное, лет сто. Потому что ничего с тех пор не изменилось – ни цветы, ни зеленые лавочки, на которые никто не садился, даже уставшие от крикливых, непоседливых внуков моложавые бабушки...

Этой дорогой ты уходил рано утром со стеклянным кувшином к бювету минеральных вод. Бювет, круглое, двухъярусное здание, окаймляла зеленая лужайка с подстриженной травой.

Трава в Z. была великолепна. Ярко-изумрудная, сочная, она не уступала знаменитой голландской, потому что произрастала в схожих условиях. Постоянные дожди летом, теплая короткая зима и почти полное отсутствие солнца...

Лужайка возле бювета была оформлена голубыми елями – по деревцу на каждой стороне, дабы не производить впечатления чрезмерности. Внизу – запоминай, надо же будет чем-то заполнить вечность! – топталась кучка людей с кувшинами, графинами и пластиковыми бутылками. Обычная утренняя очередь за водой из минерального источника... Эту воду, в отличие от той, что разливают в мерные стаканчики в бювете, употребляют не для лечения, а для утоления жажды, и сюда приходят не только жильцы санатория, но и местные, так как обычная вода в Z. – хуже некуда. Местные уверяют, что ею нельзя даже мыть машины, такая она зловредная, – странное исключение в краю целебных вод!

Он пожалел, что не захватил емкость побольше – «в последний раз, в последний раз!» – и, толкаясь среди входивших и выходивших, поплыл в живописной толпе в городской парк, глухой и сумрачный даже в самую солнечную погоду.

Парк был любимым местом его прогулок – отдыха, заключавшегося в непрестанном хождении и разглядывании женских, мужских и детских свежих, непривычно белых лиц, и он подумал, что это единственное место, о котором он будет вспоминать с подлинной ностальгией.

На сырой аллее, в тени столетних грабов он остановился у лотков с сувенирами. Громкоголосые агенты туристических фирм выкрикивали, перебивая друг друга, соблазнительные маршруты выходного дня: в Карпаты, на горное озеро Синевир, в Королевские замки Галиции или на фольклорные праздники в Яремчу. Предлагались и короткие экскурсионные поездки – «Львов дневной» и «Львов вечерний»; первая – с посещением старинных костелов и монастырей, а вторая обещала приятную прогулку по вечернему городу и спектакль «Тоска» в местной Опере.

Он выбрал первый вариант и купил билет на воскресенье. Потом сфотографировался на память («на какую память?») у бродячего фотографа; как-никак последний «живой» снимок. Для истории – «для какой истории?» Разве у него была, есть или будет своя собственная история, отличающаяся от истории миллионов умерших и сгнивших, превратившихся в чернозем земляных жучков?

На этом риторическом вопросе он вздохнул и, завершая прогулку, направился к Малахитовому дворцу – взглянуть на увитого лавровым венком цементного Аполлона с лирой и дородную Деметру с лукошком, полным винограда и фруктов...

– Я всегда здесь останавливаюсь, – объяснила она.– В этом дворце до войны снимала номера польская аристократия. Это был самый популярный курорт в Польше...

Он промолчал. Было неприятно, что она увязывала себя с польской аристократией, – ничего аристократического в ней не было ни внутри, ни снаружи. Он недоумевал по поводу своего юношеского ослепления – полюбить эту женщину было совершенно невозможно! При всем том, что – как выразилась старая французская писательница – у них были одинаковые следы ног на песке... Ему нужна была другая, совсем другая женщина. Сегодня нужна или вчера?..

К тому же она много говорила. Как будто боялась воцарения небывалой, вселенской тишины. И им обоим станет неловко – больше всего ей, потому что она сама навязалась ему в спутницы. А потом и в собеседницы, хоть они и не были знакомы. Просто в экскурсионном автобусе их места оказались рядом...

«Неужели я так изменился? Расплывшееся лицо, седоватая бородка... Сам себя не узнаю.»

Автобус последний раз судорожно дернулся и затормозил. Они вышли на площади Рынок, и она бесцеремонно взяла его под руку:

– Не возражаете? Я совсем не знаю город. Ведите и показывайте.

«Властная и бесцеремонная, как в молодости, – подумал он. – И такая же категоричная...»

Ее характер, когда-то нагонявший на него страх, вызывал досаду. Надо подцепить удобный случай и распрощаться. На первом же перекрестке... Больше всего ему хотелось остаться одному. Побродить по городу, который он давно знал и любил, в полном одиночестве.

«Могу я позволить себе такую роскошь, как одиночество? Хотя бы напоследок?»

Там, где он намеревался обосноваться – точную дату переезда никто не решился бы определить, – по его подозрениям, было так же шумно и многолюдно, как и на площади Рынок. Он вспомнил услышанную когда-то шутку. Прибывшая в царство мертвых новая тень спрашивает у ветерана: «Чем вы тут занимаетесь?» – «Блаженствуем», – мрачно ответил тот...

– Свободное время до восемнадцати часов, – громко оповестила белокурая девушка-экскурсовод. – Опоздавших ждать не будем. К ужину мы должны быть в санатории.

– Вы город знаете? Вижу, что знаете, – прижалась она к нему плечом, когда они направились к Ратуше.

Он поразился легкости, с какой она завязала знакомство и была готова его развивать. Это была другая женщина, совсем не та, что жила в его воспоминаниях. И он не знал, когда же он был самим собою – сейчас или много лет назад.

Он пробурчал, что город знает плохо.

– Покажите и расскажите. Все, что знаете.

– Мало времени...

– А я не собираюсь уезжать.

«Да, это она! Изображает недоумение, когда речь заходит о чужих интересах. О себе же печется неустанно.»

Он вспомнил старую историю. Перед поездкой в пансионат Большой Иван выделил кукольному театру две новые комнаты вместо одной, которую они занимали прежде. В большой комнате Роза распорядилась оборудовать репетиционную, а в маленькой устроила офис – место, где она принимала гостей и «решала вопросы». Большую комнату Петрашевский выделил, отобрав ее у детского вокального ансамбля. Ансамбль расформировали, как значилось в вывешенном на доске объявлений приказе, ввиду его «творческой несостоятельности».

«Роза умеет привязывать людей, – усмехнулась Алина. – Большой дипломат. За красивые глазки ни с кем не дружит...»

В том, что ее связь с Большим Иваном продиктована расчетом, Павел не сомневался. Что-то ему подсказывало, что любви тут не было и нет. Достаточно послушать, как она с ним разговаривает.

В знойный, безветренный день в пансионат нагрянул Петрашевский. Он остановился у старого друга, начальника лодочной станции. Это был угрюмый пожилой человек в капитанской фуражке, черный от загара. В молодости они служили на Тихоокеанском флоте, на сторожевом катере.

Осмотрев бывшую бильярдную и не поинтересовавшись вечерним спектаклем, Петрашевский с кукольниками отправился на пляж.

– Ты что, – раздувая ноздри и заталкивая в сумку потрепанный сценарий, выпрямилась Роза. – Меня выслеживаешь?

И с яростью процедила:

– Принеси мороженое!

Большой Иван вернулся с мороженым и шестью бутылками пива.

– Директор угощает, – плюхнулся он на подстилку.

Павлик видел, как брезгливо дрогнули губы у Розы. Как напряглась в ожидании скандала театральная братия...

Разряжая обстановку, Славик откупорил пиво и провозгласил тост «за прекрасных дам – наших спутниц по дороге жизни».

– Вот и отлично, – кивнула она. – А я-то думала, буду бродить одна.

Она была из тех женщин, кто мало знает, но обожает всезнающих мужчин. Судя по репликам, она не раз приезжала в Z., но так и не удосужилась съездить во Львов, и теперь не знает, куда идти и что смотреть.

«Странно, почему я не встретил ее раньше. В парке или бювете? Здесь же все знают друг друга...»

То, что она его не узнала, а он с трудом и оговорками признал в незнакомой женщине великолепную Розу, только подтверждало его подозрения. Безжалостное время хорошо поработало: он – лысый и некрасивый, а она – распухшая, разбухшая, – их бы не узнала родная мать. Только глаза Розы остались прежними – молодыми и горячими. Как у испанки или цыганки. Но ведь по глазам человека не находят, а теряют. Вот он и не придал значения их сиянию. Пока не догадался: да, это она, Роза...

Только старинный прекрасный Львов остался прежним, каким он его увидел и полюбил много лет назад.

– Почему вы молчите, рассказывайте! – дернула она его за рукав. – Вы смотрите, а рассказывать не хотите!

– Непременно. Только выберемся из толчеи.

Раньше она такой не была. Без устали болтала и пресекала любые попытки ее остановить. Вещать позволялось только Розе. Все прочие должны были внимать. Любопытной тоже она никогда не была. Но отличалась беспокойством характера, болезненным и самолюбивым, и казалось, все видела, все знает, обо всем имеет собственное мнение.

Он вспомнил ее суровый, презрительный взгляд, всегдашнюю гордыню... Ничего общего с нынешней простоватой, разговорчивой бабенкой. Да, время меняет всех.

Знакомое чувство искажения, разложения жизни прошлой (да и нынешней, разве можно поручиться за ее достоверность?) навалилось на него и не отпускало.

– Не молчите. Это – кто? – кивнула она на полуголого Посейдона посреди старинного фонтана.

– Владыка морей.

– При чем тут море, если кругом леса? Эти галичане чокнутые!

– Памятники ставили не они.

– А кто – инопланетяне?

И опять он вспомнил Розу, какой она была много лет назад. Вспомнил ее всю – с тонким, живым телом, источавшим такую красоту, что он задыхался от счастья. Прошлое зашевелилось и затрепетало, стало настоящим. И горечь от того, что его не вернуть, обернулась двойным наслаждением – так японцы кладут в клубнику крупинку соли, чтобы насладиться вкусом...

– Вроде того. Поляки, – с трудом выговорил он.– Они здесь жили. И город построили.

– Во дела! Что же они не торгуют – еще площадь «Рынок» называется?!

– Это пешеходная зона. Здесь устраивают ярмарки. А торговали по-настоящему только в старину...

– Откуда вы знаете?

Она окинула его насмешливым взглядом:

– Вы, наверное, профессор?

– Ну да. Но не истории.

– Все равно. Сразу видно...

Она его не узнаёт! И никогда не узнает. Не поймет, что вместе с ней по улицам Львова ходит, разговаривает и улыбается тот самый рабочий сцены из Дома культуры ее молодости, который любил ее так безответно. Такой горячей, искренней любовью, что она была неприятна. Он снова почувствовал дуновение прошлого – горячая волна плеснула и омыла его, и он заговорил, будто беседовал с собою.

«Ты не подумай, мне ничего от тебя не надо!»

«Тогда почему сидишь рядом? И смотришь на мои ноги, на мой живот. На соски и шею, будто хочешь меня украсть или присвоить?»

«Слишком много вопросов. Я так не могу...»

«Отвечай по частям, я пойму.»

«Одна еврейка именем Рахель оказалась после смерти на небе. И стала спрашивать у подруг: знали ли они отвергнутую любовь? Знали ли обиду? Заботу? Печаль? Подруги выслушали каждый вопрос и принялись громко рыдать, – на душе у них стало легче. По отдельности ничего не получается, нужна цельная картина.»

«И все-таки...» – сказала Роза.

Она лежала на подстилке, как статуя Венеры, если положить ее на песок и заставить раскинуть руки.

«Ты поразила меня недвижностью, как стрела Артемиды.»

«Тогда – оживи. Я приказываю!»

«Но я вбираю тебя всю! Ворую, присваиваю. Впитываю, как женщина впитывает горячее мужское семя. Мое семя – это ты. Не знаю, что из него вырастет, и вырастет ли. Но для чего-то же оно пролилось? Для чего-то важного.»

«Ты многословен, – подняла она голову. – И все затуманиваешь. Жизнь проста, неужели тебе не понятно?»

«Конечно. Но ты выводишь меня из игры. Мне хочется застыть. Отвердеть навсегда. Движение мешает мне любить.»

«Что значит – *любить*?» – повернула она голову.

«Не знаю. И боюсь, никогда не узнаю. Это слепота и прозрение одновременно.»

«Ты усложня-яешь, – протянула она. – Надо быть проще. И понятнее. Любят тех, кого понимают. Знаешь ли ты меня?»

Знаю ли я тебя? Можно ли знать другого,
Проникнуть в чужую жизнь, прожитую отдельно,

В мысли, сомнения, сны, в то, что затаено
Даже от нас самих? Только вообразить.
Я просто тебя люблю.*

«...Да, люблю и – не понимаю. Кто из нас прав, я или ты?»

«Конечно я, – твердо сказала она. – Иначе и быть не может. Если любишь, то говори прямо. Почему ты молчишь или отделываешься чужими стихами?»

«Не знаю. Какой-то ступор. Мне кажется, говорить не имеет смысла. Внутри что-то не дает. Кем-то наложен запрет на речь, она лишняя. И не имеет отношения к любви. Я, кажется, совсем запутался...»

Чтобы избавиться от ослепления, он стал рассказывать о храмах и монастырях эпохи Казимира Великого. И позднейших времен. Как будто это могло вернуть им молодость. Он решил показать ей все, что он знал и любил, – может, таким образом она станет им самим?

– Вот униатский храм святых Ольги и Елизаветы... – Он увидел его первый раз зимой – вечерело, снег голубел среди голых деревьев, напоминавших переплетениями веток систему кровеносных сосудов. На фоне краснокирпичной громады и готических шпилей бесконечно малы и сиры редкие прохожие и бесшумные автомобили, а деревянная резная будочка с надписью «Квіти» похожа на лесную избушку с наглухо заколоченными окнами...

– Или – церковь Св. Михаила, желто-песочная, с ажурными башенками и кровлей цвета персидской сирени – совсем маленькая, укромная, расположенная на окраине города, куда он забрел в поисках чудесного и таинственного, – среди спусков и подъемов старинной брусчатки и полного, неслыханного безлюдья...

– А дальше – любимые сооружения и городские пространства: глухая громада монастыря бернардинцев, похожая на средневековую крепость в окружении зеленых садов, костел Св. Апостола Андрея...

– И собор Св. Юра, словно клонящийся назад, если смотреть на него, задрав голову, с паперти, – с его ветхой, прекрасной лепниной и чудесной барочной лестницей, восхождение на которую требует от паломника невероятных усилий.

– Невысокое, желтое, вытянутое здание Львовской Политехники – технического университета, напоминавшего Михайловский дворец в Петербурге.

– Черно-желтый комплекс монастыря иезуитов – почему-то запомнилась старинная дубовая калитка с железным кольцом, придававшая угрюмо-возвышенной обители черты загородной простоты...

---

* Стихотворение М. Харитонова

– Я уже не говорю о площади Мицкевича со статуей Девы Марии в железном венце, красиво смотревшейся в скверике, обрамленном старинными чугунными фонарями, – напротив Галицкого центра киноискусства, и там же – прелестного магазинчика торговой сети «Монарх»...

– Или о той же площади Рынок, с которой мы уходим, перетекаем из тесного площадного пространства в замысловатые узкие улочки, заполненные туристами и праздношатающимися горожанами – любителями экзотических сортов кофе и органной музыки, доносившейся из отворенных дверей собора...

На площади, в открытых кафе под зелеными конвалиями – этот цвет ткани так идет лесной, изумрудной Галиции, что его можно заметить всюду: от пивных (он вспомнил шатер «Максим» на привокзальной площади) до дюралайновой рекламы ресторанов и банков, и на фронтонах старинных особняков, помнивших послов Ивана Грозного и Петра Великого... – так вот: в открытых кафе, возбуждая у прохожих смертельную зависть, блаженствуют за мороженым и соками красивые, элегантные девушки и их лохматые спутники. Я завидую легкому, незамысловатому счастью этих взрослых младенцев, сидящих просто так, в свое удовольствие, наслаждаясь летним теплом и синим небом.

...Но опять я ничего тебе не рассказал, ибо «все мое должно остаться во мне», как бы тягостна ни была ноша. Вон там, в летнем ресторанчике напротив Оперы, в некое лето от Рождества Христова я сидел на открытой веранде, поглощая только что приготовленную отбивную, и размышлял о скудеющих возможностях странноватого персонажа – моей тени, подобия или голограммы, искусно созданной на небесах. Они были поистине смешны и трогательны.

...Я поднялся и ушел, не сказав ни слова, – никто даже не оглянулся. Алина, Славик, Роза, Большой Иван – все были заняты друг другом, над всеми тяготел мучительный вопрос, и им было не до меня.

«Постой, – тронула в локоть Наденька Небе. – Ты в пансионат? Пойдем, я купальник забыла. А ты? Тебе куда-то нужно?»

«Нет, я так...»

«Бывает, – кивнула Надя, семеня толстенькими ножками. – Постой, я ракушку сниму...»

Она оперлась о мою руку и принялась потирать ногу – мелкая пляжная ракушка попала во впадинку между средним и безымянным пальцами и натирала ей мякоть.

Я поддерживал ее и злился.

«Извини, что озадачила...»

«Ничего. Это же не навсегда...»

«Навсегда не хочешь? А на время?»

Я смутился.

«Не знаю...»

«Почему Роза подбирает таких уродиц? Как будто мало симпатичных девушек! Разве дело только в голосе?» – Наденька мне не нравилась, и я не жалел черной краски.

«Что значит – ‘на время’? На какое время? Короткое? Продолжительное? И что значит: ‘короткий’, ‘продолжительный’... Ночь любви Марии Стюарт перед казнью была – какой? По времени – короткой, а по душевному наполнению – в целую жизнь!»

«Ну, ты даешь! – засмеялась Наденька. – Выходит, чтобы любовь была длинной, нужно, чтобы тебя казнили?»

«Вроде того.»

«Дурдом!»

«Кому какое дело...»

«Извини. Может, я не права. Может, тебя и казнили... Ты знаешь про Славика?»

Мы подошли к домику, где жили артисты.

«Что – Славик?»

«Ну как же. Он ведь живет с Розой. Здесь, в пансионате... Ты не знал? А я-то думала... Зайдешь на минутку? – поигрывая ключом, улыбалась она. – Поможешь переодеться...»

«В другой раз.»

«Смотри, другого раза не будет.»

И она хлопнула дверью...

...Помнишь старинный четырехэтажный дом неподалеку от площади Рынок? В путеводителях по Львову он значится как «Czarna Camenica» – «Черный дом». Потому что построен из черного камня, делавшего его заметным издали; даже на большом расстоянии его чернота и мрачность бросались в глаза.

Дом необычно узок и зажат между двумя соседними домами, и кажется, будто его сплющили. «Черную каменицу» построил в XVI веке для местного богача Лоренцовича архитектор Красовский. Здешний он был или приехал из Варшавы – неизвестно. Этот Лоренцович пожелал построить особняк из редкостного ребристо-угловатого камня, чтобы он казался вырубленным из серебра. Точно так же отливали серебром темные волосы Розы. Если к ним хорошенько присмотреться. У меня таких возможностей было две или три.

Один раз – в городе, в твоем кофейном офисе, – я пришел по

твоему требованию. Тебя интересовало, в каком состоянии декорации к сказке «Петушок – золотой гребешок».

«Мы же его не играем!» – удивился я.

«Что с декорацией?»

«Не знаю. Давно не смотрел.»

«Найти сложно?»

Твои глаза, волосы, цвет кожи – все казалось темным, даже черным, в комнате, отделанной в твоем вкусе. Мебель тяжелая, темная. Отделка, обои, реквизит – все глухое, испанское. Или цыганское – неприветливое, сумрачное...

Шторы плотно задернуты, хотя в разгаре солнечный день. Жалкий яркий лучик проник между неплотно прикрытыми складками и пал тебе на голову. Ты держала чашку с дымящимся кофе и смотрела. Твои волосы дымились серебром, и ты казалась седой...

«Не знаю. Я попробую.»

«Попробуй», – в углах ее рта мелькнула улыбка.

«Попробуй...» – повторял я, бредя на задний двор, где был склад декораций и реквизита.

«Попробуй», – мелькало в голове...

Чем настойчивее звучал призыв, тем меньше было желания что-либо предпринимать. Достаточно, что она позволяла на себя смотреть. Иногда – разговаривать. И, главным образом, – думать. Думать о ней...

...Ее блестящая седина бросилась в глаза еще раз в тот день, когда он поднялся, чтобы уйти, и она повернула голову ему вслед; он ушел с Наденькой, а потом узнал о ее связи со Славиком... С полупьяным, непутевым Славиком, которому по-настоящему она и руки бы не подала. Такой он жалкий и равнодушный...

Могло показаться, что в доме Лоренцовича располагалась масонская ложа. Но в XV–XVI веках в Речи Посполитой не было масонов, и в доме размещалась городская аптека. Посетителей встречал горельеф, изображавший лекаря с мешком, – очевидно, с целебными травами.

Какую траву нужно заварить, чтобы ничего не помнить?

– Они так лечились? Травами? И это всё?

Ее изумлению не было предела.

– Ну да. Мы многое забыли. Или не знали. Не бывает у человека болезней, какие нельзя вылечить травами.

– А как же медицина? – выглянула она из-под его руки.

«Надо же! Оказывается, она очень мала ростом. Совсем маленькая. Я и не знал. Или не замечал... ‘Что же ты замечал?’ – хотелось спросить себя. – Не знаю. Что-то не менее важное. А может, и более... –

Не выдумывай! Не бывает ничего более важного. Нет ничего существеннее тела и его особенностей, – она их никогда не скрывала. Ты же замечал только себя. Ты сам себе бросался в глаза. С твоими подозрениями и ревностью. С робостью, равной твоей любви. Любовь ты превратил в наказание. Потому что она была тебе не нужна. Твоя любовь – следствие более глубокого чувства, и ты всю жизнь бился над его разгадкой. Значит, это вот-вот случится, совсем скоро. Ждать осталось недолго. Меня даже дрожь пробирает от нетерпения, так хочется расставить все точки над i!..»

– ...Вы не ответили! – дергала она его за рукав.

– Что? Ах, да... Медицина была сосредоточена в монастырях. Я имею в виду – инновации. Как и книжное дело... И многое другое. Поэты в Средневековой Европе тоже были из монахов...

– Поэты – ладно, – отмахнулась она. – Это неинтересно. А вот медицина...

– Вы ничего не читаете? – удивился он.

– Ничего. Когда работала – читала, это было нужно для профессии. А сейчас – нет. Сейчас я свободна.

– А то, что мы разговариваем, пытаемся что-то выяснить?

– Это как журчание воды. Признак жизни. Вы – признак!

– Мерси!

– Рассказывайте дальше, – засмеялась она, и он подумал, что раньше она не была так естественна. Что само по себе неплохо. А может, и всегда была, но он не замечал. А видел то, чего в ней не было. Да, она простая, искренняя женщина, и все вопросы можно было решить с помощью шутки или удачно сказанного слова. Ничего не следует усложнять и выдумывать. И воображать бог знает что...

Но почему! Почему сейчас я думаю и воспринимаю ее иначе, чем в молодости? Ведь Я остался Я, а не Он? И вчера, и сегодня я должен оставаться самим собой. Думать, как вчера. Чувствовать, испытывать те же эмоции. Любить, ненавидеть... Но я-то вижу, что я – другой. Меня нет и не было никогда. То, что сегодня кажется признаком правоты, завтра будет свидетельствовать об обратном....

– О чем вы хотите, чтобы я рассказал?

– Все равно, – заявила она, вертя головой. – Только не молчите. Терпеть не могу молчунов. Они как мешком прибитые...

– Хотите, расскажу про монастыри?

– Дались вам монастыри!.. Ладно, только покороче.

– Помните собор Святого Юра?

– Ну да. Что такое «юр»?

– Ну, это легко. Собор этого имени был построен Даниилом Галицким. Собор Святого Георгия Победоносца. Старый собор был

деревянный и сгорел. На его месте соорудили каменный и дали ему такое же имя. Святой Георгий – покровитель этих мест.

– При чем тут Георгий?

– Георгий и Юр – это одно и то же. Имя Георгий со временем превратилось в Гюрги, а потом в Юр.

– Неужели? – покачала она головой. – Так просто?

Он рассмеялся. Ему было приятно ее невежество – оно плавно переходило в восхищение его умом и знаниями. Он почувствовал себя владыкой, способным отдавать любые распоряжения, – они будут выполнены охотно и с любовью.

– А дальше?

– Я хотел рассказать о монахах. Настоятелями собора Святого Юра были монахи-василиане. Это такой орден у греко-католиков. Аналог ордена иезуитов. Только для Литвы и Украины.

– Вы любите монахов? – покосилась она.

– Каждый к концу жизни становится монахом. Не потому, что человеку мало нужно. Иногда требуется так же много, как и в молодости. Просто отношение к жизни меняется.

– Это как?

– Становится безразличным. Она уже не так интересна. Повторяется даже в мелочах... Знаете что? – глянул он на свою спутницу. – Здесь есть хорошая кавярня, давайте заглянем. Вы любите кофе?

– В молодости любила, а сейчас нет. Давление повышается.

– Тогда будете пить воду или сок. А я закажу кофе.

– Вам же нельзя. Вы пьете минеральную воду.

– Я не пью, – пожал он плечами.

– Тогда что вы здесь делаете? – удивилась она. – Сюда приезжают пить воду, а не кофе. И платят большие деньги!

– Наплевать! – засмеялся он. Ему доставляло удовольствие его молодечество и ее недоумение.

От кофе ему действительно становилось нехорошо: появлялись тошнота и боли в боку, и он старался его не пить. Но тут как бес в него вселился: хотелось снова стать молодым и здоровым.

В кавярне, маленьком, уютном заведении, стоял приятный запах жареных зерен, и он почувствовал прилив жизненных сил. Как будто вернулись здоровье и жажда жизни. Он пил кофе, его принесла молодая, улыбчивая девушка; его спутница потягивала воду, и если закрыть глаза, могло показаться, что ничего в жизни не изменилось или время вопреки законам физики повернуло вспять.

«Как я люблю тебя! – и хотел бы смотреть на тебя вечно. Помнишь, я рассказывал библейскую притчу об Аврааме? Каждый

вечер он сидел у шатра и смотрел на заходящее солнце. Самое прекрасное в жизни – наблюдать вечное. То, во что превращается твоя жизнь. И ты уже не знаешь, вечна она сама по себе или благодаря твоему вмешательству. Ты – мое заходящее солнце...»

«Но люди созданы для другого! Наблюдение и любование свойственны недвижным и беспомощным – инвалидам или больным. Ты молод и здоров, что еще нужно?»

«Видишь ли. Они не доставляют радости. Меня тяготит присутствие других. Не вне меня, рядом, а – во мне. Я с беспокойством ощущаю их присутствие. И предпочитаю держаться от них в стороне. Но они упорно и настойчиво проникают в меня. Похоже, у меня по жизни другая задача. Но я не знаю, какая...»

«Я не поняла! Разве может быть другая задача? Кроме той, что предложена рождением, – задача жить. Только жить. Не думать, не осмысливать, не колебаться, – жить по образу и подобию муравья, ползущего по своим муравьиным делам.»

«Но это страшно, Роза! Стыдно и страшно чувствовать себя муравьем. Такая задача меня обедняет. Делает похожим на компьютер – ничего в нем нельзя изменить без ущерба для конструкции. А значит, и для предложенной задачи. Стоит вмешаться, как задача меняется... Но вмешиваться тебе не дают – ты простой исполнитель.»

«Так устроена жизнь. Разве ты не видишь?»

«Не вижу! Но вижу, что она нелепа.»

«Не смеши меня!»

«Вспомни утро следующего дня после того, как я уехал. Сначала в город отправился Большой Иван – так же внезапно и нелогично, как и приехал. Потом – я. Ты проснулась в деревянном домике, вашем коллективном месте обитания, около восьми утра.»

«Откуда ты знаешь? Тебя же не было.»

«Я вижу, как ты напряглась. Боль жжет твою душу. Как в то утро.»

«Не продолжай...»

«Не я затеял, не мне и заканчивать.»

«Мне действительно тяжело.»

«Придется потерпеть. Вытерпеть все заново, как в то утро. Иначе ты не поверишь. Не поверишь, как страшна жизнь. Так вот...»

«Не надо!»

«Нет, нужно. Ты проснулась от криков, доносившихся со стороны административного корпуса. И спросонья ничего не поняла. Прибежала медсестра Никитична, полная, хрипевшая от одышки женщина. На ней лица не было. Она что-то кричала про Славика. Ты очнулась, словно тебя окатили водой. Задыхаясь, помчалась на мор-

ской берег. Там толпился народ. Отчаянно жестикулируя, все что-то громко рассказывали. Женщины отворачивались и плакали. На песке истекал кровью Славик. Над ним склонился доктор, студент-практикант Валик. Бледный, с дрожащими руками. Он рвал простыню и перетягивал места, где должны быть ноги. Но ног у Славика не было! Вместо них торчали окровавленные обрубки. Хмурый, небритый мужчина в шортах рассказал, как все было.

Славик утром отправился на пляж – он любил купаться в море на заре. Из-за мыса выскочил катер и на полной скорости помчался на него. Славик не успел увернуться. Работающим винтом ему отрубило ноги. Славик дотянул до берега, а катер мгновенно исчез – умчался в сторону Мелекино...

– Я рыбачил неподалеку и вытащил его из воды. Он был еще в сознании, – сипел рыбак, жуя огрызок потухшей сигареты. – Вместо ног торчали куски. И ручьем лилась кровь. Ясно, что долго он не протянет. Сестра вызвала скорую, но когда та приехала...

Рыбак отвернулся и махнул рукой.

Ты этого не слышала. Не слышала сбивчивых объяснений и версий – одни толковали о случайности, другие были уверены в злом умысле. Ты выла, как умирающая волчица. Тебя невозможно было унять. Наденька и Алина держали тебя за руки. Ты билась и рвалась к умершему – теребила его волосы и требовала, чтобы он встал и пошел в столовую: нам пора завтракать... Ты совсем потеряла рассудок. И я подумал: хорошо, что меня с вами не было. Во всем, что случилось, ты обвинила бы меня. Любящим требуется козел отпущения, и его находят среди нелюбимых.»

«Я не думала о тебе. Мне было не до этого. С чего ты взял, что я тебя возненавидела?»

«Так бывает. Так бывает, когда ничего не остается. Я знал, что лучше к тебе не приближаться.»

«Может, ты и прав. Но может – и нет. Никогда ничего не знаешь. Не знаешь, как себя поведешь.»

«Это верно. Тогда я больше думал о себе.»

«В этом все дело!»

– Долго мы будем сидеть? И молчать? – спросила она, когда молчание затянулось. Мой кофе был выпит, как и ее вода. Улыбчивая официантка получила то, что причиталось, и они не знали, чем занять оставшееся время. Экскурсионный автобус будет ждать возле Оперы в четырнадцать часов.

– Вы обещали не молчать, а думаете о своем!

– Что еще?

– Нам не хватает доверия, – заявила она. – Мужчинам и женщинам катастрофически недостает доверия!

– Возможно.

– Чтобы стереть непонимание, есть только один способ...

– Не уверен.

– По-твоему, их больше?

Он поразился, как легко и просто она перешла на «ты».

– Не уверен в его эффективности.

– Надо не обдумывать, а браться за дело!

– Хорошо, я постараюсь. Сколько у нас времени?

– Целая вечность.

Они вышли из кавярни, она взяла его под руку, и он почувствовал, как внутри что-то дрогнуло, как хвост запевшей птицы.

«Сколько у нас времени?» – «Час. Целый час, пока ты решишься». – «Почему ты остановилась на мне? Ведь рядом столько мужчин?» – «Я не выбирала, это произошло само собой». – «Куда мы идем?» – «Куда хочешь. В любой отельчик, их тут много!» – «Но можно и подождать, – возразил он. – В Z. было бы удобнее...» – «Я не думала об удобствах! – возмутилась она. – Это, мой милый, не главное. Главное – все сделать вовремя. Нос нужно чесать, когда он чешется», – и первый раз в жизни он почувствовал себя нужным. Этой женщине, городу, его собственной уходящей жизни. Неважно, любил он эту женщину или нет. Желанна она ему или принудительно востребована. Ему хотелось думать о ней и о том, как они вместе проведут остаток дня, – это будет увлекательное времяпрепровождение. Внешние обстоятельства будут восприниматься ими смутно и отрешенно. Главными будут они сами.

«Хорошо, давай туда!» – кивнул он.

Они брели узкой Шевской улочкой, как фланирующая супружеская пара. Потом еще какой-то старинной улицей, – она была полна припаркованных автомобилей и праздной, нарядной толпы. В полутемных особнячках разместились парфюмерные лавки и булочные, закусочные и бистро – из настежь распахнутых дверей тянуло запахом кофе и куриного бульона. На улице находилось место всему – крошечным магазинчикам готового платья, где даже двум покупателям было тесно; парикмахерским такого же миниатюрного размера, с запахом мужского парфюма и шмелиным жужжанием машинок для стрижки волос; часовым мастерским, напоминающим пенал, во главе которого у самого закругления восседает низко склоненная голова и время от времени вздымается черный глаз оптики, когда мастер вздрагивает на серебряный звук стекляруса – случайный посетитель входит в мастерскую, раздвигая, как волны, серебристые висюльки – по фэн-шуй...

Впереди и сзади, на всем протяжении, на фасадах старых, про-

копченных временем домов, пестрела реклама домашних цветов, редких лекарств и медицинских препаратов, скобяных изделий, бижутерии, фраков и платьев для новобрачных, канцелярских товаров, галицких сладостей и галицкого пива; она непрестанно вертела головой, готовая выразить изумление, но умолкала от восторга перед обилием товаров и услуг, позабыв о цели их неустанного брожения, – так пленяла ее женское воображение материальная красота мира.

Он не спешил спускать ее с небес. Ему доставляло удовольствие видеть то, на что обращала внимание она. Довольно усмехаться, когда по-детски искренно и непосредственно она радовалась красивому магазинчику или выставленным в витрине модным женским босоножкам – «посмотри, какая прелесть!» Наслаждаться ее ахами и охами при виде какой-нибудь шляпки или особенно яркого, расшитого блестками платья, похожего на ночную сорочку. У него было ощущение бесконечно длящегося дарения. Он ли дарил ей себя или она безыскусно и искренно дарила ему свою душу и плоть – подробности неважны при их полном и безоговорочном равноправии. Он свыкся с мыслью, что она всегда присутствовала в его жизни и была такой, какой он увидел и понял ее здесь, во Львове. Та, другая, таяла, растворялась в новой, незнакомой Розе. В другой женщине и с другим мужчиной, хотелось добавить ему. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. И с его лица не сходила робкая, блаженная улыбка.

Когда они вошли в номер крошечного отельчика неподалеку от магазина цветов – более чем скромный номер в мансарде, треугольный и покатый, с большим светлым окном, выходившим на шпиль Ратуши, – и она упала, распласталась, отдыхая от хождения и смеясь от восторга, на широкую застеленную кровать, он глупо и счастливо улыбался, как будто боги даровали ему бессмертие, – незаконные боги далеких непризнанных островов...

...Она нахмурилась, как будто его решение было оскорбительно.

Что ж, подумал он. Так устроены все женщины. Любое мужское начинание они воспринимают сначала в штыки. И только потом принимаются взвешивать, обдумывать и... признавать.

«Все-таки, я не понимаю, – сделала она обиженное лицо. – Ваше решение так нелогично...»

Он возразил расхожей фразой из старого философа (читанного тысячу лет назад): «Логика, мадам, – это потусторонняя ценность». То есть – нечто, принадлежащее исключительно ему одному. Только он вправе самостоятельно распоряжаться такими понятиями, как целесообразность и необходимость. В силу своего почти уже нездешнего существования.

«У вас не так все плохо! – воскликнула она. – УЗИ показало полип, а это не приговор. Так что вы могли бы остаться...»

«Я все решил, доктор!»

«Ну, как знаете. Ответственность за ваш отъезд санаторий не несет... Когда вы уезжаете?»

«Завтра. В девять пятнадцать.»

«Билет у вас на руках?» – с сомнением переспросила она.

«Билет я куплю завтра. На вокзале во Львове.»

Мысли его путались, он то задумывался, то переставал думать, если его внимание отвлекала какая-нибудь картинка. Тот же аист, задумчиво стоявший на одной ноге посреди убранного поля, косая штриховка начавшегося дождя, мужчина на автобусной остановке, накрывший голову портфелем и отчаянно махавший рукой, несмотря на то, что водитель маршрутки и без того сбавил скорость, чтобы остановиться...

Обратная дорога во Львов не вызвала у него и десятой доли волнения, испытанного несколько дней назад. Отметив случайное дорожное событие – менявший на дороге спущенное колесо водитель серебристой «Мазды», прелестный пейзаж, лесная просека, мокрый луг с пасущимися коровами, – Павел Сергеевич отворачивался, погружаясь в полусонное состояние.

Удивительно, но после дня любви с новой Розой, вытеснившей из его памяти прежнюю, молодую и прекрасную, мир как будто перевернулся. Любимое стало нелюбимым, а то, что заставляло морщиться и негодовать, обрело черты закономерности. Стало глубоко симпатичным, чего он совсем не ожидал. Простенькие суждения Розы, ее интерес ко всему житейскому, мелкому; ее привычки и догмы, привязанности и фобии внезапно, в силу некой озаренности, осветили его судьбу последним ярким светом. Он не сомневался, что его жизнь подошла к концу. И когда он покупал билет до конечной станции, садился в вагон поезда и ощутил мягкое плавное кружение – поплыла в окне – в последний раз! – платформа львовского вокзала со старинным фонарем и каменной вазой с цветами, – он понял: это – все. Finita. И что путь его не имеет продолжения и остановок, он подобен течению реки с задумчиво глядящим в ее воды маленьким смуглым римлянином, сказавшим: «Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi»*.

3 июня 2013

---

*«Я прожил жизнь и прошел путь, который предназначила мне судьба» (*Вергилий*).

Андрей Драгунов

ЭНТОМОЛОГИЯ

Яркое созвездие знакомых –
по учебнику еще, еще из детства.
Длинное гуденье насекомых
вечером под фонарем. Одеться
не мешало бы – в прохладный вечер мая
ветер еще холоден и резок.
Воробьев растрепанная стая
бьется в купол фонаря. Отрезок
времени с подлета до съеденья,
что падение звезды с небес на землю.
Майский жук за радостное пенье
захлебнулся кровью. Кровь на землю
пролилась и растворилась в пыли.
Шум умолк под фонарем и крылья
разметались в небе. Жили – были...

НАТЮРМОРТ

1

Стоваттная свеча под потолком
сжигает тонкий ситец абажура
и стены комнаты вбирают хмуро
свет в воздухе разлитый молоком.

Разбрызганный по стульям и цветам
в горшках на подоконнике горбатом
на швабру переходит, что солдатом
стоит в углу, на первобытный хлам

по комнате разбросанный то там,
то тут, на сломанный светильник,
висящий над кроватью, на будильник,
стоящий рядом. Снова по цветам.

По тонкому сплетенью их стеблей,
переходя от пестика к тычинке.
По выцветшей давно уже картинке,
по девочке, смеющейся на ней.

По выпитым когда-то на троих
бутылкам под газетой, по пластинкам,
по одиноко брошенным ботинкам –
давно уже не надевают их.

2

Сломавшийся когда-то патефон,
пустой аквариум, разбитая посуда,
газет истлевших собранная груда,
давно не говоривший телефон,
залитый чаем стол, раздавленная муха,
на два разломленная корочка батона,
три лепестка, упавшие с бутона...
И звук не различаемый для слуха –
с той стороны оконного стекла.

А с этой стороны все, как всегда:
разбитая посуда, пустой аквариум,
газет истлевших груда,
сломавшийся когда-то патефон,
залитый чаем стол, раздавленная муха,
давно не говоривший телефон,
и звук не различаемый для слуха...
Немой будильник, сломанный светильник,
горбатый подоконник, швабра, пол,
стол, стулья, девочка, распитые бутылки,
окно, кровать, стена, опять окно
и лампочка под потолком, и тонкий ситец абажура
мотыльком
прильнул к стеклу –
все тянется к теплу...
Все, как всегда:
разбитая посуда...
И голоса, что могут без труда
сказать: «Смотри, как падает звезда...»

* * *

Я слушал пение сегодня, в понедельник,
какой-то девочки – за мелочь или булку...
Подземный переход на Комсомольской
был полон, как всегда в такое время –
обеденное время. Кто-то деньги

бросал в коробку и спешил уйти
от места слабости своей подальше...
Никто не слушал – как она поет!
Был понедельник, я спускался вниз,
в подземный переход на Комсомольской
за свежим номером газеты, кто-то пел.
Из-за угла я никого не видел...
Пройдя чуть дальше – девочка стояла
и пела – голос выходил из подземелья...
Испачканное, милое лицо... и звук,
дробивший стены подземелья на мелкие куски.
Я слушал и заслушивался – эхо
кружило меж людей в подземном мире,
не выходя из темного пространства – наверх,
боясь само себя разрушить... Я стоял,
как вкопанный и плакал. Понедельник
мне показался самым лучшим днем...
И девочка, что пела в подземелье, и жизнь,
что так не любит чистый звук,
что поднимаясь из глуби пространства,
уходят дальше – к облакам и звездам!

INTEREGNUM

1

На границе Империи, где кончается Волга и степь –
начинается смерть, и курганы хоронят все золото грешного мира –
умирает история, чтобы уже не смотреть,
как вдогонку летит, разогнавшись, со свистом секира.
Край заброшенных диких степей, где от конских копыт
и от конского пота дурман над травою витает –
век спустя, от чего человеческий голос дрожит –
не способный ни петь, ни кричать. И навек замолкает.
Область бывшей орды, область свиста и диких людей,
горьковатой полыни и редкого запаха мяты.
Область выжженных трав и сожженных, мочой лошадей,
очень редких цветов, что так часто копытами смяты.
Часть Империи, где только вымысел больше любви
и где сны продолжают все то, что любимо людьми –

2

здесь, где гибнет история и где Стенька мочалил княжну,
здесь, где тень от травы покрывает могилу солдата,
здесь, где Волга не гонит уже на песчаник волну –
ударяет о камень и с шумом уходит обратно.
О, поволжский суглинок, растоптанный в грязь сапогом,
перемешанный с кровью и потом на пыльных дорогах.
О, разбитая жизнь, что кидала страна напролом –
замерзать по колено в грязи и в глубоких сугробах–
здесь приют и покой, среди выжженной солнцем травы,
под которую лечь и уснуть, и не помнить о жизни,
среди потом пропахших цветов, среди этой жары –
в этом длинном, степном варианте любимой Отчизны.
Здесь, где свет преломляется только о мертвый зрачок –
о любви к песнопеньям и к жизни короткой – молчок.

3

Я, потомок нездешних, приехавших с дальних земель,
но с такой же реки – сын бездомного головореза,
в просторечье – разбойника, пережившего свой юбилей
лишь на пару часов, поспешив на свидание с дедом,
что прошел две войны под приказом – ни шагу назад,
но за хлесткое слово разжалован был в рядовые –
завсегдатай немецкой культуры, российский солдат,
лейтенант-губернатор, спаситель – теперь в вестовые.
В этом мерзлом суглинке тебе, как под Божьим крылом –
рядом с сыном, оставив в наследство – о прожитом жалость
и семь слоников белого, карского мрамора, что за стеклом
хоронятся от пыли, но какая же все это малость –
ты же знаешь, что нам предстоит еще встретиться вновь,
чтобы снова найти для беседы – слова и любовь.

4

Здесь, где речь, как трава – прорастает сквозь мертвый пейзаж,
и деревьев не встретишь – лишь в виде крестов и ограды,
и домов повалившихся набок – все лишь антураж
в оформленьи степи. С небесным строением рядом
облака проплывают, теряясь у кромки воды –
у великой реки и делов-то – топить чужестранцев –
инородцев в другом варианте, смывая следы,
чтобы чистый песок лишь сочился меж высохших пальцев –
здесь, где речь, как вода – завершает течение лет,

отражение множа ветвистым рисунком из листьев,
из прожилок их тонких, что видно, когда на просвет,
дополняя рисунок расцвеченной облаком выси –
здесь, где речь, проплывая за облаком, тонет в воде,
дополняя пространство – мне шепчет о новой беде.

5

А вокруг ни души – пара сусликов, брошенный дом.
Ни раскосого взгляда татаро-монгольского хана,
ни тягучего пения, ни собачей игры за окном –
ничего вообще – в ожиданьи «грядущего хама».
Мне отсюда не видно уже – ни коней, ни копыт,
мне не слышно отсюда зековского пьяного мата,
что в своих вспоминаниях бережно память хранит –
также бережно, как охраняет травинка солдата.
Мне отсюда – туда дотянуться, как в старом кафе
дотянуться до соли, но пальцами не дотянуться
до прожитого кем-то в угаре на санной софе,
на соломке в избушке... Как в прошлое не окунуться! –
здесь, где смысл имеет лишь то, чем чернеют листы
и лишь то, что скрывают от смерти слова и мечты.

Сергей Шабалин

* * *

Памяти Евгения Реутова

Я вспоминаю наш побег из зоны –
там гипермаркет был и кегельбан,
спецназ в охране (пушки заряжены),
запрет на водку и на виски бан.
Кинотеатр дышал масскультом в спину,
благо сеансы были коротки.
Нам разрешали квас и даже пиво
и запрещали шепот и стихи.
Но следуя своим приоритетам,
сквозь зал, что подозрительно угрюм,
мы вниз по коридору, к туалету,
затем в окно, рывок по пустырю...
И возмущались лагерные профи,
сверставшие карьеры в трудодни –
им камера светила... то есть офис,
зарплаты и откаты, а они...
сквозь брешь в заборе... Туловища, ноги
и зыбкие границы спящих стран.
Совсем без карты, в никуда, в Икстлан.
Без документов. По большой дороге...

* * *

До поляны в банановом штате добраться хотелось.
Поселиться в палатке и в джунглях зарыть ноутбук
и хранить наркоту в табакерке, но как-то не пелось...
В фиолетовых кляксах дорог не отсвечивал Юг.
А за гранью небесной уже полыхали ракеты
и магистры из НАСА терялись в сетях диаграмм:
не обрушился б Челленджер снова, но я не об этом...
От полярных сияний двух бездн защищая экран,
я оранжевых вспышек боялся и сини далекой, еще бы –
с каскадерами высей рисково по-детски чудить.
Край вечернего неба срастался с торцом небоскреба,
как космический холод, что встретит бойцов впереди.
С непонятной и зыбкой границей на стершейся карте
мне, как прежде, не просто – а может, не та магистраль?
И венчающий холод зимы растаможив из шкафа,
надеваю поношенный свитер, впитавший февраль...

* * *

Памяти Алексея Даена

В «Сентрал-парке» декабрь
нелюдим и коричнево-строг.
Но в проемах меж снегом
еще шевелится трава...
золотая трава сентября
и пылинки заката.
Но о чем я? Конечно, ты знаешь об этом.
Слышишь цвет наших слов,
шелест трав, но не спустишься вниз
в человечий походный котел, в монотонность
монолитно-бетонных конструкций,
в стеклянные боксы,
где мы вновь увязаем в проектах,
возможно, смешных...
Деловые колбасы другими не стали...
но довольно о них.
Для чего этот гул? Слушай, Даен,
неужели мы больше не выпьем с тобой на двоих?

Алексей отвечает: декабрь – по-старчески вреден,
оттого и страшилки про череп и сгнившие кости.
У меня на столе замечательный дублинский бренди.
Я дал дуба? Не верь. Шевеленко намылился в гости,
и тебя жду... к семи, рассекречу ирландские фото
и стишок, что Уинанс из Фриско недавно прислал...
Но огонь над чернеющим горном внезапно ослаб,
значит, Леша, действительно, выкинул мертвенный фортель –
взял и умер... всерьез. Мне не выплавить больше
наш сверхпрочный металл без него – огнестойкий секрет
на бугристое дно в стеклотаре зеленой не брошен,
кустаря-чудотворца в прибрежном цеху больше нет.

Алексея в холодном цеху нынче нет, а вокруг карантин...
Он когда-то дневал в пятиярусном блоке, напротив.
Стоило лишь... дорогу перейти,
и лето плавно прорастало в осень.
Игра сезонов означала жизнь
у потаенной двери, на пороге
наитий, откровений и пороков.

Случалось и над пропастью во ржи.
Прощай ландшафт две тысячи второго
хмельная правда и нью-йоркский счет
и наледью мощенная дорога.
Спасибо, что не желтым кирпичом...

Над покинутым цехом сегодня безмолвная бездна.
За проломленной дверью – провал, да и здания нет.
Лишь багровый кирпич над закрытым навеки проездом
означает глухую осаду в никчемной войне.

* * *

Меня во сне приговорили к расстрелу
За кражу яблок на Даниловском рынке...
Яблок, правда, я не крал, вишен тоже,
но почти не возражал приговору,
как понурый мистер К. из «Процесса»...
Даже видел в этом некую гордость –
умереть за идею почетно,
без идеи почетней вдвое,
ведь известно, что любая идея
может вздорной оказаться, фальшивой...
А расстрел мне обещали прилюдный,
обещали все обставить эффектно,
да и шеф наш сказал к тому же –
на миру смерть красна, ребята!
Лишь один чувак из присяжных –
худощавый, не в меру бледный –
вдруг сказал: что ж вы так, бродягу?
Да, не крал он этих гребаных яблок!
Приговор изменили, вняли,
дали лишь два года с полтиной.
Но сказали: так ему и надо.
Много всяких воров тут ходит...

Нью-Йорк

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Юрий Мандельштам

СТАТЬИ МАНДЕЛЬШТАМА О ФРАНКО-РУССКИХ ПРОЗАИКАХ

«Творческая тайна испокон веков тревожит человеческое воображение и любопытство не меньше, чем само стремление к творчеству. Читатель, сам к искусству не причастный, хочет извне исследовать его признаки и, таким образом, проникнуть в его суть и приобщиться к непонятному секрету»[1]. Эти строчки из статьи Юрия Мандельштама раскрывают тайну его собственного подхода к литературному творчеству. Задача его, как литературного критика, была не в том, чтобы пересказать литературное произведение, а в том, чтобы понять тайну творческого процесса автора, расшифровать его тайнопись, ухватить суть его мысли, раскрыть для читателя то потаенное, личное или авторское, что скрывает писатель за образом своего героя, – проникнуть в психологию самого творчества.

О творчестве духовном, о подходе к историческому литературному процессу, о необходимости творческого процесса в тяжелых эмигрантских условиях, о положении русской литературы 20–30-х годов прошлого столетия и трагедии литератора, творящего вне России, писали многие эмигрантские прозаики и поэты – Б. Поплавский, И. Бунин, Ю. Терапиано, Г. Газданов, М. Алданов, Г. Адамович, В. Ходасевич... Среди них и Юрий Владимирович Мандельштам.

В своих статьях Мандельштам освещал такие темы, как «метафизический заказ» в эмигрантской литературе, «иссякнование вымысла», «вымышленные воспоминания», «любовь в современном романе», «судьба новеллы», «судьба романа», «критик о критике» и другие. Но, в отличие от многих своих собратьев по перу, в его критических статьях можно отметить широту знаний не только русской литературы, но и литературы западноевропейской, в особенности французской. Отсюда и глубина проникновения в обсуждаемую тему и легкость выстраивания параллелей между разными национальными традициями литературного творчества. Уникальность наследия Юрия Мандельштама и в том, что в русских периодических изданиях он давал обширный анализ состояния современной французской, немецкой и английской литературы, а во французской периодике писал о работах русских прозаиков и поэтов. Трудно найти в русской эмиграции другого литературного критика, который был готов дать читателю столь глубокий обзор иностранной литературы.

В литературе, не только в русской эмигрантской, но и во французской,

заметна склонность к так называемым «метафизическим» проблемам (к «метафизической теме», по выражению Ю. Мандельштама). Эти вопросы поднимал в своих статьях и Юрий Владимирович, говоря о духовном созревании героев, религиозном поиске и прозрении. Мысль о том, что литературную работу автор должен сочетать с личным переживанием, с собственным «духовным пульсом», «духовной опытностью», человеческой и писательской внутренней зрелостью, прослеживается во многих статьях Ю. Мандельштама. «Духовное беспокойство», религиозный путь развития и становления героев литературных произведений ему интереснее, чем занимательная фабула. Его привлекает герой романа, «тревожимый религиозными и мистическими откровениями»[2]. Так, например, Мандельштам отмечает, что в романах Бориса Зайцева «духовные и житейские волнения его героев приводят почти всех их к религии», – и именно этот аспект романа особенно важен критику. Говоря о героине романа Надежды Городецкой «Дети в изгнании», Ю. Мандельштам пишет: «После любовных разочарований и неудачи общественной она обращается к вере, хотя и почти бессознательно. Ее духовный путь обрисован Городецкой, пожалуй, убедительнее всего»[3].

Важным аспектом творческого процесса для Ю. Мандельштама была именно «чистая душевность» автора произведения, которая должна поддерживаться переживанием духовным, иначе она начинает «расплываться, распадаться, таять на наших глазах». Я хочу выделить слово «чистая душевность», так как ложь Мандельштам не признавал ни в жизни, ни в литературе, тонко угадывая фальшь и посему часто и беспощадно критиковал таких авторов. Именно правдивость и честность в жизни и в творчестве были характерными чертами самого автора критических статей.

По его словам, настоящее искусство – это, прежде всего, искреннее эмоциональное переживание, превращающее опыт личный, душевный, в опыт духовный. «Действительная метафизическая направленность, – писал он, – не ставится нами под сомнение, – она всегда единственный, глубинный двигатель всякого творчества, а в эмиграции необходимость ее стала очевидной»[4]. О том, что многие русские писатели эмиграции были одарены обостренным «метафизическим чутьем и слухом», хотя путь их в литературе был не прост, а порою и «просто страшен», Юрий Мандельштам не раз писал в своих рецензиях, объясняя свою мысль тем, что путь литератора-эмигранта проходит «через бездны сомнений, мучений и отчаяния». Однако он отмечает, что выбранная дорога приводила их иногда и «к радости и блаженству», – именно потому, что человек, который верует в духовный смысл жизни, не может не надеяться на преображение, хотя «подлинное преображение сохраняет в себе элементы пережитой трагедии». В статье «Вымышленные воспоминания»[5] критик поддерживает точку зрения французского писателя Дюамеля о том, что цель человеческой правды – преображение жизни в свете высших духовных ценностей.

Юрий Владимирович обладал способностью верного и точного суждения, понимания задач писателя, а главное, он владел особым умением – пересказывая прочитанное произведение, проникать в самую суть и идею, которую пытался выразить автор. В. Ходасевич в рецензии на книгу очерков Ю. Мандельштама «Искатели» (Харбин, 1938 г.) писал: «Мандельштаму удается извлечь из прочитанной книги самое существенное и острое, что в ней есть, дать из нее экстракт, очень насыщенный. Необходимо подчеркнуть, впрочем, что, не ограничиваясь изложением прочитанных книг, Мандельштам почти всякий раз попутно высказывает и свои собственные соображения о тех людях, которым посвящены очерки»[6].

Вчитываясь в работы и анализируя подход Юрия Мандельштама к творческим исканиям его современников, понимаешь, насколько глубокой натурой, почти религиозным переживанием и трагичностью мироощущения обладал сам автор этих критических статей. В предисловии к своей книге «Искатели» он пишет: «Всякое подлинное искание – искание религиозное, всякая подлинная тревога – тревога метафизическая». Именно с этой точки зрения разбирает Юрий Владимирович и ряд произведений русских прозаиков, писавших по-французски или на других иностранных языках и внесших свою лепту в развитие западноевропейской литературы. Отличительной чертой этой прозы было то, что она впитала в себя не только традиции русской литературы – Толстого, Чехова, Гоголя или Достоевского, но и литературы зарубежной – Пруста, Моруа, Мориака и других. Однако, адаптировавшись к французской культуре, овладев в совершенстве чужим языком, эти прозаики сохранили верность традициям русской культуры. Часто действие их романов происходило в России, а герои их – русские эмигранты, живущие во Франции. Так, в рецензии на рассказы Михаила Матвеева, писавшего на французском языке, Ю. Мандельштам заканчивает свою статью словами: «Таким образом, не только тема, но и подход к ней, и литературная генеалогия крепко связывают Матвеева с Россией, о которой и для которой он и пишет, хотя и на чужом языке». Литературный успех Юрий Мандельштам предсказал прозаику еще в 1936 году: «Думаем, что Матвеев займет место совершенно особое, именно благодаря своей ‘русскости’: хотя он и пишет по-французски, но Россия сквозит в каждой его строчке, в каждой интонации»[7]. Многим молодым одаренным писателям предсказал Ю. Мандельштам будущий успех.

Одна из трагедий русского писателя в эмиграции заключалась в отсутствии массового читателя. Не исключено, что именно это заставило многих авторов перейти на язык их новой родины. В статье о Валентине Франчиче Ю. Мандельштам пишет: «В России он начал печататься, но эмиграция лишила его этой возможности» – и дальше, на судьбе этого прозаика, он иллюстрирует трагедию всей русской литературной диаспоры: «С искренней симпатией и скорбью читаешь эту книгу – скорбью о безвременно

погибшем Франчиче, но также и скорбью о нас всех»[8]. В своих статьях Мандельштам подчеркивает: тема эмигрантской литературы остается «темой вечной мировой трагедии, разлитого в мире неблагополучия и стремления это неблагополучие преодолеть».

Юрий Владимирович, свободно владевший несколькими иностранными языками, особенно тщательно следил за успехами своих соотечественников, писавших на других языках. Их произведениям посвятил он целый ряд статей, напечатанных, в большинстве случаев, в газете «Возрождение», ознакомив, таким образом, русского читателя с их соотечественниками, пишущими на других языках. Среди тех, к кому обращался Юрий Мандельштам в своих критических работах, были Юлия Апраксина, Ирен Немировски (Ирина Немировская), Алексей Ремизов («Тургенев-сновидец»), Слава Полякова, Георгий Агаджанян, Наталья Френкель, Вениамин Горелый, Михаил Матвеев, Эммануэль Бов, Игнатий Легран, Валентин Франчич, Константин Грюнвальд, Николай Брянчанинов, Дориан Райцын, Надежда Городецкая, Андрей Трофимов, Анри Труайя и другие. В очерке о Наталье Френкель Юрий Мандельштам пишет: «Таких ‘русских французов’ уже немало, и в современной французской литературе они сыграли довольно значительную роль – начиная с Эммануэля Бова и Игнатия Леграна и кончая Анри Труайя. Войдет ли Наталья Френкель в эту блестящую плеяду или хотя бы в эту линию, которая представлена Ириной Немировской?» Имя Натальи Френкель на родину не вернулось, судьба ее неизвестна, хотя подавала она большие надежды войти в плеяду лучших русско-французских новеллистов.

Многие произведения, да и сами имена авторов, о которых писал Юрий Владимирович Мандельштам, остаются до сих пор в забвении для современного русского читателя. Из огромного архивного материала Ю. Мандельштама мы отобрали несколько его критических статей, не известных современному русскоязычному читателю, но в которых отражается литературный процесс того творческого и трагического периода жизни русской эмиграции.

Елена Дубровина

---

1. «Возрождение», 18 июня 1937.
2. «Возрождение», 27 июня 1935.
3. «Возрождение», 2 апреля, 1936.
4. Из статьи «Метафизический заказ» (архив Мари Стравинской)
5. «Вымышленные воспоминания» // «Меч», № 6, 1934. Сс. 5-6.
6. «Возрождение», 23 сентября, 1938.
7. «Возрождение», 12 июня 1936.
8. «Возрождение», 21 октября 1938.

ВАЛЕНТИН ФРАНЧИЧ

ПОСМЕРТНАЯ КНИГА В. ФРАНЧИЧА[1]

Как много в эмиграции сил, о которых мы не подозреваем – или начинаем подозревать, но слишком поздно. Выпущенный сейчас посмертным изданием первый сборник стихов и очерков Валентина Франчича[2] в этом отношении наводит на грустные мысли. Дело даже не в фактической литературной ценности того, что написал Франчич, – о ней нам трудно судить.

Во-первых, писал он, главным образом, по-русски, а в силу условий его друзьям удалось опубликовать лишь французские его произведения: в предисловии же указано, что французским языком он овладел лишь за границей. Овладел в совершенстве, но все же вряд ли в равной степени со своим родным языком.

Во-вторых, слишком малочисленны и случайны введенные в книгу материалы: несколько стихотворений, обнаруживающих несомненное формальное дарование, и два полуфилософских очерка, полных интересных, но неразработанных мыслей: «Любовь и смерть» и «Кризис современной мысли». Случайность выбора накладывает на сборник печать дилетантства, но и так достаточно очевидно, что если Франчич и не был писателем по призванию, то был человеком очень содержательным и чутким к современному «неблагополучию».

Но больше всего размышлений вызывает любовно написанное предисловие француза, доктора Лонгэ. Из него мы узнаем, что жил русский человек свыше сорока лет, посвятивший жизнь русской литературе, и, во всяком случае, одаренный. В России он начал печататься, но эмиграция лишила его этой возможности. И вот, мы даже не можем судить – достиг ли он чего-нибудь или остался просвещенным любителем. Больше того – если он им остался, то не виноваты ли в этом обстоятельства и, прежде всего, – наше невнимание к тому, что делается у нас под боком. В эмиграции, несомненно, немало живых и интересных людей, не попавших в те небольшие и замкнутые с некоторого времени кружки, в которых протекает обыденная наша литературная жизнь.

С искренней симпатией и скорбью читаешь эту книгу – скорбью о безвременно погибшем Франчиче, но также и скорбью о нас всех.

«КРАСНАЯ ГОЛГОФА»[3]

Несколько месяцев назад в «Возрождении» был помещен отзыв о первой – но уже посмертной – книге нашего соотечественника Валентина Франчича. Это был сборник очерков полуфилософского, полупублицистического порядка, выпущенный на французском языке. Последнее обстоятельство, равно как и несколько случайный отбор

очерков, не давали возможности высказать об авторе определенное суждение. Ясно было, что безвременно погибший Франчич был человеком живого ума и, главное, – немалого вкуса и культуры. Но был ли он писателем, в особенности русским писателем, – сказать было нельзя.

Сейчас, также на иностранном языке (на этот раз немецком), вышел роман Франчича «Красная Голгофа»[4]. По прочтении его всякие сомнения отпадают, и сожаление о том, что Франчич был неизвестен при жизни, значительно возрастает: он, конечно, был писателем – и одаренным. Таланту его не удалось развиться – роман написан неровно, рукой явно неокрепшей, неуверенной. Приемы Франчича местами слишком по-ученически очевидны, местами не оправданны содержанием, сбивчивы. Построение не вполне связное, объективное повествование сбивается – то на чисто документальное описание, то на психологическую исповедь. Чувства и мысли героев книги не всегда убедительны, разговоры их растянуты и занимают несоразмерно большое место. Но за всем этим в романе ощущается живое творческое дыхание, серьезное внутреннее усилие и формальное своеобразие, которое, развившись, могло бы стать действительным мастерством.

Положительно надо ответить и на второй вопрос, возникший после выхода первой книги Франчича: он был несомненно русским писателем. По-видимому, роман не переведен, а написан непосредственно по-немецки, но по существу это дела не меняет: так писать может только русский человек, знающий русскую жизнь, воспитанный в лоне русской культуры. И не только содержание романа, действие которого происходит в России, создает это впечатление, а весь тон книги и сама писательская манера Франчича. Главные герои его книги – русские интеллигенты дореволюционного времени, спорящие о социальных проблемах и о том, прав ли был Иван Карамазов; Иван Муравин – писатель, посещающий петербургские литературные круги поры символизма. Две различных среды, но, по-видимому, Франчичу обе были отлично знакомы и по-своему близки. В отношении формы, литературного «ремесла», он, впрочем, ближе к Толстому, чем к Достоевскому или символистам. Толстовское влияние порою даже чересчур заметно, хотя бы в началах и концовках глав или в диалогах, невольно напоминающих «Войну и мир». Франчич по Толстому учился тому, как пишутся романы, и не успел пробиться сквозь учебу к своему собственному стилю, к личной, неповторимой манере. Но сам выбор учителя и серьезность, с которой Франчич перенимал у него не одни лишь внешние приемы, а и более глубокое отношение к изображению жизни, – гарантия того, что Франчич пробиться бы мог. Проблески авторского своеобразия в книге достаточно очевидны.

Заглавие романа – самое неудачное из того, что в нем есть, – отча-

сти может ввести в заблуждение. По нему ясно, что в книге описана жизнь в советской России (точнее – первые революционные годы). Но отнюдь не ясен подход Франчича к своей теме. Легко можно заключить, что он, вслед за многими, рисует нам революционные ужасы – террор, голод – все то, что в жизни было столь подлинной трагедией, а на бумаге часто превращается в неубедительную мелодраму. На самом деле Франчич свой революционный, подсоветский опыт превратил в опыт прозрения, в тайную сущность русской революции. Террор, обыски, голодовки – лишь фон его повествования, а истинное содержание, истинный ужас его – в том «омертвении» души, в том призрачном изменении всей жизни, о коем свидетельствовали многие петербуржцы, присутствовавшие при страшной метаморфозе своего города. Роман Франчича носит на себе печать революционного Петербурга, умирающего, ставшего нереальным. В этой перемене облика столицы был не только ужас, но и свое очарование, некая возможность освобождения, духовного преображения, не раз отмеченная в литературе тех лет. Франчич к этой возможности очень чуток. Его картины советской жизни напоминают пронзительные стихи Осипа Мандельштама, может быть, лучшие стихи этого неровного поэта:

Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь,
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

В страшной советской ночи, в призрачном мертвом городе, Иван Муравин продолжает свою душевную жизнь. Он любит, сомневается, мучается, и его любовь, сомнения, мучения на фоне революции приобретают особую значительность. Что приводит его к мысли о самоубийстве – личная драма, русская действительность или мировое неблагополучие? Как бы то ни было, он не умирает, а духовно преображается. Слова «Бог, вера», бывшие для него ранее мертвыми, вдруг чудесно оживают – настолько, что он «заражает» ими большевика-матроса. Советский опыт для Муравина закончен – Франчичу остается, несколько неумело, заставить его перейти границу.

Наряду с этой основной темой книги мелькают в ней и бытовые мотивы: многое ярко подмечено и запечатлено Франчичем; отметим хотя бы портреты старых большевиков-интеллигентов – Луначарского и Зиновьева. Но не эти отдельные находки составляют ценность романа, как и отдельные срывы не отвлекают от главного: от попытки извлечь из «страшных лет России» их тайный, онтологический смысл.

О Валентине Альбиновиче Франчиче известно немного. Он родился в

1892, по всей вероятности, в Ростове-на-Дону, трагически погиб 16 апреля 1937 в Париже в возрасте 45 лет. Валентин Франчич был офицером, участником Белого движения. О матери его и отце почти ничего не известно (кроме того, что мать, Мария Германовна, была драматургом и переводчицей). В. А. Франчич был прозаиком, публицистом, поэтом, журналистом, писавшим по-русски, по-французски и по-немецки, хотя основные его работы были написаны по-русски. С 1913 по 1916 гг. он сотрудничал в петербургских журналах «Аргус», «Солнце России» и др.; опубликовал в России рассказы «Маленький Нгури» (1913), «Приключения Бермутова» (1914), «Машина мудрости» (1916), «Рассказ пугливого обывателя (В дни революции)» (1917). В 1910 г. в Ростове-на-Дону вышел его «Сборник стихотворений».

В 1919 г. Валентин Альбинович Франчич эмигрировал во Францию. На французском языке посмертно вышла книга очерков и стихов «L'Amour et la mort» («Любовь и смерть», 1938). Рецензируемый Юрием Мандельштамом роман «Красная голгофа» (1938) был написан автором на немецком языке и издан посмертно.

1. «Возрождение», 21 октября 1938.
2. *Frantchitch, Valentin*. L'Amour et la mort. / Suivi de : "La Crise de la pensée moderne et ses origines" et de: "Poésie". Biographie de l'auteur par le Dr. H.Longuet. – Mulhouse: Verlag Fischer, 1938.
3. «Возрождение», 20 января 1939.
4. *Frantschitsch, Valentin*. Das rote Golgotha. – Mulhouse: Verlag Fischer, 1938.

АНДРЕЙ ТРОФИМОВ

«СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» ПО ФРАНЦИИ[1]

Бывают книги несовременные, анахроничность которых воспринимаешь, как некий недостаток самого автора, роковой изъян в его ощущении жизни, но существуют также такие несовременные книги, читая которые испытываешь неловкость за современность, ибо чувствуешь, что наша эпоха лишена какой-то прелести и, пожалуй, даже какой-то глубины. Стесняться этой несовременности не приходится, ею можно только гордиться. Оттенок гордости, сознание собственного преимущества перед новым миром, его не приемлющего, заметен в тоне нашего соотечественника А. Трофимова, озаглавившего сборник своих очерков «Сентиментальная прогулка бывшего человека»[2]. Откровенность этого эпитета, примененного к самому себе, лишает его неприятной нотки самоунижения, в нем можно услышать даже некое обвинение нашего времени. Но и бахвальства в повествовании Трофимова нет – хотя оснований для этого нашлось бы немало. Книга Трофимова полна грусти и обреченности, но одновременно и большого достоинства. Отношения с современностью у него пример-

но такие же, как и у паскалевского человека с природой: он знает, что она победит его, а она, победительница, даже не подозревает об этом.

Трофимов – псевдоним и, в конце концов, довольно прозрачный, ибо в первой своей книге, вышедшей в прошлом году, автор коснулся своей жизни, своей личности. Он на самом деле – «бывший человек» в смысле общественного положения: гражданин несуществующей великой державы, приближенный ко Двору отрекшегося и убитого Государя, хранитель одного из богатейших музеев мира, ныне распроданного. В эмиграции он, по-видимому, стал антикваром, сохранив, таким образом, связь с искусством и со стариной, которую он так любит и знает. Но преданность искусству только подчеркнула трагичность его путешествия от «императорского дворца» к «толчку» (так называлась его первая книга). Трофимов как бы живет одновременно двумя жизнями: вечной жизнью памятников славного прошлого (великих и малых) и преходящим существованием эмигранта, с его обездоленностью и нищетой. Обе эти жизни, сливаясь, создают особый, трофимовский мир, в котором память заняла все незаполненные уголки настоящего. Соединение получилось столь прочное, что прошлое уже не оторвешь от текущего момента, историю от биографии, знание искусства от лирических воспоминаний. И книгу Трофимов написал своеобразную, полную щемящей тоски и благородства, в которой пейзажи и история Франции крепко спаяны с душевными переживаниями, но легко угадываемыми, спаяны с личностью русского ценителя искусства с его далекой родиной.

Говоря о Париже, о Шартре, о себе, Трофимов без перехода вспоминает о Петербурге, о Царском Селе, о Новгородской губернии. И мы без всякого труда верим ему и сами незаметно странствуем между Францией и Россией, нигде не останавливаясь, но всюду оставляя кусочек своего сердца.

Естественно, что трофимовская Франция не совсем похожа на ту, которую мы увидим своими глазами. «Мир рождается и умирает с каждым человеком, – пишет Трофимов, – существует столько же Парижей, сколько парижан или туристов, побывавших в Париже.» Трофимов смотрит на Францию «через старые французские очки, доставшиеся по наследству», и «через очки, купленные в родной деревне». Отсюда – его реминисценция, его неожиданные сближения и сравнения. Да и как может Трофимов смотреть на парижскую улочку или Реймский собор нашими глазами, когда он знает целый ряд их тайн, нами не подозреваемых. Любители истории и искусств, особенно архитектуры, узнают из этих очерков много нового и объективно ценного о Париже, о провинциальных городах и деревнях Франции, об усадьбе Ронсара[3] в Ванде и Оноре д'Юрфе[4] в Оверне, о романских

церквях и картинах Юбера Робера[5]. После прочтения книги они и сами совсем иначе пройдутся хотя бы по улице Жакоб около Сен Жермен.

Однако не в этих фактических сведениях основная ценность и прелесть сборника, а все в том же несовременном тоне. Вряд ли очерки Трофимова – искусство в полном смысле слова, но они настолько с ним связаны своим содержанием и так насыщены любовью и пониманием прошлого, что могут служить до какой-то степени пробным камнем для нашей эпохи. Если это ей и впрямь не нужно, Трофимов может не жалеть о своем одиночестве; если же современность хоть на минуту призадумается над правдой и красотой ушедшего мира, то, значит, что бы нам ни говорили, – еще не все потеряно, далеко не все...

Эта статья Юрия Мандельштама посвящена русскому писателю и искусствоведу Александру Александровичу Трубникову, печатавшемуся в Париже под псевдонимами «Андрей Трофимов» (Andre Trofimoff) и «Лионель». Биография Трубникова довольно необычна.

Александр Александрович Трубников родился в Санкт-Петербурге 7 ноября 1882 г. Отец – Александр Николаевич Трубников (1853–1922) был из дворян Санкт-Петербургской губернии, государственный и военный деятель, Орловский губернатор, мемуарист (его мемуары были изданы в России в 2004 году). В 1901 году он был назначен почетным опекуном и управляющим дворца Георгия Максимилиановича Лейхтенбергского (Романовского), сына Марии Николаевны (дочери Николая I) и Максимилиана Лейхтенбергского (сына Евгения Богарне). Максимилиан Лейхтенбергский был президентом Императорской академии художеств, после его смерти в возрасте 35 лет этот пост заняла Мария Николаевна. Оба они были обладателями бесценной коллекции произведений искусства, которая после их смерти перешла к детям (занимательна сама история этой коллекции, но это уже тема другой статьи). Не исключено, что интерес к живописи развился у Александра еще в детстве, в стенах дворца Лейхтенбергских. Мать Александра Александровича – Екатерина Александровна Власова. В семье было трое сыновей, но братья его умерли еще в молодом возрасте.

Сам А. А. Трубников был человеком необычайно образованным; он окончил Императорское училище правоведения и некоторое время служил в Министерстве юстиции в чине титулярного советника. Любовь к искусству привела его в Западную Европу, где он занялся серьезным его изучением. Вернувшись в Россию, он стал известным искусствоведом, писателем, публицистом и заядлым коллекционером. В 1906 году Трубников опубликовал в С.-Петербурге книгу «Помнишь, бывало...», его следующая книга «Моя Италия» (1908) пользовалась в России большой популярностью.

В 1908 году А. Трубников был назначен главным хранителем Эрмитажа и Императорских дворцов. В то же самое время он стал одним из основа-

телей журнала «Старые годы», «ежемесячника для любителей искусства и старины». Александр Александрович входил в редакционный комитет журнала, который просуществовал до 1916 года. Он также постоянно сотрудничал с журналом «Аполлон».

А. А. Трубников был совладельцем типографии «Сириус» в С.-Петербурге. Это издательство-типография было организовано с единственной целью вновь напечатать «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева. Основатели издательства заинтересовались идеями журнала «Старые годы», вошли в состав его редакции и даже отдали редакции комнату в своем здании. В 1912 году в журнале была напечатана статья Трубникова «Картинная галерея Павловского дворца». В 1913 году Трубников напечатал в журнале статью «Материалы для истории царских собраний Лоджии Рафаэля». Интересен факт, что барон Н. Врангель изучал историю искусств под руководством Александра Трубникова.

В 1917 г. Александр Александрович входил в Комиссию по делам искусств. В канун революции был назначен атташе Российского посольства в Риме, затем занимал тот же пост в эмиграции. В 1919 г. Александр Трубников переехал во Францию. Здесь он посвятил себя литературной работе, занимался переводами. А. Трубников переводил на французский язык Н. В. Гоголя, А. П. Чехова. Благодаря глубоким знаниям искусства он был неоднократно приглашен в Лувр для чтения лекций по истории искусства. Принимал он и участие в организации выставок. В 1930-е годы часто выступал с докладами, в том числе об Эрмитаже, в Клубе молодежи Русского студенческого христианского движения (РСХД).

Александр Александрович входил в Общество юристов-правоведов в Париже, был членом Комитета кассы правоведов. Он также состоял в Союзе русских дворян, был кандидатом в члены Совета Союза (1949). Как член Общества любителей русской военной старины, в 1952 входил в Юбилейный комитет по подготовке к празднованию 250-летия Петербурга.

Любовь к искусству не покидала Трубникова и в Париже. Он продолжал заниматься антиквариатом. Участвовал в деятельности Общества охраны русских культурных ценностей, выступал на собраниях Общества. Глубокие знания его фламандской живописи не остались незамеченными французскими искусствоведами, он стал консультантом по фламандской живописи и передал в дар музею Лувра полотна старых мастеров.

В 1960-м А. Трубников был членом Особого комитета по чествованию Анри Труайя (наст. Лев Тарасов), французского писателя русского происхождения, по случаю его избрания членом Французской Академии. Занимался Трубников и разбором архива княгини З. А. Волконской.

Первое издание мемуаров Александра Александровича вышло в 1935 году. Презентация книги состоялась в 2004 году в Эрмитаже. В Отделе редкой книги Научной библиотеки Эрмитажа хранятся книги XVII в., приобретенные

Трубниковым во время путешествия по Италии. За исследования «Au jardin des muses françaises» («В саду французских муз», Париж, 1947) и книгу «Du Musée Impérial au Marché aux Puces» («От Императорского Музея к Блошиному рынку», Париж, 1936) Трубников был удостоен приза Французской Академии. Опубликовал книги «Ciels et décors de France» («Своды и декоры Франции», Париж,1938), «Poètes français avant Ronsard» («Французские поэты до Ронсара», Париж, 1950), «Rimailleurs et poétereaux» («Рифмотворцы и стихографы», Париж, 1951), «La princesse Zénaïde Wolkonsky» («Княгиня Зинаида Волконская», Рим, 1966) и др. В 1999 году в России вышла в переводе с французского книга воспоминаний А. Трубникова «От Императорского музея к Блошиному рынку» (Изд-во «Наше Наследие»). Тема ностальгии по утраченной родине – основная тема книги, о чем свидетельствуют даже названия глав книги: «Тоска по родине», «Прогулки об руку с памятью», «Русь» и др.

Умер Александр Александрович Трубников в Париже (по другим источникам в Риме) 27 декабря 1966 года после продолжительной болезни и был похоронен на кладбище Триво в Медоне под Парижем. Сохранился портрет А. А. Трубникова, написанный в 1925 г. Зинаидой Серебряковой. Портрет находится в частной коллекции.

«Сентиментальная прогулка бывшего человека» А. Трофимова по своей идее напоминает рассказ русского философа-эмигранта Бориса Вышеславцева «Париж», напечатанный в 1923 году; здесь прослеживаются те же философские темы: постижение неведомого, тайна человеческой души, метафизика времени и пространства, слияние двух миров – настоящего и прошлого.

1.«Возрождение», 8 июля 1938.

2. *Trofimoff, Andre*. Ciels et décors de France (promenade sentimentale d'un ci-devant). – Paris: Hachette, 1938.

3. Пьер де Ронсар (1524–1585) – знаменитый французский поэт, которого считают основателем лирической национальной поэзии.

4. Оноре д'Юрфе (Honoré d'Urfé, 1568–1625) – французский писатель эпохи маньеризма, автор знаменитого пасторального романа «Астрея».

5. Робер Юбер (Robert Hubert, 1733 – 1808) – французский живописец.

ИГНАТИЙ ЛЕГРАН

РАССКАЗЫ ИГНАТИЯ ЛЕГРАНА[1]

Имя Игнатия Леграна широкая публика узнала полтора года назад, когда он был главным кандидатом на премию Гонкуров 1934 года. Узнали тогда и русские читатели, что под псевдонимом Леграна скрывается наш соотечественник[2]. Это могло их порадовать, тем более что его роман «В своем свете» был отличный, а по основному своему ощущению – даже замечательный. Но премии Легран не получил, и о нем забыли снова. Если бы он сейчас не выпустил сборника

рассказов, то, вероятно, никто и не вспомнил бы, что во Франции сейчас живет и пишет автор глубоко подлинный и если не большой, то, во всяком случае, вполне замечательный и своеобразный.

По счастью, книга Леграна появилась, и мы не только вправе, но считаем своей обязанностью напомнить о нем. Может быть кто-нибудь и прочтет его романы (их у него несколько, т. к. Легран вообще не дебютант) и новые рассказы. А тот, кто прочтет, вряд ли не остановится на них и не захочет перечесть: случай редчайший, исключительный. От повестей Леграна (так же, как и от некоторых романов) исходят особые лучи, вернее – некий электрический ток, от которого буквально испытываешь толчок в сердце, такое волнение и даже радость (несмотря на меланхолический тон книг), о каких не могут и мечтать многие испытанные и талантливые романисты. Легран – живое доказательство того, что литераторское ремесло не убило в наш век жажду небывалого, обещание неведомого и полного блаженства, составлявшие всегда сущность – единственное оправдание литературы. Как неожиданно свежо и полноценно звучит в устах Леграна слово «идеал», столь избитое, что его, казалось бы, надо окончательно отставить. Вместе с тем Легран – не идеалист, он трезвый, скептически умный исследователь человеческой души. Его «идеал», как и «идеалы» его героев, – вера в последнюю человеческую глубину, «чудесную вещь», по выражению писателя Сандро (рассказ «Сандро»), «душевную родину», как говорит героиня другого рассказа («Уроки на каникулы»), и как Легран назвал свой самый первый роман.

К этой «душевной родине» стремятся все его герои – в любви ли, в искусстве, в горьких размышлениях пятидесятилетнего человека (переживания этого возраста составляют одну из главных тем новой книги Леграна). И это стремление создать непохожую ни на что другое, непередаваемую, томительную и пленительную атмосферу – у Леграна ценнее всех его беллетристических достоинств. Напряженный трагизм «последнего чаяния» захватывает и ведет как действующих лиц, так и читателя, до забвения самого себя. И за всей обреченностью и безнадежностью светится все же ничем не истребимая надежда на обретение «чудесной вещи», на окончательное торжество любовного начала в человеке и в мире. Ибо, в конечном счете, «душевная родина» Леграна, его «внутренний климат» – любовь, даже тогда, когда он совсем не касается любовной интриги (как в военном рассказе «Холм 304»).

Своеобразие Леграна особенно заметно на фоне современной французской беллетристики. Хотя он и пишет по-французски, он совершенно чужд французским веяниям и влияниям. Скорее, он ближе к новой английской литературе, о которой у него разбросано

столько верных и проницательных суждений. Как метко, в нескольких словах, клеймит он Лоуренса[3] за его «безлюбовную книгу» «Любовник лэди Чаттерлей». Зато Легран притягивается к Катрин Мансфильд[4] (которой посвящен один из его рассказов) и к той линии романистов, предельным выражением коей является «Источник» Моргана[5]. Не надо удивляться этой англомании. Легран сам говорит об «английских умах, зараженных русской литературой». Через Англию он связан, конечно, с русской традицией. Вряд ли мы ошибемся, что в основе творчества Леграна – Достоевский, хотя и очень по-своему преломленный, абсолютно без «надрывов» в специфическом смысле.

Все это, повторяем, очень замечательно, и если мы все же не назовем Леграна большим писателем, то только из-за отсутствия у него предельного и уверенного мастерства. Это не значит, что он хаотичен или слаб формально. Он к мастерству стремится, и чисто литературное дарование у него – несомненно. Способность вымысла у него первостепенная, так же, как и умение создавать живых людей. Как жизненны и привлекательны все его персонажи: не всегда «положительные», но пронзенные желанием «чудесной вещи», с умом и вкусом, с критической оглядкой на самих себя. Умеет Легран и строить свои произведения. «В своем свете» – роман архитектонически безупречный. Рассказы в общем слабее с этой точки зрения; все же «Уроки на каникулы» – рассказ прекрасный во всех отношениях. Зато другие порою расплываются, грешат длиннотами. Лучший по внутреннему ощущению рассказ «Сандро», собственно говоря, начинается по-настоящему со второй части, а первая – лишь несоразмерно растянутая экспозиция. Но эти дефекты не мешают ни общей увлекательности, ни той глубокой человеческой замечательности, о которой мы говорили. И, пожалуй, именно от «Сандро» больше, чем от других рассказов, получаем мы незабываемый толчок в сердце, над которым нельзя не призадуматься.

«ВИРГИНИЯ»[6]

Истекший год был, в общем, неудачным для французской литературы. В ней не только не появилось новых имен, которые обратили бы на себя внимание, даже книги писателей, уже зарекомендовавших себя, за самыми редкими исключениями, оказались срывами. Срывом представляется нам и новый роман Игнатия Леграна «Виргиния»[7], правда, срывом, лишний раз свидетельствующим не только о подлинности и талантливости, но и о некоей необычности автора. Напомним, кстати, о судьбе этого несправедливо незамеченного писателя, одного из самых своеобразных в современной французской литературе. На ее других видных представителей он совсем не

похож, зато русский читатель явственно расслышит в его творчестве знакомые интонации, что, впрочем, неудивительно, ибо Легран – наш соотечественник. В книгах его по-своему преломились и Достоевский, и Чехов, и даже до какой-то степени Гоголь, причем первые два, несомненно, восприняты сквозь английскую традицию, с ними тесно связанную. Тревога Достоевского, таким образом, потеряла свой «надрывный» характер, а чеховский реализм стал прозрачнее, идеалистичнее. Но все эти влияния подчинены Леграном некоему собственному стремлению, очень глубокому и опытно зрелому. Голос Леграна всегда узнаешь по насыщенности каким-то душевным электричеством, разряжающимся толчками и преображающим самые истасканные понятия и слова. Редкий случай: Легран не боится таких слов, как «идеал» или «вдохновение», не боится той гаммы чувств, которая соседствует с сентиментальностью, и умеет сказать эти слова и передать эти чувства так, что им веришь, что к ним притягиваешься.

Первый роман Леграна назывался «Внутренняя родина». Это выражение повторяет, говоря о своей заветной цели, героиня одного из лучших рассказов Леграна, «Летние уроки»; повторяет его и героиня «Виргинии». Оно и освещает мироощущение и манеру писателя: мир и человек интересны ему лишь постольку поскольку – в них звучат голоса с этой потерянной родины, непрестанно зовущей нас где-то в нашей глубине. Новую свою книгу сам Легран определяет как «психологически любовный роман». Эротическая уязвленность действительно в ней явственна, а психолог Легран – углубленный и тщательный (вспомним его лучшую книгу, вполне замечательный роман «В своем свете»). Но и психология, и эротика для Леграна не самоцель, а лишь проводники в мир глубинной, первичной реальности, в мир онтологический. Любопытно, что Легран сознательно отнюдь не притягивается к религиозным мотивам; чаще всего он к ним равнодушен, когда же касается их, то лишь для обличения новейших лжерелигиозных веяний. Как удалась ему в «Вергинии» эпизодическая фигура мещанина, считающего себя мистиком и уверенного в своей избранности Богом, благодаря заступничеству св. Терезы Авильской. Однако сам Легран отнюдь не лишен мистицизма, только находит он его на других путях. Ключ к «внутренней родине» видит он, прежде всего, в искусстве, способности человека принять в свою душу «вдохновение», «чудесную вещь» (по выражению героя одной из повестей Леграна, писателя Сандро) – что, конечно, не так уж далеко от предчувствия благодати. Память о «чудесной вещи» и представляет для Леграна верный «залог бессмертия», несмотря на всю открывшуюся ему жизненную грязь и низость. Герой его предыдущего романа встречает в гостях некоего писателя, в котором нетрудно

узнать Селина[8], и жестоко осуждает его за пристрастие к безвыходности и теме: оценка не вполне справедливая, но сколь показательная для Леграна.

К воплощению в жизнь «чудесной вещи» стремятся и все три героя «Виргинии»: музыкант Анрн Брешан, его возлюбленная Эльза и отец последней, личность загадочная и не отчетливо обрисованная. Для двух первых путь обретения душевной родины, конечно, в любви, для «старого господина», как его чаще всего называет автор, – в своеобразном отеческом чувстве. Но у всех трех есть и общая дорога – искусство. По существу в романе соединены, но не сплавлены до конца, три темы: любовная история, повесть об отце и дочери и борьба искусства с жизнью воображаемой Виргинии, героини музыкального фильма, над которым работает Брешан, с живой женщиной Эльзой. Брешан убежден, что рано или поздно одна из них вытеснит другую, но происходит иное: черты Виргинии и Эльзы постепенно сливаются, искусство входит в жизнь, чудесно ее преображая.

Таков, во всяком случае, замысел романа, явно не до конца осуществленный. Книга построена сбивчиво, любовные эпизоды выпадают из общего тома и грешат безвкусицей, в словах Брешана и старого господина не всегда убедителен идеализм, приобретающий порою оттенок прекраснодушия. Есть неувязка и в самом образе Брешана, сильно чувствующего природу всякого искусства, но определенно не понимающего музыки, воспринимающего ее слишком «программно», литературно: его надо было бы сделать не композитором, а писателем. Диссонансом звучат и его политические размышления, проникнутые левизной опять-таки идеалистического порядка. Да и написана книга небрежно. Как целое, она вообще не существует.

Однако голос Леграна узнаем мы и на этот раз с волнением и радостью. Как правдивы одинокие блуждания Брешана, его робко самоуверенное поведение с ученицами, его столкновения с повседневностью в облике лавочников или консьержей. Как хорош пустой летний Париж, который вот-вот превратится в призрак. Какие вообще странные, жутко прельстительные интонации прорываются тогда, когда их меньше всего ожидаешь. «Виргиния» сделана из той самой материи, из которой создается большое искусство. Сможет ли Легран стать в действительности большим писателем – вопрос особый.

«ВЫХОД ИЗ ПОРТА»[9]

Мы уже несколько раз обращали внимание читателей на произведения французского романиста Игнатия Леграна, по происхождение нашего соотечественника. Может быть, именно русская кровь, вернее, причастность к русской культуре, оказалась причиной некоей

необычности его писаний, мешающей ему вполне слиться с современной французской традицией. Правда, русское происхождение и духовная связь с русскими источниками не помешали другому писателю, Анри Труайя, войти во французскую литературу и утвердиться в ней. По-видимому, мы имеем дело не с национальной, а с личной особенностью Леграна – одновременно и большим его достоинством, и своеобразным недостатком. Писатель он вполне зрелый, обладающий немалым мастерством. Внутреннее же его содержание, особые леграновские интонации и сами темы его романов («В своем свете», «Виргиния») или прелестных повестей («Летние уроки», «Сандро») были под стать автору, вполне выдающемуся. Между тем, большим писателем он все же не стал, а «Виргиния», при всем ее эмоциональном богатстве, была просто срывом.

Новый роман – скорее, впрочем, большая повесть, Леграна – «Выход из порта»[10] – бесспорная удача. Отдельные неувязки и идеологические отступления дела не портят: книга написана прекрасно, с глубоким дыханием, с отличным мастерством, с наблюдательностью и душевным сочувствием герою. И все-таки в ней ощущается разрыв между замыслом и осуществлением. Слишком серьезны интонации Леграна, чтобы растрачивать их на столь поверхностный сюжет.

Восемнадцатилетний юноша Жильбер, окончивший лицей, мечтает о свободе, о приключениях и, конечно, о любви. Мечты его неясны, но он ждет небывалого. Получив в подарок пятьсот франков, он едет в соседний портовый городок в поисках приключения. Из этого порта он выйдет в жизнь. Увы, город скучен, прекрасных незнакомок в нем не водится, а случайные соседи даже не понимают – какого приключения он ищет. Жильбер уже готов на самое низменное – на «любовь» с уличной женщиной. Но и она ускользает, обворовав его. Поражение полное. Оскорбленный в своих тайных чувствах, решив, что на земле нет ничего, кроме презренной прозы, юноша возвращается в гостиницу. Но тут-то его и ждут приключения. Ночью его будит хозяин, которому он выдал себя за студента-медика. Ему приходится оказать первую помощь старой американке, с которой случился удар. У ее изголовья, подавляя стыд, знакомится он с настоящим врачом, дающим ему, не подозревая того, уроки житейской мудрости. А потом появляется и незнакомка – правда, уже не первой молодости, но еще обворожительная и очарованная юностью Жильбера. В жизненное море он все же выплыл, хотя иначе, чем предполагал, с горьким привкусом первого опыта.

Что это? Простое описание обычного отроческого столкновения с действительностью? Если судить по свершениям – да, только такое описание. Но со многих страниц книги на нас веет иным. Легран все

время на той грани, когда частный случай утрачивает значение, а возникает вопрос вообще – о роли приключения в человеческой жизни. Вопрос волнующий и пленительный. Но в последнее мгновение Легран вдруг снова возвращает нас к приключению Жильбера.

О жизни французского писателя русского происхождения Игнатия Леграна известно очень немного. Он печатался во Франции по псевдонимом Ignace Legrand. Настоящее его имя – Фердинанд Игнатий Альберт Варшавский. Известно только, что родился он 12 сентября 1884 года, во Франции. Дата смерти точно неизвестна (1934?). Мать была француженкой Louise Cécile Rival, отец, Шолом Александрович Варшавский, – еврей из России. Брат Игнатия Леграна был известным французским художником Eduard Leon Louis Warschawsky (Edy Legrand).

Игнатий Легран был близким другом Мопассана. Женат он был на француженке, Mary Catherine Gourgaud du Taillis, внучке Raphael Cahen d'Anvers, известного банкира, по заказу которого П. Ренуар в 1880 году написал портреты его трех дочерей. В 1934 году роман Леграна In its light был представлен на Гонкуровскую премию. 12 книг Леграна вышли на французском языке. Два романа были переведены на английский язык (The Land Within и The Embassy Train).

В журнале La Grande Revue за 1934 год писали о произведениях Игнатия Леграна: «Мы верим, что со времен Марселя Пруста во Франции не было новеллиста более технически организованного, более плодотворного и литературно богатого, чем Игнатий Легран, только что давшего нам произведение искусства правдивого и авторитетного характера, освещенного в то же самое время чисто человеческим состраданием и напряженным неуловимым реализмом».

1. «Возрождение», 18 июня 1936.
2. *Ignace Legrand*. Heiri. «Renaissance de la nouvelles» – Paris: NRF, 1936.
3. *D. H. Lawrence*. «Lady Chatterley's Lover», опубликовано в 1928.
4. Кэтрин Мэнсфилд (Katherine Mansfield, наст. Кэтлин Бичем, Kathleen Beauchamp, 1888–1923) – новозеландская и английская писательница-новеллистка, самая знаменитая писательница Новой Зеландии.
5. Чарльз Морган (Charles Langbridge Morgan, 1894–1958) – английский драматург, писатель-новеллист. Главная тема его романов, как он сам об этом сказал: «искусство, любовь и смерть». Автор романа «Sparkenbroke».
6. «Возрождение», 7 января 1938.
7. *Legrand, Ignace*. Virginia. – Paris: NRF, 1937.
8. Луи-Фердинанд Селин (Louis-Ferdinand Céline, 1894–1961) – французский писатель, врач по образованию.
9. «Возрождение», 10 февраля 1939.
10. *Legrand, Ignace*. La sortie du port. – Paris: NRF, 1938.

КОНСТАНТИН ГРЮНВАЛЬД

«МЕТТЕРНИХ»[1]

Книгу нашего сотрудника К. К. Грюнвальда о Меттернихе[2], написанную автором по-французски (как и первое его историческое исследование о Штейне, создателе прусской гегемонии в Германии), трудно назвать биографией. Самые методы, да, пожалуй, и цель Грюнвальда отличны от целей и методов жизнеописаний в точном смысле слова. Он не собирается, подобно биографам классического типа, показать нам все события жизни своего героя в хронологическом порядке, с максимальной подробностью, допускаемой имеющимися у нас данными; но еще менее хочет он «романсировать» фигуру Меттерниха, выдавая за историческую личность плод собственного, пускай и художественного, воображения. Подход Грюнвальда к воспроизведению героев прошлого вообще не столько художественный, сколько исследовательский: у него чувствуется серьезная историческая школа, умение собрать и анализировать нужные материалы и стремление сделать из них более общие выводы, определить, как одно время было в моде выражаться, «законы истории». Последняя черта сближает Грюнвальда скорее с немецкой, чем с французской исторической линией, ибо во Франции строго научное толкование истории, сближающее ее с точными дисциплинами, явно идет на убыль. От немецких историков унаследовал Грюнвальд и некий полуакадемический, полуремесленный подход к материалам, из-за которого работа его моментами кажется компилятивной. На самом деле это отнюдь не так, ибо Грюнвальд базируется гораздо меньше на трудах, уже имеющихся, чем на новых, им самим открытых, архивных данных. Тщательные ссылки на источники показывают нам, какую огромную работу ему пришлось произвести в министерстве иностранных дел в Париже, в Государственном Архиве, и в Королевском музее в Берлине. Столь добросовестное отношение к делу ценно само по себе, а в наш век «романсированных» биографий – в особенности.

Все же «Меттерних» и не исторический труд, ибо в центре его стоит человек, а не историческая проблема. Кроме того, общественно-политические теории, выводимые Грюнвальдом, порою слишком шатки, чтобы их можно было признать хотя бы научными гипотезами. В частности, грешит Грюнвальд не всегда обоснованными параллелями (то высказанными, то подразумеваемыми) с нашим временем, как это было и в «Штейне». История – не служанка политики и не руководство для предсказаний. Грюнвальду хочется также напомнить замечательные страницы Жака Бенвиля[3], доказывавшего, что история никогда не повторяется, несмотря на наличие известных законов, ибо

историческая необходимость осложняется непредвидимыми случайностями. Увлечение схемами опасно и для историка, и для политика.

«Меттерних», как и «Штейн», занимает, таким образом, среднее место между биографией и историей. Грюнвальда интересует личность исторического деятеля, однако не столько в чисто житейском плане или в художественном синтезе, сколько в ее исторических делах. В книге о Штейне эта авторская забота была очевиднее, ибо сама фигура Штейна проще, прямолинейнее и почти исчерпывается его работой по возвышению Пруссии и объединению вокруг нее германских государств. Меттерних как человек – сложнее и политически разностороннее. Книга о нем поэтому поневоле вышла внешне менее стройной, по существу же ее в расплывчатости упрекнуть трудно. Повторяем, Грюнвальду скорее грозит опасность схематизации, правда – отдаленная.

Грюнвальд, несомненно, увлечен личностью великого австрийского канцлера, преклоняется перед ним. Поэтому и житейски его облик воссоздан довольно красочно. Глава, названная «Лоуренсовский портрет» (художник Лоуренс[4] написал Меттерниха в 1819 году), показывает нам канцлера в зрелом возрасте во всей его многогранности и полноте. Да и в других главах мы находим немало биографических деталей, в частности, любопытные данные о многочисленных романах Меттерниха с Екатериной Багратион, Вильгельминой Курляндской и другими женщинами. Ярко описана венская жизнь (во время конгресса и позже, в 30-х годах), в которой Меттерних играл и светскую роль. Врезается в память встреча Меттерниха с Бальзаком. Но, по существу, все это – лишь фон, на котором выделяется дело Меттерниха, его «система».

К чему сводится это дело? Грюнвальд правильно отмечает, что Меттерних был не столько австрийским, сколько всеевропейским политиком. Австрию он возвеличивал потому, что считал ее необходимым элементом в европейском равновесии того времени. Это равновесие и было его основной идеей. Любопытно, что «человек, погубивший Наполеона», не раз протягивал последнему руку в интересах того же равновесия. Оно вызвало и «священный тройственный союз», и систему конгрессов великих держав, приобретших действительную гегемонию над всей Европой. Вторая идея Меттерниха – не менее важная – родилась из оттолкновения от французской революции (по Меттерниху, ее продолжал и Наполеон). Очень точно формулировал эту идею Дюамель[5], которого Грюнвальд цитирует: «В разрушительном смятении мира сохранять – это значит творить». Меттерних был именно творческим консерватором, хотя и умевшим применяться к обстоятельствам. Без сомнения, эти два стремления лежат в основе меттерниховской деятельности, без них просто непонятной. Таким образом, канва исследования Грюнвальда – правильна, и хотя

не все вышитые на ней узоры столь же бесспорны, многие положения книги остаются ценными гипотезами. В историческую литературу Грюнвальд, во всяком случае, сделал серьезный вклад.

Константин Константинович фон Грюнвальд родился в Санкт-Петербурге в 1881 году. Он был дипломатом, историком, писателем, журналистом, масоном. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. К. Грюнвальд работал сотрудником посольства в Берлине. Сотрудничал в «Современных записках», «Иллюстрированной России», газете «Возрождение» и других периодических изданиях. Во время Русско-японской войны был уполномоченным Красного Креста. После революции эмигрировал. В 1919–1921 гг. К. К. Грюнвальд состоял управляющим делами Русского торгово-промышленного союза в Лондоне. С 1921 года жил в Париже. Известно, что с 1922 г. он читал лекции по истории в Русском народном университете. С 1945 г. Константин фон Грюнвальд сотрудничал в «Русских новостях». Писал под псевдонимом «С. Невский». К. Грюнвальд часто выступал с докладами в Кружке любителей русской военной старины (с 1947г.). Он был член-корреспондентом и трижды лауреатом Французской Академии моральных и политических наук. Были отмечены его труды «Le duc de Gramont» («Герцог де Грамон», 1950), «La Russie de Pierre le Grand» («Петр Великий», 1953), «Alexandre I-er, le Tsar mystique» («Александр I, царь-мистик», 1955). Он был также лауреатом премии Института Франции (1959). В 1965 К. Грюнвальд стал членом-основателем возобновленной ложи Ареопаг Ордо аб хао и ложи Астрея, а также членом Совета Объединения русских лож, Почетным членом ложи Астрея (с 1967) и ложи Виллар де Хоннекур Союза Великой национальной ложи Франции (1976). Он часто выступал на заседаниях лож с докладами. Константин Константинович фон Грюнвальд умер 2 апреля 1976 года под Парижем.

1. «Возрождение», 27 июня 1938.
2. *Grunwald, Konstantin*. La via de Metternich. – Paris: Calmann-Levy, 1938.

Князь Клеменс Венцель Лотар фон Меттерних-Виннебург-Бейльштейн (Klemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg-Beilstein, 1773–1859) – австрийский дипломат, министр иностранных дел в 1809–1848 годах, главный организатор Венского конгресса 1815 года. Руководил политическим переустройством Европы после Наполеоновских войн. Известен своими крайне консервативными взглядами. Носил титулы имперского князя и герцога Порталла. Автор ценных мемуаров.

3. Жак Бенвиль (1879–1936) – французский историк.
4. Сэр Томас Лоуренс (Thomas Lawrence, 1769–1830) – английский художник.
5. Жорж Дюамель (Georges Duhamel, 1884–1966) – французский прозаик, поэт, драматург, литературный критик; лауреат Гонкуровской премии (1918), член Французской Академии.

МИХАИЛ МАТВЕЕВ

РАССКАЗЫ МИХАИЛА МАТВЕЕВА[1]

В современной французской литературе появилось еще одно русское имя. Наш соотечественник Михаил Матвеев пока еще новичок, но если он бережно отнесется к своему несомненному дарованию, то через несколько лет его имя можно будет назвать рядом с именами старших его коллег – «русских французов»: Эммануэля Бова[2] и Игнатия Леграна[3]. Думаем, что Матвеев займет место совершенно особое, именно благодаря своей «русскости»: хотя он и пишет по-французски, но Россия сквозит в каждой его строчке, в каждой интонации.

Несколько лет тому назад он выпустил книгу «Загнанные», сюжет которой был взят из времени Гражданской войны на юге России (в частности, из еврейской жизни этого периода). Но «Загнанных» нельзя было до конца причислить к беллетристике: слишком очевиден был их мемуарный оттенок. В новом сборнике рассказов Матвеева[4] Гражданская война послужила содержанием для пяти рассказов из семи: по-видимому, автор одержим своеобразным романтизмом этой эпохи. Но из сюжета революционные годы превратились в тему Матвеева. Его рассказы не только о русской революции, они пропитаны ее тревожным и смутным веянием. Матвеев как будто подчеркивает, что он «вне политики»: к своим героям – то белым, то красным – относится он с одинаковой любовью и жалостью. Тему свою он взял куда глубже; но именно поэтому его рассказы должны, как нам кажется, многое разъяснить иностранному читателю и умерить своей правдивостью советофильский снобизм иных литераторов. Несмотря на уже упомянутый романтизм, рассказы Матвеева очень правдивы – внутренней человеческой правдой, – и революционная пора изображена в них без всяких прикрас, в грубой и горькой своей реальности.

«Я вам расскажу о стране, которую невозможно увидеть; она больше не существует на свете. Да и существовала ли когда-нибудь?», – так начинает Матвеев один из своих рассказов – вероятно лучший, посвященный еще дореволюционному времени («Некогда»). И вся книга его, собственно говоря, – история исчезновения и разрушения России – не как государства, а как некоей жизненной и человеческой ценности. Отсюда грустный, лирический тон повествования и та пронзительность, которой проникнуты многие матвеевские страницы. Все герои его рассказов ведут отчаянную борьбу – не только внешнюю – за существование, но и душевную – за живую жизнь, против мертвящей, античеловеческой силы, прорвавшейся наружу, против

ненависти, безжалостности, безразличия. Цель их борьбы дает им энергию и пафос и даже известную жизнерадостность: все члены матвеевской «Странной семьи» любят жизнь, несмотря на ее изнанку, которую одну только и знают. Но фон этой жизнерадостности – серая повседневность, столь неожиданная в бурный, якобы «героический» период Гражданской войны; да и в самой душе матвеевских героев звучат нотки безнадежности и обреченности. Все они смертельно ранены революционной реальностью, хотя и продолжают жить.

Не все рассказы одинаково хороши. Некоторые из них слишком повествовательны, сюжет в них преобладает над темой, в некоторых – лирическое переживание слишком неясно, слишком спутано с сознательно поставленными «проблемами» – психологическими или иными. Хромает иногда и фактура. И все же Матвеев – подлинный писатель. Рассказы «Некогда», «Бледный мальчик» и «Серый цвет» обнаруживают свой формальный подход, свой архитектурный оттенок, несколько приближающийся к чеховскому. С Чеховым роднит Матвеева и грустно-лирический тон, скрашивающий и преображающий бытовой реализм, и моментами прорывающийся юмор – вплоть до некоторых, вероятно бессознательных реминисценций.

Таким образом, не только тема, но и подход к ней, и литературная генеалогия крепко связывают Матвеева с Россией, о которой и для которой он и пишет, хотя и на чужом языке.

Михаил Матвеев (настоящая фамилия Иосиф Константиновский) родился в Хайфе (Палестина), умер в 1969 году в Париже (Франция). Как писатель он был известен под псевдонимом Michel Matveev, как скульптор и художник – Joseph Constant. И. Константиновский юность провел в Одессе и Елисаветграде. В 1914 году в Одессе поступил в Академию изобразительных искусств. Участвовал в выставке Товарищества независимых художников (1918) и 1-й Народной выставке картин, плакатов, вывесок и детского творчества (1919) в Одессе. Во время революции в 1917 году был назначен инспектором Изобразительных искусств.

В 1919 году его отец и брат были убиты во время погрома, что и побудило Иосифа покинуть Россию. В том же году вместе с женой он перебирается на корабле в Палестину. В Тель-Авиве Иосиф организует группу художников. Через год он уезжает в Египет, затем в Турцию, Румынию и, наконец, в 1923 году М. Матвеев обосновывается в Париже. Здесь он много рисует, занимается скульптурой и пишет.

Первая его книга по-французски о революции 1905 года вышла в 1928 году. В 1933 году он опубликовал роман Les Traqués (в переводе на английский она вышла под названием «Haunted» – «Преследуемые», в переводе Ю. Мандельштама – «Загнанные») – трагическую историю еврейской семьи, ски-

тавшейся по Европе в поисках пристанища. В 1936 году за книгу «Strange Family» («Странная семья») он получил Prix des Deux Magots. Позже вышла книга прозы о колонии русских художников в Париже «Город художников» («La cité des peintres», 1947) и роман о детстве «Далеко, давно» («Aillleurs, autrefois», 1959), в котором Матвеев описывает годы на Украине. После Второй мировой войны Иосиф Константиновский стал широко известен как скульптор. Известно, что с 1950-х он неоднократно посещал Израиль, и в 1964 году получил дом-мастерскую от муниципалитета г. Рамат-Ган (ныне здесь действует его дом-музей «Бейт-Констант»). Последние годы жизни Константиновский делил между Парижем и Рамат-Ганом. Похоронен он на кладбище Банье в Париже.

1. «Возрождение», 12 июня 1936.
2. Эммануэль Бов – см. данную публикацию.
3. Игнатий Легран – см. данную публикацию.
4. *Michel Matveev.* Éntrange Famille. Editions Gallimard. – Paris: NRF, 1936. В 1936 г. книга получила высшую французскую награду Prix des Deux Magots.

НАДЕЖДА ГОРОДЕЦКАЯ

«ДЕТИ В ИЗГНАНИИ»[1]

Рассказы Надежды Городецкой[2] хорошо знакомы читателям «Возрождения». Многие, вероятно, читали и оба ее первых романа – «Несквозная нить» и «Пара». Третий роман Городецкой, только что вышедший, трактует тему очень нам близкую и болезненно нас задевающую: тему «третьего» эмигрантского поколения, т. е. той молодежи, которая покинула Россию в раннем детстве или родилась уже в изгнании. Роман этот выпущен непосредственно на французском языке (предыдущие произведения Городецкой почти все вышли во французском переводе) и обращен, по-видимому, главным образом к европейскому читателю. Вопрос о русских писателях, перешедших в ряды иностранных литератур, не раз затрагивался в зарубежной прессе. Надо ли нам радоваться или огорчаться их успехам? Ответы предлагались разные, да общего решения и не может быть. Но случай Городецкой – особый. Она слишком явно – русская писательница, чтобы за нее могло возникнуть такого рода беспокойство. Да она и не перестала писать по-русски. При чтении «Детей в изгнании» ясно, что и эта книга написана по-русски и что мы имеем дело с переводом, по всей вероятности, авторским, т. к. имя переводчика не указано. Перевод, безусловно, хороший, но чувствуется все же, что это не оригинальная версия.

Жаль, если этот «переводный оттенок» оттолкнет иностранцев: книга написана, повторяем, несомненно для них. Поэтому Городецкая подробно останавливается на информационной части, сообщая и

поясняя то, что нам и без того известно и понятно: обстановку эвакуации, условия жизни в изгнании (и не одного лишь младшего поколения). Но для французов будет небезынтересно узнать, какие уколы терпит эмигрантское самолюбие от сознания своего материального неравенства с уроженцами приютившей нас страны; как Борис Кочетов не решается позвать товарища по лицею к себе, в одну комнату, которую разделяет с матерью и отчимом; как молодые эмигранты просиживают вечера в кафе не из любви к «атмосфере богемы», а из нежелания вернуться домой, в нищенскую каморку.

Остановится французский читатель на пассаже о благодарности русских к Франции, несмотря на лишения, высылки и прочие ограничения. Можно бы возразить, что не все эмигранты живут в ужасных условиях героев Городецкой, но мы знаем, увы, каково их количество в процентном отношении.

Материальное положение, так сказать, бытовая сторона – только фон романа. Сущность его – моральные искания молодежи, почти не знающей своей родины, иногда плохо говорящей по-русски. Денационализация, подданство, право на труд, мечты и заботы о нормальной «карьере» – вот что занимает всех этих Борисов, Нин, Николаев, из коих никто не достиг еще двадцати лет. Во всех этих треволнениях непрестанно присутствует, однако, Россия – ее образ и имя, память или мечты о ней. Это чувство толкает представителей «третьего поколения» друг к другу, отделяя от сверстников-французов. И хотя большинство из них относятся презрительно к эмиграции, к своим отцам и старшим братьям, «потерявшим Россию», сами они все же остаются в эмигрантской среде: в русских лагерях, в русских культурных, литературных, спортивных объединениях, в новых политических образованиях. Политикой все они задеты, хотя и не в чистом виде. За всеми этими исканиями скрыта тревога еще более глубокая, порядка чисто духовного. Не случайно для Нины «служение России – только один из видов служения Богу». Русская катастрофа вошла в их сознание как данное, как реальность, пожалуй, как ниспосланное испытание. Очень пронзительны строки о «гибели», сочетающейся в уме Нины с пушкинскими стихами; это чисто русское ощущение «последнего дня Помпеи» вряд ли целиком будет понято западными читателями.

Духовное беспокойство разрешается героями Городецкой по-разному. Бежавший из советской России Малышев кончает самоубийством. Проникшаяся полунапускным разочарованием и безразличием Лиля опускается и ищет утешений в легких романах. Нина уезжает в Россию – не совсем ясно, для чего: для подвига, вроде сиринского Мартына, или для «строительства». Борис уходит в личную жизнь и эстет-

ство. Наиболее внутренне преображенной оказывается под конец книги единственная из «старших», Анна Сергеевна, которой тоже нет еще тридцати. После любовных разочарований и неудачи общественной она обращается к вере, хотя и почти бессознательно. Ее духовный путь обрисован Городецкой, пожалуй, убедительнее всего.

Иностранец, прочитавший роман, получит, без сомнения, правильное представление о наших молодых. Но для нас, знающих их лично, герои Городецкой не всегда убедительны. Слишком прямолинейны и несложны их характеры. Пусть многое отделяет «третье» поколение от предыдущего, но отрицать в нем сложной и интенсивной внутренней жизни мы не имеем права. Городецкая вряд ли и хочет этого, так что примитивность ее героев надо отнести за счет известной литературной неудачи. «Дети в изгнании» с точки зрения чисто художественной кажутся нам вообще не лучшим произведением Городецкой. Действие местами явно растянуто, не хватает динамизма. Городецкая лучше «показывает», чем «рассуждает», – жаль, что она сама не всегда помнит об этом. Все же в романе чувствуется лирическое дыхание, свое переживание. Прелестны два вставных эпизода, образующих как бы отдельные новеллы: история таинственной любви Фроси Белус и «солнечный миф» молодой поэтессы Наташи Горенко. Судя по всему, повести удаются Городецкой гораздо больше, чем длинные романы. Надо надеяться, что она не отнесется с пренебрежением к своему «новеллистическому» дарованию: хороший художник не обязан писать большие полотна, а имеет полное право ограничиться и миниатюрами, не теряя ни своей подлинности, ни глубины.

Надежда Даниловна Городецкая – писатель, публицист, доктор философии, профессор. Родилась в России в 1901 г., умерла в 1985 г. в Оксфорде. Н. Городецкая была дочерью литератора. Училась в Гатчине и в Полтаве. В 1919 г. она покинула Россию, сначала жила в Югославии, но в 1924 г. переехала во Францию. Во Франции занималась литературой и журналистикой. В молодости активно посещала собрания «Studio Franco-Russe». Она является автором романов «Несквозная нить» (Париж, 1924), «Пара» (Париж, 1931), оба романа были переведены на французский язык.

В 1930-е гг. Городецкая переехала в Великобританию. В 1934 она прошла курс богословия в колледже Вознесения (Birmingham), а в 1938 г. защитила диссертацию в Оксфордском университете. Надежда Городецкая преподавала русский язык, а позднее была руководителем Отделения славянских исследований в Ливерпульском университете. Занималась она и общественной работой – основала дом св. Макрины в Бирмингеме для православных студенток (1939), не открывшийся из-за войны, и дом св. Григория Назианзина и св. Макрины в Оксфорде для православных студентов.

С 1942 г. Н. Городецкая работала над докторской диссертацией в Оксфорде, была первой женщиной, прочитавшей курс на богословском факультете. В 1944 г. она стала доктором философии и в 1945–1956 гг. читала лекции по русской литературе, была профессором Ливерпульского университета (1956–1968). В 1968 г. ей присвоили звание «заслуженный профессор».

Многочисленные статьи Н. Д. Городецкой печатались в английских журналах. Она также читала лекции в американских университетах (в частности, в университете Беркли). Ее рассказы можно было часто встретить в русской эмигрантской прессе. В 2013 году в России вышла книга Н. Городецкой «Остров одиночества», куда вошли цикл очерков «Русская женщина в Париже», а также штрихи к портретам А. Куприна, А. Ремизова, М. Алданова, Б. Зайцева, В. Ходасевича, И. Шмелева, Н. Тэффи, М. Цветаевой, И. Бунина – интервью, взятые Городецкой у этих писателей. В книгу включены и ее письма к друзьям – Н. Бердяеву, С. Маковскому, В. Кирпотину.

1. «Возрождение», 2 апреля, 1936.
2. *Gorodetzky, Nadejda.* L'exil des infants.– Paris: Desclée de Brouwer, «Les Iles», 1936.

ЭММАНУЭЛЬ БОВ

«ПРЕДЧУВСТВИЕ»[1]

Эммануэль Бов, по происхождению наш соотечественник, довольно давно и прочно вошел во французскую литературу. У него – уже известное имя и всегда хорошая пресса. Несколько лет назад он получил одну из литературных премий, был кандидатом и на Гонкуровскую. Он выпустил несколько романов, имевших неизменный успех, в особенности «Коалиция» и «Пасынок». Успех был вполне заслуженным. Бов обладает очень развитым психологическим чутьем и композиционным талантом, своей манерой видеть и писать.

Новый его роман – «Предчувствие»[2] – не лучшее его произведение, хотя задуман вполне своеобразно. Его сюжет напоминает «уход» Толстого, хотя герой Бова – человек безвестный и средний. Может быть случай Шарля Бенесто в каком-то смысле даже «чище» толстовского, ибо у Бенесто не было ни семейных разногласий, ни других внешних причин. Он «уходит» исключительно от внутреннего беспокойства, от желания жить лучше и праведнее, чем может в своем кругу. Но и в рабочем квартале он встречает мелочность и недоброжелательство. Главное же – все воспринимают, как необыкновенное, негодуя или восхищаясь, то, что для него просто и естественно. Он даже сомневается, правильно ли поступил, раз его «уход» вызвал смущение и толки. От бывшей своей среды он тоже не может вполне отделаться. Когда он умирает, в комнате его, как в Астапове, толпятся знакомые и незнакомые люди, и за гробом его идут сотни.

По-видимому, Бов видит в опыте Бенесто неудачу, но замысел его неясен. Неясно также, стоит ли этот опыт в центре романа для самого автора, или он просто преподносит нам любопытный психологический случай, или, в конце концов, ограничивается повествованием. Эмоциональное переживание не развито, не чувствуется линии и цели. Психологическая ткань очень добросовестна, но местами бедна, примитивна. Встречаются совсем пустые места, пробелы, иногда же, кажется, введены лишние эпизоды, а более существенные не развиты. Не поторопился ли Бов с выпуском книги? Обидно, если он погонится за «продукцией» и снизит свое творчество.

Эммануэль Бов, писатель и художник, настоящее имя – Эммануэль (Эмилий) Эммануилович Бобовников. Он родился 20 апреля 1898 г. в Париже в еврейской семье. Мать была родом из Люксембурга. Жизнь одаренного писателя и художника была нелегкой. Ему пришлось сменить много профессий, прежде чем он стал писателем. Работал на заводе Renault, мыл посуду в ресторане Марселя, работал портье в Версале, служил во французской армии. В 1921 году он уезжает с молодой женой в Вену, где и начинает писать свои романы под псевдонимом Jean Vallois (Жан Валуа). Вернувшись в Париж в 1922 году, Эммануэль Бов работал журналистом. Его работы привлекли внимание французской писательницы Колетт, которая и помогла ему напечатать в 1924 году первый роман «Mes amis» («Мои друзья»). Один из последующих романов Эммануэля Бова «La Coalition» («Коалиция»), опубликованный в 1927 году, был выдвинут на Гонкуровскую премию. В 1928 году за свои романы он получил приз Figuière. Бов продолжал успешную писательскую деятельность до вторжения немцев в Париж.

Как художник Бов участвовал в выставках Королевской академии в Лондоне, в 1928–1932 гг. выставлялся в Салоне французских художников в Париже. Во время Второй мировой войны был в партизанах, в 1942 г. бежал в Алжир. Во Францию он вернулся совершенно больным. Эммануэль Бов умер в 1945 году в возрасте 47 лет от кахексии и сердечной недостаточности.

И хотя он входил в первый ряд французской литературы 1920–1930-х годов, после Второй мировой войны Бов был почти полностью забыт. И только в 1970-х годах наступило «второе рождение» писателя – посмертно к нему вернулась слава. В 1987 году вышел его последний роман «Mémoires d'un homme singulier» («Мемуары странного человека»). Сейчас некоторые его романы переведены на русский язык. За свою короткую жизнь он опубликовал около 40 произведений.

1. «Возрождение», 12 декабря 1935 г.
2. *Bove, Emmanuel.* Le Pressentement. – Paris: NRF, 1935.

ЮРИЙ МАНДЕЛЬШТАМ

НИКОЛАЙ БРЯНЧАНИНОВ

«ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»[1]

В парижском издательстве «Меркюр де Франс» вышла интересная книга Николая Брянчанинова[2] (почему-то именующего себя во французской транскрипции Бриан-Шаниновым). Вернее – книга, которая могла бы стать чрезвычайно интересной, если бы тому не помешали некоторые, почти непреодолимые препятствия.

Тема Брянчанинова – одна из самых волнующих и самых таинственных. Если в судьбе всякого искусства и любого художника более или менее присутствует элемент трагичности, то русская литература и жизнь наших писателей отмечены особым трагизмом. У нас не было «проклятых поэтов», зато доля проклятия легла на каждого – не в этом ли вернейший признак некой избранности нашей словесности. «У чукчей нет Анакреона. / К зырянам Тютчев не придет», – писал Фет в известном стихотворении.

Об этом «первородном» неблагополучии русского искусства писалось немало. Вспоминается, в частности, совершенно блестящая статья В. Ф. Ходасевича «Кровавая пища»[3]. Но как объяснить нашу особенность иностранцам? Пишущий эти строки пытался начать эту работу во французской статье «Трагические годовщины» (к 15-летию смерти Блока и Гумилева), напечатанной в «Ревю де Франс». Трудность заключается в том, что приходится сплошь и рядом прибегать к ссылкам на литературные и биографические источники, нам хорошо знакомые подчас с детства, а французам неизвестные. Им надо бы предварительно дать в руки чисто биографическое или историко-литературное исследование о наших писателях.

Брянчанинов натолкнулся на ту же трудность, ему пришлось сделать ряд биографических вставок, ослабляющих общий тон книги. Вообще, поставил он себе задачу слишком широкую: проследить тему трагичности в русской литературе, неблагополучие ее судьбы в целом и в жизни отдельных писателей. Необходимость детально остановиться на биографической части заставила автора до того сжать общее повествование о судьбах литературы в целом, что впечатление от этой части попросту утрачивается. Вдобавок, говоря о трагичности «направления» нашей литературы, он частенько сбивается на старую погудку о цензурных притеснениях – как будто после революции истинная сущность ее трагизма не стала вполне ясной.

Однако и в самих биографических главах, в общем точных и хорошо составленных, изобилие деталей оттесняет на второй план главную тему книги. В изложении Брянчанинова трагедия в жизни Пушкина или Достоевского далеко не очевидна. Совершил Брянчанинов и кое-

какие ошибки в выборе биографий: Тургенев вряд ли характерно трагическая фигура, тогда как отсутствующие имена наших поэтов – Тютчева, Фета, Некрасова – были бы куда более к месту. Зато радует глава о Константине Леонтьеве, изумительном философе и историософе, о котором и мы сами склонны легко забывать. Говоря о современной литературе, Брянчанинов явно слишком идеализирует Горького, судьба которого трагична, прежде всего, по собственной его вине. Зато о поэтах, в особенности о Блоке, написал Брянчанинов просто и трогательно. Вообще, в поэзии нашей трагизм всегда проявлялся в особо чистом виде, и о поэтах в такой книге надо бы упоминать куда чаще, чем о прозаиках; этого Брянчанинов также не учел, и в этом еще один несомненный недостаток его маленького исследования.

В окончательном счете, все же хорошо, что оно вышло в свет: может быть, кому-нибудь из иностранцев откроется в русском творчестве нечто новое и крайне для него существенное, может быть и кто-нибудь из русских писателей соблазнится темой Брянчанинова и продолжит его начинание.

Николай Валерианович Брянчанинов родился в Сан-Ремо в 1874 году. Происходил он из древнего дворянского рода. По окончании Вологодской гимназии Брянчанинов поступил в Московский университет, но вскоре уехал за границу изучать теологию, историю религий. Он слушал лекции в Германии, в Швейцарии, в двух теологических институтах в Париже. Получив скромное наследство, Брянчанинов много путешествовал по всему миру, организовал экспедицию в Палестину, Сирию, Ливан, Египет с целью изучения истории религий и истории. Большую часть жизни он провел в Европе.

Когда от наследства ничего не осталось, в 1912 г. Брянчанинов приехал в Россию, где писал фельетоны в журналы. В Первую мировую войну присоединился к американской армии в качестве переводчика. После войны эмигрировал в Париж. Во время Второй мировой войны он поступил в иезуитский монастырь послушником, где прожил полтора года в суровом режиме.

Он был известен как автор трех книг: «Восток и Запад», «Впечатления бытия», «Скитания. (Нубия – Судан – Палестина – Ливан)». Умер Николай Валерианович Брянчанинов в Париже в 1943 году. Его близкий друг В. П. Крымов писал о Брянчанинове: «Это был необычайный человек, его внешность подходила бы для Ватиканского кардинала, – всегда спокойный, размеренный, знакомый со многими и в то же время очень одинокий».

1. Газета «Возрождение», том 14, № 4171, 17 февраля 1939.
2. *Nicolas Brian-Chaninov*. La tragedie des Lettress russe.– Paris: Mercure de France, 1938.
3. Впервые статья была напечатана в газете «Возрождение» 21 апреля 1931 г.

Составитель, публикатор,
автор комментария – Елена Дубровина

Ирен Немировски

Погром*

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Ирен Немировски – французская писательница русско-еврейского происхождения – вполне может считаться «женским аналогом» Набокова и наверняка приобрела бы всемирную славу, не уступающую набоковской, если бы не погибла в возрасте 39 лет в нацистском концлагере Освенцим. По красоте стиля и глубине раскрытия психологии героев Немировски ничуть не уступает Набокову, а в части женской психологии даже превосходит его, как мне кажется. Ее самый знаменитый роман, опубликованный через много лет после смерти автора, – это «Французская сюита», считающийся наиболее сильным художественным отражением истории немецкой оккупации Франции. А последний роман Немировски, изданный при жизни, – «Les Chiens et les Loups» – вышел в издательстве «Albin Michel» в 1940 году. Перевод отрывка этого романа я предлагаю вниманию читателей.

Дословный перевод названия – «Собаки и волки» – кажется мне слишком скучным и буквалистским, не отражающим содержания книги, основная тема которой – противопоставление «диких волков», то есть выходцев из самых низов еврейской бедноты, и «домашних собачек» – отпрысков богатейших еврейских семей. «Волки» с детства знакомы со всеми ужасами нищеты, голода и погромов, но они выжили в этих условиях благодаря своей природной силе, жизненной энергии, умению «вертеться» и бороться за свое существование всеми дозволенными и недозволенными средствами. «Домашние собачки» с рождения жили в «тепличных» условиях и оттого они изнеженны, утонченны, безвольны и оказываются абсолютно незащищенными и нежизнеспособными, как только попадают в какой-то неожиданный житейский водоворот. В центре романа – любовная история Ады и Гарри – представителей этих двух противоположных «племен», вокруг их любви разворачивается весь сюжет. Уроженцы одного из городов на западной окраине Российской империи, они впервые встретились в детстве, и об обстоятельствах их первого знакомства как раз и повествуется в нижеследующем отрывке. В этой главе романа самыми яркими красками описан типичный еврейский

---

* Отрывок из романа Ирен Немировски «Домашние собачки и дикие волки» (*Irène Némirovsky*. Les Chiens et les Loups. Chapitre 7-8). См. об И. Немировски: *М. Рубинс*. «Ирэн Немировски. Стратегии интеграции», НЖ, № 253, 2008.

погром – один из тех, что прокатились в начале XX века по юго-западным губерниям тогдашней России. На таком вот историческом фоне начинается дружба девочки Ады и мальчика Гарри. Но она будет недолгой, вскоре их пути разойдутся, и они вновь повстречаются через много лет в Париже. Гарри к тому времени уже будет женат, а Ада – замужем за Беном, своим двоюродным братом. И дальше – любовный четырехугольник с неожиданной драматической развязкой... Все это – внешняя, мелодраматическая, «приключенческая» сторона романа. Но самая «соль» и «изюминка» книги – глубочайшие психологические зарисовки и трогательные переживания Ады – талантливой художницы, чье подлинно артистическое, истинно художническое чувство прекрасного внезапно пробудилось именно в момент ее первого прихода в дом Гарри и с тех пор не покидало ее, несмотря на все жизненные невзгоды... Хотел бы обратить внимание читателей: помимо эпизода о погроме и первой встрече Ады с Гарри, мною переведен еще один небольшой фрагмент, который по непонятным мне причинам не был включен в окончательный текст романа. Эту пропущенную главу (рукопись была опубликована лишь пару лет назад) можно условно озаглавить «В гостях у русской семьи». Семья эта – те самые «друзья Лили», к которым маленькую Аду и ее кузена Бена должна была отвести Настасья, чему помешала уличная паника. Безграничное радушие и гостеприимство, встреченное там еврейскими детьми, представляет разительный контраст с предыдущей картиной погрома. А тот совершенно иной, неведомый мир, увиденный там Адой, – это еще одно сильное впечатление детства, сравнимое с тем, что Ада испытала при посещении дома Гарри.

Юрий И. Линник

Несколько следующих дней бесчинства ограничивались лишь волнениями, что зарождались ближе к вечеру, перерастали в крики, ругань и пару-тройку разбитых окон, а затем все стихало. Днем вообще было спокойно. Но детям все равно не позволяли больше выходить из дому, и они часами сидели рядышком на старом диване, продолжая игру, придуманную прежде, которую теперь они обогатили и развили до настоящей эпопеи с тысячами героев, войнами, осажденными крепостями, капитуляциями, победами. Каждый вечер из первоначальной задумки вырастали все новые истории, как молодые ветви из ствола старого дерева. От игры детей лихорадило, они тяжело дышали, у них пересыхало во рту и под глазами появлялись синие круги. Однако ничем другим они не могли заниматься сумеречными вечерами, ибо им запрещали зажигать лампу. Весь еврейский квартал дышал страхом, замуровавшись за двойными ставнями и забившись в узкие комнатушки, где было темно и жарко.

И вот однажды реальность превзошла все фантазии. Когда Бен и Ада уже пришли в такое исступление от своих вымыслов, что пере-

стали слышать друг друга и тараторили приглушенными голосами одновременно, постукивая пятками по доскам дивана, вдруг их слух поразил – нет, не тот отдаленный ропот и шум голосов, к которому они уже привыкли, но дикий нечеловеческий вопль, рванувший где-то так близко, словно возопили сами стены дома или старые деревянные полы. В то же мгновение распахнулась дверь и кто-то – они даже не узнали родного лица, настолько оно было исковеркано страхом, – кто-то бросился к ним, схватил, толкнул, поволочил за собой. Бен потерял ботиночек и закричал: «Дайте мне его поднять!», но никто его не слушал. Их протащили по всему дому, через черный ход возле кухни и, пиная, пихая, вытягивая за руки и за ноги, взгромоздили на приставную лестницу и зашвырнули на чердак.

Они упали на деревянный пол, нащупали в темноте угол сундука, старый подсвечник, стоящий прямо на полу... Это была кладовка под крышей. Отец Ады – теперь-то они узнали его хриплое учащенное дыхание за дверью, его грудь словно разрывалась от бешеного бега и ужаса, – отец Ады прошептал в замочную скважину:

– Не шевелитесь. Не плачьте. Спрячьтесь.

Затем прибавил еще тише:

– Не бойтесь.

– Но я не хочу здесь оставаться! – крикнула Ада.

– Молчи, дурочка! Не шевелись. Не говори ни слова. Молчи.

– Но, папа, неужели ж мы будем здесь ночевать?!

– Но, дядя, мы хотим есть!

Они изо всех сил били кулачками в дверь, запертую на ключ. Но отец быстро спустился вниз, и было слышно, как он убирает лестницу.

Лишь только они остались одни, Бен успокоился:

– Бесполезно кричать. Ничего уж не поделаешь. Он ушел.

Окошко чердака смотрело в узкий внутренний дворик, похожий на глубокий колодец между высокими стенами. А снаружи рев толпы то усиливался, то вновь ослабевал и толпа удалялась, как будто волшебное море вышло из берегов, катилось по улицам города и стучалось волнами в стены дома. А потом солдаты, бродяги, грабители, истеричные евреи – сбивались в толпу возле входа в еврейский квартал, и то, что между ними происходило, этого Бен и Ада не видели и не могли даже вообразить, но действо разворачивалось прямо возле их дома, у самого порога. Сборище рычало, как стая бешеных зверей. Толпа в неистовом порыве, как таран, долбила стены – билась, отступала, возвращалась нестройным роем, чтобы вновь их расшатывать, безуспешно ударяясь в них.

Дети сидели на краю сундука, прижавшись друг к другу; они были настолько ошеломлены, что не могли даже плакать. Порой им

удавалось различить тот или иной определенный звук среди невнятного тысячеголосного гвалта. Навострив уши, они с содроганием и с жадностью улавливали эти звуки, которые пугали их меньше, ибо были им знакомы:

– Вот это разбилось окно. Слышишь, падают осколки? А вот это камни об стену... в железные ставни магазина... Какая-то женщина орет, как будто ее режут. Почему?.. А это солдаты поют. А это...

Они умолкли, пытаясь понять смысл тех глубоких ритмичных волн звука, что доходили до них.

– Это молитвы, – сказал Бен.

Патриотические песнопения, русские церковные молитвы, начавшийся колокольный перезвон – эти знакомые звуки было даже приятно слышать...

Прошло несколько часов. Детям было уже не так страшно, но теперь они сильнее чувствовали все неудобства чердака: было холодно, острые углы сундука царапались. Хотелось есть.

Бен решил открыть сундук. Сверху лежала куча обрывков бумаг и тряпок. В темноте, на ощупь, они разгребли этот хлам и наконец-то смогли улечься посреди него, кряхтя и ругаясь, отбирая друг у друга самые мягкие куски материи и оставляя соседу жесткие газеты, устилающие дно. Все это пахло пылью и нафталином. Дети не переставая чихали. Наконец они смогли устроиться рядышком друг с другом. В сундуке им казалось безопаснее, спокойнее, теплее, но они боялись, что крышка плотно закроется и они задохнутся. Они разглядывали крышку, тараща глаза и стараясь привыкнуть к темноте, и мало-помалу им удалось разглядеть блестящую железную обивку сундука.

А на улице продолжался шабаш. Вдруг Ада вскочила на ноги и вскрикнула, но не обычным голосом, а хриплым, низким, горловым, словно внутри нее кто-то другой звал на помощь:

– Я не могу больше это терпеть! Я умру, если это продолжится!

– Это продолжится, – гневно сказал Бен, – я тебе даже больше скажу: ты можешь ныть, кричать, умолять и плакать хоть до утра, и от этого тебе в рот не попадет ни одной картофелины.

– Это... мне... все равно, – пробормотала Ада, всхлипывая, – мне все равно, хоть бы вообще никогда не есть, лишь бы они замолчали!

– Что бы ты ни делала, они не замолчат.

Это было настолько очевидно, что Ада вдруг успокоилась, и ей даже стало весело.

– Ну тогда будем играть, – сказала она.

– Во что?

– Мы на корабле! – вдохновенно воскликнула Ада. – А море штормит! Слышишь? Ветер дует! Волны скачут!

– Да! Мы пираты! – закричал Бен, топая обеими ногами по днищу сундука, так что он трещал и скрипел, подобно корпусу гибнущего корабля. – Отдать паруса! Спустить фок, брамсель и флаг! Земля! Земля! Земля!

Теперь они были счастливы; поток холодного воздуха, падавший им на плечи, был ледяным дыханием айсберга, плывущего в темноте совсем рядом с их бортом; треск этих потревоженных досок, тряпье и даже их мучительный голод – все это происходило не наяву, а во сне или в приключенческом романе. А там, за окном, эти крики, призывы о помощи, грохочущая буря на старой городской улице – все это было ничем иным, как возмущением волн и ворчанием грозовых туч, и они с восхищением вслушивались в скорбный звон колокола и в обрывки песнопений, доносящихся до них словно с далекого берега.

Их счастье стало беспредельным, когда Бен отыскал у себя в кармане коробку спичек, огрызок свечи с остатками фитиля, свистульку и два забытых ореха, одним из которых он поделился с Адой. Орехи были с последней рождественской елки: позолоченные снаружи, но сухие и горькие внутри. Дети зажгли свечу и прилепили ее к краю сундука, и крохотный огонек, мерцающий в холодном воздухе чердака, усиливал ощущение какого-то сказочного мира, мрачного и мятежного, полувидения-полуигры. Так прошла ночь. Наконец шум на улице вроде бы стих. Дети, у которых голова уже гудела от криков, испуга и голода, рухнули на дно сундука и уснули.

* * *

На рассвете дверь открыла тетя Раиса. Сначала она не заметила детей, с тревогой осмотрела весь чердак и вскрикнула, когда они вдруг встали из сундука: их одежда была мятая и грязная, волосы – серые от пыли. Она схватила их обоих за руки и вытащила из этой норы.

– Вы сейчас пойдете к друзьям Лили, – сказала она. – На улице никого. Вы сможете дойти. Вас там приютят на два-три дня.

Полусонные дети спустились вслед за ней. Их руки и ноги окоченели от холода. Во всем теле была тяжесть и ломота. Они машинально расчесывали свои маленькие лица, перепачканные грязью, и тщетно пытались открыть глаза – тяжелые пылающие веки тотчас вновь смыкались.

Они проснулись только на пороге кухни.

– Ты не дашь нам поесть?

– Я голодная, я хочу чаю, хлеба, – сказала Ада.

– Вы позавтракаете у Лили.

– Но почему?

– Мы не разожгли утром огонь.

– Почему?

Тетя Раиса ничего не ответила, но пока они одевались, дала им кусок черного хлеба, наверняка приготовленный именно для них, ведь она вынула его из мешочка, который держала под мышкой и в котором еще было немного белья.

– Там еще рубашка и пара чулок на тот случай, если... это продлится дольше.

– Дольше, чем что?

– Молчи, Ада. Дольше, чем мы предполагаем.

– А что они все хотят нам сделать?

– Ничего. Молчи.

– Так почему тогда мы должны уходить?

– Но ты замолчишь или нет, глупая девчонка?! – крикнула тетя Раиса с присвистом, похлопывая по плечу Бена.

Она осторожно открыла дверь на улицу; у порога их ждала Настасья.

– Теперь идите быстрее!

Тетя Раиса немного проводила их. Никогда еще она не выходила из дому вот так, без пальто и шапки, да еще в такой пронизывающий холод. Ее лицо было мертвенно-бледным, а углы губ даже посинели. Бен впервые в жизни взял руку матери с нежностью.

– Пойдем с нами, мама.

– Я не могу. Я должна остаться с дедушкой Ады, ему плохо.

– А что с ним сделали? – спросил Бен, и от этих слов Ада побледнела и уставилась в землю: сама не зная почему, она боялась услышать ответ.

– Ничего, – сказала Раиса. – Но они сожгли всю его работу, он теперь как сумасшедший.

– Было бы из-за чего! Что за ерунда! – фыркнул Бен, состроив гримасу. – Если бы его самого бросили в огонь, это я понимаю, но старые бумаги...

– Заткнись! – крикнула вдруг Ада, заливаясь слезами. – Ты ничего не понимаешь! Ты самый...

Она не нашла достаточно сильных ругательств и дала ему пощечину, а он в ответ хлестнул ее по обеим щекам. Тетя Раиса разняла их.

– Хватит! Идите с Настасьей! Быстро!

Она обняла детей на прощанье и вернулась в дом. Настасья очень спешила, дети бежали следом, держась за ее юбку и испуганно озираясь по сторонам. Неужели это их родная улица? Они ее больше не узнавали. Теперь она стала другой – чужой, ужасной. Дома в три-четыре этажа мало пострадали – лишь несколько окон было выбито, но маленькие домишки, которых было много в этом бедном квартале, ларьки,

лавки кошерной пищи, магазинчики, состоящие из одной комнаты и чердака под жалкой крышей, казались вырванными из земли и брошенными один на другой, как после урагана или наводнения; другие же – черные от копоти и дыма, с выбитыми окнами и дверьми, были словно ослеплены и выпотрошены. На земле повсюду валялись груды какого-то железного лома, вырванных оконных рам, куски чугуна, черепицы, кирпичей, досок, бесчисленные кучи мусора, из которых торчал то ботинок, то ручка кастрюли, то осколки глиняной посуды, а чуть поодаль – женская туфелька с вывернутым каблуком, а за ней – сломанный стул, новенькая шумовка, пустая бутылка с отбитым горлышком и фаянсовое месиво, еще недавно бывшее чайником. Все это выбросили на улицу во время грабежа, но некоторым вещам удалось уцелеть, непонятно почему: так же и при пожаре огонь порой щадит хрупкую мебель. Все магазины были опустошены, витрины зияли черными дырами.

Бело-серый пух и перья летали в воздухе: они сочились, как дождь из туч, из вспоротых перин на верхних этажах домов.

– Быстрей! Быстрей! – торопила Настасья.

Их пугали эти пустынные улицы и мрачные разоренные дома.

Еврейский квартал, расположенный в низине, был отделен от других городских районов лестницей, на ступенях которой в ярмарочные дни сидели женщины в окружении корзин и ведер, наполненных рыбой, фруктами или пирожками – хрустящими, усыпанными маком, с привкусом речной воды и песка.

Настасья и дети питали смутную надежду, что с уходом из еврейского квартала они наконец-то избавятся от этого ужасного зрелища и теперь, вместо разоренных улиц, увидят привычный пейзаж, с мирными горожанами на прогулке, с катаньем на санях, с полными товаров магазинами. Теперь, однако, и здесь все изменилось. Может, причиной тому был утренний час, еще сумеречный, неясный, пасмурный. Кое-где еще горели фонари. Морозный воздух имел тот резковатый привкус, который предшествует снегопаду. Никогда еще Ада не ощущала холод настолько сильно, хотя и была тепло одета: впервые в жизни она вышла на улицу, не выпив чашку горячего чая, а кусок хлеба был уже черствым, и она с трудом его пережевывала и глотала с болью в горле.

Они шли по бульвару, на котором все ларьки были забаррикадированы, а витрины магазинов забиты досками: ведь и здесь некоторые торговцы были евреями, а другие опасались бандитов и бродяг («босяков», как их называли), что смешались с толпой солдат и грабили всех без разбору, не особо интересуясь религиозными верованиями своих жертв. И все же в тех домах, где жили православные, на балконах были выставлены иконы, в надежде, что уважение к этим священным образам остановит погромщиков.

Дети попытались разговорить Настасью, но она как будто и не слышала их. Ее лицо сделалось таким угрюмым и деревянным, злобным и замкнутым, как в тех случаях, когда тетя Раиса ругала ее за то, что на кухне опять ночевал мужчина, или жаркое подгорело, или когда Настасья была пьяна. Она подоткнула платок под подбородок и шла молча.

Только возле церкви они впервые увидели живых людей: несколько женщин стояли на паперти, смотрели вдаль и взволнованно говорили. Одна из них, заметив Настасью, закричала:

– Ты куда идешь?

Настасья назвала улицу, где жили друзья Лили.

Женщины окружили ее и затараторили наперебой:

– Да Боже упаси! Не ходи туда!... Пьяные казаки повалили женщину на землю и их лошади затоптали ее... Она ничего никому не говорила, спокойно шла... Они пустили лошадей по тротуару... Нет, они подумали, что она от них убегает: она несла сверток с платьями, они захотели отнять, она не отдавала, и тогда... Да глупости! Просто лошадь испугалась... Она бежала бегом через улицу и упала... Да, ну как бы там ни было, но она мертва, не ходи туда, тем более с детьми...

Они тянули Настасью за рукав, за юбку; их платки трепал ветер и обматывал вокруг их голов, прижавшихся друг к другу.

Ада заплакала. Одна из женщин попыталась ее успокоить, другие кричали, потом начали ссориться, ругаться и даже бить друг дружку. Настасья металась между ними и то хватала детей за руки и устремлялась вверх по улице, то вдруг возвращалась обратно и жалобно причитала:

– Что мне делать?! Куда идти?! Люди добрые! Там у евреев грабят, а тут убивают! Куда идти?! Что делать?!

Женщина, стоявшая немного в стороне, подбежала к ним и заорала:

– Вот они! Они уже здесь! Скачут сюда! Они пьяные! Давят всех на пути! Господи, помилуй!

Казаки скакали галопом по улице. В начавшейся панике Ада с Беном потеряли Настасью. Они наугад бросились в ближайший двор, затем в другой, выбежали в переулок и снова очутились на бульваре. Они слышали крики казаков, ржание лошадей и стук подков по ледяной земле. Дети обезумели от ужаса. Держась за руки, они бежали без оглядки, ничего не видя, но точно зная, что за ними гонится целая армия казаков и что они сейчас повторят судьбу раздавленной женщины. Их зимние пальто, тяжелые и неудобные, очень им мешали. Бен потерял свою фуражку, и его длинные волосы падали ему на глаза и ослепляли. Каждый порыв ветра, который он вдыхал, казался ему ударом ножа, разрывавшим грудь. Ада на мгновение оглянулась

и увидела казаков, точнее, только одного, он скакал и смеялся. К его седлу был прикреплен большой кусок бархата, свернутый в свиток, который размотался и волочился по грязному талому снегу. Ада никогда не забудет цвет этого бархата – розовато-сиреневый, с оттенком серебра. На улице уже совсем рассвело.

Дети продолжали бежать вверх, на холмы, инстинктивно стремясь уйти как можно дальше от еврейского квартала. Наконец они остановились. Они больше не слышали никакого шума и не видели никаких казаков, но теперь они были одни и не знали, куда идти.

Ада плюхнулась на каменную тумбу на обочине улицы и залилась слезами: она потеряла шапку, перчатки, муфту и порвала рукав пальто, который теперь выглядел весьма плачевно; она терла кулачками свое бледное лицо, все покрытое пятнами черной грязи; слезы размазали вчерашнюю пыль, исполосовав ее щеки темной рябью.

Бен неуверенно проговорил:

– Нам надо вернуться назад и попытаться найти дом друзей Лили.

– Нет! Нет! – закричала Ада, трясясь как в лихорадке. – Мне страшно! Я не вернусь туда! Мне страшно!

– Слушай, сейчас объясню, как мы поступим: мы пойдем дворами, за домами никто нас не увидит, и мы ничего страшного не увидим.

– Нет! Нет! – повторяла Ада.

Она вцепилась руками в каменную тумбу как в свое единственное пристанище на всем белом свете.

А они теперь находились на одной из самых богатых улиц города, посреди особняков, окруженных роскошными садами. Все здесь было исполнено мира и покоя. Здешние обитатели понятия не имели о происходящем в той части города, что прилегает к реке. Ни один казак не посмел прийти сюда и потревожить их. Хотя, возможно, они и наблюдали смятение и ужас еврейского квартала, но как в театре, с легкой дрожью зрителя, смотрящего страшный спектакль и утешающего себя ясным ощущением того, что он-то сам в безопасности: «Со мной такого никогда не случится, никогда». Счастливцы! И, однако, среди них тоже встречались евреи! Ада представляла их похожими на ангелов, равнодушно взирающих на бедную землю со своих небесных балконов. Она хотела остаться здесь, среди них! Она не хотела спускаться назад!

– Останемся здесь, Бен! – взмолилась она тихим голосом.

Он разозлился, назвал ее «дурой, идиоткой, трусихой», но она прекрасно понимала, что он тоже не горит желанием покидать эти благословенные места.

Они взялись за руки и бесцельно поплелись по улице. Ада ковыляла, опершись на плечо брата. Одна его штанина была порвана, и коленка разодрана до крови.

– Может, найдется кто-то, кто предложит нам войти? – робко сказала Ада.

Бен злорадно ухмыльнулся:

– Ты сама-то в это веришь?

– Слушай, – проговорила Ада после минутной заминки. – А ведь здесь живут Синнеры.

– И что?

– А то, что они наши родственники.

– Уж не собираешься ли ты идти к ним?

– А почему нет?

– Они нас прогонят.

– Почему?

– Потому что они богачи.

– Но мы же не будем просить у них денег!

Бен снова назвал ее идиоткой. Она не стала возражать, грустно вздохнула и пошла дальше. Она чувствовала, что Бен уже начал дрожать от холода.

– Вот здесь они живут, – Ада указала их улицу.

– Да мне плевать.

Но ветер дул все сильнее. Она взяла за руку своего спутника.

– Мы можем хотя бы на минуту укрыться на крыльце. Я помню, у них крыльцо под крышей, с колоннами... из мрамора, – прибавила она, подумав с минуту.

– Из мрамора? – Бен пожал плечами. – А почему не из чистого золота? – он злорадно усмехнулся.

– Во всяком случае, крыльцо, защищенное от ветра.

– И как ты собираешься проникнуть в сад?

– По-моему, ты хвастался, что можешь перелезть через любую ограду, даже самую высокую.

– Я-то, может, и смогу... но ты, девчонка...

– Мы еще с тобой посоревнуемся в неуклюжести! – гневно сказала она.

– Да? Посмотри на себя, на кого ты похожа! Полчаса всего бежала и уже еле ноги волочишь по снегу!

– А ты? Разве ты не упал и не разбил колено до крови?

– А вот спорим, что я взберусь на самый верх ограды и спрыгну в сад, а ты даже не способна долезть до первой перекладины!

– А вот и посмотрим!

– Посмотрим!

Они подбежали к дому Синнеров. Было уже девять часов утра, и на улице появились прохожие: служанки спешили в магазины и на рынки, лакеи выгуливали собак, дворник убирал снег. Но дети улучили момент,

когда кругом никого не было, и полезли на забор. Оба были проворны, хотя их движения и были скованы тяжелыми пальто на вате. Бен перелез первым и насмешливо наблюдал за Адой. Она, понадеявшись на Бога и считая недостойным просить помощи у брата, наконец-то смогла поставить ногу меж позолоченных наконечников сверху ограды. Это было самое сложное, а дальше – проще: спускаться вниз всегда легко. Она спрыгнула на клумбу, покрытую снегом, и увязла там по пояс. Бен взял ее за руку, тянул ее и толкал, пока она не встала на ноги. Крадучись в кустах, они подобрались к самому дому, чей фасад украшало роскошное крыльцо с овальным сводом и тонкими каменными колоннами. Бен с Адой проскользнули туда, прислонились к холодной стене и стали ждать, сами не зная чего. Здесь, конечно, было приятнее, чем на ветру, однако вскоре их охватила жуткая растерянность и тоска, а еще больше – такая усталость и голод, каких они еще никогда не испытывали.

Ада шепотом смущенно предложила:

– А давай позвоним?

Бен, с посиневшим от холода лицом, снова отрицательно мотнул головой, на сей раз уж вовсе неуверенно. Ада позвонила. Они прижались друг к другу и, затаив дыхание, смотрели на дверь. Она отворилась. Горничная, толстая румяная девица, с угрюмым величественным лицом и смешным кружевным бантиком в черных волосах, махнула рукой, чтобы прогнать их, но Бен просунул руку в дверь, а Ада спешно крикнула:

– Мы хотим видеть господина Синнера-старшего, мы его племянники.

– Что ты мелешь? – недоверчиво произнесла горничная, наклоняясь к ней.

– Мы двоюродные племянники господина Синнера. Мы хотим с ним поговорить, – сказала Ада более уверенно.

Горничная колебалась. Но дети, увидав за дверью прихожую и ощутив дуновение тепла из внутренних комнат, исполнились отчаянной храбрости. Они оттолкнули горничную и вбежали в дом. Горничная вновь обрела дар речи:

– Ну раз так, я предупрежу госпожу... А вы ждите меня здесь! Ни шагу отсюда!

Она пошла внутрь дома, но дети следовали за ней по пятам: они понимали, что иначе их прогонят. Богатым родственникам нельзя давать время на размышление.

В столовой с длинными шторами из красного дамасского шелка и с массивной дорогой мебелью, где семья Синнеров принимала свой первый завтрак, вдруг появились за спиной у горничной двое маленьких нищих, в грязных лохмотьях, с растрепанными волосами, испу-

ганные, но злобные и нахальные, и страстно жаждущие, чтобы их накормили, обогрели и утешили.

Бен дрожащим голосом начал объяснять, кто они такие и как здесь оказались. Он говорил долго. Ада тем временем была одно сплошное зрение. Она не просто рассматривала то, что ее окружало. Она упивалась им, как умирающий от жажды набрасывается на воду и никак не может напиться досыта: каждая краска, очертания каждого предмета, эти незнакомые лица – проникали в тот сокровенный тайник, спрятанный в глубинах ее души, о существовании которого она до сих пор не догадывалась. Окаменевшая, пораженная, она пожирала вытаращенными глазами плотную темно-красную ткань штор, эбеновое дерево стульев и их бархатные спинки, светлые обои, на бледно-молочном фоне которых выделялись богатые узоры, угрюмый пурпур ковров, черное дерево шкафов, серебро сервизов в сервантах.

А в центре стоял стол, очень большой, за которым сидели женщины, и рядом с ними – Гарри. Она его сразу узнала. На нем был атласный халатик сливового цвета; никогда еще Ада не видела такой пышной и блестящей ткани; наверно, Гарри недавно болел, раз был укутан так шикарно. Перед ним стояла фарфоровая чашка, белая и тонкая, как яичная скорлупка, и подставка для яйца из позолоченного серебра. На тарелке лежали два бутерброда из пеклеванного хлеба. Одна из женщин делала бутерброды, беря кусочки масла из хрустального блюдца с крышкой, украшенной серебряной шишечкой. Другая женщина наливала в чашку Гарри кофе из серебряного кофейника с длинным носиком. Третья добавляла молока и, вооружившись лорнетом, отыскивала сливки, плавающие на поверхности, и старательно их убирала маленькой серебряной ложечкой. Четвертая разрезала яйцо, которое достала из глубокого блюдца, тоже серебряного, наполненного горячей водой. Но она стала резать яйцо не столовым ножом, что ожидала увидеть Ада, а особыми ножницами, округлыми и позолоченными, изготовленными специально для этой цели, и вот это зрелище было самым необычным.

Двое из этих четырех женщин, облаченные в утренние халаты, обшитые кружевами, в столь ранний час уже вдели бриллиантовые серьги себе в уши. Это были мать Гарри и его замужняя тетка. Полные, неповоротливые дамы, белолицые и черноволосые, с пышными буклями по обеим сторонам лица. Словно распустившиеся белые пионы, эти самодовольные матроны излучали сытость и лень, на лицах – презрительная мина, в неумолимых глазах – черствость и равнодушие, как у всех слишком богатых и слишком счастливых женщин. Две другие, помоложе, были незамужние тетки Гарри. Две старые девы. Они были одеты по-английски – прямые юбки из жесткой ткани, больше подходящей для мужских брюк, тонкие блузки с накрахмаленными воротнич-

ками, твердыми как ошейники. Подобно многим еврейским миллионершам нового поколения, они с детства были приучены к хорошим манерам и старались казаться более благородными, чем позволяло их происхождение. В каждом их движении была эта напускная простота и строгость, словно они хотели сказать: «Посмотрите, как я стремлюсь казаться незаметной, не выделяться из толпы и настолько уподобиться простым смертным, чтобы они забыли, кто я такая».

С появлением Бена и Ады трапеза прервалась, лорнеты поднялись к глазам и тут же упали, и раздался всеобщий возглас:

– А это еще что?!

Пока Бен говорил, Гарри не притрагивался к еде и бледнел все сильнее. С недоверием и ужасом он смотрел на этого взъерошенного бродяжку с разорванными штанами и на эту бледную девчонку, чьи растрепанные волосы, слипшиеся от пыли и пота, падали ей на брови густыми беспорядочными космами.

Бен это заметил и нарочно, со злобным наслаждением, принялся приукрашивать свой рассказ, который сначала был более-менее правдивым, а теперь там потекли реки крови, появилось несколько трупов и дюжина женщин со вспоротыми животами. Гарри оттолкнул от себя тарелку, совершенно белый, он весь дрожал.

Бен остановился, чтобы перевести дыхание. Ада сказала слабым голосом:

– Пожалуйста, дайте нам поесть.

Она сделала шаг по направлению к столу, но все женщины вскочили как по команде, заслоняя Гарри своими телами.

– Не позволяйте ей приближаться! Они оба грязные! Они могут быть заразными! Малышка, не подходи сюда! Стой на месте! Долли, распорядись отвести их на кухню.

– Мы не грязные! – закричала Ада. – Если бы вы сами просидели всю ночь в сундуке, то ваши красивые платья тоже порвались бы, а ваши лица покрылись бы пылью!

«Надеюсь, это с вами когда-нибудь случится», – подумала она, но не сказала больше ни слова.

Был отдан приказ горничной отвести «этих пострелят» на кухню, дать им по чашке чая и по куску хлеба и ждать дальнейших указаний. Но в это время Гарри скользнул под стол и исчез. А когда детей уже выводили из комнаты, Гарри вернулся в сопровождении старика, похожего на дедушку Ады, как брат на брата. Все замолчали. Это был хозяин дома, Синнер-старший, настолько богатый и влиятельный, что, по мнению всех евреев, он уступал только Ротшильду (а царь Николай Второй занимал третье место).

Его лицо было худым, пожелтевшим, иссушенным, длинный нос

такой странной формы, словно он был разбит надвое ударом кулака, глубокие надбровные дуги посинели и казались чуть ли не фиолетовыми (поговаривали, что это признак рака, пожирающего его изнутри), белки глаз изборождены извилистыми кровеносными сосудиками, зрачки зеленоватые, взгляд неприятный, пронизывающий. Но его седая борода, совершенно лысая голова, слабая сутулая спина и длинные сухие пальцы с желтыми ногтями, выгнутыми и твердыми, как рога, его речь с идишским акцентом, то отрывистая, то протяжная, – все это было очень знакомо Бену и Аде и казалось чем-то родным: богач Синнер походил на стариков из еврейского квартала – барышников, продавцов металлолома, сапожников, сидящих в своих мастерских. Детей переполняло восхищение и уважение к нему, но они его не боялись.

Бен снова начал рассказывать об их приключениях. Ада стояла в сторонке, она чувствовала себя слабой и больной, и ей вдруг стала безразлична собственная участь. Однако неожиданно ей пришло в голову, что она должна упасть в обморок. В книгах всегда так: если ребенок падает в обморок, то все тотчас же спешат ему на помощь, кормят его, укладывают в кровать... Ада затрепетала, вообразив чистую теплую постель. Она зажмурила глаза с такой силой, что ее голова наполнилась приглушенным гулом, нежным, как морской прибой. Она подождала с минуту, но в обморок упасть не получилось: Ада с сожалением открыла глаза и обнаружила, что по-прежнему стоит, прислонясь к стене и скрестив руки на груди, рассматривая людей вокруг себя. Женщины казались чрезвычайно возбужденными и даже взбешенными; они хором что-то говорили и бросали на детей испуганные, чуть ли не злобные взгляды.

«Они злые», – подумала Ада. Но, как с ней порой случалось, в голове родились теперь сразу две разных мысли: одна – детская, наивная, а другая – взрослая, мудрая и всепрощающая. В ней жили две Ады, и одна из них понимала, почему ее хотят прогнать и говорят с ней так сердито: эти голодные дети возникли перед богатыми евреями как вечное напоминание или жуткое постыдное воспоминание о том, какими они сами когда-то были или могли бы быть. И никто даже не смел подумать: «...какими мы вновь можем стать когда-нибудь».

Ада присела за шторой и задремала. Время от времени она подносила ладонь ко рту и слегка кусала ее, чтобы пробудиться. И тогда между шелковых складок штор можно было заметить ее бледное сонное личико: думая, что никто ее не видит, она осторожно выглядывала и показывала язык женщинам.

Когда ее оттуда вывели, она спала на ходу. Их с Беном отвели в огромную комнату – рабочий кабинет старика Синнера. Для них накрыли маленький стол. Они поели. Ада так устала, что ничего не отвечала

на вопросы старика: она их просто не слышала. Позднее Бен будет жестоко подсмеиваться над ней. Ведь он сам говорил уж слишком громко и быстро своим тонким, лихорадочным, пронзительным голосом.

– Значит, ты племянник Израэля Синнера? Я слышал о нем. Это честный еврей.

Старик произнес эти слова медленно, с оттенком уважения и жалости. Когда о каком-то обитателе еврейского квартала говорят, что он честный, как же не пожалеть этого беднягу, которого Бог забыл наделить когтями и зубами для самозащиты?

– Ты скажешь ему, чтобы он нанес мне визит. У меня есть для него дело, он сможет подзаработать. (Старик уже писал поручение своим представителям в Харькове, считая, что это будет неплохо, если они доверятся такому человеку – трудолюбивому, скромному, но не слишком находчивому и сообразительному.)

Чтобы дать детям спокойно поесть, он отвернулся и подошел к окну. Отсюда были видны крыши еврейского квартала. У Ады мелькнуло в голове, что было бы интересно узнать мысли этого старого богача, наблюдающего за их проклятым кварталом, одновременно таким далеким и таким близким ему. Но мысли человека столь богатого, – это что-то из области, недоступной простым смертным, что-то такое возвышенное и непонятное – как у жителей небесных сфер. К тому же, Ада так устала, что все окружающее казалось ей сном или лихорадочным бредом... Она полностью очнулась, чтобы воспринимать мир, лишь на следующий день, у друзей Лили, куда ее отвел отец, оповещенный Синнером. Она проспала двадцать четыре часа.

В ГОСТЯХ У РУССКОЙ СЕМЬИ

Пропущенная глава, не вошедшая в основной текст романа

Неделя, проведенная в приютившей их православной семье, стала для детей совершенным блаженством. Здесь у них была полная свобода, как и дома, в еврейском квартале, однако тут это было лишь проявлением беззаботности их русских хозяев, тогда как дома дети чуяли очень остро, что их свобода порождена чересчур суровой родительской заботой: детям нарочно позволяли какое-то время заниматься чем хотят, и только и ждали того момента, когда они дадут повод изменить отношение к себе. А здесь – приятная небрежная снисходительность была присуща всем, старым и молодым; и мать семейства, толстая генеральша, с одинаковой решимостью помышляла запретить своей старшей дочери, шестнадцатилетней Вере, исчезнуть на всю ночь под предлогом ночлега в гостях у подружки-одноклассницы или запретить своей младшей дочери, восьмилетней Зине, бегать

босиком по саду, мокрому от дождя, – как и запретить самой себе долгий сон, усугубляющий ее болезненные приступы астмы, или игру в карты, что начиналась в пять вечера и завершалась на рассвете.

Ничто не было так причудливо-пленительно для детей, как этот покой, эти долгие часы отдохновения в доме, где никто не говорил о деньгах. Да и зачем? Все русские семьи жили на наследство или на пенсию от Императора. Подремывая, вы получаете доход, и вам не нужно бегать в его поисках, стаптывая башмаки и сердца. Никто не беспокоится о будущем. Вы целиком полагаетесь на небесное и царское покровительство или ожидаете смерти богатой тетушки. Ваши болезни и смерть вы предаете воле Божьей, и ваши часы текут сладостно неспешно.

Дом этот был таким же старым и обветшавшим, как и их жилище в еврейском квартале, и здешние темные углы так же редко навещала метла, но зато тут на каждом шагу попадались глубокие кресла, огромные диваны и изъеденные молью старинные ковры, разбросанные по углам, где можно было развалиться и уснуть. Здесь не было никакого распорядка дня, никаких расписаний подъемов, отбоев и трапез: в полдень одни вставали с постели, другие только ложились. Обеденный стол был накрыт постоянно. Когда подавали сладкое, вдруг появлялась Вера с какой-нибудь подружкой-одноклассницей или с одним из трех родственников-студентов, живших у генеральши, и хозяйка дома распоряжалась вновь подавать суп. А за компанию с новыми сотрапезниками всех опять тянуло отведать бутерброд, котлетку, немножко красной капусты и чуть-чуть белого мяса. Детей пичкали сладостями, полными стаканами молока, вареными яйцами и большими ложками рыбьего жира, чтобы еще усилить их аппетит. Ужинали ночью. В два часа ночи сонная прислуга подавала еще и еще блюда – теплые, душистые, прелестные на вид, словно на обеде в царском дворце, и всё это еще доедали, когда окна уже начинали белеть от предрассветных лучей.

Лиля, Бен и Ада были оставлены тут на восемь дней, но они ясно видели, что их охотно продержат здесь еще хоть полгода или год. К ним относились так, как было принято в приличном русском обществе, когда в силу обстоятельств приходилось общаться с евреями: «Все эти жидовчики – негодники, но, впрочем, и мы все – жалкие грешники. У каждого есть недостатки, а вот Соломон Вронович, мой врач, или Аркадий Израилевич, мой управляющий, – совсем не такие, как прочие евреи».

Лиля, Ада и Бен не только не ощущали никакой враждебной среды вокруг себя, но им даже никогда прежде не была знакома такая всеобщая благожелательность. Вообще благодушие – отличительная черта русских провинциалов. Они примирились с Богом и людьми. Безбедная жизнь на широкую ногу, множество слуг, которым почти не платят, любовное почтение к распущенности и ни грамма порядка

и дисциплины, никакой требовательности ни к себе, ни к другим – все это чудесным образом упрощало их бытие.

Ада и Лиля делили спальню с дочерьми генеральши. Пока толстая Зина спала, Ада подслушивала те откровенности, которыми две старшие девочки обменивались друг с другом во мраке ночи, и многое из того, о чем она прежде и не думала, открывалось перед ней в соблазнительных, опасных образах.

Подслушав некоторые рассказы Веры, Ада с особым вниманием наблюдала сцену, происходившую несколько раз в неделю по вечерам. Генеральша играла в карты. Появлялась ее старшая дочь. Высокая, светловолосая, она взволнованно глядела томными глазами. А в руках у нее – чемоданчик с принадлежностями для ночлега.

– Мама, я сегодня ночую у подруги.

– Хорошо, дитя мое.

И никогда никаких вопросов. Вера прикладывалась губами к увядшим щекам генеральши. Маленькая рука генеральши, мягкая и толстая, с особенной нежностью, присущей рукам, никогда не державшим грязную тряпку, ручку кастрюли или штопальную иглу, приподнималась и осеняла крестным знамением склоненную головку девушки... «Храни тебя Господь, дитя мое!»

Ада спрашивала себя, было ли это сочувственным снисхождением или просто тупостью мамаши. Тетя Раиса в ту пору неусыпно надзирала над взрослеющей Лилей, чтобы по возможности направить в нужное русло ее девичье поведение. Здесь же, очевидно, не было ничего подобного, но лишь олимпийски спокойное попустительство. «Молодежь... все мы через это прошли... Бог ей в помощь. Ведь на все Его воля. Будет Ему угодно – сбережет ее от беды, а если попустит ей попасть в дьявольские ловушки, что я могу сделать?» – наверняка именно так думала генеральша. Но лишь покинув этот дом и особенно этот сад, обширный, дикий, с убеленными деревьями и мягкой землей под пушистым февральским снегом, Ада впервые дерзнула оценить свою жизнь и сочла себя несчастной.

В тот год важные для нее изменения назревали в жизни семьи. Во-первых, умер дедушка. После ночного погрома он впал в какое-то оцепенение. Он с трудом передвигал ноги и не притрагивался к еде. Вскоре его жизнь угасла, а вместе с ней – главное обстоятельство, не позволявшее семье покинуть еврейский квартал. Дела у отца в тот год резко пошли в гору: у евреев же всегда все происходит как-то вдруг и скачкообразно. Счастье и горе, изобилие и нищета обрушиваются на них, как удар грома небесного на пасущихся овец. И не оттого ли им присущи одновременно и вечное беспокойство, и невыразимое упование?

Перевод с французского – Юрий И. Линник

Сергей Максимов

Денис Бушуев

Глава из третьего тома романа

Исполнилось 100 лет со дня рождения одного из талантливейших писателей Русского Зарубежья Сергея Сергеевича Максимова (наст. Пасхин). А 12 марта нынешнего года – 50-летие со дня кончины писателя. Ровно 10 лет назад в «Новом Журнале» была опубликована моя первая статья о С. Максимове, посвященная 40-летию со дня его смерти. Именно с того времени начался мой путь к поиску материалов о жизни и творчестве писателя. Вскоре я познакомился с вдовой брата С. Максимова, Николая Пашина (наст. Пасхин), Еленой Анатольевной (1923–2007). Она рассказала много подробностей из жизни Сергея Сергеевича и поведала о семейном архиве, который сохранил ее муж. Затем я познакомился с сыном Пашиных – Андреем Николаевичем (1947–2014). Он любезно пригласил меня приехать в Сан-Франциско ознакомиться с архивом. Мы вместе побывали на Сербском кладбище у могилы писателя и его брата Николая (1908–1976) – публициста и переводчика.

Читая переписку С. Максимова с братом, я мысленно переносился к берегам Волги, в их родное село Чернопенье, и представлял его жителей – прототипов произведений писателя: Бушуевы, Булатовы, Шваревы, Колосовы... Я вспомнил, как еще в детстве с родителями несколько раз проплывал на пароходе на пути в Кострому мимо сельской пристани, на которой было написано большими буквами: «Чернопенье». И вот в ноябре 2015 г. мне посчастливилось побывать на малой родине писателя. Меня возили на машине по ухабистым сельским улицам, показывая дома известных чернопенцев. На улице Водников, которая расположена на самом берегу Волги, мне показали дом Широковых, родственников С. Максимова со стороны матери. Эта улица со старинными крепкими домами чернопенских лоцманов неоднократно упоминалась в произведениях С. Максимова.

В 2016 г. в Москве были переизданы две книги С. Максимова: «Денис Бушуев», и «Тайга» (изд-во РИМИС). Теперь земляки писателя всем селом могут читать главный роман Максимова, принесший ему славу во всем русском послевоенном рассеянии, и находить на страницах романа знакомые очертания их родного села и его окрестностей, с любовью отображенных автором.

Сразу же после выхода из печати в 1956 г. второй части романа «Денис Бушев» «Бунт Дениса Бушуева» Сергей Максимов решает продолжить рабо-

ту над романом*. В «Новом русском слове» были напечатаны три главы из романа. Первая публикация была в НРС 25 апреля 1957 г. Сюжет разворачивается во время войны 1941–45 гг. Денис Бушуев выходит из окружения и попадает в глухое село, из которого недавно ушли немцы...

В личных бумагах С. Максимова не сохранилось рукописи ни одной из трех глав. Возможно, их было написано и больше, но сейчас уже трудно установить истину. Нарушая сюжет – ведь Денис Бушуев погибает, на чем и заканчивается второй том романа, – автор пишет продолжение, объясняя брату свое решение лишь одной причиной: безденежьем и необходимостью зарабатывать на жизнь. Тем не менее третий том романа никогда не был опубликован, даже если продолжение и было все-таки дописано прозаиком.

Андрей Любимов

...В сумерках Денис Бушуев вышел на большак и остановился. Проселок кончился. И никаких признаков дороги по другую сторону большака не было видно. Кругом подымался лес, угрюмый и молчаливый. Справа, над убегающим вдаль большаком, плавилось в морозной дымке огромное винно-красное солнце. Тускло и льдисто сверлила укутанная колесами машин дорога, на телеграфных столбах тяжелыми белыми канатами провисли заиндевевшие провода. Было тихо. Лишь откуда-то с востока слабо доносился отдаленный гул артиллерийской стрельбы.

На крутом скате кювета, прямо перед Бушуевым, лежал ничком в снегу труп человека. Его уже успели раздеть, и кроме исподних штанов на нем не было ничего. Широко и страшно раскинув руки, он напоминал крест, свалившийся в непогоду наземь. На вихрастом затылке темнела спекшаяся кровь и на голой, желтой спине его лежал наметенный ветром снег.

Здесь прошли русские пленные.

Бушуев устало перекинул котомку на другое плечо и, тихо поскрипывая валенками, побрел вдоль большака навстречу морозному красному солнцу. Через сотню шагов он натолкнулся еще на один труп. Этот был одет в старую рваную шинелишку и лежал посреди дороги, расплющенный и раздавленный в снег колесами машин.

На бреющем полете, едва не задевая верхушки деревьев, прошли над трактом два немецких истребителя. Один из них дал по Денису очередь. Из пулемета, дал поздно – пули легли далеко позади Бушуева.

– Вот леший! – беззлобно выругался Бушуев. – Ты б еще бомбу на меня сбросил.

---

* О процессе работы над третьим томом романа см.: *А. Любимов*. «Между жизнью и смертью». НЖ. 2009, № 257, сс. 253-255.

Однако свернул в лес и стал искать проселок. И вскоре нашел еле заметный санный путь.

В лесу хорошо, сильно пахло сосной и можжевельником. Солнце село. Вызвездило. На черно-синее небо, низкое и бархатное, какое бывает только зимой и в августе, лениво всполз блестящий, алюминиевый диск луны, призрачным зеленоватым светом заливая все вокруг. Где-то громко и монотонно заухал филин, и еще крепче и звонче заскрипел снег под ногами Бушуева.

Через час Бушуев вышел к жилью.

Залитое лунным светом, лежало в овраге небольшое село. От деревянной церквушки, от ее невысокой бескрестной колокольни падала на сугробы черная тень, наискось пересекая улицу. С трех сторон село окружал частый сосновый лес – из этого леса Бушув и вышел, – и лишь с одной стороны леса не было – там тянулись темные мглистые поля. Кое-где топились печи, и густой дым, пронизанный лунным светом, голубыми столбами поднимался в морозный воздух.

Бушуев переложил наган из бушлата в карман ватных штанов и неторопливо стал спускаться под гору.

На улице не было ни души. В крайнем доме было шумно, играла гармоника и кто-то пьяненьким тенорком тоскливо тянул: «Ах зачем вы, русские девушки, / Иностранцам прода-а-али любовь!»

Бушуев миновал пять-шесть домов и наугад подошел к тихому небольшому домику, с упавшим плетнем и с резными наличниками, на которых лежал пушистый, искристый снег, взошел по скрипучим ступенькам на ветхое крылечко и постучался. Никто не ответил. Тогда он постучал в темное окно. Дверь в сени скрипнула, и молодой женский голос негромко и недовольно осведомился:

– Кто стучит?

– Переночевать бы, хозяюшка...

– А кто таков?

– Прохожий... Издалека.

В избе было жарко натоплено и темно. Лунный свет из трех небольших окон ровными квадратами ложился на пол, отсекая то угол стола, то лавки.

– Обожди, я окна завешу... – тихо и неторопливо говорил в темноте все тот же женский голос, с каким-то мягким, задушевным оттенком. – Керосинцу-то мало осталось, вот и ложимся с зарей.

Бушуев, сжимавший в кармане рукоять нагана, ставшую потной и горячей, прислушиваясь к этому мягкому, ровному голосу, осторожно и как-то стыдливо вытащил руку из кармана, снял шапку-ушанку, кашлянул и тихо спросил:

– У вас кто в селе-то стоит?

– Никого. Стояли немцы, да ушли.

Одно за другим потухали лунные пятна на полу. Привычно передвигаясь в темноте, хозяйка чиркнула спичку и зажгла на столе коптилку. Тусклый желтый свет тихо осветил старые бревенчатые стены, добротно проконопаченные мхом, чисто выскобленный стол, большую русскую печь, полати, икону Богоматери в углу, белый расшитый рушник перед нею. Все выглядело бедно, но чисто.

Хозяйка прикручивала фитиль коптилки, свет снизу падал ей на лицо, и она показалась Бушуеву очень молоденькой, почти что подростком. Невысокая, тоненькая, в одной короткой исподней рубашке, в вырезе которой видны были хрупкие косточки ключиц, она стояла в полуоборот к Бушуеву, ничуть не смущаясь тем, что она в одной рубашке. Прикручивая фитиль коптилки, она чуть хмурила тонкие черные брови и свободной рукой придерживала падавшие на глаза курчавые волосы. Справившись с фитилем, она вскинула на Дениса серые, добрые глаза и так доверчиво и открыто улыбнулась ему, показывая в улыбке мелкие и чистые зубы, что он невольно тоже улыбнулся.

– Снимите котомку-то... – предложила она, – я повечерять соберу. Там у нас картошка осталась.

Звонко шлепая по холодным доскам пола босыми ногами, она подошла к русской печи, открыла заслонку и тихо застучала по шестку ухватом.

Бушуев снял котомку, бушлат и оглянулся. Только тут он заметил, что на полатях спит ребенок, – из-под тряпья выглядывала его льняная голова, а на печи лежит старуха и как-то неестественно пристально смотрит, смотрит на него черными немигающими глазами.

– Это мамаша, свекровь... – сказала хозяйка. – Вы не говорите с ней, она немая. Вот уж месяц, как язык, и нога, и руки отнялись. Так и лежит... А это сыночек мой, Васятка... Муж-от у меня на фронте, да вот что-то второй год нет от него весточки. Может, умоетесь с дороги-то?

– Хорошо бы.

Бушуев снял гимнастерку, засучил по локоть рукава нижней рубашки и, тяжело, устало ступая, перешел в угол к рукомойнику. Умываясь студеной, как огонь, водой, он думал о том, о чем всегда думал, останавливаясь на ночлег в бедных крестьянских домишках. Откуда у русского простого человека эта изумительная черта – делиться со случайным прохожим, с незнакомым человеком последним куском хлеба? Он прошел правдами и неправдами без копейки денег по нищей, разрушенной стране, но не было случая, чтобы хозяева не накормили его и, чаще всего, из последнего.

Между тем маленькая хозяйка поставила на стол чугунок с жиденьким картофельным супом, тарелку, положила возле тарелки

луковицу, подвинула солонку и, вытирая суровым полотенцем деревянную ложку, посетовала:

– Хлеб-от кончился. Завтра испеку... А как вас звать-то?

– Иваном... – ответил Денис, давно уже привыкший к своему новому имени.

– А меня Сашей. Вы откуда родом?

– С Волги.

–Хорошо там?

– Хорошо.

– Вот бы побывать!..

Собрав на стол, она надела на босые ноги маленькие лыковые бахилки, накинула на плечи ватную стеганую телогрейку и, став на скамеечку возле печи, укутала потеплее свекровь и сына. Бушуев присел к столу и принялся за суп. Саша села напротив и по-крестьянски наивно и откровенно стала рассматривать его. Бушуев же заметил, что вокруг ее серых умных глаз звездочками разбежались легкие морщинки. Но щеки были гладкие, смуглые, и на верхней губе искрился золотистый пушок.

– Чегой-то вы такую бороду отрастили? – улыбаясь, поинтересовалась она. – Небось, молодой еще. Сколько вам?

– Да скоро уж тридцать, Саша.

Она вздохнула, положила худенькие руки на стол и неторопливо стала расспрашивать его: женат ли, что делал до войны, куда идет...

Бушуев отвечал неохотно. Он бесконечно устал от той лжи, которой как сетями опутал себя, и поторопился перевести разговор. Саша рассказала, что ей всего двадцать три года, что муж ее работал агрономом в колхозе, а на фронт попал в танковые части. Мужа она любила и продолжает любить, но в возвращение его домой уже не верит. Жить ей бесконечно тяжело, и она бьется как рыба об лед, чтобы как-нибудь справиться с хозяйством. Все было так, как повсюду.

С улицы донеслись веселые переборы гармоники и песня. Странно как-то было слышать их: и жутко, и нелепо. И Бушуев спросил:

– Это кто поет?

– Марья Егоровна зятя в дом приняла, вот и гуляют... – равнодушно ответила Саша. – У нас в селе человек десять пленных прячутся. Почти что все в зятья пристали*. Кто плотничает, кто сапожничает, кто валенки валяет... Ваня, случаем не умеете валенки валять?

---

* Выражение «пристать в зятья» или «взять в зятья» появилось в годы Второй мировой войны. В деревнях, на оккупированной немцами территории Советского Союза, пряталось бесконечное количество убежавших из плена советских солдат. Так как мужского населения, кроме стариков и подростков, в деревнях почти не было, то молодые женщины, измученные работой, нередко «брали в зятья» беглых пленных, и беглец становился в доме и работником, и хозяином, и отцом, и мужем.

– Нет, милая Саша, – вздохнул Бушуев.

Простодушное, открытое лицо Бушуева, его густая русая борода, его крупные руки, огрубевшие за последний год, его совершенное знание всех особенностей простонародного языка, не оставляли у Саши, видимо, никаких сомнений в том, что он переодетый пленный.

Старуха уснула. Мальчик тихо посапывал носом, высунув с полатей босую ножку. На дворе замела метель, протяжно, тоскливо завывала в трубе и на чердаке, забарабанила по окнам сухим звонким снегом.

– Вот так и живем... – грустно сказала Саша. – И когда только эта проклятая война кончится!

Спал Бушуев в маленькой горенке на топчане. Саша пошла спать к сыну на полати. Засыпая, Бушуев думал о том, что жизнь его теперь уже не имеет смысла и что напрасно он так жадно цепляется за нее. Еще там, в отряде Тропинина, эта бессмысленность существования както скрашивалась и каждодневными, тяжелыми боями с немцами, и тем, что никто, кроме Тропинина, не знает его настоящего имени, и тем, что он не одинок, и тем, наконец, что то же ставило его в один ряд с другими и помогало ему чувствовать себя равным среди равных, а именно то, что если придется умереть, то умрет он тоже как равный – в честном бою, а не смертью казненного. Но с разгромом отряда, а главное – со смертью Тропинина, когда пришла пора снова прятаться, скрывать свое подлинное имя, когда, наконец, позорное, волчье одиночество снова пришло к нему, – а одиночества Бушуев боялся больше всего на свете, как суеверные люди боятся привидений или мертвецов, – тогда холодная тоска снова как тисками сдавила его сердце и душу. И он принялся самым бессмысленнейшим образом кружить по лесам и деревням, не понимая, зачем и куда он идет. Он знал одно: надо сделать все, чтобы не попасть за границу и не стать эмигрантом. Но понимал и другое – назад, к родному пепелищу, пути нет. Однако инстинктивно он все-таки продвигался на восток к фронту...

Утром он проснулся от детского плача. Слышно было, как Саша унимала раскапризничавшегося мальчика.

– Ну, будет, будет тебе...

Сквозь морозные узоры на окнах в горенку пробивалось яркое по-зимнему солнце. В кухне топилась печь, и в приоткрытую дверь горенки Бушуеву видны были красноватые отблески огня, весело прыгавшие по стенам и лавкам. Бушуев оделся и прошел в кухню. Саша стояла на коленях перед мальчиком и, смешно морща нос, целовала его. Обнаженные по локоть руки ее были в тесте, она не могла обнять мальчика и держала руки за спиной. На ней была чистенькая голубая кофточка и черная потертая юбка, испачканная мукой.

Весь день Бушуев латал расшатанное хозяйство Саши. Сама же

она ни минуты не знала покоя, и Бушуев диву давался, – откуда эта маленькая, хрупкая женщина брала сил? Особенно трогательна была ее забота о разбитой параличом свекрови.

Бушуев починил подгнившую крышу над сенями, поставил упавший плетень, наколол дров. Маленький Васятка вертелся возле него, забрасывал бесконечными вопросами, подавал гвозди, молоток. Окончательная дружба наступила после того, как Денис сделал мальчугану большой волжский пароход. Мальчик был бойкий. Веселый. С большими серыми глазами, чем-то очень напоминал Алешу. И глядя на него, Бушуев испытывал почти физическую боль в сердце.

На другой день он собрался было покинуть гостеприимный дом и идти дальше, но Саша попросила его съездить в лес по дрова. Бушуев съездил в лес и привез дров. И на третий день нашлась работа – вместе с Сашей они съездили в стога и привезли сена. Сгружая сено в сарай, Бушуев наткнулся в углу сарая на ящик с книгами, и среди книг по почвоведению и агрокультуре он нашел, к немалому изумлению, и свою повесть «Ночь». И – странно – никаких особенных чувств он не испытывал при этой встрече со своим прошлым. Вырвал свой портрет из книги и в клочья разорвал его.

– Все это было, было когда-то... – вслух сказал он, – а теперь никакого писателя Дениса Бушуева нет. И не надо о нем вспоминать.

Но вспомнить пришлось. В сумерках этого третьего дня, пока Саша возилась с ужином, Денис с Васяткой устроили в горенке игру в «Волгу». При свете огарка стеариновой свечи, Бог знает откуда раздобытом Васяткой, Бушуев расставил на полу «пристани» – обрезки досок. Васятка ерзал голыми коленями по половицам, волочил буксирный пароход от пристани к пристани, оглушительно свистел и поминутно кричал:

– Дядя Вань, смотли!.. Смотли, дядь Вань!..

Наблюдая за мальчиком, Бушуев вдруг остро и гнетуще почувствовал свое беспросветное волчье одиночество, и жизнь, которой он теперь жил, показалась ему невсамделишной, словно это был бесконечный кошмарный сон. Он присел на топчан, и липкие, невеселые мысли потянулись одна за другой, как патока.

Заметив, что Бушуев уже не оказывает ему того внимания, какое только что оказывал, мальчуган чутким детским сердцем, как все неизбалованные простые дети, сразу угадал, что «дяде» не до него и, поняв, что игра окончена, молча сбросил с ног валенки, взобрался на топчан, свернулся калачиком возле полюбившегося ему Дениса и, прижав к груди пароход, мгновенно уснул.

На дворе снова замела утихшая было днем метель, снова забара-

банила в окна колючим, сухим снегом. Заколебалось пламя на остывшей свече.

Пламя росло и ширилось, и заполнило всю горенку, и Бушуев увидел себя в своем доме, в Отважном. Он сидит в кабинете за письменным столом, над рукописью «Грозного», и в третий, в четвертый раз зачеркивает неточный и ненравящийся ему эпитет. И вдруг, радостно вскрикнув, он торопливо записывает то, что мучительно искал. О, как хорошо, как ярко он помнит этот день, эту минуту, это мгновенье!.. За окном – ликующий, полный света и звуков, июньский день. В саду гудят пчелы, вспархивают над цветами бабочки – и солнце. Пронзив клейкие молодые листочки тополя, что стоит за окном, веселым, радужным пятном дрожит на углу дубового стола. Над зеркально гладкой Волгой, гордо выпятив груди, лебедями плывут кучевые облака, и слышно, как весело и торопливо шлепает плицами далекий пароход... Все кругом цветисто, ярко, свежо, все радуется свету и жизни, дышится легко, радостно, и кажется, что если есть рай, то вот он, вот это все, что вокруг.

И это ощущение радости и счастья так полно, так всеобъемлюще, что нет иных желаний, кроме одного, – без конца дышать и радоваться... Он поворачивается и смотрит через плечо. Ольга стоит возле шкафа с книгами и смотрит на Дениса. И в том, как она стоит, в тонких, обнаженных до локтя руках, держащих его старую рукопись, и в тихой улыбке, с которой она смотрит на него, и в пушистых волосах, в которых играют жаркие солнечные блики, – во всем этом сквозят то же счастье, и та же радость, что и вокруг. По лестнице стучат торопливые детские шаги. Это бежит наверх Алеша. Сейчас он как вихрь ворвется в кабинет и бросится к отцу на шею. И, прижимая сына к груди, Денис подумает о том, как ничтожны все его дела рядом с этим маленьким существом. «Остались бы...» – говорит Ольга. К чему это она? Да к чему же это она говорит?..

– Остались бы, – вдруг раздался тихий голос.

Бушуев поднял голову. В дверях стояла Саша, прислонившись спиной к косяку, – когда и как она взошла, он не заметил. Быть может, она стояла здесь уже давно. Левую ногу она согнула в колене, и маленькой лыковой бахилкой уперлась в косяк, отчего еще больше походила на девочку-подростка. Слегка раскачиваясь из стороны в сторону и полузакрыв глаза, она смотрела на колеблющееся пламя свечи, и по щеке ее, обращенной к Бушуеву, тихо ползла слеза, оставляя светлый след.

– Остались бы... – еще тише повторила она, не оборачиваясь и продолжая смотреть в огонь. – Измучилась я. А вам – куда вам идти? Бездомный вы, я ведь понимаю... Васятке отец бы был... мальчонка-то привязался к вам, я вижу... Как-нибудь проживем... У меня мука есть припрятанная, да картошка... Многие ко мне в зятья просились,

да никого не хотела я. А как ты пришел, я ведь ни одной ночи не спала – все думала, думала... Останься, а?

Она повернулась к нему, застенчиво улыбнулась и сквозь слезы с такой любовью и надеждой взглянула на него, что у Бушуева что-то защекотало в горле. И по доброте своей ему стало бесконечно жаль эту затерянную в этой снежной пустыне маленькую женщину, отвыкшую от теплого слова и простой человеческой ласки, без которой так трудно, да пожалуй что и невозможно жить на свете. Но в это же время он сразу как-то понял, что измучило его не просто одиночество, совершенно определенное, – бессознательная страшная тоска по родным местам, по Ольге и по сыну. И то, что он шел не на запад, а на восток, навстречу фронту и всего вернее – смерти, было не только желание убежать от эмиграции, а бессознательное, неопределимое стремление к своему, родному, кровному и вечному.

Она ждала ответа, а он молчал. На дворе шумела метель, и слышно было, как где-то далеко, глухо и ровно вздыхает артиллерия.

– Саша... – тихо сказал Бушуев, задумчиво рассматривая что-то невидимое на полу. – Саша, ты славная, милая женщина, и я тебе бесконечно благодарен за то, что ты хочешь приютить меня. И я бы остался, пожалуй, у тебя. Но вот в чем дело...

Он вздохнул, собрался с мыслями и продолжал, стараясь говорить просто, но совсем просто не получалось, быть может потому, что он говорил не только для нее, а отчасти и для себя.

– Вот в чем дело... Ни одной женщине я еще не дал счастья. Ни жене, ни другой женщине, которую я любил до женитьбы... И вот почему: я очень беспокойный, душа у меня не знает покоя... У меня был дом – полная чаша, я сам, сам разрушил все до основания... Я сбился с тропы, как говорил мне мой дед, замечательный старик, – дед Северьян. Я запутался, Саша. Я очень запутался... Если меня поймают немцы – повесят. Я был в партизанском отряде... Если свои поймают – тоже повесят. Свои повесят за то, что я сделал еще давно, до войны. В лучшем случае – расстреляют. И если я останусь у тебя, то это рано или поздно случится, всего вернее – это случится очень скоро. Слышишь стрельбу? Это приближается фронт... И кроме лишних страданий, и тебе ничего не дам, милая Саша...

Он понял, что выдал себя. Выдал в том смысле, что заговорил другим языком. И по глазам Саши догадался, что она тоже поняла, что он не тот, за кого она принимала его. Было видно, что ей больно, жаль его, жаль себя, и что ее маленькая надежда как-то устроить свою жизнь – рухнула.

– Как же... как же это вы запутались? – еле слышно спросила она.

– Не знаю. Сам не заметил, когда и как.

Он умолк и, грустно склонив голову, продолжал задумчиво рассматривать что-то невидимое на полу.

А мальчик спал, уютно и тесно прижавшись худеньким плечиком к ноге Дениса. Ему что-то, видимо, снилось, и все маленькое, теплое тельце его время от времени вздрагивало, и вздрагивали пушистые черные ресницы над закрытыми глазками.

Оплывшая свеча слегка затрещала и потухла. И опять сквозь шум метели донеслись далекие, глухие раскаты артиллерии. И Бушуев почему-то вспомнил мертвеца на тракте, похожего на упавший крест, и снег на его спине.

Отвернувшись к стене, Саша тихо плакала.

Публикация – Андрей Любимов

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА

Юкио Накано

Американский период Марка Алданова*

Цель данной статьи – на основе архивных материалов дать обзор деятельности Марка Алданова по созданию русского интеллектуального сообщества в послевоенных США[1]. Особое внимание уделяется истории создания русского эмигрантского издания «Новый Журнал» и Издательству имени Чехова.

Марк Александрович Ландау (настоящая фамилия писателя) родился 26 октября (по новому стилю – 7 ноября) 1886 года в богатой еврейской семье в Киеве[2]. Его отец и дед владели сахарными заводами в Украине[3]. Он окончил физико-математический факультет и юридический факультет Киевского университета[4]. В 1925 году Ландау получил диплом в Ecole des Sciences Sociales в Париже[5]. В 1923 г. он женился на Татьяне Марковне Зайцевой. Детей у них не было[6].

Марк Алданов считается одним из создателей «Нового Журнала» в Нью-Йорке. Он был способным редактором, известным писателем и кандидатом на Нобелевскую премию. Он знал шесть языков и писал на четырех – на русском, английском, французском и немецком[7]. На французском языке под именем «M. A. Landau-Aldanov» он издал две книги: «Deux Revolutions: La Revolution francaise et la Revolution russe» (1921) и «Lenine» (1922)[8]. Он начал писать книгу «Ульмская ночь» на французском языке, чтобы ее прочитала более широкая аудитория, но оставил эту идею и продолжил на русском[9].

Алданов не вел дневник[10]. Как писал Андрей Седых, после смерти Алданова, согласно воле писателя, его записные книжки были уничтожены[11]. По словам Андрея Чернышева, исследователя творчества Алданова, «лучший способ проникнуть во внутренний мир этого выдающегося человека – читать его переписку»[12].

Переписка Алданова с редакторами Издательства имени Чехова

---

* При поддержке Grant-in-Aid for Young Scientists (B), JSPS KAKENHI Grant Number 25770126. В статье использованы материалы архивов Gleb Struve Papers in the Hoover Institution Archives, Stanford University, Mark Aldanov Papers, Mikhail Karpovich Correspondence, Chekhov Publishing House Records, Bakhmeteff Archives, Columbia University. Доклад был сделан на конференции ASEEES, ноябрь, 2016, секция по русской эмиграции.

продолжалась с 4 июля 1951 по 15 августа 1955 года[13]. Директор Издательства имени Чехова Николай Вреден, главный редактор Вера Александрова и помощник редактора Татьяна Терентьева были эмигрантами. Согласно «Chekhov Publishing House Progress Report № 6», Николай Вреден приехал в США 5 июня 1920 года и поступил на работу в Издательство имени Чехова 1 сентября 1951 года. Вера Александрова приехала в США 19 сентября 1940 года и поступила на работу также 1 сентября 1951 года. Татьяна Терентьева приехала в США в июле 1932 года (точная дата неизвестна) и поступила на работу 14 июля 1952 года. Большинство служащих в Издательстве имени Чехова, двенадцать-тринадцать человек, были эмигрантами. Сведения о них содержатся в списке служащих[14].

Переписка сотрудников издательства с Алдановым велась на русском языке, за редким исключением – на английском. Алданов знал Вредена до издательства, называл Вредена по имени и отчеству – Николай Романович. Когда Вреден работал директором книжного магазина «The Scribner Book Store», он писал Алданову о публикации романа «Начало конца», выражая свое восхищение книгами Алданова. В письме Вредена Алданову от 28 октября 1941 года: «Извините за задержку ответа на Ваше письмо и за английский язык, но у меня нет машинки в офисе, что все значительно упрощает. Я поговорил с главным редактором господином Максвеллом Перкинсом о Вашем новом романе ‘Начало конца’, и он очень хотел почитать его. Обычно в нашей фирме я работаю в качестве русского чтеца и, если Вы пришлете мне рукопись, она немедленно будет рассмотрена. – Я прочитал много Ваших романов на русском и всегда восхищался ими. Может быть, вместо отсылки рукописи, Вы бы нашли время, чтобы позвонить мне и пообедать со мной где-нибуль на следующей неделе»[15]. Их переписка продолжалась до смерти Вредена в августе 1955 года[16].

Жизнь Алданова разделяется на три периода: русский, европейский, американский. После Октябрьской революции Алданов в 1922 году переехал в Берлин, потом в Париж в 1924 году. В 1940 году он переехал в Ниццу. Когда немецкая армия оккупировала Францию, Алданов с женой уехали в Нью-Йорк[17]. В эмиграции он не имел гражданства и жил с так называемым «нансеновским паспортом».

Алданов был еще и опытным редактором. В 1920 году он работал редактором в русском эмигрантском журнале «Грядущая Россия», продолжением которого стал журнал «Современные записки»[18]. В 1925 и 1927 годах Алданов редактировал литературный отдел ежедневной газеты «Дни» в Берлине[19]. Нина Берберова вспоминает, что ее муж Владислав Ходасевич возглавлял отдел поэзии, а Марк Алданов – отдел прозы, и ее первый рассказ «В ночь бегства»

редактировал именно Алданов[20]. В 1934 году Алданов начал внештатную работу в качестве заведующего иностранного отдела газеты Милюкова «Последние новости»[21]. В 1942 году в Нью-Йорке Алданов с М. О. Цетлиным основали «Новый Журнал»[22].

В переписке Алданова и редакторов Издательства имени Чехова он часто упоминает Бунина. В 1940-е годы Алданов жил в Ницце, недалеко от Грасса, где обитали Бунины. В 1940 году Алданов с Буниным обменялись идеей основать новый толстый журнал в Нью-Йорке вместо закрывшихся «Современных записок»; Бунин тоже «собирался уехать в Америку»[23]. Алданов работал редактором в «Новом Журнале» до 1946 года. В письме Алданова Глебу Струве от 26 января 1946 года Алданов упоминает об уходе с поста главного редактора: «Вы, вероятно, знаете, что главным редактором ‘Нового Журнала’ согласился, к большому моему облегчению, стать М. М. Карпович. Мне редакторская работа смертельно надоела, – я, вдобавок, всегда ее терпеть не мог»[24].

Профессор истории в Гарварде М. М. Карпович работал главным редактором с 1946 по 1959 гг. Когда Восточно-Европейский Фонд, филиал Фонда Форда, основал Издательство имени Чехова, «Новый Журнал» стал издаваться, в том числе, и на гранты Восточно-Европейского Фонда. Согласно меморандуму о «Новом Журнале», отредактированному проф. Карповичем 10 января 1952 года:

«‘Новый Журнал’ был издан при поддержке группы спонсоров и подписчиков. Он издавался три раза в год, в одном томе – 304 страницы, и тиражом 1000 экземпляров, что было крайне недостаточно. Гонорары, выплачиваемые авторам, были таковы:

за одну страницу беллетристики –1 доллар,
за одну страницу других статей – 75 центов,
за одну строку стихотворения – 8 центов.

Подписка стоила 6 долларов 50 центов за три книги или 2 доллара 75 центов за одну книгу. У нас не было редакционного офиса журнала. Дефицит в сумме 200-300 долларов за каждую книгу покрывает госпожа М. Е. Цетлина, прежний издатель ‘Нового Журнала’»[25].

Упоминаются среди спонсоров «Нового Журнала» также Б. А. Бахметев, С. И. Либерман, А. Я. Столкинд, С. С. Атран, М. Я. Эттингон, А. П. Эдвабник, Фридман[26]. После реорганизации журнала при финансировании Фонда Форда (приблизительно 30,000 долларов в год) сняли помещение для редакции, аренда которого была 65 долларов в месяц. И авторский гонорар был также установлен:

за одну страницу беллетристики – 3 доллара (вместо 1 доллара),
за одну страницу других статей – 2 доллара (вместо 75 центов),
за одну строку стихотворения – 50 центов (вместо 8 центов)»[27].

Однако вскоре после сокращения финансирования до 10,000 долларов в год и авторский гонорар тоже сократили:

«за одну страницу беллеристики – 2 доллара (вместо 3 долларов),

за одну страницу других статей – 1 доллар 50 центов (вместо 2 долларов),

за одну строку стихотворения – 30 центов (вместо 50 центов).»[28]

Обсудили отказ от офиса редакции и услуг почты. И бесплатные копии, отправляемые к ди-пи в Германию и другие страны, тоже отменили. Этот меморандум был написан Романом Гулем и подан в Восточно-Европейский Фонд 10 января 1952 года[29].

Ближе к концу Второй мировой войны Вреден предложил Алданову стать главным редактором Издательства имени Чехова. Однако писатель отказался. После освобождения Франции Алданов решает вернуться в Париж. В его письме Николаю Вредену уже от 4 июля 1951 г. Алданов объясняет причины отказа запланированной поездкой во Францию[30]. В том же письме Алданов предлагает Вредену список из пяти человек, которых он рекомендует на должность главного редактора в Издательство: Григорий Максимович Лунц, Леон Наумович Штильман, Борис Иванович Николаевский, Вера Александровна Александрова и Ираклий Георгиевич Церетели. Алданов также упоминает о плане издания 40 книг. И в плане он рекомендует выпустить книги Ремизова (хотя недолюбливал его) и Владимира Набокова «Дар». «Дар» Набокова был издан 2 мая 1952 года[31].

В Издательстве имени Чехова Марк Алданов опубликовал три книги: «Ключ» (1952), «Живи как хочешь»(1953) и «Ульмская ночь» (1955). Его привязанность к старой орфографии замедлила темп публикации книг. В письме Алданову от 21 марта 1952 года Терентьева пишет: «Не скрою от Вас, однако, две трудности, которые встанут при печатании романа: тот факт, что рукопись написана по старому правописанию, потребует очень тщательной корректуры, так как перевод на новую орфографию вовсе не ограничивается заменой буквы ‘ять’ – ‘е’ и ‘и’ десятиричного – ‘и’ восьмиричным. Вторая трудность возникает из-за обилия иностранных слов и целых фраз»[32]. В письме Татьяне Терентьевой от 11 августа 1952 года он пишет: «Не скрою, у меня есть и личные особенности орфографии, обычно взятые из старых книг. Я, например, пишу всегда ‘еслиб’ в одном слове. Пишу ‘отвращение от’(чего-либо), а не ‘отвращение к’ (чему-либо). По-моему, ‘отвращение к’ безсмысленно, хотя теперь все-таки пишут, до средины прошлого века всегда писали: ‘отвращение от’. Так безспорно и правильно»[33]. В ответном письме от 19 августа 1952 года Терентьева отказывается от предложения Алданова: «Никак нельзя ‘если б’ писать вместе. Не можем с Вами согласиться»[34].

В архиве на открытке от «Нового Журнала» сохранились вопросы анкеты о новой орфографии и ответы американского критика Эдмунда Вильсона (возможно, 1940-е годы): «1. Редакція ‘Нового Журнала’ просит Вас отвѣтить на слѣдующіе вопросы:

1) Желателен ли переход журнала на **новое** правописаніе?

2) Пріобрѣтет ли этим журнал **новых** подписчиков?

– Yes: I think that it would be a good idea to transfer to the new spelling. The old spelling always suggests that the writer (or editor) is allowing a limited audience».[35]

О деятельности Алданова свидетельствует и его переписка с Глебом Струве. В письме от 3 февраля 1946 года Глеб Струве говорит, что он не смог найти ни одной книги Алданова в книжных магазинах в Париже и предполагает возможность того, что советское посольство скупило все книги Алданова[36]. В заявке на грант Гуггенхейма Глеб Струве называет Алданова одним из пяти человек, которые могут его рекомендовать. В письме Марка Алданова Глебу Струве от 27 ноября 1950 года говорится: «Я три дня тому назад получил от Фонда Гуггенхейма длинное досье-формуляры с сообщением о том, что Вы на меня сослались в Вашем заявлении Фонду о субсидии. Они меня поэтому просят сообщить им ‘вполне конфиденциально’ то, что я о Вас думаю и знаю. Я немедленно написал самый лестный отзыв и послал его с их досье по воздушной почте им»[37].

В том же письме Алданов пишет о его финансовых трудностях и спрашивает о возможности найти дополнительную работу. Согласно отчетным документам Издательства имени Чехова от 1 мая 1953 года («Progress Report. № 6»), книга Алданова «Живи как хочешь» была издана 30 сентября 1952 года тиражом 10093 экземпляра и распространено 3187 экземпляров[38]. Алданов был одним из десяти самых популярных и издаваемых авторов. Остальные авторы – М. Зощенко («Повести и рассказы. Роман»), С. М. Шварц («Антисемитизм в Советском Союзе»), Ю. Б. Марголин («Путешествие в страну зэ-ка»), Тэффи («Зимняя радуга»), С. Максимов («Тайга»), И. Бунин («Жизнь Арсеньева». Роман. Первое полное издание), К. Криптон («Осада Ленинграда»), А. Ахматова («Избранные стихотворения») и Р. Гуль («Конь рыжий»). В письме Алданову от 14 ноября 1948 года Ариадна Тыркова-Вильямс пишет, что она читала похвалы его книгам на английском языке и поздравляет его с успехами в англосаксонском мире[39].

Алданов действительно был объединяющей нитью русских эмигрантов на двух континентах и в разных поколениях. Вопреки высказыванию Глеба Струве, что Алданов оставался сравнительно малоизвестным писателем, замечу: Алданов пользовался большим влиянием на русскую эмиграцию и как президент Литературного фонда помогал в

Русском Зарубежье выдающимся представителям русской культуры. Он помог Бунину, когда у того не оказалось необходимых средств для срочной операции. Как упоминает Ариадна Тыркова-Вильямс, Алданов действительно был одним из самых успешных русских писателей на Западе. И как полиглот Алданов тоже снимает альтернативу между западными и русскими писателями, которую в глобальном мире унаследовали современные русские литераторы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Novikov, Tatyana*. Mark Aldanov (Mark Landau) / Rubins, Maria (ed). Dictionary of Literary Biography. Volume 317:Twentieth-Century Russian Emigre Writers. Farmington Hills: Thomson Gale, 2005. С. 12.
2. Chekhov Publishing House Records. Box 1. Letter of 11 April 1952 from Aldanov to Vera Alexandrova.
3. *Novikova, Tatyana*. Указ. соч. С. 13.
4. *Novikova, Tatyana*. Указ.соч. С. 14.
5. Chekhov Publishing House Records. Box 1. «Biographicheskaia anketa».
6. Mark Aldanov Papers, Bakhmeteff Archive. Columbia University and Gleb Struve Papers, Hoover Institution Archives, Stanford University.
7. *Colin A. G.* Mark Aldanov: An Appreciation and a Memory. – The Slavonic and East European Review. Vol. 36, No. 86 (Dec. 1957). С. 42.
8. *Novikov, Tatyana*. Указ. соч. С. 13.
9. *Чернышев, Андрей*. Алданов в Америке. – НЖ, 2006, № 244, Сс. 93-94.
10. *Чернышев Андрей*. Указ. публ. С. 85.
11. *Седых Андрей*. Воспоминания. – Москва: Захаров, 2003. С. 42.
12. *Чернышев Андрей.* Указ. публ. С. 85.
13. Chekhov Publishing House Records. Box 1.
14. Gleb Struve Papers. Box 26-9.
15. Mark Aldanov Papers. Box 1. Letter of 28 October 1941 from Wreden to Aldanov: «Do excuse me for the delay in answering your letter as well as for my English, but I have no Russian typewriter in the office and this makes it so much simpler. I have talked to our editor-in-chief, Mr. Maxwell Perkins, about your new novel THE BEGINNING OF THE END, and he is very anxious to see it. Usually I myself serve as the Russian reader for our firm and if you send the manuscript to me it will receive immediate attention. – I have read a great many of your novels in Russian and I have always admired them very much. Perhaps instead of sending the manuscript to me you could find time to give me a ring and have lunch with me some time next week.» Перевод английского оригинала письма – авторский.
16. Chekhov Publishing House Records. Box 1. Letter of 11 August 1955 from Aldanov to Terentieva.
17. *Novikova, Tatyana*. Указ. соч. С. 18.
18. *Novikova, Tatyana*. Указ. соч. С. 13.

19. *Novikova, Tatyana*. Указ. соч. С. 13.
20. *Берберова, Нина*. Курсив мой. – Москва: АСТ – Астрель, 2010. С. 376.
21. *Novikova, Tatyana*. Указ. соч. С. 17.
22. *Novikova, Tatyana*. Указ. соч. С. 18.
23. *Партис Зинаида*. Марк Алданов. – Нью-Йорк: ж. «Слово/Word». 2007. С. 54.
24. Mark Aldanov Papers. Box 7. Letter of 26 January 1946 from Aldanov to Struve.
25. M. M. Karpovich Correspondence. Series 2. Box 6: «'The New Review' was published by means of contribution of a group of sponsors and subscribers. It appeared only three times a year in volumes of 304 pages and had a circulation of 1000, – copies, which was very unsatisfactory. The fees paid to the authors were as follows: – 1 page of belles lettres $1, – 1 of other article 75¢, – 1 line poetry 08¢. – The subscription price was $6.50 for three issues or $2.75 for one. There was no editorial office of the magazine. The deficit of some $200-300, – on each issue was covered by Mrs. M. E. Zetlin, former publisher of 'The New Review'.»
26. *Партис Зинаида*. Указ. издание.
27. «1 page of belles lettres $3 (instead of $1), 1 other articles $2 (of 75¢), 1 line poetry 50¢ (08¢)»
28. «1 pages of belles lettres $2 (instead of $3), 1 articles $1.50 (instead of $2), 1 line poetry 30¢ (50¢).»
29. M. M. Karpovich Correspondence. Series 2. Box 6.
30. Chekhov Publishing House Records. Box 1. Letter of 4 July 1951 from Aldanov to Wreden.
31. Mark Aldanov Papers. Box 7. Letter of 2 May 1952 from Vera Aleksandrova to Mark Aldanov.
32. Chekhov Publishing House Records. Box 1. Letter of 21 March 1952 from Terentieva to Aldanov.
33. Chekhov Publishing House Records. Box 1. Letter of 11 August 1952 from Aldanov to Terentiev.
34. Chekhov Publishing House Records. Box 1. Letter of 19 August 1952 from Terentiev to Aldanov.
35. Mark Aldanov Papers Box 7. Questionnaire answered by Edmund Wilson. «Да, я думаю, это была бы хорошая идея перейти на новую орфографию. Старое правописание всегда предполагает, что у писателя (или редактора) ограниченная аудитория.»
36. Mark Aldanov Papers Box 7. Letter of 3 February 1946 from Struve to Aldanov.
37. Mark Aldanov Papers Box 7. Letter of 27 Nov. 1950 from Aldanov to Struve.
38. Gleb Struve Papers. Box 26-9.
39. Mark Aldanov Papers Box 7. Letter of 14 November 1948 from Ariadna Tylkova-Williams to Aldanov.

Университет Досися, Киото
Перевод с английского – автора

«Язык – это генетическое»

Беседа писателя Саши Соколов и журналистов Е. Соколова, С. Мегдисовой (Канада) и А. Жуковой (Россия)

Евгений Соколов: – Тема нашей беседы – русский язык в эмиграции. Каково писателю без языка в эмиграции? Мы с Сашей все время об этом говорим на протяжении всего нашего многолетнего знакомства. Но начну с вопроса, который задаю Саше первый раз. Итак, 1975 год. Ты уезжаешь из России, мы оба уезжали в том году. Книжка твоя «Школа для дураков» уже была в печати, мы читали гранки у меня на даче. Тогда ты, все-таки, был журналистом. Или уже ощущал себя писателем?

Саша Соколов: – Написав первую книгу, – конечно, уже все стало ясно.

Е. С.: – Тогда, в 1975-м, мы уезжали как бы навсегда. Внутренне мы знали, что вернемся, – и у тебя, и у меня было такое ощущение, – но практически это было невозможно. Ты как писатель не боялся уехать от этого океана русского языка и оказаться навсегда вне его?

С. С.: – Конечно, боялся. Собственно, это и был единственный страх перед заграницей. Многие знакомые мне эмигранты, уже живя за границей, хотели переключиться на язык той страны, где они жили. А меня это как раз не волновало. В какой-то степени я знал английский язык, но не знал немецкий, в Австрии же, если бы я там остался, пришлось бы учить его, а у меня нет такого большого лингвистического таланта. Да я как-то и не увлекался этой идеей – действительно освоить новый язык до набоковской степени, как многие мечтали (Бродский мечтал, конечно). Мне было просто важно... единственную задачу я видел в сохранении русского языка – что бы ни происходило. И просто продолжать писать по-русски.

Е. С.: – Ну, это логично. Мы как-то с тобой говорили на эту тему. Живя в эмиграции, я несколько подзабыл немецкий, который знал в совершенстве; по-английски мы, естественно, говорим, французский знаем, чтобы объясняться, но задача – у меня, во всяком случае, – была сохранить русский язык, детей воспитать в русском языке. Поэтому главным был русский, и иностранного – ни английского, ни французского – я лично не освоил так, как мог бы. Потому что моя задача была остаться в русском мире. Мне, кстати, это было легче, потому что я работал на «Радио Канада» в русской секции, мы встречались с людьми, которые говорили по-русски, встречались и в Русской школе при

Норвичском университете в Вермонте – вообще оазис русской культуры был, – словом, я не ощущал отрыва от русского языка. Но у тебя-то было иначе: сначала Анн-Арбор, потом – Калифорния...

С. С.: – ...потом Канада, потом Вермонт, но большую часть тех лет я прожил в Вермонте и Калифорнии. Практически вне русской среды. Первый мой дом в Америке был в Анн-Арборе, дом моего издателя Карла Проффера и его жены Эллендеи, и когда я к ним поселился и стал жить в этом огромном, прекрасном трехэтажном особняке, я думал: вот она какая, Америка, – все вокруг по-русски говорят, профессора вокруг, вечеринки, студенты, аспиранты, гости из России – писатели в основном, – они тайком посещали Анн-Арбор, издательство «Ардис»... Я думал: вот так и будет, не надо вообще ничего больше, стремиться не к чему, все здесь будет... Но потом-то... пора и честь знать, – я решил, что я перееду в Калифорнию. И там была русская среда, в Лос-Анджелесе. В одном Монтерее жили в то время двести русских семей. Это люди, взрослые, которые работали все в военном институте, где они преподавали русский язык. Там была среда. Но я жил, в основном, в Лос-Анджелесе, а там же – Александр Половец*, с которым я подружился.

Е. С.: – Редактор газеты «Панорама».

С. С.*:* – Да, редактор газеты, он же и ее владелец. Он же основал и свое издательство, где печатал разных хороших людей.

Е. С.*:* – В общем, там тоже была какая-то среда. Но потом – Вермонт.

С. С.: – Вообще, на самом деле, я был той редкой птицей среди эмигрантских писателей, литераторов, вообще – эмигрантов: я – единственный человек, по-моему, кроме Солженицына, который жил в Вермонте в то время. То есть мы жили в глуши – это была такая глубинка... И вот тут-то наступило самое трудное время. Потому что для того, чтобы просто поговорить, – а душа-то чешется, хочется просто поговорить по-русски, – месяцами живешь...

Е. С.: – Помню, я тогда к тебе часто приезжал, мы всегда какие-то стилистические упражнения придумывали, хохотали... Как-то ты мне сказал: «Женя, приезжай чаще, единственный мой доступ к русскому языку, когда ты приезжаешь». Ты уже чувствовал нехватку языка? В

---

* Половец Александр Борисович (1935, Москва) – издатель, писатель, публицист и общественный деятель. Основатель и с 1980 по 2000 годы – главный редактор еженедельника «Панорама» (Лос-Анджелес). Среди авторов, публиковавшихся в «Панораме», – Василий Аксенов, Анатолий Гладилин, Сергей Довлатов, Евгений Евтушенко, Вячеслав Иванов, Владимир Кунин, Эфраим Севела, Саша Соколов и другие. В 1980-е годы Половец участвовал в создании корпорации Media Analysis Foundation, был вице-президентом, с 2009 г. – президентом. С 1991 года Половец – президент благотворительного Американского культурного фонда Булата Окуджавы.

то время, кстати, ты еще работал над книжкой «Между собакой и волком». Но там твой багаж с Волги* еще остался, это понятно.

С. С.: – Да, но тогда память не подводила, – все прекрасно, ощущения, впечатления волжские сохранились. Такую книгу я, конечно, не смог бы написать сейчас. Многое забылось. Да, я дописывал ее в Вермонте, а потом я писал «Палисандрию» в Вермонте, целиком. Начав, впрочем, в Канаде.

Е. С.: – Насчет Палисандрии. У нас есть общие знакомые, которые незримо присутствуют в этой книге...

С. С.: – Еще как присутствуют...

Е. С.: – Я слыхал, что ты тогда выписывал – или просто читал – аргентинскую газету «Наша страна», монархическую, Белой эмиграции, с тем, чтобы получить что-то из языка первой эмиграции.

С. С.: – Ну конечно. Первая эмиграция ведь была большой загадкой и прекрасной мечтой. Я даже хотел переехать в Буэнос-Айрес, чтобы быть среди этих людей. Меня очень увлекла эта газета, несмотря на всю ее... консервативная очень газета...

Е. С.: – Монархическая. Помнишь, там было: «НАША СТРАНА. Только царь спасет Россию от нового партийного рабства». Все шло под этим лозунгом.

С. С.: – Но была еще «Русская мысль», парижская, которую удавалось получать как-то иногда; потом – было еще «Новое русское слово», которое я не читал, потому что там был просто плохой язык,

Е. С.: – Помню, я приехал в Вену, взял НРС – а редактор был Андрей Седых, секретарь Бунина, Седых с ним ездил получать Нобелевскую премию, – открываю газету, там было про космический корабль, и читаю: «пространственный корабль» – это они перевели *spaceship*.

С. С.: – А «телевизия» помнишь?..

Е. С.: – Но, с другой стороны, в той же «Русской мысли» был не «кроссворд», а «крестословица». Это хорошо.

С. С.: – Да, Набоковское изобретение, это он придумал.

Е. С.: – Но я лично очень плотно общался с первой эмиграцией. Например, мы были в Вене, у потомков Разумовских; графиня и ее две дочери, Мария и Ольга, – они прекрасно говорили на русском. Помню, мы сидели как-то, и одна из дочерей говорит: «Матушка, а не пора ли Вам отдохнуть?» А графиня отвечает: «Уж позволь мне, голубушка, самой решать, когда мне почивать идти». «Самой решать, когда почивать идти»! Я был совершенно потрясен. Она напоминала

---

* «Между собакой и волком» – автобиографический роман, в котором Саша Соколов обращается ко времени, когда он работал егерем на Волге. Опубликован в США в 1980 г. в издательстве И. Ефимова «Hermitage».

графиню из «Пиковой дамы». Мы что-то получали от этих людей, конечно.

С. С.: – Вот такие люди меня поражали. В этом была надежда, что я сумею сохранить все-таки то, что я вывез.

Е. С.*:* – Моим учителем на «Радио Канада», моим наставником был Дмитрий Александрович Лебедев, из первой эмиграции. Он родился в Петрограде, прожил в Риге, которая была русским городом, в значительной части тогда – русским, а не немецким, – и вот его язык... Я помню, умер тогда Папа Римский Иоанн-Павел Первый, и я написал в некрологе: «Он оставил после себя добрую память». Дмитрий Александрович мне заметил: «Он оставил *по* себе...» Я так удивился. Потому что я не знал тогда этого выражения. Потом Городницкий, бард, мне сказал: «Конечно же, ‘по себе’». Однако когда Дмитрий Александрович прослушал Городницкого, он заметил, что, конечно же, бард замечательный, но только не у «Геркулесовых столбов», а у «Геркулесовых столпов»... Мы от них что-то получали. Но – возвращаясь к русскому языку: Тургенев вообще постоянно жил в иммиграции, Гоголь «Мертвые души» в Риме написал, им было, конечно, немножко проще, в отличие от эмигрантов, – потому что у них...

С. С.: – ...они возвращались.

Е. С.: – Они возвращались, у них не было психологического отрыва от родины – такого, как у нас, мы ведь не могли туда поехать. Я, конечно, рад, что ты не пошел по пути того же Иосифа Бродского, который хотел уйти в англоязычную среду, – он не один, кстати, мы знаем. Насколько это удачно, пусть судят литературоведы – лично мне Бродский ленинградский ближе ньюйоркского...

С. С.: – Вопрос вкуса, конечно.

Е. С.: – Тогда мы были совершенно оторваны от русскоязычной среды метрополии. Я помню интересный случай: приехал брат моей жены в гости, мы сидели и он что-то рассказывал, сильно редуцируя фразы, потом он вышел, а ты спрашиваешь: «Женя, а ты его понимаешь?» Это был язык, который ты даже не понимал. Мы увидели колоссальные изменения в русском языке. Насчет англицизмов – чуть позже, но я обратил внимание: то, что было вне нормы, стало нормой. Видимо, люди, которые так когда-то говорили, – ушли. Вместо них пришли другие – и новая какая-то норма. Например, «письмо в адрес президента» – конечно, по-русски правильно: «по адресу». Или – «двойные стандарты», хотя есть «с двойной меркой». Но что особенно поражает: «он из себя представляет» – это говорят все, хотя понятно: «он собой представляет». Слово «риск» никто уже не говорит, – «риски». Или все говорят «драйвер». Почему не «двигатель» – или хотя бы «локомотив»?

С. С.: – Потом, прекрасное у Лермонтова можно найти слово – «движитель». Конечно, немножко архаично. «Мотор» просто.

Е. С.: – Или вот еще, как-то я в гостях услышал: «Мы сидели там у барбекьюшницы». Но есть же слова «жаровня», «мангал», в конце концов. Барбекью... Такое было при Петре Первом, скажем, когда все говорили на полунемецком-полуголландском, потом было французское языковое нашествие. Конечно, мы не будем уподобляться Шишкову и говорить «по гульбищу», «нашествие» во многом обогатило русский язык. Например, слово «трогательный» в свое время вызвало недовольство пуристов, потому как было с французского «touchant». Я не знаю, справится ли русский язык с английским нашествием. Никто, конечно, не хочет менять слово «компьютер» – оно как возникло, так и будет. Что меня беспокоит – не столько заимствования с английского, сколько то, что исчезают междометия. Сейчас все говорят «вау!» – а где наше «ух ты!»? Вот это уходит. Я боюсь, что это опасно: интонация уходит. В Москве у молодежи появилась совершенно иная интонация. Я не могу понять, откуда. Когда-то говорили «смесь французского с нижегородским». Сейчас получается смесь английского с новомосковским.

С. С.: – От кино очень много заимствовано. Из американских фильмов, сериалов особенно. Скажем, муж возвращается с работы, входит в дом и кричит из прихожей жене: «Дорогая, я дома!» Это же совершенно американская ситуация. Так не может быть в России. Кто это кричит: «Дорогая, я дома!»... снизу... Что это? Человек устал, ему до лампочки вообще, что она там делает в их квартирке... ему хочется есть. Эта манерность бессмысленна совершенно. Психология – *калькируется психология*. Из американской психологии берется совершенно несвойственное русскому характеру. Это фантастика! Но это естественно. На это смотрят – и делают таким же образом. Смотрят слишком много кино заграничного.

Е. С.: – Россия как-то не принимает никаких мер по этому поводу. Вот, скажем, в Квебеке. Тут французский язык, естественно, всячески популяризируется, тут есть Бюро по французскому языку*, которое четко следит, чтобы не было никаких англицизмов. Если во Франции так и говорят «паркинг», в Квебеке говорят «stationnement».

---

* Office québécois de la langue française, Квебекское управление французского языка. Цель организации – регулирование норм французского языка в Квебеке. Хартия французского языка (*Charte de la langue française*), также – «Закон 101» (Loi 101) от 1977 года, – основной языковой закон Квебека, введенный для защиты официального статуса французского языка. Закон радикально изменил лингвистическую ситуацию, сложившуюся в Квебеке к концу 1970-х годов.

С. С.: – Во Франции, известно, большие ограничения.
Е. С.: – Там своя охранительная политика. Но она пробуксовывает. В Квебеке, скажем, в рамках охраны языка, ни один фильм не может идти на английском, он переведен и идет на французском. Может быть, пришла пора и для России? Это идиотский «трафик»... что это такое? – «затор», «пробки»...
Алена Жукова: – Или – «активности», это слово вошло в русский в прошлом году.
Е. С.: – Алена, ваши ощущения: русский язык выберется из этого?
А. Ж.*:* – Я думаю, совсем – не выберется. Потому что это неизбежные последствия глобализации. Наверное, мер никаких приниматься не будет, будет все хуже и хуже. Но если можно, я скажу немножко о другом. Мы уже об этом говорили. Мариэтта Чудакова, известный литературовед, выступая на встрече с читателями, сказала, что, помимо появления англицизмов, ее беспокоит, что исчезает сам по себе русский язык в его богатстве. Скажем, из вашей книги, Саша, «Между собакой и волком»: «Потрещи, покукуй, потатуйка моя, / Берендейка, пустошка, пустышечка». Конечно, ни одного этого слова уже никто не говорит. Не знают и не понимают. Но ведь это живая красивейшая речь. Исчезают синонимы, прелестные чисто русские слова – они просто уходят. Язык становится скудным.
С. С.: – Но этот процесс начался давно. Когда я приехал с Америку в 70-е годы и начал жить в Вермонте, я встретился с настоящими американцами, – не с теми, что живут в университетских городках, и не с теми, которые живут в Нью-Йорке, – Нью-Йорк – это страна внутри страны, – а просто с настоящими людьми, и я был поражен скудостью их словаря – как следствие того, что они практически уже несколько поколений перестали читать свою собственную литературу. Для них, например, не существует Джека Лондона, «Белый клык» – это все, что они знали о Джеке Лондоне.
Е. С.*:* – Этот процесс идет и в России.
С. С.*:* – Но он начался позднее. Сначала этот процесс пошел в Америке. Шок – самый большой, который был у нас, эмигрантов третьей волны, – что в американских домах нет библиотек. Я вспоминаю объявление в том же НРС: «Продается библиотека. Недорого» или – «Хочу избавиться от своей библиотеки. Приезжайте и берите». Потому что – зачем она? «Мы, – думал человек, который продавал свою библиотеку, – мы вот читали, дураки, там, в Советском Союзе, а оказывается, не надо ничего.»
Е. С.: – Я должен рассказать очень смешную историю. Поэт Бахыт Кенжеев только что приехал в Монреаль, и надо было купить книжный шкаф. Мы пошли в мебельный магазин какой-то рядом с нами и

говорим, что хотим купить книжный шкаф. «Ах, да-да, у нас есть.» Подходим, а там такая одна маленькая-маленькая полочка. Видя наш недоуменный взгляд, нам говорят: «Нет, если у вас много книг, у нас есть вот это...» – а там три полочки.

С. С.: – Я хочу рассказать небольшую такую историю из вермонтской жизни. Меня попросил известный американский писатель пожить у него в доме, поскольку он улетал, – он был профессиональный летчик – летел вокруг света, было у него такое увлечение. Пожить – поливать цветы, кошку кормить... И я, потирая руки, думаю: сейчас я дорвусь до его книг... Ни одной вообще! Думаю: где-то спрятаны. Я обыскал весь дом, чердак, подвал – ничего. А он стал миллионером, написав несколько бестселлеров. Они были написаны простейшим языком – простейшим, на уровне седьмого класса...

Е. С.: – Это из того политнекорректного анекдота: чукча – не читатель, чукча – писатель. Вопрос такой. Твой «Триптих», Саша, – это венец творения. Лексика там совершенно замечательная, необыкновенная. Как удалось все это выкопать? Ты же никуда не ездил. Не из телевизора же ты это получал?

С. С.: – Нет, не из телевизора. Хотя он все равно помогает. Столько каналов... проблем сейчас вообще нет никаких. Проблема была, когда ты ночью слушал короткие волны, сидя там у себя в Вермонте, глушение все еще было. Едва-едва слышно. Я очень, очень хотел какие-то новые слова узнать... Так нет, все остается. Ведь я боялся чего: что я забуду какие-то слова. Я поделился этим с Бродским, когда приехал в Анн-Арбор, в «Ардис»: «Иосиф, как ты уже три года (у нас разница была в три года эмиграции) – как вообще? Как ты борешься? Наверное, трудно, ты забываешь какие-то слова?» – «Да нет, – говорит он, – ну, забудешь это слово – возьмешь какое-нибудь другое.» Он вообще не боялся ничего в этом отношении. Его действительно больше интересовал английский. Он ужасно говорил по-английски... в смысле акцента... каша какая-то... плохо, даже когда читал свои стихи. Он старался все время говорить по-английски. Прогресс был потрясающий. Вот это качество... Для него английский стал более важным, чем русский. Перерождение произошло с человеком. В нью-йоркской среде, в профессорской, университетской, он, конечно, царил.

Е. С.: – Он перестал быть человеком русского мира.

С. С.: – Абсолютно. И он относился ко всем русским проблемам – политическим, социальным – совершенно с сарказмом. Это было неприятно.

А. Ж.*:* – Читаете ли вы современных авторов российских? Как у них с языком, на ваш взгляд?

С. С.: – Очень хорошо у Михаила Шишкина обстоят дела. Денис Осокин – очень изящно, без нажима, не используя никакой изысканной лексики, он добивается очень хороших результатов.

Е. С.: – Давайте вернемся к русскому языку в эмиграции. Светлана... (она за аппаратурой, с камерой).

С. Мегдисова: – Преподавая в русской школе литературу и читая с детьми «Повести Белкина», «Барышню-крестьянку», я наткнулась на выражение, очень простое по смыслу: «Для уездной барышни звон колокольчика – уже приключение». В этом предложении дети понимали отдельные слова: приключение, звон, колокольчик, – однако понять, что за барышня, что за звон, почему приключение – понять смысл сказанного они не смогли. Это как раз дети эмиграции.

Е. С.: – Ушло слово – это нормальная вещь. Язык меняется согласно своим внутренним законам. Уходят причастные и деепричастные обороты из устной речи, когда-то они были. Что меня пугает: уходят склонения числительных. Даже телеведущие, репортеры перестали склонять не только сложные, но и простые числительные. Первое, что нужно сделать, – отправить их всех на курсы переподготовки. Заниматься, как с детьми. Эти люди вещают с телеэкрана!

С. М.: – Но я говорю о будущем русского языка в эмиграции. И, Саша, твой текст в «Триптихе» – для детей в эмиграции он просто недоступен. В моем же примере текст простой, казалось бы, прозрачный, – и уже недоступен. В России дети, очевидно, еще понимают этот текст, потому что они живут в языковой среде. К ним язык приходит в комплексе, с общей культурой.

С. С.: – Тут главное, что они все-таки читают. В России. Я все-таки надеюсь, что там они читают. Больше, чем дети в эмиграции.

С. М.: – Это так, дети в эмиграции, скорее, меньше читают. Чтение сейчас, к сожалению, уходит на второй план. Каким образом это дополучить? Слушать аудиокниги?

А. Ж.: – Мы уже поднимаемся над темой эмиграции и говорим о судьбе русского языка вообще. Доказательство того, что люди читают книги, – полные залы на литературных вечерах. В самых больших залах, которые есть в Москве. Люди приходят и слушают.

С. С.: – И слава Богу.

А. Ж.: – Молодежи полно. Тот же Дмитрий Быков блестяще проводит такие вечера. И, поскольку он еще в лицее преподает, – масса детей на его вечерах.

Е. С.: – То есть традиции Политехнического продолжаются. В эмиграции, как вы знаете, тоже есть литературные вечера, чтения. Пока есть. Еще о языке – есть ведь еще и язык Брайтон-Бич, который совершенно другой, чем язык интеллигенции из эмигрантов.

С. С.: – В Израиле у детей язык лучше, чем в Америке. Когда я выступал не так давно в Тель-Авиве в одном частном клубе, – это регулярная группа, человек двести, эти люди все родились и выросли в Израиле, – было ощущение, что они никогда никуда не выезжали из России. Такое отношение родителей к детям не у всех, конечно. У Тани Толстой есть эссе о том, как она работала в Америке в университете. Она бывала в эмигрантских кругах, конечно, и пишет: дети уже не знают, что такое килограмм, только паунды.

Е. С.: – А вот интересно: Алена, на твой взгляд, русское рассеяние – оно что-то может дать России?

А. Ж.*:* – Ну конечно. Настоящим хранителем языка как раз и является тот, кто его сохранил в первозданном виде без наслоений позднейших. Тот и передаст его дальше.

Е. С.: – Саша, так откуда ты черпал язык для «Триптиха»?

С. С.*:* – Вообще, это все генетическое. Язык – это генетическое. Все – изнутри.

Е. С.: – Я рад, что ты, несмотря на свой не совсем юношеский возраст, продолжаешь писать. Вопрос такой: а ты через себя перепрыгнуть сможешь? – Потому что перепрыгнуть через «Триптих» очень тяжело.

С. С.*:* – Ну что же... Будущее покажет (*смеется*). Да, это тяжело. Это как у шахматистов: нужно быть в хорошей форме, чтобы хорошо писать, в любой форме – психологической, физической. Ведь действительно, когда ты пишешь какой-то серьезный текст, ты находишься над гранью небытия, в совершенно другом измерении. Думаешь: а хватит ли тебя, чтобы закончить?

Октябрь 2016
© Видеозапись – Е. Соколов,
расшифровка – НЖ

Юлия Горячева

Цвет надежды Ирины Ратушинской

Ирина Борисовна Ратушинская родилась 4 марта 1954 года в Одессе. Отец – инженер, мать – учительница русского языка. Окончила физфак Одесского университета, преподавала в школе физику. Жизненный путь поэта складывался сложно.

Стихи начала писать с ранних лет. Первая публикация гражданских стихов Ирины Ратушинской в журнале «Грани» (1982) привлекла внимание как единомышленников, так и властей предержащих. В сентябре того же года Ратушинская была арестована, в марте 1983 осуждена по статье за антисоветскую агитацию и пропаганду на семь лет с последующей ссылкой на пять лет. Обвинялась в распространении правозащитных статей и своих стихотворений «Ненавистная моя родина», «А мы остаемся» и других, а также в хранении «антисоветской литературы» (к ней отнесли и стихотворение «Северовосток» Максимилиана Волошина), в устной антисоветской агитации и пропаганде. После ареста за Ратушинскую вступается литературная общественность, появляются обращения в ПЭН-Клуб, на Западе выходят сборники ее стихов с предисловиями Василия Аксенова, Иосифа Бродского и Юрия Кублановского – за решеткой она написала три поэтических сборника.

Ирина провела в мордовской женской колонии четыре с лишним года. В октябре 1986 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР была досрочно освобождена. В мае 1987 года во время поездки с мужем И. Геращенко в Великобританию была лишена советского гражданства (возвращено 15 августа 1990 г.).

Последние двадцать лет живет в Москве. Пишет стихи, прозу, киносценарии («Приключения Мухтара», «Таксистка», «Аэропорт», «Присяжный поверенный», др.). Она – литературный редактор популярного телесериала «Моя прекрасная няня».

Ратушинская – литератор реалистической школы, отличающийся обостренной совестью, правдолюбием, гражданской ответственностью, стремящийся донести до читателя драматические стороны диссидентского сопротивления. Ее автобиографической книге «Серый – цвет надежды» и романам «Одесситы», «Тень портрета» свойственен глубокий психологизм.

Вот что пишет об Ирине Ратушинской Валентина Алексеевна

Синкевич – авторитетный историк Русского Зарубежья: «Что могу сказать о Ратушинской? Думаю, она редкое явление в нашей литературе: поэтесса-каторжанка. Мне на ум приходят только двое: Анна Баркова, отсидевшая в лагерях 25 лет, и более молодая Ратушинская. Арестовывали и ‘с пристрастием’ допрашивали Берггольц, но ее, автора гражданской лирики и жену ‘крамольного’, расстрелянного затем поэта Корнилова, все-таки не сослали, как и не созвучных эпохе Ахматову, Цветаеву, Парнок и др. Замечательную, гневную гражданскую лирику писали немногие поэтессы: певец Белого движения Марианна Колосова, а в наше время – Горбаневская и Ратушинская. Последняя – в традиционной русской реалистической манере. По гневному пафосу строки ее близки темпераменту Колосовой. Сильный голос Ратушинской, обличающий ее время, до сих пор глубоко волнует тех, которые помнят трагическую русскую историю прошлого века:

...Мы уносим проклятье
За то, что руки не лобзали.
Эта злая земля
Никогда к нам не станет добрей.
Все равно мы вернемся –
Но только с иными глазами –
Во смертельную снежность
Крылатых ее декабрей.

И уже в тюрьме, перед высылкой в лагеря:

...Родина? В твоих тяжелых лапах
Так до стона трудно быть живой!
Скоро ль день последнего этапа,
Чтоб могла ты прорасти травой...

На Западе Ратушинская не прижилась. Сейчас я не встречаю ее стихи в печати. А жаль»*.

В ранних стихах (конец 70-х годов) Ирина Ратушинская часто обращается к родине. Поэтический прием гневных строк помогает передать боль и, одновременно, чувство ответственности за несправедливость происходящего. Яркий пример – стихотворение «Родина», написанное в 1977 году в Одессе:

---

* Из частной переписки Ю. Горячевой с В. А. Синкевич. Хранится в архиве Ю. Горячевой.

Ненавистная моя родина!
Нет постыдней твоих ночей.
Как тебе везло на юродивых,
На холопов и палачей!
Как плодила ты верноподданных,
Как усердна была, губя
Тех – некупленных
и непроданных,
Обреченных любить тебя!

Символично, что в заключение исполненного горечи монолога автор просит у родины благословения:

Самою страшною твоею дорогою –
Гранью ненависти и любви, –
Опозоренная, убогая,
Мать и мачеха,
благослови!

Ирина Ратушинская всегда остается верна себе, сохраняя честную гражданскую позицию и трезвую оценку происходящего. Об этом свидетельствует ее интервью журналисту Олегу Кашину. Она рассказывает, как после открытия выставки «Осторожно, религия» в 2003 году в Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова они с Анатолием Корягиным и другими бывшими политзэками написали письмо протеста против издевательства над верой, которое, увы, удалось опубликовать всего в одной газете. И дальше, о своих жизненных установках: «Я принципиально не согласна работать против России. Понимаете, одно дело – разбираться с коммунистическим строем. Только коммунизм у нас уже кончился, а Россия осталась. Но вот путь через штатовские и другие гранты, которые потом надо отрабатывать так, как этого хочет грантодатель, – это очень скверный путь. Я же видела этих людей – до грантов и после. Люди начинают работать действительно против своей страны, начинают лгать, это все нехорошо. Это страшно портит людей. Именно портит. Получается, на сжатие он был хорош, а на растяжение не выдерживает. Я так не могу, у меня другие убеждения». Из-за этих же убеждений Ирина отказалась вступать в Московскую Хельсинскую группу. «Если бы <...> действительно боролись за выполнение Хельсинкского соглашения, тогда все Хельсинкские группы мира должны были грудью встать против распада СССР, против раздергивания на части Югославии. Вы видели эти груди? Нет? А почему? А просто за это не платили»[1].

«Человек и человек», «человек и общество», «человек и Бог» – вот три вечные темы, требующие особого внимания пишущего. Личная и творческая история, литературные интересы и пристрастия сделали из Ирины Ратушинской автора с уникальным взглядом на мир. И ее тексты – как стихотворные, так и прозаические – заслуживают самого вдумчивого чтения. Ибо в них воплощены духовные ценности и отражено бытие зрелой независимой личности. Обратимся к произведению «Серый – цвет надежды», изданному в восемнадцати странах. Серый – цвет арестантской робы, символизирующий, казалось бы, безысходность и страдание, – неожиданно оказывается «цветом надежды». Этот парадокс очень точно передает мироощущение автора, ведущего жесткое повествование, беспощадно честного в осмыслении былого.

Текст приближается к уровню широко известной «лагерной» литературы. «Серый – цвет надежды» опубликован в Лондоне в 1989 году. Это был первый год эмиграции – Ратушинская получила возможность без оглядок на главлитовскую цензуру писать о перипетиях нравственного противостояния системе. Героинями ее книги стали женщины-политзаключенные, отбывавшие срок в мордовском лагере ЖХ – 385/3-4 (Малая зона). Предвидя читательскую реакцию, автор поясняет: «Отвечу сразу: вымыслу в этой книге места нет»[2]. Книга ценна не только мастерским описанием суровых реалий лагерной жизни, но и замечательными психологическими портретами, например, известной правозащитницы Татьяны Великановой. Бесценны и комментарии автора, самонаблюдения, помогающие понять суть ее характера, нравственные установки, этапы становления: «То, что я политическая, вызывает законный интерес во всех клетках. И приходится мне рассказывать все сначала: и про права человека, и про стихи, и стихи читать – для всех, на весь вагон. Благо конвойный и сам заинтересован и разговору не мешает. Теперь мои европейские и американские аудитории удивляются, как это я все помню наизусть и как легко отвечаю на вопросы. А это потому, леди и джентльмены, что мои первые большие аудитории – залы не меньше, чем на сто человек, – вот эти были столыпинские вагоны, где большинство меня даже не видело – только слышало голос. И стихи надо было читать как можно проще, и на вопросы отвечать – понятно, не умничая, выбирая простые слова, как делаю я сейчас по-английски»[3]. И там же, обращаясь к своим соратникам, говоря об отношении к надзирателям: «Поэтому вы, глядя на очередной винтик этой машины <...>, если уж совсем ничего в нем не найдете от человека, то вспомните, что тараканов из дома выводят без ненависти, разве только с брезгливостью. А они, вооруженные, сытые и наглые, – всего лишь вредные насекомые в нашем

большом доме, и рано или поздно – мы их выведем и заживем в чистоте. Ну не смешно ли им претендовать на наши бессмертные души?»[4]

Позднее Ирина так определит суть повествования: «...в этой книге линия ‘как мы выживали и что надо для этого делать’ – одна из главных. Я старалась описать, каким способом достойно пройти через все, не сломавшись, не подписав всякие там ‘помиловки’, не отказавшись от своей веры, от своих убеждений, не оклеветав других и себя. Это возможно, если не сдыхать от страха»[5].

Ирина Борисовна отвергла предложение Роберта Бернштейна (Robert L. Bernstein), мегавлиятельного американского издателя, президента Random House и основателя правозащитной организации USA Helsinki Watch, организовать движение Helsinki Watch в Англии, зная о возможных последствиях отказа. В результате продажа на Западе книги «Серый – цвет надежды» была сорвана. Но сама Ратушинская об этом ничуть не жалеет. Ибо, как уже было сказано выше, обращается только к Богу как к нравственному камертону. Об этом – и в стихотворении «Письмо в 21-й год», посвященном Николаю Гумилеву (оно тоже фигурировало в обвинении):

Оставь по эту сторону земли
Посмертный суд и приговор неправый.
Тебя стократ корнями оплели
Жестокой родины забывчивые травы.
Из той земли, которой больше нет,
Которая с одной собой боролась,
Из омута российских смут и бед –
Я различаю твой спокойный голос.
Мне время – полночь – четко бьет в висок.
Да, конквистадор! Да, упрямый зодчий!
В твоей России больше нету строк –
Но есть язык свинцовых многоточий.
Тебе ль не знать? Так научи меня
В отчаянье последней баррикады,
Когда уже хрипят: «Огня, огня!» –
Понять, простить – но не принять пощады!
И пусть обрядно кружится трава –
Она привыкла, ей труда немного.
Но, может, мне тогда придут слова,
С которыми я стану перед Богом.

Религиозная тема Высшего – Божьего – суда не раз прозвучит в поэзии Ратушинской.

Господи, что я скажу, что не сказано прежде?
Вот я под ветром Твоим в небеленой одежде –
Между дыханьем Твоим и кромешной чумой,
Господи мой!
Что я скажу на допросе Твоем, если велено мне
Не умолчать, но лицом повернуться к стране –
В смертных потеках, и в клочьях, и глухонемой,
Господи мой!
Как ты решишься судить,
По какому суду?
Что Ты ответишь, когда я прорвусь и приду –
Стану, к стеклянной стене прислонившись плечом
И погляжу,
Но тебя не спрошу ни о чем.

В автобиографическом эссе «Моя родина» (1982) Ратушинская рассказывает об истоках своего творчества: «Какой-то шок (ток) обрушился на меня в мои 24 года, когда в течение одной недели, почти одновременно (книги дали ненадолго) я прочла Мандельштама, Цветаеву, Пастернака! Это буквально сбило меня с ног, физически, с бредом и температурой! Мне открылась бездна, и, в отличие от всех порядочных кошмаров, я была не на краю – о нет! Я была внизу, в той самой бездне, а край – где-то недосягаемо далеко вверху! Захрустело и зашаталось мое представление о нашей литературе и о нашей истории. И все это наложилось на бунтовщические порывы, что были во мне всегда, что я себя помню»[6].

О поэтическом становлении Ратушинской емко сказал Юрий Кублановский в послесловии к сборнику «Вне лимита», метафорично определяя новейшую российскую поэзию в качестве «повивальной бабки свободы»: «Ратушинская приняла поэзию не как ‘Игру’, не как наинежнейшую область изящной словесности и культуры, но – как *служение*, как исповедь, проповедь, самое бытие»[7].

Требовательное отношение поэтессы к родине вызывает в памяти яростные филиппики Алексея Хомякова, в свое время гневно восклицавшего: «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена», «Всей этой силой, этой славой, / Всем этим прахом не гордись!..»

И за крик из колодца «мама!»,
И за сшибленный с храма крест,
И за ложь твою: «Телеграмма»,
Когда с ордером на арест, –
Буду сниться тебе, Россия...

В окаянстве твоих побед,
В маяте твоего бессилья,
В похвале твоей и гульбе,
В тошноте твоего похмелья –
Отчего прошибает испуг?
Все отплакали, всех отпели –
От кого ж отшатнешься вдруг?
Отопрись, открутись обманом,
На убитых свали вину –
Все равно приду и предстану,
И в глаза твои загляну!

1984

Юрию Кублановскому принадлежат справедливые строки об Ирине Ратушинской: «...попрек, обличенье (когда оно носит ‘библейский’, религиозный характер) – полноправная часть взыскательной конструктивной любви»[8].

И действительно, Ратушинская, отождествляя родную землю со злом, в то же время обращается к ней со своеобразной молитвой:

Да зачтется ей боль моего поколенья,
И гордыня скитаний,
И скорбный сиротский пятак –
Материнским ее добродетелям во искупленье –
Да зачтется сполна.
А грехи ей простятся и так.

Тема молитвы за Россию обретает особую силу эмоционального накала, когда звучит в стихотворении, написанном на мордовской зоне:

Двери настежь, и купол разбит,
И, дитя заслоняя рукою,
Богородица тихо скорбит,
Что у мальчика ножки босые
И опять впереди холода,
Что так страшно по снегу России –
Навсегда – неизвестно куда –
Отпускать темноглазое чадо,
Чтоб и в этом народе распять...
Не бросайте каменья, не надо!
Неужели опять и опять –
За любовь, за спасенье и чудо,

За открытый бестрепетный взгляд
Здесь найдется российский Иуда,
Повторится российский Пилат?
А у нас, у вошедших, – ни крика,
Ни дыхания – горло свело:
По Ее материнскому лику
Процарапаны битым стеклом
Матерщины корявые буквы!
И младенец глядит, как в расстрел:
Ожидайте, я скоро приду к вам –
В вашем северном декабре.
Обожжет мне лицо, но кровавый
Русский путь я пойду до конца,
Не спрошусь вас – из силы и славы, –
Что вы сделали с домом Отца?
И стоим мы пред Ним изваянно,
По подобию сотворены,
И стучит нам в виски, окаянным,
Ощущение общей вины.
Сколько нам на крестах и на плахах
Сквозь пожар материнских тревог
Очищать от позора и праха
В нас поруганный образ Его?
Сколько нам отмывать эту землю
От насилия и ото лжи?
Внемлешь, Господи?
Если внемлешь,
Дай нам силы, чтоб ей служить.

Василий Аксенов отмечал, что Ратушинская «превращается в еще один мученический символ всемирной совести». В предисловии к сборнику стихов «Я доживу» он писал: «Когда я читаю Иринины строки, подобные вот этим: ‘Мандельштамовской ласточкой / Падает к сердцу разлука. / Пастернак посылает дожди, / А Цветаева – ветер./ Чтоб вершилось вращенье вселенной / Без ложного звука, / Нужно слово – и только поэты / За это в ответе’ – я не могу не представить себе гонителей русской поэзии в виде какого-то грязного стада»[9]. Показательна и гневная реакция Иосифа Бродского на осуждение Ратушинской: «Политическое судопроизводство преступно само по себе; осуждение же поэта есть преступление не просто уголовное, но прежде всего антропологическое, ибо преступление против языка, против того, чем человек отличается от животного. На исходе второ-

го тысячелетия после Рождества Христова осуждение двадцатилетней женщины за изготовление и распространение стихотворений неугодного государству содержания производит впечатление дикого неандертальского вопля – точнее, свидетельствует о степени озверения, достигнутого первым в мире социалистическим государством».

Сама Ратушинская дает понять, что ее осудили не только из-за стихов, – дело в неугодной гражданской позиции: «Вот, например, отправили Сахарова в Горький – с какой формулировкой? 'По настоятельным просьбам советской общественности'. Прекрасно. Мы с мужем – чем мы не общественность? – просто пишем открытое письмо с адресом, подписями и так далее – мол, мы не та часть советской общественности, от имени которой вы это делаете... Мы не можем помешать вашим мерзостям, но мы лишаем вас права делать их от нашего имени»[10].

Это ее признание ассоциируется со стихотворением-метафорой «Моему незнакомому другу»[11]:

На моей половине мира
Распускают хвосты кометы.
На моей половине века –
Мне в глаза – половина света.
На моей половине – ветер
И чумные пиры без меры.
Но прожектор по лицам светит
И стирает касанье смерти.
И отходит от нас безумье,
И проходят сквозь нас печали,
И стоим посредине судеб,
Упираясь в чуму плечами.
Мы задержим ее собою,
Мы шагнем поперек кошмара.
Дальше нас не пойдет – не бойтесь
На другой половине шара.

1984 ЖХ-385/ 3-4, Мордовия

Единственный российский поэтический сборник Ратушинской был опубликован в 2012 году[12]. Но она не перестает писать – только ее творчество приняло уединенный характер, гражданская активность выражается на пространстве интернета, в Живом Журнале[13]. В нем можно найти и ее предельно откровенные размышления о текущем моменте, в том числе ее отношение к событиям на Украине и в ее родной Одессе, о возвращении Крыма в Россию. Она остро реагирует на проявления русофобии, делится видением русской идентично-

сти, подчеркивая: «...говорить, что русские – не тот народ, извините, <...> не буду никогда»[14]. В зарисовках о последней поездке в Севастополь спустя несколько десятилетий после первой она отмечает: «...было интересно: что изменилось? <...> Что потом?» – ей понравился ответ на этот вопрос на одном из крымских плакатов: – «Да хоть камни с неба, мы – на Родине!» Впечатления от общения с севастопольцами изложены ею емкой фразой: «...было очень хорошо среди своих»[15].

Опубликованное в ЖЖ стихотворение «Русские» написано по следам трагических событий – массового сожжения людей в Доме профсоюзов Одессы:

Закаменело?
Не плачется? Так и не плачь.
Их уже не защитили, и защитят ли других?
Пепел прибоем колотится в сердце.
Глумится палач.
Вымощен путь из намерений –
Ясно, благих.
Русские, русские, русские:
Вот имена.
Чем ты оплатишь их огненный смертный венец?
Лгали тебе: не свои, раз другая страна?
Вот и болит –
Эту ложь вырывать из сердец[16].

Понятно, что такая позиция литератора нравится не всем из вчерашних поклонников. Так, ей пишут: «Вы – действительно Ирина Ратушинская? Та самая несгибаемая диссидентка... Признайтесь, что <...> блог фейковый...» Ответ Ратушинской: «Та самая. В профиль загляните. Там же написано: русская и православная. В таком качестве и посадили, в таком качестве и пишу. И сейчас ни под кого не гнусь...»

В том же ЖЖ Ирина обстоятельно отвечает на другие вопросы – «почему не уезжает из России» и почему «вы говорили тогда и молчите сейчас? В России же ничего не изменилось...» – «Объясняю. Утверждение, что в России ничего не изменилось, – голословно. В программе КПСС был пункт: ‘победа коммунизма во всем мире’ <...> Где сейчас КПСС с этими притязаниями? РФ, при всех ее достоинствах и недостатках, на мировое господство не претендует, а напротив, выступает за многополярный мир... <...> Я отнюдь не утверждаю, что в РФ все идеально, идеальных стран вообще нет. К сожалению, безобразий хватает. И нам их тут еще разгребать и разгребать. Но, понимаете, я никогда не была среди тех, кто мечтал уничтожить Россию или подставить

ее под оккупацию. А всегда – среди тех, кто хотел сохранить ее именно Россией. И сделать лучше, а не убить; и никогда не была среди тех, кого русский народ не устраивает. Мне, русской, он – свой, хотя и без всякой идеализации. Просто – свой. Родной и понятный...»[17]

Ирина крестилась в 23 года. В Мордовии, несмотря на строжайшие запреты, носила вырезанный супругом крестик; изучала вместе с Татьяной Великановой книгу Экклезиаста; в Англии стала духовной дочерью митрополита Антония Сурожского. Приверженность Ратушинской православным ценностям проявляется и в ее тревоге по поводу необоснованных нападок на Русскую Православную Церковь. Отличительной чертой Ирины остается оптимизм, определяемый общим религиозным восприятием цельного мира как данность, как испытание и как благо:

Белый олень, золотые рога.
Девочка спит на краю четверга.
Маятник ходит за Млечным путем.
Как мы летаем, когда мы растем!

Девочка спит. Под щекой кулачок.
Сторож над пропастью – серый волчок.
Сыплются звезды и светится снег.
Сказочных санок нездешний разбег –

Свист под полозьями – треск – разворот...
Это во сне или землю трясет?
Где я?
Подвал, и труха с потолка.
Сани, куда же вы без седока?

– Серый волчок, что там сверху за вой?
– Слышишь снаряд – значит, это не твой.
Ты не тревожься, ты спи и расти.
Знаешь ведь: нас обещали спасти[18].

Она была и остается прежде всего поэтом. Поэтом религиозным, а не просто «духовным». Эта религиозность определяет и ее человеческую, и ее гражданскую позицию. Суть философского отношения Ратушинской к бытию отражена в стихотворении «Полоса». Оно написано в прошлом году, после ее дня рождения, омраченного тяжелой болезнью, с которой она продолжает бороться и сейчас:

Вот такая долгая полоса,
Неуютная и бесплодная.
Ни травинки малой, ни колоска.
То калёная, то холодная.
Не сказать, что страшная полоса:
Бытовая она, потная.
Сохнет рот. Неласково телесам.
Что поделать,
На то и взлетная[19].

...Жизнь и творчество Ирины Борисовны Ратушинской сложились в разных тонах. Яркие оптимистичные строки поэта сглаживают страницы «серого», вселяют веру в возможность человека жить по совести. Это характер, призвание, дар.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. http://rulife.ru/old/mode/article/47
2. *Ирина Ратушинская*. Серый – цвет надежды. – London: Overseas Publications Interchange Ltd. 1989. С. 5.
3. Там же. С. 25.
4. Там же. С. 232.
5. *Марина Нефедова*. Миряне. Кто они? Как в православии найти самого себя. – «Никея», 2016. С. 47.
6. *Ирина Ратушинская*. Стихи. СПб.: Изд-во «Эрмитаж», 1984. С. 11.
7. *Ратушинская, Ирина Борисовна*. Вне лимита : Избранное / Сост. и предисловие Ю. Кублановского. Вступит. статья И. Геращенко. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1986. С. 120.
8. Указ. соч. С. 120.
9. *Ратушинская, Ирина Борисовна*. Я доживу. Стихи. / Вступ. слово от изд-ва. Предисл. В. Аксенова. Вступит. статья И. Найхиной. – Л. – Нью-Йорк: Центр культуры эмигрантов из Советского Союза, 1986.
10. http://rulife.ru/old/mode/article/47
11. Стихотворение посвящено Дэвиду Макголдену, участнику западной правозащитной кампании за досрочное освобождение И. Ратушинской.
12. *Ирина Ратушинская*. Стихотворения. – М.: Бастиан Books. 2012.
13. http://i-kassia.livejournal.com
14. *Марина Нефедова*. Указ. соч. С. 73.
15. http://i-kassia.livejournal.com от 24 авг. 2014.
16. http://i-kassia.livejournal.com от 5 мая 2014.
17. http://i-kassia.livejournal.com/27794.html от 24 июня 2014.
18. http://i-kassia.livejournal.com от 3 января 2015.
19. http://i-kassia.livejournal.com/27624.html от 5 марта 2016.

Геннадий Кацов

«По ободку разомкнутого циферблата...»

Русско-американский поэт Алексей Парщиков нередко цитировал свою жену Мартину Хюгли, славистку, исследователя русской литературы, которая заметила, что из текста «Борцы» выходит вся поэтика Парщикова, как он говорил, «растут все задатки, все ноги мною увиденного...» В таком случае, сборник избранных стихотворений Парщикова, куда входят «Борцы», вышедший в двуязычной серии «Русское слово без границ» в ньюйоркском издательстве KRiK Publishing House в прошлом году*, уже выполнил свою роль, и англоязычный читатель получил самый главный, основополагающий текст поэта-метареалиста (*метаметафоризм*, по определению поэта и литературоведа Константина Кедрова, или *метареализм*, по версии литкритика и культуролога Михаила Эпштейна). В сборнике представлен корпус из пятнадцати текстов, которые являются прекрасным примером того, что представляет собой этот, практически последний, «изм» в русской поэзии, наряду с концептуализмом. Предполагаю, что англоязычный читатель получил замечательный образчик и творчества самого Парщикова, и течения, которое он представляет.

В этом – характерная черта всей серии: читатель получает представление об авторе, достаточно объемное, несмотря на скромный формат каждой из книжек. Поэтому имеет смысл поговорить сначала о самом проекте издательского дома KRiK и осуществленных в его рамках переводах, а потом уже перейти непосредственно к последнему по счету сборнику проекта.

«Русское слово без границ / Russian Word Without Borders» – это двуязычная поэтическая серия, состоящая из сборников карманного формата. Я бы дал ей слоган: «Книга, которая всегда с тобой». Уже выпущенные издательством сборники Евгения Бунимовича, Александра Кушнера, Алексея Парщикова легко положить в карман, их удобно читать во время прогулки по парку, в любом путешествии, в городском транспорте или попав в неожиданно скучную компанию. Эта

---

* Alexei Parshchikov. Selected Poetry / Bilingual Poetry Collection. Bilingual series «Russian Word without Borders» // Translated to English by Michael Palmer (with Darlene Reddaway) and Wayne Chambliss. – New York: KRiK Publishing House. 2016.

утилитарная составляющая – небольшие, в мягкой обложке, компактные книжки (каждая по 300-400 строк русского оригинала и столько же в его переводе на английский), выгодно отличает их от выходивших ранее двуязычных (билингвальных, как это принято сегодня «сказать по-русски») антологий.

Уникальность этой серии – в самом ее определении, поскольку если двуязычные книги отдельных известных авторов как-то еще издаются (Пушкин, Бродский), то русско-английские *сборники* и *серии,* включающие и современных поэтов, – большая редкость в США. Выпущенная в 1965 году *The Penguin Book of Russian Verse* под редакцией Дмитрия Оболенского, в дальнейшем известная в своих репринтных изданиях, как *The Heritage of Russian Verse* (Bloomington, University of Indiana), и *Modern Russian Poetry. An Anthology with Verse translations* (Bobbs-Merrill, NY, 1967) под редакцией Владимира Маркова и Мэррилл Спаркс, равно как и широко известная антология *Contemporary Russian Poetry: A Bilingual Anthology* (John Wiley & Sons) 1993 года под редакцией Джеральда Смита, в которой представлены 33 поэта, родившихся между 1935 и 1940 годами, – вот практически все, что появилось в США до выхода в свет в 2008 году двуязычной *Contemporary Russian Poetry an Anthology* (Dalkey Archive Press, ред. Е. Бунимович и Дж. Кейтс). В этой антологии опубликованы 44 поэта, родившиеся после 1945 года. Есть еще несколько русско-английских проектов издательства Ugly Duckling Presse, вроде *Hit Parade: The ORBITA Group* (2015) – произведения четырех русскоязычных латвийских поэтов из Риги. И, конечно же, антология, охватывающая три столетия русской поэзии, начиная с XVIII века, – *From the Ends to the Beginning: A Bilingual Web Anthology of Russian Verse* (редакторы Эндрю Вахтель и Илья Кутик, профессора чикагского Northwestern University), которая существует только в digital-оригинале и неизвестно, появится ли когда-либо возможность увидеть ее в бумажной версии.

Издание двуязычных книг – дело непростое, в известном смысле академическое, рассчитано на совсем уже узкий круг любителей поэзии; то есть такие издательские проекты нерентабельны, получается, по факту. Поэтому я снимаю шляпу перед создателями новой серии «Русское слово без границ / Russian Word Without Borders», которая адресована и славистам американских университетов, и тем, кто изучает иностранный язык, и просто любителям поэзии, чья пытливость непременно будет вознаграждена.

Кстати, в связи с тем, что отношения между Россией и Америкой нынче стали прохладными, интерес ко всему русскому, как и в годы «холодной войны», в США резко повысился и в ближайшее время следует ожидать пополнения в рядах славистов, да и среди людей

подзабытой профессии – кремленологов. Так что, надеюсь, сегодня эта двуязычная серия своего читателя найдет.

Первая книга вышла в конце 2015 года – стихотворный сборник московского поэта Евгения Бунимовича в переводах Джона Хая и Патрика Генри. Затем, весной 2016 года, был опубликован сборник питерского поэта Александра Кушнера в переводах русско-американского, проживающего в Чикаго, поэта Гари Лайта, а в начале октября 2016-го – сборник умершего семь лет назад Алексея Парщикова.

Особая ценность этой серии еще и в том, что переведены современные поэты. Мы сейчас не будем говорить об общем интересе к теперешней поэзии в США, который не намного выше, чем в России. Но и слависты, профессионально занимающиеся русской словесностью, в увлечении нынешней русской поэзией особо не замечены. Сфера профинтересов, ожидаемо, – Пушкин, Серебряный век (по большей части – Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Блок, Есенин, Маяковский, Хлебников), затем – Бунин и Набоков, с акцентом, все-таки, на прозу, после чего, по касательной через обэриутов и шестидесятников, плотно, – к Иосифу Бродскому. Вот, собственно, и все.

Правда, здесь позитивную роль играют американские литературные журналы и альманахи, при университетах и частные издания, которые предоставляют место для переводной современной русской поэзии, так что те, кто этим вопросом интересуются, без русского безграничного слова не остаются*.

Итак, перед нами три сборника трех поэтов разных поэтических направлений, разных поколений (Кушнеру в 2016 году исполнилось 80 лет, Бунимович и Парщиков ровесники, 1954 года рождения). Каждый со своей интонацией, дикцией-просодией, строфикой, своим отношением к пяти основным размерам классического русского стиха и к рифме: у Парщикова консонансная рифма сплошь и рядом, Кушнер и усеченных избегает. Насколько эти три разных поэтических мира уравниваются при переводе?

Прежде всего, отмечу любопытную интригу: освобожденная от условностей формы, любых внешних уз, навязываемых свободной

---

* Такие журналы, как *Atlanta Review, A Review of Text and Image, Blue Lyra Review, Cimarron Review, Contrary Magazine, English Journal, Gobshite Quarterly, Life and Legends, Magnolia: A Florida Journal of Literary & Fine Arts, Modern Poetry in Translation, Narrative Magazine, New England Review, Newark Review, North American Review, Poetry New York, Pudding Magazine, Synaesthetic, Tampa Review, The Common, The International Literary Quarterly, The Literary Review, The Manhattan Review, The St. Petersburg Review, TriQuarterly, Tupelo Quarterly, Two Lines XIV: World Writing in Translation, Unsplendid, World Literature Today* и многие другие.

авторской воле, и раскованная по содержанию, актуальная англоязычная поэзия нетерпима, беспощадна к стиху рифмованному, – она и только она релевантна ожиданиям как поэтов, так и читателей. В то же время, ситуация в русской поэзии десятилетиями готовила читателей и поэтов к сосуществованию конвенционального русского стиха и так называемого «верлибра», который может быть нынче чем угодно, вплоть до разбитой на короткие строки прозы. Поэтому русские переводы публикуются и в рифму и верлибром – читатель к этому готов, приемлет без претензий, да и критик не возражает. Налицо явная диспропорция: переводы на английский – ни в коем случае не в рифму, переводы на русский – как угодно.

Сегодня рифма в янглоязычном мире сохраняется в песне*, но отношение к песенному творчеству в поэтических кругах в основном толерантное. Не больше. И то, что Нобелевская премия по литературе за 2016 год вручена Бобу Дилану, вызывает у «настоящих поэтов», при всем к нему уважении, не меньшее отторжение, чем факт вручения премии «Поэт» Юлию Киму в 2015 году, несмотря на очень приличные тексты лауреата-песенника и общее позитивное к нему отношение.

Если посмотреть шире, то что остается от поэтического слова, в оригинале написанного в русской силлабо-тонической традиции, учитывая, условно говоря, послефростовскую норму в англоязычной поэзии? Роберт Фрост, пожалуй, был одним из последних крупных поэтов, писавших на английском языке в рифму. Известно его замечание о том, что писать не в рифму – это все равно, что играть в теннис без сетки.

Можно уверенно сказать, перефразируя, что сегодня поэты в англоязычных странах играют в теннис и без ракеток, и без мяча. Это было ясно еще до выхода в свет классической антологии Поля Гувера *Postmodern American Poetry*, составленной в 1994 году, а ведь с тех пор прошло больше двадцати лет и вряд ли кто-то в XXI веке удивится, увидев, что «в теннис играют» даже без игроков-теннисистов.

Но и такую поэзию привычно переводят на русский в основном в рифму (по знакомой мантре: «Стихи – это то, что в рифму»), словно это авторы из списка «Западного канона» Харольда Блума. Известная

---

* К примеру, в рифму написаны тексты песен легендарного, ушедшего в начале ноября 2016 года, канадского поэта Леонарда Коэна. В одном из писем ко мне Гари Лайт пишет: «Мои версии рифмованных переводов Коэна не передавали его отчаянную многогранность, в то время как переводы без рифмы в случае Коэна, в отличие от того же процесса с Кушнером, не позволяли соблюдать ритмику стиха. Отрадно то, что совсем недавно мне удалось перевести одно из блистательных новых стихотворений Леонарда Коэна на русский, соблюдая рифму, наряду с ритмикой и размером текста оригинала».

практика, приводящая к тому, что в угоду рифмованному стиху от первоисточника мало что остается. Это все равно, как стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова в советское время знали по рифмованным переводам Наума Гребнева, при этом было неважно, о чем и как Гамзатов писал на аварском.

Ситуация в противоположном лагере не лучше. Не приходится удивляться, когда в сложившейся практике переводы на английский стирают и мелодику русского стиха, и, в значительной степени, его смысл, подбивая переводимое под существующие стандарты. И в одном, и в другом случае нередко получаются некие суррогаты, рассчитанные на то, как воспринимает поэзию в наше время массовое сознание – русскоязычного или англоязычного мира.

В начале 1980-х, листая двуязычные тома английской и американской поэзии в русских переводах, я, с одной стороны, благодарил московское издательство «Радуга» за столь необходимые просветительски-образовательные книги, а с другой – занимаясь сравнительным анализом оригиналов и их переводов на русский, бывал раздосадован неадекватностью последних.

Редко оригинал дает возможность ничего, практически, при переводе не потерять. Как в этом примере:

Распиваем вино, а в Чегеме шумит водопад.
Открываем окно, а в Чегеме шумит водопад.
Мы читаем стихи, а в Чегеме шумит водопад.
Мы заходим в архив, а в Чегеме шумит водопад.

We are sipping our wine, there is sound of Chegem waterfall.
We prop open the window, there is sound of Chegem waterfall.
We read poems aloud, there is sound of Chegem waterfall.
As we enter the archive, there is sound of Chegem waterfall.

(*А. Кушнер, перевод Г. Лайта)*

Однако нельзя сказать, что англоязычная поэзия окончательно «впала в верлибр». Она разнообразна, а направление «новые формалисты», имеющее множество приверженцев, призывает вернуться к рифме и тоническому стиху (как, к примеру, у Маяковского). Так что общая повальная тенденция за последние лет шестьдесят остается: освобожденные от любых ограничений языковые конструкции, парадоксальные, то есть выстроенные по рефлекторной авторской логике, к которой читателю предстоит годами подбирать ключи. Как бы антииллюстрация к витгенштейновскому: «Предложения языка суть картины (точные отображения) фактов».

Неудивительно, что друг Иосифа Бродского и нобелевский лауреат Дерек Уолкотт скептически относился к переводам Бродским собственных стихов. Он указывал, что, к примеру, в автопереводе «Пятой годовщины» тройная рифма имеет в английском ироническую основу, как у Байрона, при этом такой перевод рискует показаться детской считалкой и выглядеть несерьезно. И вообще, в английском преобладают односложные слова, поэтому женскими рифмами пользоваться трудно (что, от обратного, возвращает к воспоминаниям о практике в старопольской поэзии, основополагающей для виршевиков Руси, когда при равном количестве силлаб, слогов в строке, и обязательных женских окончаниях рифмованных строк, редко дактилических, дурновкусием считалась мужская рифма – ударение в конце строки на последний слог).

Сейчас в Фэйсбуке можно найти любопытную инструкцию переводчика и профессора-слависта Бориса Дралюка (Boris Dralyuk), о том, чего стоит опасаться при переводе с русского на английский. В частности, он пишет (Перевод мой. – *Г. К.*): «Надо не забывать, что у сегодняшнего читателя-англофона (и не только сегодняшнего) постоянное использование точной рифмы вызывает комический эффект, особенно в сочетании с таким лязгающе-назойливым коротким размером, как четырехстопный хорей». Если в первой трети XIX века Пушкина раздражал четырехстопный ямб, то сегодня читателя в англоговорящих странах смешит the trochaic tetrameter – четырехстопный хорей.

Далее идут четыре конкретных совета: следует при переводе избегать неестественной фразеологии, то есть когда вы не можете представить, что вот так один англоговорящий собеседник может обратиться к другому; уходить от поэтических инверсий, по крайней мере переводя большинство поэтов XVIII и последующих веков; не нужно пытаться во что бы то ни стало держать ритмическую основу оригинала и не стоит любыми усилиями принуждать текст к рифме. Следуй переводчики педантично таким рекомендациям, инструкциям и советам, безусловно имеющим и смысл, и практическое применение, мы получали бы всякий раз что-то вроде печально известной «Телемахиды».

В предисловии к своей двуязычной веб-антологии ее редактор Эндрю Вахтель цитирует Романа Якобсона: «Poetry is what cannot be translated» («Поэзия – это то, что не может быть переведено»). Понятно, что это приговор любому переводу, то есть огульно *вердикт вообще*, поскольку в частных случаях все зависит от конкретного переводчика, способного учесть как можно больше индивидуальных особенностей оригинала и пластично его переформатировать так, чтобы читатель затем не остолбенел в недоумении. К счастью, сраба-

тывает пресловутый «человеческий фактор». Вот почему в двуязычной серии мы не получили трех русских поэтов в переводах, похожих как капли воды, хотя все они – без присущих оригинальным текстам рифм и стихотворных метров. В результате, у американского читателя с наметанным глазом завсегдатая поэтических секций в книжном магазине Barnes and Nobel, эти тексты не вызывают дискомфорта; при этом вопрос аутентичности остается архиважнейшим, как писал нелитературный классик.

Переводчики Бунимовича решают этот вопрос естественней и проще остальных участников серии, поскольку автор отобрал для своего сборника ряд стихотворений, лишь частично написанных в русской поэтической традиции, наряду со свободным, интонационным стихом, и стихом белым:

солнце без визы свалило за горизонт
дождь идет по городу без документов
трава вылезла без разрешения
ворованный легкими воздух не сертифицирован
жизнь нелегальна

Перевод без особого труда выдерживает заданную ритмику и дословно переносит повороты сюжета с русского на английский:

the sun ducked below the horizon without a visa
the rain falls on the city without ID
the grass sprang up without permission
the air stolen by the lungs is uncertified
life is illegal

При сравнении обоих текстов вспоминается Алексей Парщиков, который писал, обучаясь в 1990-х в Стэнфорде (Калифорния), что главное отличие английского языка от русского – в наличии артиклей. Мол, от них в немалой степени различия и в менталитетах (известный анекдот: «Как перевести английские артикли ‘a’ и ‘the’? – ‘типа’ и ‘конкретно’»).

В случае стиха рифмованного и силлабо-тонического часто в выигрышном положении оказывается перевод с английского на русский – мы знаем Роберта Бёрнса по прекрасным переводам Самуила Маршака – и нередко проигрывает по отношению к русскому оригиналу современный вариант по-английски. Хотя следует привыкнуть к тому, что получаются два разных текста, искусственно друг к другу приближенные, с большей (тот же перевод «Гамлета» Пастернаком)

или меньшей вовлеченностью переводчика в решение собственных творческих задач. Каждый из текстов живет по своим лингвистическим законам, внутри актуальных традиций, и остается, по крайней мере, не исказить оригинал до неузнаваемости, не упустить смысл. При переводах произведений, включая собственные, Набоков часто менял местами предложения, абзацы, даже страницы, следуя нарративу другого языка и под него подстраиваясь. В результате, это разные, практически, книги – *Speak, Memory* и «Другие берега».

В сборнике Александра Кушнера все стихотворения рифмованные, как и следовало ожидать. Переводил поэт Гари Лайт. Родители привезли его из Киева в США, когда ему было 12 лет. После окончания американской школы он получил юридическое образование, но в свободное от адвокатской практики время пишет интересные стихи по-русски, признаваясь при этом, что английский стал ему родным. После того, как Александр Кушнер самостоятельно сделал стихотворную подборку для этой двуязычной серии, Лайт отобрал дюжину текстов для переводов, которые и вошли в сборник. В переписке со мной он рассказывает, как решал свои переводческие проблемы: «...Создав для начала несколько рифмованных и соответствующих оригинальному размеру переводов стихотворений – ‘Четко вижу двенадцатый век’, ‘Перевалив через Альпы’ и ‘Посвящение Томасу Венцлова’, я понял, что соблюдаемые мной формальности, необходимые для восприятия читателя, одинаково хорошо владеющего как языком оригинала, так и языком перевода, все-таки уведут читателя исключительно англоязычного далеко от магии непосредственно кушнеровского стихосложения, органично присутствующей в русском варианте. – Богатство образов и ажурная архитектура, отличающие поэзию Александра Кушнера, не исключают того, что она остается ярко повествовательной. Вот именно это качество я и решил поставить во главу угла, по крайней мере для данного проекта, сконцентрировавшись на том, чтобы донести до англоязычного читателя именно то, о чем Александр Семенович хотел рассказать. При этом в своих версиях представленных переводов, отказавшись от рифмы, я попытался по возможности не слишком отклоняться от ритма, заданного оригиналом:

Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой...

Joy and bliss in tablecloth,
During never ending dinner,
I rejoice in bending
its stitched edge under the table.»

И, безусловно, совсем непростая задача стояла перед переводчиками текстов Алексея Парщикова. В них есть над чем поломать голову: усложненный синтаксис, специфическая лексика, сложные, разноударные рифмы, размеры – от дольника, раешника до орнаментальной, ритмической прозы. Читая его «Медведи», приходит на ум поэзия скальдов: в древнескандинавской традиции первичным признаком стиха была аллитерация, а метричность и рифма никакого значения не имели вообще:

На юру трепыхаясь, как рваный клапан,
с горы спускаясь и косолапя,
он был разнежен своей гордыней,
а мы – рассержены перед смертью.

Для сборника Алексея Парщикова стихотворения отобрала его вдова Екатерина Дробязко. Здесь и такие программные его работы разных периодов, как «Деньги», «Минус-корабль», трехчастный мини-цикл «Бегство», и короткие стихотворения – «Лиман», «Крым», «Пляжные крепости» (посвященное поэту-метареалисту Илье Кутику)...

В предисловии поэт Евгений Осташевский, также переводчик стихов Парщикова (чьи переводы в это издание не вошли), сообщает читателю: «В 1980-х Парщиков, вместе с Иваном Ждановым, Александром Еременко и другими базировавшимися в Москве поэтами, сформировал группу, чья работа <...> специализировалась на тщательно продуманных пространственных небытийных метафорических структурах, часто с математической или научной опорой... Работа его последнего периода в Германии в 2000-х годах отмечена еще большей сложностью изображения и повествования, а также в ней видны отражения его опыта фотографа».

Воспользуюсь тем, что здесь Осташевский передает мне, как эстафетную палочку, слово «фотограф», и попробую на примере фотографии объяснить, что такое метаметафора, то есть творческий метод Алексея Парщикова. Ведь к ранее перечисленным трудностям, с которыми встречаются переводчики в его текстах, надо добавить самую главную – солипсическое в*и*дение автора, конструирующее реальность по законам то ли квантовой физики, то ли падающих в глубину молитвы звуков.

Фотодело занимало не последнее место в его судьбе: Парщиков много фотографировал, любил показывать снятые им портреты, кадры натурных съемок, урбанистические пейзажи. В середине 1980-х я часто встречался с ним в центре Москвы, в Александровском саду, у западной стены Кремля. Поэт Александр Самарцев предложил Алеше подработку летом 1984-го, и группа фотографов практически ежедневно высаживалась на Большом Каменном мосту (это было еще до работы Парщикова в отделе поэзии журнала «Дружба народов») снимать тургруппы у Вечного огня, у кремлевских башен и прочее. Видимо, какой-то доход такое частное предпринимательство приносило.

Мне, слонявшемуся с Парщиковым вдоль кремлевской стены часами, как-то особенно дороги и понятны его строчки из поэмы «Деньги»:

В махровом рое умножения,
где нету изначального нуля,
на Каменном мосту открылась точка зрения,
откуда я шагнул в купюру «три рубля».

Фотография – это метаметафорический текст в его визуальном изложении. Наша память так устроена, что мы запоминаем не то, что мы видели, а только то, что сохранилось в наших воспоминаниях. Поэтому, когда мы рассматриваем свой фотоальбом, то удивляемся тому, что ландшафт на снимке вовсе не такой, каким его себе представляли, а на групповом портрете и людей, и деталей намного больше, чем сохранила наша память. Все, что есть на фотографии, всегда обширней, запредельней того, что мы по этому поводу знали и чувствовали. Фотография возвращает нам ауру, многоликость вещи и, благодаря массе деталей (предметы второго плана, свет, цвет, контраст, светотень, ракурс), выявляет, дает нам объемное представление об объекте. Словно не мы, а команда наблюдателей получила возможность одновременно разглядывать остановившееся мгновение, в котором, по принципу прустовских воспоминаний, одни впечатления наслаиваются на другие и создают третьи, которых на фото могло и не быть. Здесь раскрываются мириады сущностей предмета, как, возможно, при фасеточном зрении у насекомых, или у Гоголя, как считал Набоков.

Мало того, мы не учитываем и антураж, в котором рассматриваем фотографию, а ведь дождь за окном, время суток, картина на стене напротив также являются соучастниками процесса, равно как и наше внутреннее состояние в этот момент: если мы гриппуем или накануне выиграли в лотерею, это играет существенную роль в паре «фото – зри-

тель». А если, к тому же, рассматриваем отпечатанную фотографию, то имеют значение и плотность фотобумаги, и ее формат, и фактура поверхности.

Раймон Кено, один из основателей OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle – УЛИПО, Мастерская Потенциальной Литературы, 1960-е), отметил: «Любая фраза содержит в себе бесконечное множество слов, из которых мы замечаем лишь очень ограниченное количество; другие же так и остаются в своей бесконечности или в нашем воображении». («Основы литературы по Дэвиду Хилберту»). Вернуть фразу, топос в любом его значении, возвратить нам этих «других» – под силу метаметафоре.

Литературный троп «метафора», на основании некоего общего признака, дает сравнение одного предмета с другим, чаще всего видимым, но его не называет. Метаметафора видимый предмет раскрывает через невидимые сущности, которые необязательно существуют здесь, там и сейчас. В каждом слове, равно как и в каждой состоящей из слов и знаков фразе, – масса внутренних и внешних подобий, которые присутствуют неявленным, невидимым, тайным или позабытым нами образом. Мы знаем предмет, мы сохранили его в памяти как некий имидж и готовы согласиться с теми или иными по его поводу визуальными метафорами (в случае Ю. Лотмана – сновидение как визуальная метафора), но то, что этот же предмет имперсонально пребывает в разных вариантах еще и в астральном плане, в метафизическом, в поле мировой культуры, науки, техники или в ряду имен средневекового бестиария, нам просто так не увидеть.

Метаметафора, как и фотография, уводит от привычного (фото) фокуса, показывая массу сущностей, окружающих предмет и расположенных внутри него, которые ни наш прагматичный опыт распознать не может, ни наша память запомнить из всего произошедшего не в состоянии, ни шестое чувство – предугадать. Во вступительной статье к сборнику «Выбранное» (1996) Парщиков приводит следующий пример: «Я часто вспоминаю психотехнику Александра Еременко, как он работает, ловит тему, в охотничьем трансе ‘приманивает креветку’. Однажды он показал мне незаконченный текст, торчащий из-под каретки машинки... ‘В арматуре этого текста должна появиться креветка, – объяснил Еременко, – я ее сейчас переживаю и хочу воспроизвести, – улыбался поэт. – В креветке – в реальной или в названии ее – есть и кривизна каприза, и ветка, и тайна нижних юбок канкана, кадриль, дрыганье, и тугая непроницаемость панциря, креветка должна появиться в тексте...’». Теперь представьте себе фотоколлаж на тему «креветка»: весь шлейф ассоциаций Еременко и еще сотни возможных все равно останутся в вашей памяти как образ кре-

ветки, центрального персонажа, и лишь нескольких ее вероятностей. Но на фото все они есть, и, как фокусник из цилиндра, метаметафорист всегда готов вынуть на свет то кролика за уши, то ветку, то кадриль. Для глаза и уха, привыкших просто к метафорам, такой сравнительный ряд может пройти вообще незамеченным. Здесь нужны другая сенсорика, оптика, иные интуиции.

Напрашивается параллель с алеаторикой в музыке, элементами случайности в композициях Кейджа, когда между музыкальной тканью и тем, что происходит в помещении, где идет концерт, возникают вариабельные отношения, и записанный на нотном стане аккорд имеет при исполнении равное место с шорохом случайно упавшей программки или покашливанием зрителей.

Казалось, сражаются на острие.
Нет, в кроне,
распирающей лунный шар. Ищут
противника среди ветвей. Наконец,
обнимаются, удивляясь,
как оправа очков в костре.

«Борцы»

Тексты Парщикова повествовательны и насыщены метонимиями – переносом значения по смежности; еще Пушкин отбивался от претензий критики в свое время – «железом резать лед» (вместо – коньками), или «хмельной бокал» (вместо – вино), и т. д. Это, наряду с другими используемыми тропами, не только обогащает текст, но и заставляет концентрировать на них внимание, останавливаться, постигая, проживая и осознавая.

Душно в этих стенах – на коснеющем блюде впотьмах
Виноградная гроздь в серебре, словно аквалангист в пузырях.

«Бегство I»

Это делает текст дискретным. Как и современные, подчас лично знакомые ему американские поэты, которые пишут сразу в формате книги или серии, для Парщикова характерны циклы стихов («Фигуры интуиции», «Дирижабли», «Стеклянные башни», «Сомнамбула», «Cyrillic Light»), готовые распасться на отдельные рифмованные стихотворения, а те, в свою очередь, на строчки – законченные и самодостаточные.

Если вернуться к примеру с иллюзионистом, то у Парщикова, в отличие от его коллег-метареалистов, из цилиндра достают кролика –

после чего из кролика, выворачивая его наизнанку, фокусник достает цилиндр, а затем опять кролика – никто при этом не погибает, – после чего снова появляется цилиндр.

В терминологии Константина Кедрова это называется «инсайд-аутом», или «выворачиванием». При этом все что угодно может быть в текстах Парщикова цилиндром и кроликом, вплоть до наличия предмета и его отсутствия в то же время вообще.

Я, снегурочка и петух на цепочке – такая бригада –
за малую плату обходим народы по ободку разомкнутого
циферблата,
лодка-сегмент отплывает и больше не держит округу.
К Новому году
часы выходят из корпуса, виясь горошком по небосводу.

«Новогодние строчки»

Кстати, в напутствии читателю в «Выбранном» Парщиков приводит несколько цитат из Леонардо, среди которых: «Опиши язык дятла и челюсть крокодила» и – «Появится такая вещь, что если кто задумает покрыть ее, будет покрыт ею». Вполне эпиграф к метаметафорическому «инсайд-ауту» и представлению о «разомкнутом циферблате».

Двуязычный сборник создавался, такое впечатление, по этому же принципу. С первой страницы до середины книги идут тексты по-английски, а от середины, в той же последовательности (чем не вывернутый наизнанку носок?), следуют к концу книги тексты по-русски. И заключительный русский текст «Матвею», посвященный младшему сыну и написанный Парщиковым перед смертью, стыкуется, если представить рулоном свернутый сборник, с первым английским текстом «Introduction», словно по листу Мёбиуса растерли привычные граничные «от» и «до».

И здесь есть еще один момент, волей или неволей существующий в этом примечательном издании: тексты зеркально отражают друг друга. Любимая Парщиковым тема зеркал, зеркального щита Персея, Нарцисса-двойника на картине Караваджо, перевернутого изображения на дне зрачка или внутри фотоаппарата, водяного отражающего потока, «остекленевшей заданности, – как он писал в опубликованной переписке с Вяч. Курицыным, – которая околдовывает организмы».

Эту небольшую книгу «Переписка» Парщиков передал мне в 1998 году, подписав так: «Hi, Glenn! Missing you, my hugs – Alexey Парщиков Москва 8.22.98». Имя «Геннадий» мало кто из американцев может без труда произнести, поэтому в США меня нередко назы-

вают Гленн, что Алешу занимало и веселило. Обратите внимание: в этом автографе все смешано: посвящение – по-английски, по-русски – фамилия и город, откуда Парщиков мне с кем-то передал книгу в Нью-Йорк; дата – вначале месяц, по-американски, затем день и год. Парщиков все больше ощущал себя англофоном, хотя с 1995 года переехал на ПМЖ в Германию. И такой макаронический стиль на книжной странице, либо в эпистолярном жанре, не случаен.

В двуязычном сборнике – та же смесь, та же парная встречаемость языков, зеркально расположенных на карманного формата страницах. У меня, как у любого читателя подобных сборников, это вызывает естественное любопытство: насколько похожи они, одни и те же стихотворения, оригиналы и их переводы. И здесь я обнаружил удивительную вещь: при всей сложности, говори мы о театре – «сверхзадаче» парщиковских текстов, их можно перевести настолько близко к первоисточнику, что в это невозможно поверить. Конечно, нетрудно обнаружить ожидаемые *lost in translation*, но, в основном, переводы удивительной точности. Не уходя далеко – та же цитата из «Борцов», приведенная мной ранее по-русски:

As though grappling on the head of a pin,
or in a corona
of tree gas inflating the moon,
each hunts the other in the branches. And at last
they embrace. Astonished. Like wire rimmed
spectacles in the fire.

by Wayne Chambliss

Чтобы сравнить, вам нужно будет переместиться по этой статье назад и перечитать русский оригинал. Вы совершите похожее действие, производимое читателем двуязычного сборника. Он перелистывает страницы, находит в русском тексте «в кроне, распирающей лунный шар» – и замирает от невероятного ощущения, что проник по ту сторону зеркала, где текст-близнец подобен, так же музыкален и подвержен силам гравитации, поскольку не растерял своих смыслов: *in a corona of tree gas inflating the moon*. Волшебство!

Действительно, это огромное счастье, что такие волшебные книги издаются.

Нью-Йорк

БИБЛИОГРАФИЯ

БЛОК МАРИНЫ ГАРБЕР:

Поэты в Нью-Йорке. О городе, о языке, диаспоре / Сост. Яков Клоц. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 692 с.

Сборник интервью «Поэты в Нью-Йорке» отчасти представляет собой своеобразный ответ на критическую полемику, развернувшуюся вокруг так называемой эмигрантской литературы; «так называемой» – поскольку, как в журнальных и сетевых дискуссиях, так и в данной книге, поднимается вопрос о существовании эмигрантской литературы как таковой, о само́й состоятельности такого обособления. Должна заметить, что ответы собеседников Якова Клоца удивят многих, живущих как в метрополии, так и в диаспоре. Большая часть интервьюируемых склоняется к тому, что термины «эмигрант», «эмиграция», «эмигрантская литература» в контексте настоящего отжили свое и после падения железного занавеса если не полностью утратили смысл, то значительно изменились в своей смысловой нагрузке. Учитывая, что переселение – пусть даже на постоянное место жительства – теперь не обязательно бесповоротно, закономерно снижается драматический накал такого бесспорно судьбоносного события, практически неуместной оказывается ностальгия, модифицируется понятие родины, а само слово «эмиграция» подчас предлагается заменить на вполне себе будничный «переезд». Не случайно, многие из участников сборника не причисляют себя к эмигрантам в привычном значении слова (Алексей Цветков, Владимир Гандельсман, Полина Барскова). В связи с этим вопросом и производными от него (о влиянии среды, например), а также с собранными в этой книге ответами, вспоминается мысль Бродского о том, что можно пережить Хиросиму и не написать ни строчки, а можно написать «Я помню чудное мгновенье...», не выходя из собственного кабинета. Все зависит от масштаба дарования.

Столь ли важен для творческого человека антураж? Можно только гадать, каким был бы Шопен, не эмигрируй он во Францию, или Гоген, не переберись он на Мартиник, но одно очевидно: «...когда география шире, то и мировоззрение расширяется» (из ответа Томаса Венцлова). И речь здесь не о поверхностных впечатлениях туриста, не о наносных картинках с плоскими, хоть и старательно раскрашенными изображениями, не о поэтических «открытках», запечатлевающих «Запад в сарафане и кокошнике», как некогда заметил Ю. Кублановский, не о нынче популярном методе письма по принципу «пришел-увидел-написал», по словам одного из собеседников Клоца; речь о скрупулезном, подчас болезненном освоении и присвоении нового пространства, о необходимости перемен – внутренних и, следовательно, творческих, художественных, – к которым такое освоение подталкивает, и о том чувстве свободы, с которым этот процесс сопряжен. В целом и общем, участники настоящих бесед не жалеют о некогда сделанном выборе, причем не только в

силу того, что теперь в любой момент можно все-таки вернуться. Заметим, что во всех случаях решение покинуть СССР было осознанным выбором, кроме, пожалуй, трех из шестнадцати представленных здесь поэтов – Валентины Синкевич, поэта «второй волны», вывезенной из советской Украины во время войны в юном возрасте на принудительные работы в Германию, Евгения Осташевского, уехавшего из России в детстве вместе с родителями, и Анны Фрайлих, «родившейся в пути» и покинувшей сначала Киргизию, потом Россию и только затем родную по праву языка и культуры Польшу.

И все-таки, не слишком углубляясь в суть вопроса, необходимо уточнить, что сама необходимость отрыва от родной (привычной, знакомой) среды не может быть начисто лишена драматизма: несколько поэтов упоминают эту послеотъездную «скорбь» (слово Бахыта Кенжеева) – в то время как способность прорасти на новой почве представляется удивительным человеческим свойством. Несколько беседовавших с Клоцем поэтов говорят о том чувстве «пограничности», которое привнесла в их мироощущение эмиграция, о способности взглянуть на «свое» немного со стороны (вспомним известную фразу С. Маковского о Мандельштаме) и одновременно – принять «чужое». Вестимо, расстояние обостряет слух и зрение, а иночество усугубляет суть, подталкивает к поиску новых путей: «...когда у тебя только один язык, то связь между вещами и словами тебе кажется очевидной, естественной, а когда два или больше, то она перестает быть естественной» (Евгений Осташевский). И если Ирина Машинская, географ по образованию, ведома именно пространственным восприятием, то Василь Махно – историческим (его поэзии присуще некоторое сослагательное наклонение к истории, стремление отыскать и, по его же словам, «сшить» прошлое с настоящим, знакомое с инородным), а Осташевский – лингвистическим («История лингвистики показывает, что люди склонны принимать грамматику своего языка за структуру мира») и литературным («Литература развивается путем столкновения систем, а не соблюдением правил одной из них»). Вынесенный в название книги литературный центр Америки только способствует такому «пограничному»/«пороговому» состоянию, ведь: «В Нью-Йорке иногда возникает чувство, что живешь как будто на какой-то заставе, за которой начинаются туземские территории» (снова Осташевский); «Жизнь на стыке дает ощущение свободы» (Машинская)... Таким образом, применительно к «третьей» и «четвертой» волне, о поэте диаспоры можно сказать, что он уже не «хранитель традиций», не «изгнанник» и не «посланник», а – поэт-пограничник, причем не стерегущий, а активно осваивающий границу. «Поэт-перебежчик» – как охарактеризовала самое себя Машинская, – на мой взгляд, достаточно точное определение живущего сегодня за рубежом поэта. В одной из сносок Клоц приводит на этот счет интересную цитату из Юрия Лотмана: «Понятие границы двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с другой – соединяет. Она всегда граница с чем-то и, следовательно, одновременно принадле-

жит обеим пограничным культурам, обеим взаимно прилегающим семиосферам. Граница би- и полилингвистична».

Закономерно, книга касается не только роли литературы в эмиграции, но и других вопросов, так или иначе с эмиграцией связанных: межкультурье и двуязычие, влияние среды (в том числе истории и архитектуры города) и межпоколенческие отношения (в частности, между поэтами «первой» и «второй», «второй» и «третьей» волн эмиграции), самоидентификация и неизбежные внутренние изменения, вызванные пересадкой на новую почву – пересадкой, далеко не во всех случаях окончательной и не обязательно трагичной... Поскольку перед нами сборник интервью, то и темы книги расширены, они множатся и варьируются от собеседника к собеседнику, и если некоторые вопросы интервьюера намеренно повторяются – например, о предотъездном дне, или о первом впечатлении о Нью-Йорке, совпадающем или нет со сложившимся по книгам образом, или о мифах Большого Яблока и Северной Венеции (эта параллель настойчиво предлагается интервьюером), – то ответы, разумеется, различны, индивидуальны. Книга получилась удивительно увлекательной благодаря выбранным составителем собеседникам: В. Синкевич, А. Цветков, М. Темкина, Д. Бобышев, Б. Кенжеев, В. Гандельсман, К. Капович, И. Машинская, П. Барскова, В. Павлова, Е. Сунцова, В. Морт, Е. Осташевский, А. Фрайлих, В. Махно, Т. Венцлова. И пока из этих разрозненных и уникальных портретов Нью-Йорка складывается цельное полотно, к которому мы вернемся ниже, каждый говорящий подспудно пишет свой автопортрет. Известно, что о чем бы мы ни говорили – об архитектуре или о языке, о причинах, подтолкнувших к отъезду, или о переменах, этим отъездом спровоцированных, о трагедии 11 сентября или о какой-нибудь сугубо нью-йоркской сценке, о (не)возможности писать о Нью-Йорке или о том многом, что все-таки уже написано об этом городе, – мы, прежде всего, говорим о себе. Так, на страницах сборника четко прорисовываются мягкие и одновременно волевые черты Валентины Синкевич, человека отмеченного не только поэтическим и редакторским талантом, но и даром доброжелательности, равно как и цветаевской «страстью благодарности» – что бы ни происходило в жизни («Все эти нью-йоркские руины – это ведь не живопись, а графика <...> Мне просто нужно видеть из окна какое-то дерево, какую-то зелень, какой-то куст, цветок, природу. А в Нью-Йорке я вижу сплошные камни»). Мы прочитываем автопортрет Марины Темкиной, «человека открытых пространств» (прежде всего внутренних), не терпящего любого проявления насаждаемой унификации, давления на личность, человека многоволнового, наделенного способностью обновляться и, что еще важнее, ощущать сопричастность, сопереживать («Это и есть ритм города: постоянное чувство другого, интерактивность, отношения с другим человеком»). Перед нами – ироничный, мудрый, афористичный Бахыт Кенжеев («И тогда и сейчас выражение лиц у нью-йоркцев – как у людей свободных и веселых»;

«Это такой микрокосм человечества. Но есть в нем нечто неуловимое, некая сущность, которую я смог бы выразить только в рифме, а не в разговоре»). Или же – на удивление веселый Томас Венцлова (благо, жанр интервью позволяет уловить черты, обычно проступающие исключительно при общении вживую) – в его ответах насчитывается около десятка анекдотов и смешных историй, что не препятствует, однако, глубокому и серьезному высказыванию («Рим – это вечность, которая тебя обнимает, хотя сам ты не вечен»). Хочется написать об абсолютном слухе Владимира Гандельсмана, о его, сравнимой с музыкальной, виртуозности и о воистину «легком кресте его одиноких прогулок»; о впечатляющей эрудиции Кати Капович, а также о ее «неровной» энергетике, возможно, каким-то образом связанной с серьезным спортом, из которого она когда-то вышла (поэт-бегун); о подкупающей, почти детской способности удивляться у Елены Сунцовой, о ее потребности во «врачевании духа» посредством зрительного восприятия (поэт-график); о внутренней и, должно быть, врожденной независимости Полины Барсковой; о чувстве отторжения у Ирины Машинской от чего бы то ни было мало-мальски наносного или бутафорского, о характерной выдержке, понуждающей сторониться «неадекватного чувству» высказывания. Но для полноты этих портретов, конечно, следует прочитать книгу.

Признаюсь, не сразу ориентируешься в предложенной составителем композиции: интервью поданы не в алфавитном и не в возрастном порядке; не согласованы они и с временнóй – соответственно продолжительности проживания за рубежом – шкалой (а размещение интервью с Валентиной Синкевич в начале книги настраивает читателя именно на такой лад); композиция сборника также не соотносится со степенью причастности участников к ее главному «герою», Нью-Йорку (среди собеседников Клоца есть и те, кто давно не живет в этом городе, или не жил подолгу, и/или долгие годы бывал в нем непродолжительными «наездами»)... Между тем, композиционный принцип у книги есть – и вполне оправданный. Разговор о литературной эмиграции неизбежно приводит к разговору о двуязычии и межкультурье, и если у первых одиннадцати основным поэтическим языком является русский (хотя многие из них пишут и по-английски, а также с разной степенью активности переводят), то замыкающая пятерка представленных здесь поэтов пишет на других языках: Евгений Осташевский – по-английски, Вальжина Морт – по-белорусски, Анна Фрайлих – по-польски, Василь Махно – по-украински, Томас Венцлова – по-литовски. Стихи этих авторов (а каждая беседа предварена одним стихотворением о Нью-Йорке) поданы на страницах сборника в переводах, а в одном случае (Фрайлих) составителю пришлось перевести на русский и саму беседу.

Следует сказать, что Клоц – отменный интервьюер, внутренне подготовленный к каждой беседе, обладающий не только знанием, но и чувством предмета. Он умеет задать верный, точно сформулированный вопрос в пра-

вильный момент, направить беседу в определенное русло, а когда нужно, промолчать (такт – не последнее требование к интервьюеру), умеет слушать и, что важно, дать собеседнику высказаться, не позволяя себе стать полноправным собеседником. Клоц по большей части держится в тени, поэтому перед читателем, строго говоря, – не сухой и косный анкетный опрос и не совсем беседы, предполагающие равноправный диалог, а собственно интервью, зачастую отмеченные искрами живой речи. Безусловно, на ум приходят книги, близкие «Поэтам в Нью-Йорке» концептуально, – от «Бесед в изгнании» Д. Глэда, от «Тени маятника и других теней» В. Амурского и до «Частных лиц» Л. Горалик и др., – но тематически и, главное, жанровой выдержанностью книга Клоца несколько отличается от предшественниц. В предваряющей сборник заметке «От составителя» Клоц говорит о том, что настоящее издание являет собой проект, который по понятным причинам (главные из которых – время и форматные ограничения) не исчерпывается этим без малого семисотстраничным томом. Составитель даже приводит довольно обширный список потенциальных собеседников, тем самым обнадеживая читателя возможностью продолжения и расширения этой идеи.

Книга «Поэты в Нью-Йорке» не лишена просчетов, которые, следует признать, в издании такого объема и охвата неизбежны. Разумеется, читатель знаком если не со всеми, то с большей частью имен, представленных на этих страницах, однако отсутствие кратких биографических справок вызывает смутное ощущение некоторого несоответствия здоровой педантичности составителя, сопроводившего интервью множеством сносок с пояснениями, уточнениями, цитатами, указанием источников и т. д. (книгу замыкают «Указатель имен» и, что особенно уместно в издании такого ряда, «Топографический указатель»). Не претендуя на роль искушенного читателя, замечу, что два имени из шестнадцати я открыла для себя впервые (Морт и Фрайлих) и краткая биографическая справка могла бы посодействовать восполнению допустимого пробела. Но это, как говорится, придирки формального характера. И если совсем дать волю субъективности, то замечу некоторую неуместность вопроса о первом детском стихотворении, пожалуй, более подходящего для журнальной публикации, чем для подобного собрания – с четким тематическим уклоном. Здесь же – и сам вопрос, и отчасти ответы на него слегка обескураживают, в основном из-за не всегда хорошо скрываемого самолюбования, умиления тем – пускай и щедро одаренным – ребенком, которым некогда был тот или иной поэт.

К сожалению, есть у данного издания один существенный промах. В то время как отсутствие отдельных имен в «Поэтах Нью-Йорка» говорит о неизбежной субъективности и о заведомо понятных ограничениях, отсутствие одного конкретного имени – особенно в контексте книги, особенно в связи с городом, вынесенным в ее название, особенно в свете задаваемых Клоцем вопросов, – увы, свидетельствует об определенной толике предвзя-

тости. Потому что без этого человека русский литературный Нью-Йорк представляется не просто неполным, как оговаривается составитель в предисловии, но и – если рассматривать город как живой организм – слегка увеченным, настолько неестественно отсутствие этого имени в такой книге. Речь идет о бывшем москвиче, нью-йоркском поэте Андрее Грицмане, главном редакторе журнала «Интерпоэзия», подвижнике и организаторе нескольких, ставших уже традиционными, как исключительно русско-, так и двуязычных чтений. Грицман – автор сборника изящных эссе «Поэт в межкультурном пространстве», почти каждое из которых представляется полновесным ответом на многие вопросы Клоца. Не стану приводить цитаты из этих трудов, поскольку тексты Грицмана в контексте «Поэтов в Нью-Йорке» хочется цитировать чуть ли не целиком. Укажу лишь несколько говорящих за себя названий грицмановских эссе из двух последних книг автора: «Поэт в межкультурном пространстве», «Есть ли будущее? О русской поэзии в Америке», «Живой пейзаж. Современная американская поэзия», «О переводах и стихосложении на двух языках», «Десять лет спустя. Об Иосифе Бродском» (из сборника эссеистики «Поэт в межкультурном пространстве»); «Поэт в диаспоре», «Чужой дома (поэзия над культурами)», «Поэзия с акцентом (культурное многоголосие современной американской поэзии)», «Поэт и город», «Поэзия и ‘духовный’ ОВИР» (из книги «Поэт и город»)... И если бы мне пришлось отвечать на вопросы интервьюера о книгах, в которых, на мой взгляд, показан живой Нью-Йорк, думаю, ответила бы не совсем ортодоксально, из англоязычных книг назвав роман Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине», импонирующий темой становления личности – по большей части не благодаря родной среде и культуре, а вопреки; а из русскоязычных – «Поэт и город» Андрея Грицмана. В частности, в главе «Русские голоса Америки» (эссе «Поэт и город») Грицман описывает любопытный и, по-моему, метафорически значимый момент: во время чтений поэтического клуба, созданного Андреем Грицманом, Владимиром Друком и Юлией Беломлинской в манхэттенском «Дяде Ване», неподалеку от Бродвея, «микрофон ресторана ловил переговоры из полицейского участка, расположенного напротив. И вот это сочетание русских стихов и американских полицейских команд создавало острое ощущение жизни между двумя мирами»... Все-таки не удержалась и процитировала, тем самым ответив на один из вопросов Клоца о сугубо нью-йоркском эпизоде...

Говоря о русском литературном Нью-Йорке, собеседники Клоца вполне закономерно чаще других упоминают имена Бродского, Довлатова и Лимонова. И первого в этом коротком списке – пожалуй, с наибольшей частотой, нередко с подачи интервьюера, упорно подразумевающего две важные параллели: Нью-Йорк – Санкт-Петербург и Нью-Йорк – Бродский, – в отдельных беседах, однако, изредка оборачивающихся перпендикулярами. Можно даже утвердить, что Бродский выступает на этих страницах одним из главных действующих лиц, наравне как с Нью-Йорком, так и с говорящими о

городе. Собственно, Иосиф Александрович оказывается «гением места» русского литературного Нью-Йорка. «Русские точки», к слову, тоже нередко связанные с именем нобелевского лауреата, на этих страницах – словно флажки на карте литературного Нью-Йорка: любимые кафе Бродского «Данте» и «Реджио», кафе «Дядя Ваня», ресторан «Русский самовар», книжный магазин № 21, Бруклинская публичная библиотека... Некоторые из этих «точек», к сожалению, в настоящее время существуют лишь в наших воспоминаниях.

Итак, Нью-Йорк зачастую вызывает полярные чувства – от возвышающих до подавляющих, поворачивается оборотными сторонами – то пленяющей, то отталкивающей. Его портреты, обрисованные местными поэтами, иногда во многом и главном совпадают, а иногда разнятся настолько, что кажется, будто речь идет о разных городах. И уж совсем редко такая полярность проступает в пределах одного в*и*дения, как, например, у Владимира Гандельсмана: «Некоторые места Нью-Йорка так уродливы, что количество этого уродства переходит в качество красоты, что ли. Это какая-то победа над уродством, которое себя не скрывает, – и, возможно, в этом разгадка столь странной победы». Эпитеты, прилагаемые к этому городу, охватывают широчайший эмоциональный спектр – от «каменного» и «бездушного» до «теплого» и «домашнего». Кто-то акцентирует вид сверху, кто-то снизу, но каждый прежде всего предполагает взгляд изнутри «своего» Нью-Йорка. Бетонно-стеклянная мозаика, заслоняющая небо, лоскутное одеяло из каменных квадратных лоскутов, вертикально развернутое над водой, сочетание преимущественно серых оттенков и многоголосого звукоряда... Город-остров, город-порт, город-вулкан... Город «безнебья» – над головой горожанина здесь обычно либо тоннель, либо мост (см. интервью с Т. Венцлова)... Единый и разрозненный, практичный и бестолковый, город перспективы и тупика – смотря куда и откуда и, главное, кто на него смотрит. «Разумеется, у Нью-Йорка есть свое сообщение, свой текст, только написан он на разных алфавитах из-за его мультикультурности. В этом же заключается его содержание. Я даже выделил его заглавными буквами в одном из стихотворений: КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО / из черепа торчит у Градозавра», – говорит Дмитрий Бобышев.

Данную книгу можно и должно считать одной из важных книг в том смысле, что, в общем и в целом, на вопрос, существует ли русская литературная эмиграция сегодня и что она дала современной русской литературе, сборник интервью «Поэты в Нью-Йорке» отвечает как своим многоплановым содержанием, так и самим фактом своего выхода к читателю.

Николай Боков. Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова. – Париж: Editions de la Caverne, 2016. – 135 с.

«Два жанра русского фольклора пережили расцвет в двадцатом столетии – в самых безысходных условиях – и исполнили в некотором роде (когда

ничего еще и не грезилось) миссию Самиздата, предполагающего ведь не один только факт публикации на пишущей машинке, но – и это важнее – идею преемственности, традиции, развития, когда один человек что-то скажет, напишет, а второй это сказанное подхватит и продолжит», – писал А. Синявский об анекдотах и блатных песнях. На похожую «цепную реакцию» рассчитывали авторы гротескной сатирической повести «Смута новейшего времени, или Удивительные похождения Вани Чмотанова», написанной в 1970-м, – на «раздвигание границ дозволенного», неуклонно ведущее к протесту: прочитать «Смуту» и не пойти на субботник, или все-таки пойти, но выслушать политический анекдот... Можно рискнуть и предположить, что «Смута» несколько превзошла ожидания ее создателей, подготовив своим выходом самиздатскую почву для публикации романа Владимира Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», романа-анекдота, первая часть которого, «Лицо неприкосновенное», писалась с 1963 по 1969, но подпольно была опубликована несколько позже. «Смута», написанная за три недели и приуроченная к «столетию со дня рождения вождя», вышла в «самиздате» в год своего написания.

Примечательна путаница с авторством «Смуты». Повесть первоначально вышла и многажды переиздавалась анонимно. В двух русскоязычных изданиях (а книга также переведена на французский, польский, английский, итальянский и немецкий), предшествовавших настоящему, указано соавторство Николая Бокова и Бориса Петрова. И если отсутствие имени Петрова на обложке изданий, вышедших на Западе в советское время, связано с вынужденной осторожностью (Петров всю жизнь прожил в России, 1936–2003), то его исчезновение с обложки последнего издания объяснить труднее. Николай Боков говорит о загадочном совмещении в недрах интернета двух имен в одно. Вероятно, упоминание рецензентами авторов «Смуты» под спаянным «Боков-Петров» привело к этому слиянию... Как бы то ни было, есть в этой «потере» имени, приобретении и снова частичной потере нечто знаковое – так «уходят в народ» кем-то некогда сложенные сказки, частушки, песни, «садистские стишки» и анекдоты.

Любопытно, что авторство «Смуты», первоначально вышедшей в свет анонимно, точнее, в подложном авторстве, оговоренном в повести, какое-то время приписывалось Владимиру Войновичу. К проведению параллели между двумя сатирическими произведениями подталкивают сами названия: «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» и подзаголовок «Смуты» – «Удивительные похождения Вани Чмотанова» («необычайные» и «удивительные», «приключения» и «похождения», плюс инициалы главных персонажей). Но пересечения между произведениями – не исключительно формального порядка: оба Ивана – примеры гоголевских «маленьких людей», оказывающихся в центре невероятных событий. Предположительно, прототипом обоих Иванов стал фольклорный персонаж, добрый и смелый

Иванушка-дурачок; как точно подметил Б. Сарнов, у бесхитростного Чонкина гораздо меньше приписываемого ему сходства с лукавым бравым солдатом Йозефом Швейком Я. Гашека; показ абсурдности системы, частью которой является Чонкин, во многом становится возможным благодаря его природному простодушию, далекому от «маски идиота», под которой скрывается умный Швейк. В то время как оба героя, Чонкин и Чмотанов, ловки и храбры, Чмотанов, живущий в брежневскую эпоху застоя, уже бесповоротно испорчен накопленным опытом советского бытия: в отличие от Чонкина, предстающего перед читателем в СССР 1941-го, Чмотанов способен и украсть, и схитрить, и притвориться. Чмотановым движет не чувство ответственности, нередко приобретающее у Чонкина гипертрофированные формы, а желания, далекие от нравственных постулатов: поначалу прилежный и тихий, но нищий и голодный молодой человек, в конце концов, предстает изуродованным той средой, которая его воспитала. И если, по замечанию Б. Сарнова, Чонкин – не кто иной, как «естественный человек в неестественных обстоятельствах», то Чмотанов, такие обстоятельства отчасти создающий, представляет собой человека этим обстоятельствам адекватного, равноценного им. По сути, мечтающий о выгодной продаже украденной им головы мумии Ленина с тем, чтобы «купить домик с огородиком» да «жениться на Ма-няше», Чмотанов отличается от толпы, требующей, «чтоб поллитровка пять рублей стоила», разве что смекалкой, артистичностью и духом авантюризма. Тем не менее к концу повествования, когда Чмотанов погибает нелепой и случайной смертью (здесь эпитет стоило бы закавычить, так как в описанном мире многое – «случайно», то есть происходит как бы «по недосмотру» и одновременно намеренно), его становится жаль, как жаль любого человека, выхваченного из толпы.

Разумеется, слово «смута» мгновенно вызывает в памяти приснопамятный период в истории России, и неспроста. По мере фабульного разворота страна оказывается охваченной волной безрадостных, хоть и гротескно описанных событий: назревающая гражданская война, военный путч, политический конфликт и социально-экономический кризис... Но примечательно и то, что «смута» и «помутнение» – однокоренные слова, а «муть» прежде всего вызывает ассоциацию с отсутствием ясности. И если в «Жизни с идиотом» Виктора Ерофеева помутившимся рассудком является обособленный «идиот Вова», то в «Смуте» – речь о поголовном «помутнении». «Я его не задумывал, как идиота. Просто он оказывался в идиотских ситуациях, в которых нормальный человек вполне может стать идиотом. А это наши, обычные советские ситуации», – писал Войнович о своем герое («О моем непутевом блудном сыне» // «Юность». 1990. № 1). «Впрочем, я не хочу сказать, что жрецы коммунизма были умнее своих рабов: делириум владел всей нацией», – пишет Боков в предисловии к «Смуте». Чуть ниже автор говорит о всеобщем «помешательстве», которое можно было наблюдать в день проезда Гагарина

и Хрущева по Москве: «...я смотрел на оживленную толпу, подогретую газетами и полетом в космос, а также сосисками и пивом, которыми торговали на тротуарах Ленинского проспекта женщины в грязноватых белых халатах»... Эта сцена вкупе с абсурдной по природе и масштабу «официальной вакханалией подарков» к столетию Ильича, охватившей страну «по указу» правящей партии, привели автора к осознанию тотального «национального заблуждения». Толпа и Чмотанов как представитель этой толпы – это «чонкины в поколении», то есть закономерный продукт константной абсурдности повседневных ситуаций, со временем неминуемо сказывающейся на нравственности и психическом состоянии обобщенного индивида. Неотвратимая метаморфоза с особой наглядностью проступает при сравнении двух примечательных и несколько похожих эпизодов – из романа Войновича и из повести Бокова и Петрова. О первом верно писал Б. Сарнов: «Наивность Чонкина достигает высоты подлинного трагизма, когда для ответа на фантастическое обвинение в злонамеренном стремлении восстановить монархию и самому стать царем Чонкин находит лишь два слова: ‘Прошу простить!’ Эта трогательная, наивная реплика страшнее и нагляднее, чем любые другие слова – более умные и более красноречивые. Она обнажает всю чудовищность безумной государственной системы, которой не имеет смысла возражать, с которой бессмысленно спорить» («Естественный человек в неестественных обстоятельствах» // *Войнович В.* Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. – М., 1990). Совсем другие чувства в сходной ситуации вызывает стоящий в почетном карауле солдат у Бокова и Петрова; на угрозы паясничающего Чмотанова – «Завтра под суд пойдешь» – тот отвечает без тени чонкинского покорного бессилия – с воистину солдафонским автоматизмом: «Служу Советскому Союзу».

Читателям моего поколения, так называемым «детям застоя», вполне понятны реалии того времени. Такие читатели с усмешкой, а временами не сдерживая смеха, вспоминают описанные на этих страницах собрания, очереди и другие «обычные» советские ситуации; они узнают слова из зазубренных пионерами «Заветов Ильича» пера Сталина, канцеляризмы, анекдоты и прочее, кажется отжившее; без усилий прочитываются скрытые цитаты из песен, стихов и пьес того периода (здесь назову лишь пьесу Н. Погодина «Человек с ружьем», не упомянутую в достаточно подробном комментарии П. Матвеева, которым снабжено настоящее издание). В то же время, как опасается Боков в предисловии, читателям постперестроечного поколения книга может показаться реликтом, ведь многие нынешние российские школьники затрудняются ответить на вопрос, кто такой В. И. Ленин. Однако история имеет обыкновение повторяться, а некоторые мертвецы – воскресать. Так, к примеру, с именем псевдоавтора «Смуты» соцреалиста Всеволода Кочетова связаны не только «Кочетовские чтения», и по сей день традиционно проводимые на его родине в Новгороде (Матвеев ошибочно называет их «быстро

заглохшими»), но и предложенное Евгением Поповым видение Кочетова «предтечей концептуализма» («Всеволод Кочетов как предтеча концептуализма» // «Октябрь», 2004, № 8). Выводы Попова не бесспорны, но факт остается фактом: «знаменитого, любимого романиста ЦК КПСС» Кочетова читают и перечитывают, а его произведения связывают с художественными тенденциями современности – пусть и не в самом благоприятном для обеих сторон свете... По ходу также заметим, что в популярной серии «ЖЗЛ» (издательство «Молодая гвардия») в скором времени выйдет биография Ленина пера Льва Данилкина, отрывки из которой недавно публиковались в «Новом мире» (2016, № 8). Боков не слишком верит в интерес современного читателя к сатирической Лениниане, называя в предисловии к повести тему Ульянова-Ленина «отработанным паром». Действительно, список книг, написанных в этом жанре, заметно сокращается: после «Жизни с идиотом» Виктора Ерофеева, опубликованной в 1991, из книг обозримого недавнего, пожалуй, можно назвать юмористический рассказ Натальи Резник «Я и Ленин» («Рассказики». – СПб.: Бокслен, 2015).

Пожалуй, сатирическая Лениниана сегодня представляет наибольший интерес с позиции истории литературы, в частности истории «самиздата». В книге «Вольная русская литература. 1955–1975» (Франкфурт: «Посев-Verlag», 1976) Ю. Мальцев пишет о «Смуте» следующее: «‘Смута’ написана с тонким пониманием психологии толпы, гротеск все время остается в рамках правдоподобия; нравы общества обрисованы довольно рельефно и убедительно». Иными словами, перед читателем – фантасмагория, крепко укорененная в реальности, и зачастую то, что молодому поколению может показаться абсурдным и невероятным, представляет собой оборотную – юмористическую – сторону подлинного документа. Настоящая повесть – не только политический поступок, но и примечательный пример произведения, выдержанного в рамках сатирического жанра, и в этом смысле фраза о «раздвижении границ дозволенного» также приложима, по крайней мере, к одному из авторов «Смуты», Бокову, парижскому новеллисту, много лет работающему в другом, далеком от сатиры направлении. К сожалению, о творческом развитии Петрова, профессионального журналиста, нам практически ничего не известно.

Сатира – это не только форма протеста, не только попытка сохранить достоинство человека в «противоестественной» ситуации и – посредством юмора и гротеска – примирить его с абсурдностью своего положения в ней. Врачевание смехом ценно еще и тем, что зачастую сквозь смех человек мыслящий еще четче понимает серьезность обстоятельств. Комическое имеет свойство наводить резкость на трагическое. Поэтому есть смысл закончить этот отклик строкой из пушкинского «Бориса Годунова», отрывок из которого вынесен авторами «Смуты новейшего времени» в эпиграф: «Смешно? А? Что? Что ж не смеешься ты?»

Евгений Терновский. Сеанс. Повести. – Франкфурт: Литературный европеец, 2015. – 213 с.

Каждая из пяти повестей Евгения Терновского, собранных под обложкой «Сеанса», «выстроена» согласно так называемой временнóй модели: повествование в них обычно линейно, то есть ведется от прошлого к настоящему, причем настоящее предстает закономерным продуктом прошлого, а будущее, надлежащим образом, – результатом настоящего. В пространственном же отношении мало что меняется: телесное и материальное почти никогда не идет вразрез с духовным, внешнее и внутреннее непременно сливаются – они, по сути, неразделимы. Не случайно Терновский нередко использует столь любимый русскими классиками, от Достоевского до Набокова, образ зеркала, который оборачивается своеобразным инструментом самопознания персонажей, автопортретом героев – как внешним, так и внутренним: значительная часть его центральных персонажей по крайней мере однажды смотрится в зеркало, отмечая свои наружные и, следовательно, душевные метаморфозы.

Корни прозы Терновского, несомненно, уходят в русскую прозаическую традицию. Автору близка и толстовская склонность к завуалированной «оценочности» поступков, и его же постулат о том, что зло не только порождает зло, но, словно резонируя с ним, приумножает его; и достоевское использование «случайной неслучайности» (сколько «случайных» встреч на этих страницах, будь то в сутолоке вокзала, в недрах городского метро, у стен больницы или в обычной кофейне, есть здесь и «случайное» судьбоносное обнаружение нужного имени среди убористого шрифта газетных объявлений, и «случайные» подслушивания чужих разговоров, и прочие (не)счастливые пересечения); и воистину гоголевская тяга к символизму личных имен (Ковар, Трегуб, Постум, Шток, Зоркий, Шифф и другие); и набоковская установка на уже упомянутую «зеркальность» мира, на идею взаимосвязи людей, предметов и событий, на убеждение (не романтического ли порядка?) в невозможности счастья и равновесия... Все эти – вполне классические – черты объединяют между собой повести Терновского, собранные под обложкой «Сеанса», отчего к концу книги ее основной посыл приобретает качество усиленного звучания.

Пожалуй, больше всего «пересечений» у Терновского с Набоковым: склонность к каламбурам, к символичной игре светотеней (не случайно заглавие первой повести «Сеанс» дало название всей книге), к символизму цветовой гаммы, а также к общей кинематографичности, то есть зрительному аспекту повестей. В этой связи в качестве примера любопытно сравнить «Камеру обскура» Набокова с «Сеансом» Терновского, например и в частности, присутствие Горна, невидимого для слепого Кречмара у Набокова, и присутствие любовницы Ковара при похожем глухо-слепом, отсутствующем

состоянии его жены Эльзы из повести Терновского. В какой-то мере «Сеанс» является своеобразным перевертышем набоковского романа, версией, по которой жертвой Горна и Магды является не Кречмар, а гипотетическая жена Горна. Между Горном и Коваром немало общего («художник-карикатурист» и «художник-фотограф», по большей части порнографического толка), впрочем, как между Магдой и Микой, девушками с «сомнительным прошлым», не случайно также созвучие имен жен двух персонажей – Аннелизы и Эльзы...

Несмотря на то, что нарраторское «я» в книге проскальзывает единожды и, вполне допустимо, не преднамеренно (повесть «Место свúдения»), читателю ясно, на чьей стороне авторские симпатии (хотя в целом скорее имеет смысл говорить об антипатии как о превалирующем чувстве повествователя). Отношение рассказчика к герою четче всего проявлено в описательных сценах, у Терновского – многозначительных. Так, например, безжизненная и безвкусно обставленная спальня Эльзы в «Сеансе» похожа на фамильный склеп («В просторной спальне стоял одуряющий запах дезодоранта, имитировавшего дуновение сирени. Монументальная кровать эпохи ампира напоминала старомодный катафалк. На небольшом мраморном столике в прозрачном бокале скучали две давно умершие розы. Английское кресло напоминало готический собор в сумерках. Шторы были спущены...»), а интерьер в одном из помещений провинциальной церквушки в «Месте свúдения» красноречиво говорит о тяжести и неизбежности грозящей вот-вот случиться трагедии: «Новый коридор, с множеством дверей по обеим сторонам, как в гостинице, устремлялся неизвестно куда. С трудом передвигая свои слоновьи ноги и пошатываясь, старец исчез в полумраке и Тео услыхал громкое оханье то ли кожаного кресла, то ли пришельца. Через несколько минут Тео очутился в квадратной комнате с тремя могучими креслами и невысоким журнальным столиком, перед которыми скучал телевизионный аппарат. Одноногий торшер с трудом освещал это помещение неясного назначения. На одном из кресел бессильно повис серый пиджак»... Но прежде всего, выразительны портреты героев, а Терновский – портретист со своей узнаваемой манерой письма. Одной или несколькими фразами, обычно прохваченными то иронией, то чувством слабо скрываемого отторжения, писатель способен охарактеризовать своего персонажа, а читатель, в свою очередь, по описанию внешнего вида способен угадать не только характер героя, но и роль, отведенную ему в повествовании. Поскольку персонажи, выведенные на этих страницах – от главных до второстепенных – по большей части отрицательные, то и черты их лиц, и очертания их тел – соответствующие: все это мало привлекательные внешне люди; исключения составляют несколько третьестепенных положительных персонажей, как, например, Отто в «Сеансе» или Авиталь в «Ошибке Штока». Примечательно, что отдельных героев отличает наличие «хрипов и храпов», характерного кашля, как бы сви-

детельствующих о преобладании «звериного» начала в индивиде: таков «некто в сером», руководящий «личным досмотром» героя в аэропорту, таков предатель Трегуб в «Месте свúдения», таким, наконец, предстает некогда привлекательный Постум в «Мести Постума»... Автор снова и снова проявляет перед нашими глазами «негатив отрицательного героя» (парафраз В. Аксенова). Зло в повестях Терновского почти всегда побеждает другое зло, и в выигрыше остается не обязательно меньшее из двух. Пожалуй, наиболее ярко Терновскому удается показать поступательную силу зла и эффект домино, который оно вызывает, на примере Андрея Постуна («Месть Постума»), раздавленного обстоятельствами амбициозного молодого человека, постепенно и неуклонно этому злу покоряющемуся, становящемуся его «носителем». Не случайно в повести упоминаются «палочки Коха», указующие не столь на туберкулез, сколь на «бактериологическую природу» зла, на потенциальное заражение им, ведущее к разрушению личности. Зло не только заразительно, оно также способно мутировать: слабость, малодушие, страх зачастую приводят героев Терновского и их противников к худшему – лжи, предательству, убийству...

В целом точнее было бы говорить об антигероях, о «жертвах жертв», как говорится в одной из повестей, потому что на этих страницах мало кому удается вырваться из сложившегося порочного круга. В качестве примера позволю себе самоцитату из отклика на антологию парижских прозаиков «Paris, пари» (USA: Franc-Tireur, 2010), опубликованного в «Новом Журнале» (2010, № 261), в котором среди прочего писала о повести Терновского «Клара Шифф»: «Достаточно ‘русифицированным’ предстает Париж в рассказе Евгения Терновского ‘Клара Шифф’, помимо захватывающей фабулы и подробностей эмигрантских реалий, отмеченном тонкой иронией, выраженной в неожиданном, но вполне закономерном пересечении судеб двух героинь, на поверхностный взгляд не похожих друг на друга, но на поверку предстающих (без)духовными сестрами: зависть, лень, алчность и откровенная пошлость – вот неполный перечень качеств главной героини рассказа; желчь, хамство, бесчестие – черты ее жертвы. Развязка рассказа не привносит ни ощущения столь желаемого баланса, ни, тем более, – иллюзорно-торжествующей справедливости; напротив, под занавес этой мастерски поведанной истории подтверждается старая истина, что зло побеждает зло. И в этом окончательном диагнозе-приговоре – правда рассказа Тернов-ского».

В то время как в отдельно взятой повести многое из вышеперечисленного представляется сильными сторонами произведения, то в общем контексте книги читатель подспудно ожидает спорадического высвобождения какой-нибудь – стилистической ли, сюжетной – пружины из крепкой конструкции. Иными словами, по мере чтения отдельные из упомянутых плюсов невольно оборачиваются минусами, главный из которых – предсказуемость. Все до последнего ружья, искусно развешенные автором, в определенный

момент закономерно выстреливают: если в течение повествования тело героини несколько раз названо «хрупким», то можно не сомневаться, что ближе к развязке оно непременно «сломается»; если герою попадается в руки сборник с красноречивым названием «Конец пути», то можно догадаться, что героя не спасет ни освобождающий бег по холмам, ни омывающий дождь – не будет ни роста, ни взлета, и единственное, чего приходится ожидать, это постепенного и неминуемого падения, краха... И даже захватывающие динамичные сюжетные ходы, в конце концов, вызывают ощущение повторения метода – движения, увы, по хорошо проторенному пути. Похожее робкое чувство «недостачи» возникает и в отношении стилистики – ощущение нехватки поэтической иносказательности, словесной виртуозности, того «европейского лоска слога», о котором говорит Д. Быков в своей лекции о Набокове, той игры с читательской эмоцией, словно каким-нибудь теннисным мячиком – туда-обратно, дабы к концу повествования читатель недоумевал, откуда возникло это неловкое и неодолимое чувство сострадания к отталкивающему и совершенно чуждому ему Гумберту...

В этом смысле – удивления и новизны – повесть Евгения Терновского «Ошибка Штока» представляется определенным прорывом – из устоявшегося и четко озвученного. Если в других повестях мы наблюдаем либо слабые намеки на восстановление баланса, хоть какой-то мало-мальски приемлемой справедливости («Сеанс», «Месть Постума»), либо абсолютное торжество зла («Место свúдения», «Клара Шифф»), то «Ошибка Штока» несколько расшатывает общее состояние беспросветности, само по себе достаточно правдивое и честное, но, к сожалению, ослабленное предсказуемостью развязки. В этом повествовании герой по-своему противостоит злу, и хоть результат этого противостояния не ознаменован победой, сам по себе факт внутренней борьбы с внешними обстоятельствами свидетельствует не только о колеблющемся и неуверенном росте главного персонажа, но и о едва намеченном просвете (последнее, повторюсь, не является обязательным требованием к произведению и в данном случае интересует нас именно как перемена, прорыв). Более того, неожиданность посильного – пусть и не совсем удавшегося – противления Штока подстроенному судьбой (читай: автором) «случаю», позволяет писателю, разрушив собой же созданную «схему», вывести читателя в то «царство неожиданности», которое – по Мандельштаму – опирается на творческую логику. А последняя собственно и определяет замысловатую связь между художественным словом и реальностью.

Ара Мусаян. Капли на стекле. – СПб.: Алетейя. 2016. – 144 с. – Серия «Русское Зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»

«Капли на стекле» – по большей части своеобразный сборник-словарь образов, для составления которого оказывается пригодным все, или почти все, что имеет отношение к той области, в которой лингвистическое накла-

дывается на экзистенциальное: от звукописи до ассоциативного ряда, от первичных до усвоенных поколениями и посему трансформированных значений, от исторического до сугубо личного опыта, важнейшей составной которого является опыт языковой. Примечательно, что первые публикации миниатюр Ары Мусаяна появились в «Новом Журнале» и со временем приобрели форму своеобразного философско-лингвистического дневника, позволяющего рассматривать язык как изнутри, так и «немного со стороны, вслушиваясь в него и загораясь от таинственных побед над ним», как в свое время писал редактор «Аполлона» С. Маковский о Мандельштаме. Переводчик и полиглот, для которого русский не является родным, Мусаян искусно использует преимущества, обусловленные этой условной дистанцией.

Говорение как выдох, молчание как погружение, вдох. Сжатость формы вызывает ощущение некоторой неравномерности (не путать с нервозностью, отрывистостью) дыхания: вдохи кажутся гораздо продолжительней выдохов: «...‘быть’ – это ‘дышать’», – где-то роняет автор. Возможно, авторская приверженность миниатюре основана на предположении, что избыточность высказывания может вызвать пресыщение, поэтому плотность и мощность каждой миниатюры здесь жестко выдержаны. Но возможно и то, что выбор жанра миниатюры продиктован внутренней необходимостью молчания, тишины, полного погружения в бессловесный язык вещей. Придерживаясь метафоры дыхания, отметим, что миниатюры Мусаяна не захватывают дух, что само по себе ни хорошо, ни плохо, а является лишь чертой творческого темперамента и подчинено поставленным писателем целям: «Моя амбиция скромней: просканировать *словесную* толщу, не вторгаясь отныне (с лопатой и ломом в руках!..) в ‘нутро’ – животных, растений, ‘вещей’, абстрактных или более конкретных – *тем*, *материй*, *мистерий*...» Это дыхание-говорение подчинено особому внутреннему ритму: речевые паузы, как и сама речь, строго выверены, и общая замедленность, неспешность текстов акцентирует процесс не в меньшей степени, чем результат. На ум приходят кадры, снятые в режиме покадровой съемки, той, что в научно-популярном кино называют цейтраферной, фиксирующей медленные процессы: рост травы, распускание почки, формообразование кристалла, таяние льда в стакане, выпрастывание бабочки из кокона... Судя по всему, «Капли на стекле» писались медленно (в книгу вошли тексты, написанные за четыре года) и предназначена она для медленного, дозированного чтения – по капле (не случайно это слово вынесено в название). Композиционно книга состоит из восьми неравных частей, представленные в ней экспромты не собраны тематически и не составлены согласно тому или иному художественному приему. Складывается впечатление, что миниатюры записаны по мере их возникновения и в такой последовательности представлены читателю. Исключение составляют начальный и заключительный тексты, предлагающие соответствующие композиции образы – открывающейся двери и итоговой черты под «фрагментарным писанием».

В открывающей книгу миниатюре автор говорит о природе творчества – через словесную, «телесную», материальную оболочку слова – к его смысловому (читай: духовному) наполнению. Творчество как выход (и выдох). «Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела», – писал О. Мандельштам в статье «Слово и культура». Любопытно, что «телесность» рассматриваемого здесь слова «дверь» передана посредством выявления его «двойников» – эквивалентов на армянском, французском и английском, а также производных от него русских слов. В силу созвучия этих эквивалентов создается впечатление, будто текст полон внутренних рифм, в итоге придающих тексту цельности, а рассматриваемому понятию – емкости: «door»/«dehor», «двор»/«створ» – творчество. Мусаян, кажется, следует известному мандельштамовскому постулату о том, что «любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны», – нужно лишь суметь разобрать этот пучок на лучи, на стебли, его составляющие («Разговор о Данте»). И по большой части Мусаяну это удается.

Процесс освоения языковых возможностей – это и процесс самопознания. «Литература – писать на грани самонепонимания», – пишет автор. Удивительным образом язык в этой книге оказывается ближе к жизни, чем пространство и время сами по себе, поскольку и то и другое на этих страницах зачастую абстрагируются от жизни, – здесь мало топографических или эпохальных примет, именно язык оказывается незаменимым «полем присутствия» (М. Мерло-Понти, «Феноменология восприятия»), именно язык (вос)-создает пространственные и временн*ы*е связи и характеристики (посему так важна для автора этимология, сравнительно-историческая лингвистика). Например: «‘Верхом’, но не на лошади, а как – во время школьных каникул (и не обязательно в очках и учитель) – на велосипеде по проселочным дорогам, объезжая бугорки и впадинки, – наедине с самим собой: тенью на обочине и молчаливой машиной-двойником...» Языковой и нажитый опыт здесь взаимообратимы. Должно быть поэтому ассоциативный ряд Мусаяна зачастую намеренно не отмечает, как бы не замечает, а порой и отрицает обобщенные, коллективные и, следовательно, обесцененные многоразовым усвоением смыслы: «Одномерность иных писаний, романами себя величающих: слово за словом – в шеренгу строка за строкой – из копейки сколотится рублик... И вскоре растворяется, теряется, утопает в массе истраченных сил *слово*, откуда, даже если моментами и всплывает, то уже в виде истасканной, никому не нужной ‘информации’» (Мусаян). «Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием», – сетовал Мандельштам в статье «О природе слова». Отсюда – писательский упор на личное, не в житейском (автор далек от исповедальности), а в художественном смысле – упор на право художника давать «вещам» имена. Точнее говоря, перед нами пример

«обратного адамизма», когда писатель не именует «вещи», а рассматривает их «имена» – под своеобразным углом, таким образом приоткрывая новые возможности толкования предмета, раскрытия его сущности. Автор в первую очередь реконструирует не опыт пережитого, а язык, этот опыт освещающий. Мусаян умышленно сторонится интертекстуальности, реминисценций и эквивоков, дабы избежать ощущения вторичности текста. В центре каждого экспромта – авторское предположение о предмете, подкрепленное личными наблюдениями, реже – нарративами, но главное – особым чувством языка, которое не подлежит унификации. Язык – как живой, растущий, развивающийся, меняющийся организм. Язык одновременно и всеобщ и уникален – в силу индивидуальных особенностей его восприятия и использования. Поэтому, перефразируя автора: «Просеивать написанное, пока не появятся *крупинки*...» (курсив автора), – можно утвердить относительно его же манеры письма: «Просеивать прожитое, проговоренное...» Продолжение же аналогии между прожитым и написанным позволит нам рассматривать нарратора не только как художника (создателя текста), но и как творца своего собственного жизненного сюжета. К слову, «феноменология говорения» (по Мерло-Понти) отчасти легло в основу нынче распространенной «лингвистической терапии»: боратынское «врачевание духа» – языком. В этом – особенность художественного письма Мусаяна. Жизнь и есть текст, сложное письмо со своей, уникальной и многосоставной, системой слов, образов, чувств, смыслов и идентичностей.

В своей художественной стратегии Мусаян использует различные приемы и стилистические фигуры: демонтаж и выталкивание слова на его смысловую периферию, метонимия и градация, неологизмы и каламбуры... Номинативное предложение, утверждающее бытийное (экзистенциальное) наличие рассматриваемого предмета или явления, зачастую нарочито обрывается, «повисая» незаконченной фразой, тем самым то ли ставя под вопрос само существование предмета, то ли мысленно, бессловесно договаривая то, что предположительно понятно без пояснений, ведь: «Вся надежда писателя – на читателя. Достаточно ли он тонок для его тонкостей – тогда можно смело продолжать в том же духе, – утончая и *утончая* собственную остроту (в отличие от графита, притупляющегося по мере использования». Словами автора: «в *видении* прослеживается момент *витания*...» Фрагментарность – еще одна стилистическая мета Мусаяна: «Прохожий со свернутой в палку газетой – как с самой верной опорой в жизни»; «Травку подстригающие ножницами кончиков крыльев – *стрижи*»; «Увлечение фотографией на прошлой неделе, угрожающе затмившее интерес к письму» – примеров в книге множество. Частая смена «приема» придает «Каплям на стекле» качество динамичности: поиск созвучий (*естество – искусство*), каламбуры, разбор мифологем, дневниковые записи, афористичные определения, возникающие в точке совпадения визуального с фонетическим или эмоциональным... Вот несколько

примеров последних, на которые книга особенно щедра: «Пол: в себе *половинчатость – неполноценность*»; «*Зеркало*: куда смотрятся в одиночку, тут же составляя себе видимость общества»; «*Потоп* – слово-поплавок, поддерживающееся на поверхности взбушевавшихся вод силой двух симметрично расположенных *пузыреобразных* гласных, защищенных с двух сторон непроницаемыми губными, абсолютно *согласными* перепонками»; «Позолота – слоем ‘золы’ напудренные побрякушки»...

Разумеется, формат рецензии не позволяет нам рассмотреть каждый «лингвистический жест», но в качестве примера хочется упомянуть прием оксюморона – сталкивания созвучных, но различных слов и, следовательно, смыслов. В миниатюрах с таким подходом иногда достаточно *ударного* смещения для смещения *смыслового* (благо, лапидарность формы способствует таким противопоставлениям): так, «консерва́торское» и «консерватóрское» довольно быстро приводит к банальным «консервам»... Подобное лингвистическое «вмешательство» (творчество), базирующееся на парадоксальном смысловом контрасте при побуквенном совпадении, придает миниатюре, исполненной в таком ключе, эмоциональную и даже юмористическую окраску. Любопытно, что подобное сталкивание наблюдается у Мусаяна и на уровне художественного приема. Например, метонимический подход в этих текстах иногда намеренно идет вразрез с ассоциативным: от слова «пробка», вполне, казалось бы, заземленного, бытового и даже тривиального (если вспомнить расхожее «глуп как пробка – куда поставишь, там и торчит»), автор уводит нас в совсем другом, неожиданном направлении – к созвучному «пробовать» – с тем, чтобы в итоге подвести к едва уловимому, практически исчезнувшему, но на мгновение восстановленному – запаху «трюма усопшего судна», иными словами, к духу канувшего.

«Капли на стекле» – сборник не поэзии и не прозы в традиционном смысле, но при этом – и того и другого одновременно, – важно, какой смысл читатель вкладывает в эти определения, поспевает ли за автором в его «игре», в установке на разрывание сложившихся связей и конструирование новых, на уход в другие языки в поиске «родства» и моментальное возвращение – обогащенным: «На армянском: *банагитутьюн* – логика, дословно ‘вещеучение’; поэзия, *банастехцутьюн* – ‘вещетворение’». Аре Мусаяну, намеренному, по его же словам, «расшатать вселенную», удается достичь цели в том смысле, что делает он это медленно, скрупулезно, *пословно*, будто каждое слово и есть ось этой неохватной вселенной.

Евгений Водолазкин. Авиатор. – М.: АСТ. – Редакция Елены Шубиной, 2016. – 410 с.

«Авиатор» Евгения Водолазкина – роман о так называемых мелочах, то есть о тех пустяковых деталях повседневности, которые человек склонен не замечать или, по крайней мере, принимать без глубокого осмысления. Да,

«всесильный Бог деталей» (цитата из Пастернака не случайно мелькает в тексте) присутствует почти на каждой странице «Авиатора». Значимость этого присутствия усугублена еще и тем, что «незначительному» миру «мелочей» противопоставлено «монументальное» историческое, фактологическое знание, всячески сторонящееся субъективности или какой-либо личностной эмоциональной окраски. Ракурс и нажим в романе – не на исторических событиях, знания о которых мы можем почерпнуть из учебников, а на событиях частной, иногда сугубо внутренней жизни отдельно взятого человека. Отсюда – особая концепция времени в «Авиаторе». Время в романе графически представляет собой не неукоснительную прямую истории, а пунктир, с провалами и разрывами, причем время историческое оказывается некоей колеблющейся осью для спиралеобразного «частного» времени. «Авиатор», как и положено настоящему роману, *человекоцентричен*: «Страна – не моя мера, и даже народ – не моя. Хотел сказать: человек – вот мера, но это звучит как *фраза*. Хотя... Разве фразы не бывают истинными – особенно, если они результат жизненного опыта?» История здесь, по большому счету, играет роль так называемого *agent provocateur*, способного вызвать в человеке как чудовищное («человек превращается в скотину невероятно быстро»), так и то, что определяет сущность гуманизма. Главный посыл романа – подчинение духовным категориям, положениям нравственности, которые не должны бы отменить никакие внешние обстоятельства, но о которых в трагические исторические моменты, конечно же, легче всего забыть: «В связи с отцом, думал о природе исторических бедствий – революций там, войн и прочего. Главный их ужас не в стрельбе. И даже не в голоде. Он в том, что освобождаются самые низменные человеческие страсти. То, что в человеке прежде подавлялось законами, выходит наружу. Потому что для многих существуют только внешние законы. А внутренних у них нет». Иннокентий Платонов, главный герой романа, – человек, внутренне растущий, меняющийся и, наконец, обретающий. Мысль о личной ответственности за свои поступки и, соответственно, за чужие (роман снова и снова настаивает на идее цепной реакции, которую порождает зло) – одна из центральных в «Авиаторе». Мотивы посильного противостояния злу, личной ответственности за происходящее и искреннего покаяния в русской прозаической традиции не новы и являются одними из центральных в романе. Неоднократно приведенное в «Авиаторе» словосочетание «ровесник века» применительно к главному герою не просто очерчивает эпоху и возраст Платонова, тем самым обозначая его как живого и все запомнившего свидетеля, но говорит об ответственности героя за время, в котором он жил. Более того, его «пробуждение» отчасти символизирует «воскрешение целого поколения», а преодоление забвения становится целью Платонова, поскольку аннулирование памяти и есть «не жизнь».

Развитие по принципу цепной реакции характерно не только для про-

цесса приумножения зла, тот же принцип положен в основу «воспоминательного» процесса, а это – главный механизм романа. Память представляется не магической шкатулкой, из которой «фокусник» достает следующие одно за другим воспоминания, а постепенным и скрупулезным процессом, подтверждающим идею взаимосвязи всего живого. Не случайно доктор Гейгер, наблюдающий очнувшегося после «глубокой заморозки» пациента, говорит о необходимости сознательного усилия памяти, при этом настаивая на ее посильной защите от внешних стимуляторов; он же говорит о необходимости безболезненного слияния прошлого и настоящего в единый поток, чтобы избежать грубого искажения, подобного тому, что описан в знаковой сцене заколачивания пьяными дворниками смежных комнат: «Двери в две смежные комнаты – слева и справа – были при нас заколочены досками. Бурыми нестрогаными досками поверх изящных дверей ‘модерн’»... Но читатель, разумеется, догадывается, что «красивого скольжения» на встречу с прошлым не будет.

Как это ни парадоксально, процесс припоминания «мелочей» и деталей способствует восстановлению непреложных фактов из биографии героя: смутное видение городского трамвая в сумерках приводит к видению шпиля и реки, что, в конце концов, позволяет Платонову вспомнить родной город, Петербург; запах типографского шрифта, фактура и шелест бумаги старого издания с детства любимого «Робинзона Крузо» помогает герою определить примерную дату своего рождения, в то время как воспоминание о многочасовой зимней очереди за керосином подталкивает к установлению точного возраста Платонова... Итак, перед читателем «история мыслей и ощущений», полагающаяся на зрительное, звуковое, обонятельное и тактильное. Внутренний взгляд Платонова скользит и замедляется, останавливается на чем-то с рациональной точки зрения малосущественном, словно выхватывая из небытия звуки, краски, запахи, жесты, лица и имена, выбирает ракурс, приближает во времени, – и такая динамика подчеркивает созидательную силу человеческой памяти. Примечательно, что счастливые воспоминания героя нарочито отрывочны, и в самой замедленности, неполноте и осторожности усилия памяти есть что-то от страха спугнуть счастье, как, впрочем, и от стремления заполнить образовавшиеся пустоты художественным домыслом, в литературе закономерно обращающимся в факт (похожий подход наблюдается в «Других берегах» В. Набокова, как известно, глубоко исследовавшего связь между вымыслом и реальностью, а также говорившего о тенденции потускнения воспоминания после его облачения в словесную форму). История действительно не знает сослагательного наклонения, но оно знакомо и присуще человеческой памяти и фантазии, а это – то, что лежит в основе искусства художественной литературы. Водолазкин намеренно смещает акценты, пересматривая сами понятия факта, события, истории в целом, подчеркивая важность не общедоступного, а уникального частного знания. В

нематериальном мире запахов, звуков и красок, едва уловимых душевных движений и бессловесной природы оказывается больше подлинной жизни, чем в насыщенной событиями и, выражаясь по-платоновски, озвученной «*фразами*» (читай: клише) реальности. Этот мир малособытиен, как, по словам Водолазкина, должно быть, «несобытиен» рай. Он существует «поверх истории», вне созданного людьми вакуума, – и, собственно, так, «поверх истории», живет проснувшийся после «ледяного сна» Платонов, так, «поверх истории», пишет Водолазкин. Отсюда, из этой попытки отрыва от «земного», – название романа. Учебники и энциклопедии полагаются на «парадигматический» подход к бытию, в то время как художественная литература – на повествовательно-образный. Роман Водолазкина ломает схематичность истории, внутри которой человеческая жизнь неминуемо оказывается упрощенной и обокраденной. Главный герой «Авиатора» временами напоминает то Адама, познающего (вспоминающего) Эдем, то ребенка, предпочитающего снова и снова перечитывать знакомую сказку, чем читать новую, – а сказка, как и поэзия, как и Библия, сложена согласно повествовательно-образному канону... Щелчок выключателя, скрип половицы, движение отцовских рук (как контрасты оказываются жесты гпушника, пытающегося открыть изъятые при обыске карманные часы отца!), звук починяемой мостовой и счищаемого снега, скрип двери на ветру или ее «энергичное хлопанье», запах смолы и костра на лесозаготовках, холод витых перил под ладонью, морская соль на коже, выгоревшие на солнце волосы, мокрый снег в сумерках Петербурга – из этих «событий» соткана жизнь. Платонов закономерно не реагирует на извещение о реабилитации, поскольку человеку, живущему по законам иного мира, нет дела до законов юридических, преходящих: «Человеческие законы можно отменить, а физические, получается, нет». И чуть раньше: «Разве вы не понимаете – это единственное, что стоит упоминания? О словах можно прочитать в учебнике истории, а о звуках – нельзя. Вы знаете, что значит лишиться этих звуков в одночасье?» – спрашивает Платонов. В самой естественности чувственного (читай: одухотворенного) мира, зачастую не подчиняющегося придуманным людьми правилам и конфликтующего с ними, ощутимо присутствие надмирного разума и, следовательно, скрытого смысла... Логично предположить, что далеко не всех удовлетворит такой взгляд на положение вещей, и, в целом, вопросов в книге больше, чем ответов. К тому же, отдельные из предлагаемых ответов далеко не бесспорны, как, например, мотив несоразмерности вины и наказания или тема конфликта между «общей» ответственностью и «частной» виной, проще говоря, вопрос существования наказания без вины (трагическая участь отцов Анастасии и Иннокентия указывают на относительность правоты Платонова). Однако автор не претендует на бесспорность и незыблемость своих выводов, он настаивает как раз на том, что идеи, изложенные на страницах романа, – не абсолютная истина, а частное – тем и ценное – мнение.

«Обо всем уже сказано. К счастью, не обо всем подумано», – писал С. Ежи Лец; «Слова должны идти на описание жизни. На выражение того, что еще не выражено», – записывает в дневнике Платонов. Роман Водолазкина подчеркнуто интертекстуален, и частые скрытые или явные отсылки в романе тоже являются своего рода звеньями одной цепи. Не углубляясь в очевидные пересечения с классикой (в частности, с идеями Толстого, Достоевского, Пруста), отмечу несколько менее очевидных. Например, с «Книгой пророка Даниила», тоже двухчастной по форме, первую часть которой можно назвать жизнеописательной, а вторую апокалиптической, то есть той, в которой озвучено обещание воскрешения мертвых «для участия во благах спасения». Нет, в «Авиаторе» нет пророчеств, но обещанное в «Книге Даниила» воскрешение из мертвых отчасти сбывается на этих страницах, ведь Платонов, по его же определению, «пишет проект грядущего всеобщего восстановления мира». В платоновском дневнике «воскресают» Добросклонов и Остапчук, третьестепенные, казалось бы, герои, но эта незначительность ошибочна – автор снова и снова ратифицирует идею значимости каждой отдельно взятой личности; и вопреки читательскому подспудному желанию восстановления относительной справедливости спустя годы оказывается в живых садист Воронин, доживший до преклонных лет, но так и не доживший до покаяния. Иными словами, такое нетипичное разрешение проблемы освободительной функции страдания и покаяния свидетельствует прежде всего о внутренней несвободе Воронина, о продолжительности его бесчестья. Эти и другие детали отсылают нас к одному из последних видений Даниила: «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. [...] И отвечал он: ‘Иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют’» (глава 12). К «Книге пророка Даниила» автор обращается неоднократно: не случайно и сравнение Зарецкого с Валтасаром, и важное для героя Водолазкина ощущение «полноты знаний» (сцена с застигнутыми грозой детьми), связанное у Даниила со скорым приходом антихриста, и многажды приведенные в романе слова Добросклонова: «Иди бестрепетно!» – звучащие эхом обращенного к пророку Божьего гласа: «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Любопытно и то, что роман американца Джефри Абрамса «Оставшееся от Даниила» (Jeffrey Abrams, «The Rest of Daniel») о летчике, подвергшемся «глубокой заморозке», тоже отчасти пересекается с книгой одноименного пророка.

Если же продолжить разговор об интертекстуальности «Авиатора», то несомненно вспоминаются «Другие берега» В. Набокова, в которых прошлое становится точкой фокусировки повествователя из будущего. Набоковские воспоминания озарены светом счастливого детства и утверждают существо-

вание личности не в определенном временном отрезке, а в вечности, – связанные с периодом счастливого детства сцены в «Авиаторе» отчетливо перекликаются с набоковскими. Например, в сцене прогулки с родителями, где упор – у обоих, Водолазкина и Набокова, – ставится на присутствие элементов строгой локальности, симметрии и общей гармонии: «Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей, – длинную, прямую, обсаженную дубками, – прорезавших ‘новую’ часть огромного парка в нашем петербургском имении...» (Набоков); «Ах, да – гармония. Строгость. Вот мы с отцом и матерью – я в центре, они по бокам, держат меня за руки, идем по Театральной улице от Фонтанки к Александринскому театру, прямо посередине улицы. Сами – воплощение симметрии, если угодно – гармонии» (Водолазкин). Счастливые воспоминания, по мнению Платонова, более живучи – память склонна отсеивать плохое. Не обязательно соглашаясь с мнением героя, можно утвердить, что счастливые воспоминания служат надежным и подчас единственным тылом, куда можно «уйти» в трагические моменты жизни. Собственно, память о добре отчасти выполняет функцию уравновешивания между миром внешним и внутренним, между силами добра и зла.

Но, пожалуй, наиболее четкая текстовая диалогичность обнаруживается между «Авиатором» и «Робинзоном Крузо» Даниеля Дефо. Роман Дефо – любимая книга героя, именно с нее начинается «пробуждение», с ней связаны первые попытки самоидентификации. Примечательно, что, размышляя о Робинзоне, Платонов видит его не как смельчака, сражающегося со стихией и пиратами, а как обычного человека, оказавшегося в экстремальных условиях и совмещающего в себе как достоинства, так и пороки. Робинзон глазами Платонова – это, прежде всего, строитель, труженик, созидатель. Книжное воспоминание – о Робинзоне, о его укладе на острове, о предметном мире, им же кропотливо собранном, – органично подводит Платонова к воспоминанию личному, тоже держащемуся тонкой всесвязующей нити. Воспоминания (и текст романа) «движутся» от плота Робинзона к мельничной плотине на реке Оредеж, от плотницких инструментов Крузо к мастерку сиверского печника, от парусины и канатов вынужденного отшельника к гамаку, раскачивающему девочку, в которую влюблен юный герой... Проще говоря, от труда – к любви, ибо все – и любовь, и память, и вера – есть труд, всё подпитано человеческой жаждой созидания. «*Воскресенье*. Стоит храм, а службы нет. И колокола оплавленные лежат – упали с перегоревших балок. Посередине большой колокол с глубокой трещиной. <...> И думаешь: сегодня, значит, воскресный день, жалко, что нет службы, и про себя читаешь ‘Отче наш’» – дневниковые записи Платонова лишены дат, но дни недели в них намеренно сохранены, и это тоже связывает «Авиатора» с «Робинзоном Крузо», ведь существенным из оснований для Робинзоновых зарубок была

важность отметки воскресенья, Воскресения Господня, дня церковной мессы. Дни недели исчезают только к концу «Авиатора», и с их исчезновением уходит ощущение замкнутости, цикличности времени; именно тогда три голоса главных героев – Платонова, Гейгера и Насти – сливаются в единый полнозвучный поток.

И, наконец, отмечу определенные переклички «Авиатора» с «Письмовником» Михаила Шишкина. Эти романы пересекаются и приемом (дневники/письма), и трактовкой соотношения общего и частного, и лейтмотивом продолжительности, если можно так выразиться, *продленности* человеческой жизни в истории: время движется неостановимо, зачастую сокрушая и подминая под себя, а герой (у Шишкина – герои) существует (-ют) в нескольких эпохах, поколениях; исторические события калечат и убивают, а человек вопреки всему выживает, продолжая меняться, расти и, не в последнюю очередь, любить. Пересечений много, вплоть до перекличек (Водолазкин: «Все на свете когда-то уже было»; Шишкин: «Все на свете зарифмовано со всем на свете»), хотя в целом не беспристрастный и местами лиричный стиль Водолазкина нарочито переменчив и кое-где заземлен. Такая стилистическая стушеванность намеренна: автор приводит шаламовскую мысль о том, что лагерный опыт находится за пределами человеческого (читай: нормального, естественного) опыта и потому не поддается слову. Но, как и Шаламов, герой Водолазкина находит силы, «чтобы описать неописуемое», и делает это с чувством меры, выверенными дозами, предельно честно и при этом сжато – не потому, что щадит читателя, а потому, что «слова рассыпаются в прах: они никак не складываются в людей».

Роман Водолазкина временами действительно кажется зарифмованным – разумеется, не в смысле поэтической техники, а в смысле двоящихся и иногда троящихся фигур, зеркальных отражений, парных образов. Начнем с того, что полное имя главного героя романа само по себе намекает на зеркальность: его фамилия, судя по всему, отсылает к платоновскому постулату о двойственности человеческой природы, по мере же развития сюжета оказывается, что его имя, Иннокентий, знаменует не столь «невиновность», сколь «вину» (обратная зеркальность, подчеркивающая изнанку образов, – важный и частый прием в книге). Таким образом, двойниками Платонова предстают не только пытающийся выжить Робинзон, или воскресший библейский Лазарь, или познающий мир Адам, с почти детским наслаждением выговаривающий отдельные слова, пленяющие своим звучанием («Оредеж», «Алушта», «авиатор»; или слова из нашей современности, обычно выведенные курсивом, дабы обозначить старательность произношения: «*контейнер*», «*медийное пространство*», «*ньюсмейкер*»), но и, к нашему удивлению, отрицательные герои романа. Платонов указывает как на «единение» палача с жертвой (то с тихим, никем не любимым стукачом Зарецким, похожим на своего однофамильца из «Евгения Онегина» уменьем «тайно обесславить», то с живым

мертвецом, чекистом Ворониным), так и на личную вину, медленно проступающую в процессе воспоминания и осмысления прошлого (убийство Платоновым Зарецкого).

Собственно прием зеркальности позволяет Водолазкину создать эффект то «цепной реакции», то «круговой поруки», то тесного и необязательно антагонистичного переплетения судеб, предметов и явлений. Его образы-рифмы иногда спарены согласно принципу тождественности, иногда же, напротив, по принципу отталкивания. Так, рифмуются стукачи и предатели, человек-червь Зарецкий и человек-гриб Аверьянов; острова – Петербург, необитаемый остров Робинзона, Соловки и остров человеческого одиночества «среди моря чужой жизни»; человек-труп, бездушный надзиратель Воронин, похожий на распластанного на скамье лагерной парилки мертвеца, а позже уставший от долгой жизни, которая со временем обрела форму тягостного наказания, и уже разлагающийся, живой труп (без кавычек, буквально), заключенный Сафьяновский, неожиданно протягивающий руку из общего могильного ящика; нищие у кладбищенских ворот – те же, в любую эпоху; лагерный «запах отчаяния» и запах детства, природы, любимой женщины; пьяный и ничтожный начальник лагеря Ногтев и вызывающий у него необоримое чувство зависти генерал Миллер, застреленный Ногтевым в упор при первом же столкновении лицом к лицу; почти эфемерная Мещерякова, насилуемая озверевшим Ворониным; руки матери «в ниточках вен» и, спустя годы, точно такие же руки самого Платонова; «возвышенная» Анастасия и «земная» Настя; Дзержинский и «большая крыса»; фигура Сталина как «инструмента самоубийства», вроде «веревки или бритвы» (тут – явная перекличка с толстовским утверждением о «коллективной воле»), и статуя богини правосудия Фемиды с отломанными весами, послужившая орудием убийства Зарецкого... Рифма-антитеза не только придает общему полотну свойство динамики, но, и это главное, увеличивает контрастность создаваемого полотна, которая, вызывая резкую боль в глазах, проступает в следующих друг за другом эпизодах из лагерной и свободной жизни. Жесткий контраст между адом и Раем (у Водолазкина – зачастую с заглавной) предумышлен, ибо: «Опасность обостряет восприятие красоты». Так, переживший убийственную переправу на Соловки герой замечает холодное сияние северного моря; при восхождении на холм по пути к штрафизолятору, откуда живым мало кто возвращался (воистину библейская сцена, заканчивающаяся образом распятия в «фонаре»), он отмечает красоту открывшегося его взгляду простора; он успевает обернуться и посмотреть на сопровождавших его конвоиров взглядом ребенка, приведенного в приют «родными», – с тем, чтобы уже через несколько минут стоять, в одних кальсонах, босиком на цементном полу штрафизолятора; после кафкианской сцены прогона больных заключенных – распаренных и обнаженных, в метель, за две версты – следует эпизод из детства о сиверском пляже с экзотическим названием «Жаркие страны»...

Эти и другие композиционно спаянные эпизоды, безусловно, приводят к мысли о «полноте знания», однако знания, обретенного не столь в силу трагизма пережитого, сколь благодаря удивительному дару осмысленного созерцания: «Вообще же, мудрость – это, прежде всего, опыт. Осмысленный опыт, конечно. Если осмысления нет, то все полученные синяки бесполезны».

С одной стороны, Водолазкин предлагает нам открытый финал: мы можем только догадываться, погибает ли в авиакатастрофе его главный герой (хотя утвердительный ответ здесь более уместен, если учесть трагический конец авиатора Фролова, с которым связаны важные воспоминания детства Платонова, а также стихи Блока, несколько раз приведенные в романе). С другой стороны, у такой книги не может, не должно быть четкого, определенного конца. Выстроенное во второй части романа многоголосие, слияние трех голосов в единый поток, подталкивает к идее продолжения и неостановимости жизни. В таком подходе к послесмертию Водолазкин, конечно же, не одинок; похожая идея о том, что человек жив, пока жива память о нем, пока ощутимы результаты его деяний, была многажды озвучена в русской литературе (в качестве примера ограничимся упоминанием «Доктора Живаго»), однако автор «Авиатора» умышленно несколько смещает нажим, акцентируя важность воспоминаний не только для будущего, но и для настоящего. Влияние убеждений Платонова с особой очевидностью демонстрируется посредством описания постепенного роста Насти, ее метаморфозы из прагматичной, тщеславной, временами даже циничной женщины – в глубокую и одухотворенную личность. Это и есть одно из важных «деяний» Платонова. Жизненный круг главного героя замыкается, но этот круг – часть общей спирали. Неспроста голоса Гейгера и Насти, соавторов платоновского дневника, «помощников для прорисовки фона», постепенно крепнут, каждый – готовясь к тому, чтобы стать первым голосом и заговорить свободно, при этом органично вливаясь в общее звучание хора. Первое после «пробуждения» и последнее прижизненное воспоминания Платонова соединяются в финале романа, отсылая нас к одной и той же сцене из детства: простуда, бабушкины руки, «Робинзон Крузо»... Такое своеобычное преодоление времени памятью говорит о попрании смерти, этим временем обусловленной.

«Авиатор» – роман и о силе слова, устного и письменного, приватного и художественно преображенного. «Так вот о главном. Ведь это только на первый взгляд кажется, что Ватерлоо и умиротворенная беседа несравнимы, потому что Ватерлоо – это мировая история, а беседа вроде как нет. Но беседа – это событие личной истории, для которой мировая – всего лишь небольшая часть, прелюдия, что ли. Понятно, что при таких обстоятельствах Ватерлоо забудется, в то время как хорошая беседа – никогда», – пишет Платонов в дневнике. В такой расстановке ударений проступает и мысль о роли литературы – искусства зафиксированного слова: «...слова исчезают последними, особенно – записанные» (вспомним слова Иисуса о «Книге про-

рока Даниила»: «...читающий да разумеет»). Здесь снова слышится лейтмотив «единства вины и ответственности», на сей раз – не частного человека, а писателя. «Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности», – писал М. Бахтин в «Искусстве и ответственности». Пронизывающим чувством ответственности за сохранение и осмысление внешней и внутренней, частной и природной, иногда беззащитной в своей бессловесности «естественной» жизни, а также за бережное накопление и кропотливое письменное восстановление ее «событий», ведом автор «Авиатора». Не случайно ближе к концу романа главный герой вспоминает слова, выгравированные на гербе Шереметьевых: «Бог сохраняет все», – примерно тем же занят писатель, поэт, художник, или, пользуясь определением Водолазкина, «жизнеописатель». Видится более чем уместным закончить настоящий отклик стихотворением И. Бродского «На столетие Анны Ахматовой», поскольку эти стихи чрезвычайно точно «рифмуются» с романом Евгения Водолазкина «Авиатор»:

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос –
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

Марина Гарбер, Лас-Вегас

Валентина Синкевич. При свете лампы. Стихи разных лет. Серия «Современная литература Зарубежья», – Нью-Йорк: The New Review Publishing, 2016, –136 с.

Эту книжку, выпущенную «Новым Журналом» к юбилею Валентины Алексеевны Синкевич, открывает вступительное «Слово о друге» прекрасного художника, эссеиста Сергея Львовича Голлербаха, который кратко, но ёмко, не упуская главной сути, прослеживает жизненный путь автора, а в заключение с поразительной точностью утверждает, «что для творческих людей важен не календарный, а метафизический возраст. По этому счету

Валентина Алексеевна по-прежнему молода». И мне хочется к этому добавить, что возраст ни на каплю не исказил удивительную красоту этой замечательной женщины. За эссе Сергея Львовича следует глубокая и содержательная статья «На стыке двух культур» Игоря Михалевича-Каплана, повествующая о подвижничестве, жизненном и творческом пути Валентины Алексеевны Синкевич.

Не могу не выразить благодарность судьбе за знакомство и, смею надеяться, за дружбу с прекрасным человеком, автором этой новой, во многом итоговой книги стихов, которые трогают душу и о которых я попытался ниже высказать свое скромное мнение.

«...Через мое же сердце прошла великая трещина мира» – эта гейневская метафора точно отражает драматическую судьбу поэта Валентины Синкевич. В ее новую книгу вошли как избранные стихи разных лет, так и недавно написанные стихи-посвящения друзьям. На обложке – реплика прекрасного портрета Валентины Алексеевны работы художника Владимира Шаталова, в конце книги – памятные фотографии.

В этой книге нет «придуманных» стихов. Все они выстраданы, как результат пережитого, перечувствованного. Они отражают беспощадную правду прожитой ею жизни. Стихи родились не только вопреки всем тяготам, всей тяжести прожитых лет, но, как это ни парадоксально, благодаря им. В этих стихах нет пафоса, нет ярких героев. Краски их скромны, но богатство содержания, насыщенность чувствами и мыслями придает им особую драматическую окраску. Эти стихи оригинальны и по форме, и по содержанию. Их не спутаешь с другими. Они рождены удивительно светлым, умным и высоко порядочным человеком, за плечами которого девяностолетняя жизнь, изломанная рабством принудительного труда в Германии, потерей близких и друзей, но не только не сломившая дух, а пробудившая силу воли, творческий дар и потребность делиться своей добротой.

Пора принять нам свой жребий
И честно с собой говорить.
Тоска? Что бывает нелепей?
Не лучше ль покорно поплыть
К единственной видимой цели:
К перу и бумаге в столе.
Когда-то нас вспомнят: мы пели
На этой красивой и страшной земле.

Здесь языком поэзии точно передан драматизм жизни и судьбы, призвание поэта петь честно и трагедию, и красоту этой земли. И признание Валентины Алексеевны в том, что она и ее друзья-поэты и художники из поколения «ди-пи», которых «...на тысячу верст разметала судьба» и «одари-

ла случайными странами», но которые «...требовали очень многого: от работы в поте до высочайших тем, и вот пустеет наше неуютное логово...» – суровая правда. И поэт обращается к следующим поколениям с более благополучной судьбой: «Но будьте благодарны тем, писавшими чернилами, красками. / Плакали, днями работали, / а к звездам шли по ночам...», при этом поразительно справедливо, ёмко и точно характеризует свое уходящее «с земли» поколение, которое узнаваемо «...по смертельно усталым глазам...»

И нет никакого парадокса в том, что, несмотря на все трудности быта, на отсутствие рядом близких и друзей, Валентина Алексеевна воспринимает с благодарностью, как великую щедрость судьбы, как бесценный дар не только данный ей талант писать стихи, но и «весь мой привычный неуют» – «кирпичную стену, балкон, собаку» и «ветер, гладящий по щеке»:

Какому знаку Зодиака
быть благодарной? К чьей руке
припасть за щедрость этого подарка?

Как свидетельства уникального поэтического дара, по многим стихам этой книги рассыпаны настоящие поэтические находки. Вот некоторые из множества: «В доме снимают пальто и усталость, отдают их серому дню, от которого ничего не осталось, электрическому вечеру и огню...»; «Уходит город в пыльной одежде...» («Телефон»), «Молча смотрит в глаза мои суровое детство...» («Сядем, память моя, и за стол, и за чай...), «Это стадо деревьев идет в небосклон...» («Осеннее»); «Весь вечер деревья знобило и било кусты в лихорадке...» («Как это было»); «Где ты ходишь, память упрямая, хоть на цепь тебя посади...» («Сергею Голлербаху»). И это цитирование можно долго продолжать.

Характерная особенность Валентины Алексеевны – любовь к книгам. Редкие минуты, свободные от работы и быта, она отдает чтению книг и «собиранию по зернышку» стихов. Книги с детства были читаемы и любимы ею, в ее стихах часто встречаешь упоминания о них как о друзьях, как о духовной пище, без которой жизнь – бедна и убога: «Стол накрыт богатым яством книг»; «И ничего я не встречала выше тех книжных зим, проложенных в судьбу» («Матери и отцу»); «Встать, с книгой сесть удобно» («К выходу на пенсию»); «Много дней сижу я над книгами... читая чужие стихи, бормоча слова...» («В тесном доме моем лампа горит ночами...»); «...В тесном доме моем книги, когда никуда не деться, когда светит солнце, а будто бы разыгралась гроза...»; «Вот книги, они со мною от самого детства...» («При свете лампы»); «Книги берешь, как сокровище в руки...» («Книги»).

И еще об одном таланте поэта. Как друг, как редактор выпусков альманахов «Перекрестки» и «Встречи», как литературный критик, Валентина Алексеевна более чем серьезно и трогательно относилась и относится к эпи-

столярному жанру – необходимому средству человеческого общения с авторами, с друзьями, с незнакомыми людьми. И здесь очевидны ее душевные качества – врожденная интеллигентность и редкая доброжелательность:

Может, в этом есть что-то странное:
Письма пишу в разные страны я,
разным людям пишу я разное
И письма их ко мне праздную...

Редчайшее качество – праздновать чужие письма, в которых, хотя «они не поэтовы», для нее «житейское варево, будто на небе великое зарево...», вдохновляющее ее, дающее ощущение общности с современниками – «вместе плывем»... И это все живые, почтовые, а не электронные письма! И это не анахронизм в наш компьютерный век, это – знак уважения к адресату.

Щедрость души Валентины Алексеевны очевидна в стихах, посвященных друзьям и собранным в заключительном разделе книги. Каждый, кому она адресовала свои стихи, благодарен ей и почитает за высокую честь быть знакомым и дружить с этим необыкновенно светлым человеком, поэтом, как говорится, Божьей милостью.

Рудольф Фурман

* * *

Много ли вы знаете примеров из настоящего времени, когда поэты, коллеги по цеху, на свои средства издали сборник одного из них? Много ли вы знаете примеров, когда журнал возглавил подобную инициативу? Что-то не припоминаю. Поэтому приятным и великодушным сюрпризом явилось не только для поэта, но и для всех, как ранее говаривали, «людей доброй воли», издание стихотворного сборника Валентины Синкевич «Новым Журналом», давно и плодотворно сотрудничавшим с матриархом эмигрантской поэзии.

И еще. Мало кто из поэтов эмиграции, какую из волн ни возьми, пользуется таким уважением и вызывает столь теплые чувства у собратьев по перу. Что греха таить: доброе отношение поэтов друг к другу – редкое явление, как, впрочем, во всех сферах искусства, где зависть, соперничество, политические взгляды, да и просто разные эстетические платформы застят глаза творческим натурам и не позволяют с открытым сердцем увидеть и оценить создания сотоварища. Но Валентина Синкевич и тут исключение! Поэты самого разного толка, склада, темперамента, от традиционалистов до постмодернистов и иже с ними, сходятся в теплом и добром отношении к Валентине Алексеевне, к ее творчеству и к ее заслугам. И дело тут не только в том, что долгие годы Валентина Синкевич издавала альманах «Встречи», уважительно и беспристрастно предоставляя страницы сборника всем, в кого верила, в ком видела искру таланта, знаменитостям и малоизвестным поэтам.

Много дней сижу я над книгами,
читая чужие стихи, бормоча чужие слова.
Мне бы справиться с ними – крылами, веригами,
играми в жизнь, покуда она у поэтов жива.
«*Много дней сижу я над книгами*»...

Тайна кроется, как мне видится, в самом характере автора нового сборника: ее доброжелательном отношении к людям, отсутствии претензий на особое место на Олимпе. Она чужда суетности, гламура, дешевой дипломатии и интриганства, словом, налицо честная позиция поэтессы, верной себе и этим уже являющейся уникальной.

Но вернемся к книге. Юбилейно-торжественный характер сборника сквозит в «Слове о друге» Сергея Голлербаха, в предисловии Игоря Михалевича-Каплана, где он подробно пишет об отличительных чертах поэтики В. Синкевич.

Необычен и раздел, собранный целиком из стихов, посвященных друзьям: поэтам, писателям, художникам... Друзья разных поколений и эпох: Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Владимир Шаталов, Марина Адамович, Елена Дубровина, Евгений Евтушенко, Раиса Резник, Ирина Чайковская и пр. пр. Замыкает книгу своеобразная фотовыставка дружеских фотографий, история русской поэтической эмиграции в миниатюре, где можно лицезреть литераторов второй волны русской эмиграции, включая поэтов Ивана Елагина и Ольгу Анстей, главного редактора «Нового русского слова» знаменитого Андрея Седых, фотографии альманаха «Встречи» и многих иных, хранимых «памятью сердца». Замечательный графический портрет Валентины Синкевич работы Владимира Шаталова на обложке сборника – память о любви, связывавшей эти две талантливые творческие личности.

Эмигранты, приехавшие в Америку, бросаются в бой за достижением «американской мечты». На фоне оголтелого прагматизма странным представляется удел тех, кто продолжает писать стихи на русском языке в англоязычной среде и, превышая всякую меру непрактичности, еще и возится со стихами других, публикуя их в толстых альманахах. По словам самой Валентины Алексеевны,

Плакали,
    днями работали,
                а к звездам шли по ночам.
Что вы скажете нам, спокойные знахари?
Нас узнаете ль по смертельно усталым глазам?
«Да, мы требовали...»

Муза Валентины Синкевич связана с русской культурой не только языком, но и кругом образов, тематически. Холмы Калифорнии для нее горят

«золотыми насквозь соборами» (Стихи из цикла «Сентябрь в Калифорнии»)... А то В. Синкевич задается вопросом, о чем писал бы Гумилев в Нью-Йорке, и приходит к выводу, что он «пел бы Запад – солнечный, дикий, / каньонов драконьи хребты, / и стрелу, пущенную рукою / смелой, и злые глаза...»

Память о России пронизывает стихи Синкевич, она для нее драгоценна, как часть ее жизни:

И грачи уже прилетели в грустные твои рощицы,
оседают росы на листья и на траву...
Сколько раз я беру заморские свои ножницы,
вырезаю из памяти картинки, комкаю их и рву.

И все равно жду тебя из дальнего твоего селения,
и письма твои, как драгоценности, берегу.
Подбегаю к вокзалу, не сумев унять сердцебиение,
иностранные свои строчки бормоча на бегу.

Из цикла «Стихи о России»

Или:

И я зыбываю звук иностранной речи
и, срывая голос, кричу какую-то дикую строку,
в которой кони, костры, отголоски Запорожской Сечи...
И до следующего Дня Владимира слово каждое берегу.

«День Святого Владимира на ферме РОВА»

И все же в поэзии Валентины Синкевич чувствуется ее укорененность в здешней, американской почве. Бесхитростно и открыто:

Я люблю Америку – очень давно уж мою.
Отдала ей много драгоценного времени.
Песни нежные на родном до сих пор ей пою
я – из другого края и племени.

«*В Америке*»

К сожалению, в сборник не вошли некоторые стихи о Филадельфии, Нью-Йорке, Дне Независимости и Дне Благодарения, очень американские по тематике и по кругу образов. Америка присутствует в стихах Валентины Алексеевны не только тематически. Замечено не мной одной, что муза Валентины Синкевич испытала на себе влияние американской поэзии. Отсюда – нередко меняющийся размер и схема рифмовки даже в пределах одного стихотворения:

...спокойно мой русский язык
К иностранному звуку привык,

К иностранному уху приник –
Но шепчет все о своем...
«*Лампа горит*»

«Своего» у Валентины Синкевич много. Она поэтически осваивает то в мире, что ее трогает, восторгает, заставляет любоваться, будь то оперные арии в исполнении Хворостовского, Нетребко, Паваротти, экзотический танец черкеса с кинжалом в зубах («Пение», «Танец», «Лучиано Паваротти»), волшебство театра («Греческая актриса»), стихотворение («Памяти Бориса Рыжего») либо простой натюрморт с яблоком («Натюрморт»). Поэзия Валентины Синкевич чутка к изобразительным красотам, исходят ли они от природы или от кисти Мастера, идет ли речь о городском пейзаже или о портрете, созданном великим Леонардо.

Самые лучшие стихи Валентины Синкевич исповедальны... Стихотворение «Свеча», посвященное Елене Дубровиной, – одно из самых сильных, на мой взгляд. Это стихотворение-заклинание, мольба защитить и сберечь дорогого друга и замечательного поэта Ивана Елагина, проходящего курс лечения от рака в том Институте, где работала Дубровина. Оно наводит на мысль о древних корнях поэзии: шаманство, магический ритуал, молитва божествам, за которыми вечное человеческое стремление повлиять на ход событий и судеб:

Защити свечу,
защити от ветра,
пусть не горит так ярко,
пусть ее – будто нету,
нам не надо, не надо
так много света –
защити ее,
защити от ветра.

Или глубокое, трагическое стихотворение, посвященное памяти Ивана Елагина: «Но я не согласна...» Сознание борется с мыслью о смерти, через все стихотворение рефреном проходит строка «но я не согласна».

Но самое мое любимое – стихотворение «При свете лампы», давшее название сборнику. В нем и отсылка к детству, и разговор с любимым человеком, и весь привычный мир дома поэтессы, где ночами шепчутся картины, фамильные образа, любимые книги, домашние питомцы, война, судьба. Воспоминания и страхи, сны и реальность. Всего восемь строф, вмещающих судьбу.

Лампа еще горит, но осень уже посетила мое тело,
и листья падают и на деревьях не горят.

А в тесном доме моем, когда лампа над книгой горела,
я прислушиваюсь – что твои мысли мне говорят.
.....

В тесном доме моем находят приют звери и люди,
книги с твоими картинами знают неведомую нам ворожбу.
Пусть говорят твои мысли, что в будущем ничего не будет.
Все справедливо. И благословляю свою судьбу.

Лампа горит, женщина пишет при свете лампы... Этот образ встречается в стихах Валентины Синкевич опять и опять. Для нас – возможность, позволяющая увидеть, как творятся стихи. Строгая лампа без абажура. Что приходит на ум? Простота, граничащая с аскетизмом. Пристальность взгляда, желание видеть мир как он есть, без прикрас. Накал, который может и обжечь. Любовь к теплу и свету...

Лиана Алавердова

Вадим Фадин. Пейзаж в окне напротив. – М.: «Время». 2016.

Писать отзыв на повесть, на роман – вообще на крупную цельную вещь – легче, нежели на сборник небольших произведений, к тому ж еще и сочиненных не за один присест, а в течение трех десятилетий (первый из рассказов, включенных в книгу берлинского писателя Вадима Фадина «Пейзаж в окне напротив», написан еще в 1988 году) – много ль в них найдется общего? Трудность еще и в неопределенности жанра каждого из... Автор и сам затруднялся с этим: то, что заключено под общей обложкой, – еще не эссе, но многое – уже не рассказы. Но не очерки же! Цикл «Автопортреты», например, начинается нарочито простой по сюжету новеллой, однако последующие части менее конкретны и отражают разнообразные размышления, не оставлявшие писателя во время его перемещений по свету: разные по темам, они так искусно сплетены между собою, что не только не выбросишь из ряда никакое, но и не сумеешь поменять их местами.

Я начал разговор о книге Фадина с последней в ней вещи, наиболее реалистичной, все же остальные истории отличны, как выразился в послесловии к сборнику критик Александр Люсый, «привкусом абсурда». Это и эвакуация из столицы незнамо куда государственных людей – в поезде, остающемся в тупике («Обстоятельства места и времени»), и столь же небывалый исход мирного населения из центра в глухомань («Ночная жизнь Китежа»), и печальная участь жителя, задумавшего завести в своем городе вольный Гайдар-парк на манер Гайд-парка – иноземного («Эффект отсутствия»), и убогие похождения в пригороде некоего организма, не отягощенного ни умом, ни просвещеньем («Девушка в витрине»).

Теперь, кажется, можно задуматься над вопросом, заданным в начале

рецензии: что, кроме имени автора, объединяет произведения сборника? Бросается в глаза вот что: персонажи Фадина одиноки, а в большинстве – еще и оторваны от дома (быть может, их дом найдется как раз в каком-нибудь окне напротив?). Лишь в «Автопортретах», естественно потребовавших изложения от первого лица, уединение автора скрашивает... муза, поспевающая за ним в Ригу, в Берлин, в Нью-Йорк…

Да, муза Вадима Фадина оказывалась рядом с ним везде, где бы он ни задержался, – верная, единственная спутница; общее у них – место рождения: Россия, Москва. Вот Фадин и остался очень русским писателем. Я, кажется, приводил где-то цитату из Горация: «Небо, а не душу меняют те, кто бежит за море». Ни душу, ни язык...

Не так далеко ушло время, когда эмигрантов из Союза пропускали через границу нищими, отбирая деньги, драгоценности, рукописи; но никто из бдительных стражей не догадывался, что самую большую ценность у писателя отобрать невозможно: что он увезет с собою родную речь.

Позже, однако, возникала новая проблема – сохранения этого сокровища. О том, возможно ли это на чужой земле, Вадим Фадин писал в канадском *Toronto Slavic Quarterly* в 2005 году. Я полемизировал с ним в «Новом Журнале» – впрочем, мы говорили разными голосами об одном.

Как теперь видно, это свое богатство Фадин сохранил: откройте «Пейзаж в окне...» на любой странице, и вы почувствуете, как тщательно писатель выбирал слова и строил фразы, пока не добился, по пушкинскому выражению, гармонической точности.

Увы, такую точность не всегда можно сохранить при переводах на другие языки. Это общеизвестно, но все-таки... Например, недавно возникли трудности с адекватным переводом на французский названия рассказа из этого сборника – «Похороны меня».

Хотя Фадин и дышит другим воздухом, незнакомое небо не волнует его так, как родное. Где-то оно, конечно, присутствует как фон, однако Фадин все равно всегда пишет о своем доме (память о котором – еще одна ценность, скрытая от таможенников). Он совсем не спешит сделать новую, «заграничную» действительность материалом для очередной повести или романа, ведь настоящая литература всегда живет вчерашним днем, который работою памяти преображается в настоящее настоящее; та же, что питается непосредственными впечатлениями, заведомо недоброкачественна.

Поэтому он и пишет автопортреты – свои, но других людей. Казалось бы – ничего удивительного, в конце концов, каждый писатель невольно пишет автопортрет – иначе его сочли бы журналистом. Но Фадина интересует не только он сам в зеркале, не только его собственное отражение на предметах окружающего мира, а и, даже прежде всего, отражения этих окружающих предметов в нем самом. Недаром в предыдущей книге, названной «Обстоятельства двойной жизни» и вызывающей напрасные подозрения в автобио-

графичности, Фадин оговаривается: по этой книге его биографию не составить, главное же состоит в том, что все упомянутые обстоятельства сформировали его психику, черты и стиль. То же можно отнести и к «Автопортретам»: модель у художника остается одной и той же, но зато всегда меняются освещение, околичности и антураж. Меняются зеркала, так что портреты, сделанные в разных местах и в разные времена, вовсе не повторяют одни и те же черты автора.

Прочтя сборник Фадина, я бы назвал автора мастером короткой прозы, но знаю, как он, романист, возразит, скажет, что пишет одни крупные вещи, а эссе, рассказы лишь случаются мимоходом, по дороге, словно спутники романов, оттого что «лес рубят – щепки летят». Эти очень нужные «щепки» – вовсе не осколки чего-то разбитого: сдобренные упомянутым привкусом, у Фадина они являют собою некий новый вид литературы. Это становится понятнее, если вспомнить, что кроме нескольких романов у него есть еще и четыре сборника стихов; конечно же, все, заключенное под обложкой «Пейзажа в окне напротив», – это проза поэта.

Поэтам свойственно описывать лишь то, что до них не почувствовано и не прочувствовано еще никем. Именно так написана новая книга Вадима Фадина. Как и стихи, его проза – это ее характерная особенность – требует от читателя определенного ответного, встречного усилия, и это усилие оправдывается. Каждый, кто начнет ее читать, уже прочтя хотя бы несколько страниц, почувствует, что эта проза втягивает его в себя, что он погружается в ее мир и начинает понимать: этот мир – жив.

Борис Хазанов, Мюнхен

Рощин Н. Я. Парижский дневник. – М.: ИМЛИ РАН, 2015.

30 октября 1947 года в одном из залов московского Дома литераторов состоялось заседание актива секции прозаиков, приглашенных высказаться по поводу рукописи Н. Рощина «Парижский дневник». Учитывая, что время это было далеко не простое, над страной, недавно победившей гитлеровский фашизм, уже подуло ветром холодной войны, а в ней самой за опустившимся «железным занавесом» всем причастным к литературе и культуре следовало внимательно вчитаться в постановление ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград», чтобы понять, что хочет партия, что хотят тов. А. Жданов и, разумеется, сам вождь Страны Советов, обсуждать страницы, написанные вернувшимся на родину эмигрантом, было делом явно непростым, можно сказать – скользким уже хотя бы потому, что рукопись его содержала немало сведений, о которых обычным, а тем более верноподданным советским гражданам знать не полагалось, или, в лучшем случае, в духе времени, от них требовалось твердое проявление полной непримиримости к тем, кто живет за кордоном, тем более землякам.

Стенограмма этих выступлений, которую сейчас можно полностью про-

читать в опубликованной издательством ИМЛИ РАН книге Н. Рощина «Парижский дневник», вне всякого сомнения, заслуживает интереса в первую очередь именно как одно из свидетельств той эпохи. Автору указывали на то, что он недостаточно жестко и прямо осуждает многих эмигрантов, недостаточно проникся еще реалиями советской жизни...

Признаюсь, что начав знакомство с книгой Н. Рощина именно с этого, чудовищного в свете сегодняшнего дня, документа, испытал я невольную симпатию к нему как к человеку, оказавшемуся реально не в кругу товарищей по перу, а на месте экзекуции: как же могли они (среди которых были, кстати, такие замечательные детские писатели, как А. Лагин и Р. Фраерман, поэт П. Шубин, убитый в 1951 году...) быть столь узки и тенденциозны в своих оценках чужого труда! Лишь чуть позднее вернулось в сознание понимание – в то время быть иначе и не могло. И все или, по меньшей мере, значительная часть того, что говорилось тогда участниками злополучного обсуждения рукописи, – адресовалось не находившемуся рядом автору, а тем ушам, которые внимательно слушали их самих, удостоверяясь в их собственной лояльности и преданности режиму. Судьба же «Парижского дневника» была и без этих выступлений явно предрешена в других инстанциях...

Увы, при чтении же самого «Парижского дневника» я понял, насколько правы оказались в ряде своих критических замечаний участники того совещания. В частности, это оказалось справедливо в отношении формы. Н. Рощин предложил для издания книгой не спонтанно писавшийся дневник, границы которого вмещаются в календарные даты от 12 июля 1940 года до 26 ноября 1946 года, а текст, который должен был засвидетельствовать прежде всего правильность его поведения в среде эмиграции, правильность сделанных им этических и политических предпочтений.

Невозможно поверить в то, что на следующий день после торжественного вступления немецких войск в столицу Франции, 15 июня 1940 года, понимавший опасность положения любого и каждого, кто может оказаться в поле подозрения полиции или гестапо, автор мог записать: «Приехал в Париж и остановился в ‘Континентале’ Абетц, главный немецкий шпион, приговоренный французским правительством в прошлом году, за несколько дней до объявления войны, к смертной казни. Говорят, что он будет либо немецким руководителем при французском министерстве искусств, либо даже немецким послом при французском правительстве. Какая жестокая пощечина Франции!»[1] Подобные строки могли бы стоить их автору жизни. Этот пассаж, а подобных у него немало, вне сомнения был дописан Н. Рощиным значительно позднее, скорее всего, в послевоенной Москве...

То, что взгляд Н. Рощина на оккупированную страну, полон боли за ее людей и презрения к врагам, не был исключением, – сомневаться не надо. Мы знаем, что точно так же смотрели на жизнь многие представители русской эмиграции, не уехавшие в Америку, а оставшиеся здесь, – И. Бунин, Б. Зайцев, А. Ремизов... Мы знаем, конечно, и о тех, кто не видел чудовищного зла в

Гитлере да и фашизме вообще, – Д. Мережковский и З. Гиппиус, И. Шмелев, Д. Сургучев, Н. Берберова, С. Лифарь... Мы знаем и о тех, кто в рядах французской армии, в группах Сопротивления, наконец, просто отказом от сотрудничества с оккупантами приняли участие в борьбе за свободу этой страны – Б. Вильде, А. Левицкий, мать Мария, кн. В. Оболенская, Г. Газданов, В. Варшавский, В. Корвин-Пиотровский... Никто из них, из уцелевших в кровавые годы, не обольстился после победы пряниками сталинского режима, обещаниями счастья на родине из уст В. Молотова, жарко жавшего не один раз руку Гитлера.

Оказался ли бывший белогвардеец Н. Рощин, ставший в эмиграции журналистом и писателем, среди обольщенных, которых тоже оказалось немало?

Если учесть, что Н. Рощин был одним из первых среди возвращенцев, получивших советский паспорт по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1946 года и в том же году отправившийся на пароходе «Россия» на родину, то такое определение вполне справедливо. Вместе с тем, человек обольщенный – это все-таки в известном смысле утративший чувство реальности, введенный в заблуждение. Трудно все же представить себе «заблудшим» выпускника философского факультета Белградского университета, опытного сотрудника газеты «Возрождение», автора вышедших в Париже книг «Горное солнце» (1928) и «Белая сирень» (1937), – фигуру, вхожую в круг близких и знакомых И. Бунина...

Но если Н. Рощин не оказался в годы изгнания обольщенным советской властью (сам все же предпочитал повторять слово – Россия), то кем он был, или, по крайней мере, что о нем думали другие?

Историк русской эмиграции, автор впервые вышедшей в США в 1956 году книги «Русская литература в изгнании» Г. Струве упоминает о нем дважды. Сначала касаясь И. Бунина, которого иногда обвиняли в холодности и равнодушии к молодым авторам. Защищая репутацию большого писателя, Г. Струве отмечал: «...на самом деле он поощрял таких писателей, как Зуров, Рощин, Галина Кузнецова, которых можно назвать его учениками»[2]. О, Н. Рощин – один из учеников самого И. Бунина! Однако в том же труде читаем: «После войны Рощин сменил вехи, стал советским патриотом и уехал в СССР. При этом выяснилось, что он много лет был платным агентом советского посольства в Париже...»[3] Характеристика убийственная, не правда ли?

В предисловии к книге «Парижский дневнк» Л. Голубева не обходит последнее замечание Г. Струве, комментируя его так: «К сожалению, как и в других подобных оценках Рощина, автор не затрудняет себя ссылками на авторитетные документальные источники». Помилуйте, да сам Г. Струве – выдающийся русский ученый, чье имя и чьи труды годами замалчивались в СССР, – разве не авторитетный источник?! Никакого личного интереса в данном случае с его стороны не просматривается. Также можно добавить, что не просматривается подобного интереса или какого-либо иного злого умысла

очернить Н. Рощина со стороны современных российских ученых-бунинoведов В. Лаврова и А. Баборенко, которые внимательно знакомились и анализировали события и документы, относящиеся к окружению первого русского Нобелевского лауреата во Франции. В то время, когда они начали заниматься его биографией, Н. Рощина уже не было на свете (он скончался в сентябре 1959 года). Увы, и у них, и у некоторых других публикаторов с именем Рощина связываются не самые лучшие представления...

Судя по тому, что сообщает Л. Голубева, Н. Рощин постоянно искал контактов с Буниным, даже после того, как тот отвернулся от него полностью. Тут можно задаться вопросом: зачем? Только ли потому, что для него это была огромная литературная величина, поддержка которой явилась бы важной при решении собственных писательских интересов, либо за данной тягой к И. Бунину имелись иные интересы – скажем, интересы советских властей любой ценой заманить его в отечество, как фигуру, выражаясь современным языком, «знаковую»? Может быть, не маячь где-то недалеко от Н. Рощина силуэт А. Бунина, не стали бы вообще общаться с мелким писателем-эмигрантом такие боссы советской официальной элиты, как А. Фадеев или К. Симонов, а их поддержку он имел...

У меня нет никаких документальных оснований для подобных предположений, они – не более чем плод размышлений, возникших в результате знакомства со страницами «Парижского дневника», который так очаровательно представила Л. Голубева, что я даже оставил почти без внимания некоторые детали, которые никак не соответствуют действительности, – скажем, говоря о налетах на оккупированный Париж авиации англо-американских союзников, она утверждает, что это были «ковровые» бомбардировки[4]. Вероятно, в данном случае произошла путаница Парижа с Дрезденом...

Но, так или иначе, – вот книга, которая, несмотря на многочисленные редакции, правки и изменения, не смогла увидеть свет при жизни автора, десятилетия пролежала без движения. Тем не менее тот факт, что труд Н. Рощина вышел-таки под грифом РГАЛИ и Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук в таком авторитетном издательстве, как ИМЛИ РАН, представляется мне при этом не совсем оправданным. Точнее, не совсем оправданным, если исходить из того, что данная публикация предполагалась как некое существенное дополнение к известным именам, фактам, событиям. Ничего нового серьезному исследователю истории русской эмиграции, даже по такому, может быть менее всего изученному периоду, как Вторая мировая война, оккупация Франции, эти страницы теперь, когда существует уже обширная библиотека трудов по данной теме, не принесут. Впрочем, на мой взгляд, они полезны – полезны тем, что прекрасно иллюстрируют то, как мыслили и были осторожны все в сталинском СССР в первые послевоенные годы – в годы, когда над русской литературой и культурой витала ждановская тень...

Наверное, «Парижский дневник» Н. Рощина мог бы вызвать интерес, появись он даже в предперестроечное советское время. Но сегодня?.. Сегодня страницы эти сильно пахнут нафталином.

Виталий Амурский, Париж

---

1. *Рощин Н.Я.* Парижский дневник. ИМЛИ РАН, Москва 2015, с. 85.
2. *Струве Г.* Русская литература в изгнании. Изд. третье, исправленное и дополненное. – YMCA-Press, Русский путь. Париж – Москва, 1996, с. 147.
3. Там же, с. 205.
4. *Рощин Н. Я.* Указ. соч., с. 22.

В. Батшев. Литературный календарь. Книга 1, январь-июнь. Книга 2, июль-декабрь. – «Литературный европеец», Франкфурт-на-Майне, 2016.

Свобода – вот главное слово этой книги. Заглавными, аршинными буквами написанное. Это свобода в композиции, когда рядом, страница к странице, оказываются А. Серафимович, А. Белый и журнал «Грани»; П. Муратов, Э. Багрицкий, Ф. Степун и В. Крымов; присуждение Сталинских премий с длинным списком лауреатов, «космополиты», «врачи-убийцы» – с разбрасыванием в 70-е годы заграничными студентами политических листовок в ЦУМе и Театре оперетты, с письмом А. Солженицына съезду советских писателей и голландским конгрессом «За права и свободу в России». Это свобода в композиции текстов календарных статей, когда О. Мандельштаму посвящается треть страницы, а И. Эренбургу – двенадцать, и где для первого хватило трех небольших абзацев в стиле дневниковых заметок, а для второго понадобились обширные цитаты из автобиографии писателя из современников-мемуаристов и «военной» книги И. Эренбурга.

Свободен автор и в суждениях о писателях Русского Зарубежья разных поколений и эмигрантских сроков, которым посвящено большинство «персональных» статей этой книги-календаря. И здесь В. Батшев в родной стихии, когда оценка личности и творчества писателя зависит в первую очередь от качества его литературной продукции, той «ноты» – парижской, берлинской, нью-йоркской и т. д., – которая улавливается в их произведениях. Так что часто дается просто образчик этого творчества, чаще – стихи. Ими многие календарные тексты В. Батшева увенчаны, а порой занимают львиную долю такого текста. Как, например, о поэтессе Л. Андерсон: о ней предоставляется судить не столько по биографическому абзацу («...жила во Франции... умерла совсем недавно, не дожив до столетнего юбилея»), а по длинному стихотворению с краснречивым названием «Зеркало».

А как же иначе: ведь сам В. Батшев – поэт, один из создателей литературного СМОГа. Существует несколько версий расшифровки этой аббревиатуры: это и «самое молодое общество гениев» с девизом: «смелость, мысль, образ, глубина», и «основа творчества» – «сила мысли, оргия гипербол». И

еще это просто смог – дым над городом из продуктов его жизнедеятельности: заводов, котельных, автомобилей. И разве не продуктом городской культуры – урбанистической, авангардистской поэзии, наследовавшей футуристам, конструктивистам и всем, кто пишет нестандартно, – и был, по сути, этот кратковременный СМОГ? Ибо через полтора года он развеялся, и общество «прекратило существование». Но только литературное, так как с самого начала оно было еще и группой диссидентов, одними из первых в середине 60-х годов вместе с А. Синявским и Ю. Даниэлем, И. Бродским и А. Солженицыным. В. Батшев был тогда сослан на пять лет в Сибирь, а Л. Губанов, другой создатель СМОГа, на два месяца заключен в психиатрическую больницу.

Эти два начала, две стороны писателя В. Батшева – поэтическая и литературная – и организуют книгу, подпитывая друг друга. Так что трудно понять, откуда такая свобода в написании книги: от поэтического «беспорядка» и вольности или от политической, основанной на твердой, как кремень, максиме: настоящая литература невозможна при любом тоталитарном строе. Отсюда и концепция В. Батшева о двух потоках русской литературы: «русской-советской» и «русской-свободной, зарубежной». Эту невозможность литературы в СССР – ленинско-сталинской или хрущевско-брежневской – наглядно показал А. Белинков в книге-приговоре Юрию Олеше «Сдача и гибель советского интеллигента». Обе главные книги Олеши – «Три толстяка» и «Зависть» – были не только шедеврами писательского мастерства, но и попыткой решить сложный вопрос взаимоотношений интеллигенции и революции – «мучительнейшую, важнейшую в русской истории тему», как пишет А. Белинков. Честно ответить на этот вопрос у Ю. Олеши не хватило мужества, считает он. Автор «Зависти» «испугался сказать обществу, что он о нем думает» и потому сдался. А «сдавшийся человек не может быть поэтом», то есть подлинно свободным человеком. Всем кем угодно: «жертвой эпохи, и ее садовником, ее узником и ее каменщиком, но только не поэтом». В. Батшев еще строже, категоричнее: «Юрий Олеша – ...типичный советский писатель, приспособленец, конъюнктурщик».

Книга А. Белинкова, пишет В. Батшев, «меня потрясла», после нее любой советский писатель выглядит «белинковским Олешей». Никакого снисхождения Батшев не испытывает даже к А. Ахматовой, которая предпочла быть «тогда с моим народом, / там, где мой народ, к несчастью, был». Батшев иного мнения: «Лично я не считаю, что поэту надо быть с тем народом, который на митингах орал: ‘Распни его! Распни!’ Не считаю быть нужным там, где этот народ, ‘к несчастью’, был», ведь «под чуждым ей, Ахматовой, небосводом развивалась *свободная* русская литература». Спорить с этим не то чтобы трудно, но не нужно. Ибо после 1917 года это понятие «свобода» получило новый, эмигрантский смысл. Вспомним Г. Адамовича и его «Одиночество и свободу» или Г. Федотова и его «Россия и свобода». А уж пример И. Бунина, Нобелевского лауреата, или другого нобелиата – А. Солженицына, перешедшего из

внутренней эмиграции во «внешнюю», вполне очевиден и убедителен. И все-таки можно усмотреть в таком поистине катоновском максимализме своего рода несвободу. Политизированность, власть одного только критерия, пусть даже и такого монументального и бесспорного, как свобода, выглядит той же несвободой, одной из ее разновидностей.

Как и решение В. Батшева облечь свои мысли и высказывания о литераторах и литературной жизни в форму календаря. Сначала еще следишь за тем, какого января, февраля и т. д. тот или иной писатель родился или умер. А потом уже и не замечаешь этих календарных условностей, гадая, как оценит Батшев очередного своего героя. Характерно, что перед С. Довлатовым он не испытывает пиетета, считая, что «он занял неподобающее ему место в русской литературе» – ведь С. Довлатов, «советский» или «несоветский», был просто «рассказчиком», «газетным фельетонистом», «разменявшим себя на мелочи».

Как человеку, прошедшему тюрьму и ссылку, преклоняющемуся перед такими борцами с советским режимом, как В. Тарсис, В. Буковский, А. Кузнецов, А. Солженицын, Батшеву ближе люди не флегматично-меланхолического склада, исповедующие «чистое искусство», а холерического, с высоким энергетическим потенциалом, которого хватает и на литературу, и на политику. Это истинно русская черта тех «русских мальчиков» Достоевского, которым надо «вопрос разрешить», мир перевернуть, которым быть или Раскольниковым, или Алешей Карамазовым, – середины не дано. Или даже Н. Бердяевым, знаменитым философом свободы. В. Батшев за этот пафос свободы прощает ему даже такую ересь, когда «человек у него оказывается едва ли не свободнее Творца». Хотя известно, что небесспорен был бердяевский авторитет в среде русских религиозных философов, вплоть до обидного «бердяевщина» или даже «белибердяевщина». Впрочем, В. Батшев все-таки не философ, а поэт. И интереснее, когда он судит о творчестве писателей, независимо от степени их политической свободы.

И русскость у В. Батшева не вульгарная, не фанатичная. Он может весьма сурово, устами И. Бунина, писать о С. Есенине и еще более жестко, жестоко – об И. Эренбурге. Как и восторженно – о Б. Пастернаке и А. Галиче. При этом называя первого «гениальным русским поэтом», а второго – выдающимся поэтом XX века», который был для В. Батшева и его поколения – «*всем*». Наверняка поэтому знает В. Батшев мнение А. Галича, высказанное в одном из интервью, о поэзии Б. Пастернака, уступающей в совершенстве А. Ахматовой и О. Мандельштаму. Зато Б. Пастернак «весь в движении», взывает к сотворчеству: «У Пастернака мне порой хочется переделать: вот эти строчки я сделал бы иначе». В. Батшев пишет в том же русле о «магнетическом поле таланта» Пастернака, который «буквально заставляет перечитывать его стихи и прозу».

Так и меня, автора этих строк, признаюсь, при чтении обоих томов книги В. Батшева, потянуло перечитать тех писателей, о которых он пишет. Думаю, это вполне нормально для любого читателя «Литературного календа-

ря». Только побуждения могут быть разные: в одном случае, чтобы поспорить с его автором, например, о тех же С. Довлатове или С. Есенине, в другом, чтобы убедиться в правоте В. Батшева, например, по поводу В. Гроссмана, чья «Жизнь и судьба» трактуется как «расплывчатая, недоговоренная, недосказанная, ‘на цыпочках’». Мне же захотелось просто перечитать всех тех, кто идет у В. Батшева помесячно – январских (даты жизни и смерти) В. Кина, А. Белого, В. Шаламова, Е. Замятина, Б. Зайцева, Н. Глазкова; февральских Д. Хармса, Э. Багрицкого, Ф. Степуна, А. Крученых, Вс. Иванова, Ю. Олешу, А. Синявского; мартовских В. Вейдле, М. Арцыбашева, А. Беляева, Н. Бердяева, М. Булгакова, А. Аверченко, А. Вертинского; апрельских Д. Бедного, Г. Адамовича, В. Набокова, В. Катаева, И. Ильфа, Л. Лунца, Г. Гребенщикова, К. Вагинова, Ю. Домбровского... И всех, кто попал в этот календарь, – около 500 имен! Стоит, отнюдь не мимоходом, отметить эту поразительную трудоспособность В. Батшева, еще больше – его любовь к отечественной литературе, ради которой он пошел на такой, без преувеличения, литературный подвиг. Вот только, увы, более половины персонажей двухтомника нам прочесть не удастся. Десятки и сотни авторов Русского Зарубежья разных поколений все еще недоступны ни на бумаге, ни в Интернете. Так что приходится полагаться на Батшева и его извлечения из произведений, на его компетентность и вкус. Нельзя не довериться человеку, давно живущему и работающему на Западе, написавшему столь внушительную по именам и объему прочитанного и цитируемого книгу. Особенно – его страстной проповеди свободной литературы.

Но как быть живущим в стране, воспитанной на «сдавшихся» писателях? Флегматики-меланхолики примут «Календарь» как просветительное чтение, из которого можно узнать, как это быть эмигрантом, человеком с другой планеты. Так, Ю. Мацкевич говорил о себе: «Национальность – антикоммунист», а В. Варшавский – «не только русский, но и европейский писатель»; можно узнать, что на первой работе в США В. Марков «собирал лимоны бок о бок с мексиканскими эмигрантами» – и это не помешало ему стать специалистом по русскому модернизму; что Н. Лаппо-Данилевская, известная в Российской империи как оперная певица и автор «женских» романов, во Франции перешла в католичество и написала брошюру «Эмиграция и католичество». А мюнхенец Е. Кушев был настолько оригинален «во всем», что почему-то писал роман о Сибири, который в виде «радиофельетонов» звучал по «Радио Свобода» в специальной программе «Судьбы Сибири».

Этот литературный календарь – очень авторский, «дневниковый», личный. Часто автор сообщает в «Календаре» о себе, эпизодах своей интересной жизни, многочисленных знакомствах и встречах с выдающимися людьми. И, наконец, это еще и отличная (любимое слово В. Батшева: «отличный поэт», «отличная книга» и т. д.), написанная почти разговорным языком, книга-собеседник, с которым хочется разговаривать.

Владимир Яранцев

ОБ АВТОРАХ

АЛАВЕРДОВА Лиана (Баку). Поэт, переводчик, драматург. Окончила исторический факультет Азербайджанского госуниверситета. Эмигрировала в США в 1993 г. Поэтические сборники: «Рифмы»; «Эмигрантская тетрадь», «Из Баку в Бруклин». Публикации в изданиях США, в ж. «Знамя» и др.

АМУРСКИЙ Виталий (1944, Москва). Поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический ф-т МОПИ, позднее – Сорбонну. Публиковался в ж. «Континент», «Вестник РСХД», «Футурум АРТ», «Мосты» и др. Более двадцати лет работал в русской редакции Международного французского радио. Автор книг «Памяти Тишинки», «Запечатленные голоса», «Тень маятника и другие тени», поэтических сборников: «СловЛарь», «Трамвай ‘А’», «Tempora mea», «Серебро ночи», «Земными путями» и др. С 1973 г. живет во Франции.

БЕЛОЗЕРОВ Андрей (1966, Бендеры). Прозаик. Учился в Кишиневском пединституте и в Институте искусств. Окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. Публиковался в журналах «Кодры. Молдова литературная»; «Наш современник», «Топос», «Дружба народов», «Новый Журнал». Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова, премии «Древний город». Живет в г. Бендеры, Приднестровье.

ГАРБЕР Марина. (1968, Киев). Поэт, эссеист. Родилась в Киеве. Эмигрировала в США в 1989 году. Магистр искусств, преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор четырех книг стихотворений (последняя – «Каждый в своем раю», 2015). Поэзия, проза, переводы и критические очерки публиковались в ж. «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нева», «Новый Журнал», «Урал», «Эмигрантская лира» и др. В настоящее время живет в Лас-Вегасе, штат Невада.

ГОРЯЧЕВА Юлия Юрьевна. Публицист. Окончила ф-т журналистики МГУ и магистратуру Норвичского университета (США). Работала в ж. «Иностранная литература» и в «Независимой газете». Сотрудничает с отечественными и зарубежными изданиями. Член Союза журналистов Москвы. Автор книг по истории Русского Зарубежья: «Афон. Форт-Росс. Русское дело» и «Новая Россия – соотечественники Зарубежья: единое культурное пространство».

ДРАГУНОВ Андрей (г. Волжский). Поэт. Учился в Институте искусств (актер театра), работал журналистом, был гл. редактором городского телевидения и радио. Автор нескольких книг стихов, прозы, пьес: «Песня дорожной пыли», «Речь – способность вернуться», «Past continuous tense», «Монологика», «Новая семейная хроника», «Между вещью и пылью», «Происходящее» и др.

ДУБРОВИНА Елена (Ленинград). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Автор книг стихов «Прелюдии к дождю» и «За чертой невозвращения», романа «In Search of Van Dyck»; составитель и переводчик антологии «Russian Poetry in Exile. 1917–1975. A Bilingual Anthology» (2013). Печаталась в «Гранях», «Континенте», «Встречах», в НРС и др. Состояла в редколлегии альманаха «Встречи»; гл. редактор ж. «Поэзия: Russian Poetry Past and Present» и «Зарубежная Россия: Russia Abroad Past and Present» (США). Стихи вошли в антологию английской поэзии «Liquid Gold». Награждена Национальной литературной премией им. Шекспира за мастерство переводов. В США с конца 1970-х. Живет в Филадельфии.

ЗАЙЧИК Марк Меирович, (1947, Ленинград). Прозаик. Автор нескольких книг прозы. Публикации в газетах и литературных журналах Израиля, России, США, среди них «Менора», «22», «Иерусалимский журнал», «Звезда», «Конти-нент». Лауреат премии СП Израиля за документальный роман «Жизнь Бегина». С 1973 года живет в Израиле.

ЗУБАРЕВА Вера. Поэт. Главный редактор журнала «Гостиная», президент литобъединения ОРЛИТА. Профессор славистики Пенсильванского университета. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Новый Журнал», «Интерпоэзия», «Вопросы литературы» и др. Живет в Филадельфии.

ЗАХАРОВ Сергей Валерьевич, (1976 г., Беларусь). Прозаик, переводчик. Окончил в 1998 г. Гомельский ГУ по специальности «английский язык». Работал преподавателем английского языка, переводчиком, служил в пограничных войсках Республики Беларусь, был фермером, торговцем, грузчиком, радиотелеграфистом. Живет в Каталонии (Испания), занимается экскурсоводческой деятельностью.

КАЦОВ Геннадий (1956, Евпатория). Поэт, журналист. В 1989-91 гг. вел передачи по культуре в программе «Поверх барьеров» на радио «Свобода». Был гл. редактором ж. «Метро», гл. редактором и ведущим авторской телепрограммы на RTN/WMNB (2000–2003). С 2010 г. – владелец и гл. редактор портала RUNYweb.com. Автор книг «Игры мимики и жеста», «Притяжение Дзэн», «Словосфера», «Меж потолком и полом». С 1989 года живет в США.

МУСАЯН Ара (1946, Франция). Прозаик, переводчик. Вместе с родителями в 1947 году перехал в Советскую Армению, с 1948 по 1952 гг. семья жила в Абхазии. Вернувшись в Армению, в 1953–1964 гг. учился в русской школе в Ереване. В 1964 г. вернулся во Францию, учился на философском факультете Сорбонны. Публиковался в журнале «Орти» в 1979–1984 гг. Пишет по-французски и по-русски. Живет в Париже.

НИКОЛИН Анатолий Игнатьевич (1946, Екатеринбург). Прозаик, поэт. Окончил факультет русской филологии Донецкого ГУ. Автор восьми книг стихов и прозы. Произведения публиковались в ж. «Брега Тавриды» (Симферополь), «Донбасс», «Москва». Член Союза русских, украинских, белорусских писателей. Живет в г. Мариуполе.

РАБИНОВИЧ Михаил (1959, Ленинград). Прозаик, поэт. С 80-х годов его рассказы стали появляться в газетах и журналах разных стран. В «Новом Журнале» в 1991 году был опубликован рассказ «Страх». Живет в Нью-Йорке.

РАКОВИЧ Евгений (1973, Алма-Ата). Поэт. Печатался в ж. «Вавилон», «22», «Зеркало», «Воздух», «Крещатик» и др. Живет в Нью-Йорке.

СОКОЛОВ Саша (Соколов Александр Всеволодович. 1943, Оттава). Прозаик, поэт, эссеист. С 1965 г. был участником СМОГа, публиковался в самиздате. Учился на ф-те журналистики в МГУ, работал журналистом, егерем, истопником. Подвергался репрессиям в СССР за литературную деятельность, в 1975 г. ему удалось выехать из страны после протестной голодовки жены; с 1977 года живет в Канаде. Автор романов «Школа для дураков», «Между собакой и волком», «Палисандрия», книги «Триптих». Его роман «Школа для дураков» В. Набоков оценил как «обаятельную, трагическую и трогательнейшею книгу».

СОКОЛОВ Евгений Серафимович (1950, Москва). Журналист. Учился в МГПИИЯ им. М.Тореза, в 1974 г. исключен «за антисоветскую деятельность». Работал в Воркуте. В 1975 г. выехал в Австрию, где продолжил учебу в Венском университете на ф-те славистики. В 1977 году иммигрировал в Канаду. Защитил магистерскую диссертацию в Норвичском университете (шт. Вермонт). С 1978 года – сотрудник русской секции «Радио Канада» (до ее закрытия в 2012 году). Печатался в ж. «Посев», «Новый Журнал», в НРС и др.

ФУРМАН Рудольф (1940, С.-Петербург). Поэт. По образованию – врач, канд. медицинских наук. Автор поэтических книг «Времена жизни...», «Парижские мотивы», «Два знака жизни», «И этот век не мой...», «Человек дождя», «После перевала». Печатался в ж.«Нева», «Новый Журнал», «Мосты», «AVE», «Побережье», «Встречи», «Интерпоэзия» и др. В США с 1998 года.

ХАЗАНОВ Борис (1928, Ленинград). Прозаик, эссеист, переводчик. Эмигрировал в 1982 году. Автор книг «Необыкновенный консилиум», «Мальчик на берегу океана», «Запах звезд», «Миф Россия», «Страх», «Нагльфар в океане времен» и др. Победитель литературного конкурса им. Марка Алданова (НЖ) за повесть «Беглец и Гамаюн» (2010). Живет в Мюнхене.

ЧЕЧИК Феликс (1961, г. Пинск). Поэт. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат «Русской премии» (2011). Живет в Израиле.

ШАБАЛИН Сергей Николаевич (1961, Москва). Поэт. С 1977 г. в США, закончил в Нью-Йорке художественную школу. Стихи публиковались в журналах «Время и мы», «Новая Юность», альманахах «Побережье», «Встречи» и др. Сейчас живет в Москве.

ЭФРОИМСОН Владимир (1950, Москва). Поэт. По образованию математик, кандидат физико-математических наук. Был членом Московского клуба «Поэзия». Первая книга стихов вышла в Москве в 1992 году, вторая – «Такое кино» – в 2010 г. Публикации стихов в периодике, альманахах, коллективных сборниках.

ЯРАНЦЕВ Владимир Николаевич (1958). Литературовед. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского ГУ, кандидат филологических наук. Член СП России. Заведовал отделом критики журнала «Сибирские огни». Автор статей в российской периодике («Вопросы литературы», «Сибирские огни» и др.), а также книги о писателе Владимире Зазубрине. Живет в Новосибирске.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

General Sponsor of The New Review, Inc.: Zimin Foundation

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:
Benefactors: The Tcherepnin Society, Mr. P. Tcherepnine; Mr. & Mrs. I. Vechesloff;
Sponsors: Russian Nobility Association in America, Inc.; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin; Mr. S. Hollerbach;
Fellows: The Orthodox Hospitaller Knights, Countess Tatiana Bobrinskoy; Mr. & Mrs. B. Pushkarev;
Friends: Mr. & Mrs. R. Colacicchi; Mr. & Mrs. V. Galitzine; Ms. Molchadskaya; Mr. A. Moussaian; Mrs. L. Obolensky-Flam; Ms. C. Raeff, Mrs. M. Sechkarev, Mrs. V. Sinkevich.

It requires the support of loyal friends for year 2016:

Patron –	$ 5,000 and up
Benefactor –	$ 2,000 and up
Sponsor –	$ 1,000 and up
Fellow –	$ 500 and up
Friend –	$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined, in a letter on March 9, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to The NEW REVIEW

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Николай Сарафанников – тел.: 7-495-304-4879
Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-812-579-7581
Монреаль, Канада: Генрих Иоффе – тел.: 514-279-1045
Париж, Франция: Виталий Амурский – e-mail: vitaly.amoursky@gmal.com
Израиль: Рина Левинзон – тел.: 2-586-2333
Альберт Фейгельсон – e-mail: nikalbert@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France
на сайте журнала: **www.newreviewinc.com** (кнопка: Подписка), через **PayPal** Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: **www.newreviewinc.com** (кнопка: Подписка)

“Новый Журнал” / The New Review Publishing
представляют свои книги последних лет:

СЕРГЕЙ ГОЛЛЕРБАХ
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ БЛОКНОТ
Мемуары
Нью-Йорк: The New Review Publishing, 2013. – 244 с. ull. На русском. $ 25.00

Книга эссеистики Сергея Голлербаха, академика американской Национальной Академии дизайна, посвящена послевоенному Нью-Йорку. Как обживали «лучшую Америку» и «город греха» Displaced Persons, Второй мировой войной «перемещенные лица»?.. Книга богата проиллюстрирована графикой Голлербаха, «летописца в красках» города Большого Яблока.

SERGEI HOLLERBACH
NEW YORK ON MY MIND
Memoirs of a Displaced Person
New York: The New Review Publishing, 2015. – 160 p., ill. In English. $ 25.95

Serge Hollerbach immigrated to the U.S. after WWII. He went from being a worker at a tie-making factory to an academic and national award laureate. The book is a distinctive story of the post-war and long-forgotten New York. His stories portray a brilliant sense of style, with the subtle humor of a real New Yorker. Hollerbach is a true artist of the City, both in painting and in word.

SERGEI HOLLERBACH
FROM A PERSONAL POINT OF VIEW
New York: The New Review Publishing, 2016. – 112 p., ill. In English. $ 15.00

Short Essay Collection about Art, Culture, Philosophy, and Society.

* * *

ВАЛЕНТИНА СИНКЕВИЧ
ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ
Стихи разных лет
Нью-Йорк: The New Review Publishing / Серия «Современная литература Зарубежья». 2016. – 136 с., илл. На русском $ 10.00

Поэтическое творчество Валентины Синкевич точно отражает драматическую судьбу поколения ди-пи. За плечами поэта жизнь, изломанная рабством принудительного труда в Германии, потерей близких и друзей, – что не только не сломило дух этого удивительного человека, но пробудило силу воли, уникальный поэтический дар и потребность делиться своей добротой. Читатель найдет в книге много памятных фотографий, отражающих историю русской литературной эмиграции в США.

THE NEW REVIEW PUBLISHING
The New Review, Inc.
611 Broadway, suite 902 New York, New York 10012
newreview@msn.com 212-353-1478

Новый Журнал
THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2017

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – $ 145.00, за границу – $ 190.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – $ 76.00, за границу – $ 110.00

Цена отдельного номера – $ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – $ 5.00, за границу – $ 25.00

E-access на год – $ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – $ 315.00
за границу – $ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
611 Broadway, # 902, New York, NY 10012

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
www.newreviewworld.com
newreview@msn.com
newreviewworld@gmail.com